Иностранная литература

8

1964

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДИТЕР НОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Книга вторая) 7

ПОВЕСТИ

СЮСАКУ ЭНДО — Море и яд 114
ЖОРЖ СИМЕНОН — Бедняков не убивают . 180

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РАССКАЗА

МУХАММЕД ДИБ, ФРАНКЛИН КЕВЕДО, ЭРВЕ БАЗЕН, ЯН ВОЛКЕРС 80

СТИХИ

МИХАЙ БЕНЮК — Новые стихи 3
ТУДОР АРГЕЗИ — Стихам все вновь звучать... (Послесловие Овида Крохмэлничану) . 72
РЕНЕ ДЕПЕСТР — Пусть солнце снова улицы зальет! 178
С. МАРШАК — Из неопубликованных переводов 202

КРИТИКА

И. ТЕРТЕРЯН — Испанский роман сегодня 204

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ВЯЙНЕ ЛИННА — Два писателя (Письмо из Хельсинки) 214

8

АВГУСТ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

САРВАР АЗИМОВ — Дели—Ташкент—Каир—Джакарта 217

ОЧЕРКИ

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ — Рассказ о сержанте Ионе Бузне 221

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ — Новая жизнь на старых землях 223

НАШИ ГОСТИ

Т. КУДРЯВЦЕВА — Идти в ногу со временем 228

ЛЮДИ МИРА,
БУДЬТЕ ЗОРЧЕ ВТРОЕ!

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ — СОЛДАТЫ И ОЧЕВИДЦЫ ДВУХ ВОЙН: АРНОЛЬД ЦВЕЙГ, ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ, СТЕФАН ГЕЙМ, АРТУР ЛУНДКВИСТ, ЛЕВ НИКУЛИН . . 230

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

М. МЕРЖАНОВ — В гостях у Армандо Гонсалеса 246

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ИННА ТЫНЯНОВА — «Сердце мое необъятнее мира!» (К 220-летию со дня рождения Томаса Антониу Гонзаги) 251

Л. ЭЙДЛИН — Великий реалист Цао Сюэ-цинь 253

КНИГИ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Саввa Дангулов — Человек идет к свету. ◇ Ю. Кожевников — На струнах времени. ◇ И. Константиновский — Книга жизни. ◇ Александру Опря — Новый герой Марина Преды. ◇ М. Фридман — Трагическое восхождение. ◇ Вера Инбер — Дитя своего века. ◇ В. Соколов — Так ли просто оставаться простым? ◇ Сергей Баруздин — Весело о серьезном. ◇ Татьяна Николеску — Исследование о романе. ◇ Д. Шполянская — Рождение нового мира 256

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке картина румынского художника МАРИНА ГЕРАСИМА «Жительницы лесной местности».

МИХАЙ БЕНЮК

Новые стихи

Перевод с румынского
Р. МОРАНА

Картина с Лениным

Сияло солнцем Ленина чело,
И отсвет будущего лег на лица;
Как бы с вершины горной слово шло,
Чтоб за морями громом раскатиться.

Таким тот день открыл художник мне.
И я из непохожего сегодня
Протиснулся в толпу на полотне,
Свое лицо мерцающее поднял.

Я понял: пробираясь к Ильичу,
Не в прошлом очутился я — в грядущем,
И пусть я жизнью даже заплачу,
Но я иду путем, в рассвет ведущим.

Я человек, я в ленинском строю.
Я жив иль мертв — не важно, лишь бы гордо
Сквозь бури правду пронесла свою
Его непобедимая когорта.

Вот горсть земли...

Отчизна прекрасна, когда хорошо народу.
Поцелуй меня в лоб, словно сына, Москва,
И промолви:
«Войди, будь как дома!»
На проспектах твоих просыхают
Отпечатки моих подошв.
Что поделать? Я сидел у Дуная,
Ноги в волну окунув.
У меня слишком громкий голос,
И соседи все слышат.

Что поделать?
Мы в Карпатах привыкли с горы на гору перекликаться,
А смеюсь я так громко
Оттого, что всему радуюсь:
Кирпичам, повисающим в воздухе,
Прежде чем лечь на место в высокой стене,
Девушке, слушающей удивленно
Мой стих диковатый,
Космосу, что удивлен еще больше
Тому, что один, или два,
Или три человека
Из советской страны
На глазах у потрясенного мира
Расстегнули
На нем,
Седовласом,
Хламиду.
Москва, что могу я тебе подарить?
Вот песня пастушьего рога
С гор бессмертного Хории,
Что стряхнули с себя бояр.
Вот цветок, распустившийся
На могиле советского воина,
Отдавшего жизнь под Клужем
За счастье нашего края.
И вот горсть земли
С артельных полей
Моей родины.

Время мечтать

Из глуби мечты
Возносится мощное
Дерево жизни
С плодами деяний
И нежными ветками,
Нащупывающими
Неведомое.
Одна из ветвей
С буранами бьется
И, может быть, гибнет
Зимою от стужи.

Другую, чьи почки
Успели раскрыться,
Грызут древоточцы,
Изморозь губит.

Но к вешнему солнцу
Тянется третья —
Ее венчают соцветья;

Мечта появляется в мире,
Мечта расцветает!
И жизнь улыбается степи,
И степь улыбается трубам,
Высокое красное знамя
На трубах фабричных смеется.
Время мечтать.

Ключи

Я стал твоим несгораемым шкафом,
Сейфом с секретным замком,
И ты в меня годы кладешь —
Столбик за столбиком.

Открой меня, время,
Изыми свои вклады,
Целиком
Или хотя бы несколько

Самых последних
Десятков лет.

Предлагаю в обмен
Неподдельное серебро висков,
Популярность поэта,
Дорогие картины
Из собранья моей души;
Страданья,
Окаменевшие, как в Помпее,
Под пеплом и лавой, излитой
Везувием моего сердца;
Мраморные изваянья,
Воздвигнутые в моей памяти
Женщинами;
Кастальский родник
Моих непролитых слез
Тебе отдаю,
Время.
И все это
Только за несколько десятилетий
Твоих,
Которые я на хранение принял
И очень прошу
Забрать
Обратно.

Почему ты молчишь,
Делаешь вид, что не слышишь, и даже
Не глядишь на меня?
Ведь это же годы твои,
Я в подарках твоих не нуждаюсь,
Ты же знаешь — я не банкир
И не люблю накоплений;
Ты знаешь прекрасно —
Я боролся всегда с богачами,
Так зачем мне теперь самому
Богатеть?
Не навязывай мне капитал своих лет,
Унеси их куда-нибудь,
Сейф отопри
И проваливай с ними.
Я не требую вознагражденья за то, что ты заняло ими
Каждый свободный клочок моей плоти.
Время, оглохло ты, что ли,
Иль по-румынски не понимаешь?
Хватит тебе притворяться.
Мне осточертело
Мелочь твою хранить:
Миги,
Минуты,
Часы,
Сутки,
Месяцы —
Двадцать четыре часа ежедневно,
Двенадцать месяцев ежегодно,
В общей сумме
Лет пятьдесят плюс пять.

Ты надеялось — не сосчитаю?
Так было
В самом начале,
Когда мне казалось: ты шутишь.
Ты же в шутках не знаешь меры,
Твои годы-монеты все тяжелей,
Все тусклей и темней их металл,
Зубцы все колючей,
Орел со стервятником схож
И с черепом — профиль.
Я сыт по горло!
Время,
Сгинь со своими годами шершавыми,
Что, душу мою засыпая, стучат,
Как мерзлые комья по крышке гроба.
Открой, наконец,
И бери их!
Смотри,
Я становлюсь на колени,
Целую подол твоей вечности,
Унижаюсь:
Смилуйся.
Забери,
Забери — говорю — свои годы!
Не вынуждай меня голос повысить.
Послушай,
Открой!

Ах, подлое,
Оно потеряло ключи.

Ничто не умирает

Я утверждаю:
Смерть не имеет власти,
Она ничто, а не нечто.
Как поцелуй на губах возлюбленной
Не умирает,
Как дружеское рукопожатие
Не умирает,
Как поле, проснувшееся с зарей,
Не умирает —
И человек бессмертен.
Он только проходит, не возвращаясь,
Как не возвращается тот же снег,
Как не возвращаются те же листья,
Как бьющий из камня источник
Никогда не течет назад.
Все уходит и преобразуется,
Проносясь в безбрежном потоке
Великого Времени,
Но не умирает, не умирает.

ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Вернера Хольта

РОМАН

Перевод с немецкого
И. ГОРКИНОЙ, Е. ЗАКС и И. МЛЕЧИНОЙ

Книга вторая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Часть первая

1

Вернер Хольт спускался по лестнице, по бетонной лестнице. Он шел меж побеленных стен, спотыкаясь, чуть не падая, все еще одетый в потрепанную серо-зеленую форму. «Кто такой Шнайдерайт?» — думал Хольт. Эта мысль подняла его с постели. «Кто такой Шнайдерайт?»

Разрозненные, пестрые картины в беспорядке толпились у него в голове. Попробуй-ка разобраться... Вчера, сегодня, люди, события, города, деревни. Акционерное общество «Шпремберг»... Химический завод, бывший завод взрывчатых веществ, серная кислота, медикаменты. Завод почти весь разбомбило. Сейчас им управляет отец и еще какой-то человек по фамилии Мюллер.

Все это Хольт узнал от Гундель. Гундель рассказала ему много всего — о здешних людях, о Мюллере, Хагене, Шнайдерайте, Бернгарде. Она рассказала еще, как доктор Гомилка уехал в Нюрнберг, а она перешла зональную границу и добралась сюда, как ждала Хольта и как все время встречалась с этим Шнайдерайтом, каждую среду и пятницу, в какой-то там организации. Гундель сама все это ему рассказала. Кто такой Шнайдерайт?

Хольт остановился передохнуть. Он прислонился к оконному косяку и, сняв парусиновую фуражку защитного цвета, медленно отер пот со лба. В этот душный сентябрьский день Хольт чувствовал себя особенно усталым и слабым. Прошло несколько недель, как он вернулся к отцу, вернулся больной, смертельно больной. И все время, пока он болел жестоким воспалением легких, Гундель сидела возле его постели и рас-

* Первая книга опубликована в №№ 4—7 журнала за 1962 год.

сказывала, рассказывала. Одно и то же имя снова и снова всплывало в ее рассказах — Шнайдерайт.

Над Хольтом все еще висел кошмар воспоминаний. Он бесконечно возвращался к картинам войны, к разгрому. По ночам им все еще владел страх, а ведь он был уже у цели, был возле Гундель. Нет, она не стала ему чужой. Но кто же все-таки оказался между ними? Кто этот человек, который был здесь, рядом с ней, когда Хольт подыхал на голой земле в лагере под Крёйцнахом?

Вниз, вниз по лестнице, меж побеленных стен. Второй этаж, коридор, рабочие — водопроводчики, плиточники. Первый этаж. Двери, табличка на дверях: «Дирекция завода», еще две ступеньки — и ворота, проходная, заводской двор. Постой-ка, что это за голоса здесь, в дирекции? Все плывет перед глазами... Прояснело. Просторная комната, письменный стол, заваленный таблицами и чертежами, еще один стол у окна. В комнате несколько человек. За столом пожилая девица. Лицо густо обсыпано пудрой и накрашено, из пучка на затылке свисает крысиный хвост, кончик косы... Это фрейлейн Герлах, секретарша директора, смутно припоминает Хольт. У стола стоят трое. Четвертый сидит, погрузившись в глубокое кресло. Да, но кто же они? Вот отец. Засунув руки в карманы рабочего халата, он разглядывает что-то, не то задумчиво, не то с нетерпением... Хольт, незамеченный, прошел в смежную комнату и уселся на стул. Их тут много стояло вокруг большого овального стола.

Дверь осталась полуоткрытой. Может быть, среди этих людей находится и Шнайдерайт? Незнакомые громкие голоса. Кажется, спорят о чем-то? Отец в досаде выходит из комнаты.

— Коллега Бернгард опять встал с левой ноги! — бросает он через плечо.

«Бернгард... доктор Бернгард. Минуту. Конечно, это он. Тот, в непромокаемой куртке, тощий и лысый. Вечно брюзжит. Так говорит Гундель. Он и сейчас брюзжит...»

— Вы желаете, чтобы я восстановил этот дерьмовый трубопровод между котельной и корпусами? С меня хватит. Я вам не кули, я химик-технолог, господин Мюллер!

«Ага, значит, человек в кресле, с незажженной сигарой во рту — Мюллер». А Бернгард стоит, наклонившись к нему, и злобно шипит:

— Проживу и без вашей развалины. У меня дома крольчатник!

«Интересно, кто это рядом с ним, пониже ростом, темноволосый? Ага, правильно, доктор Хаген, инженер-химик, его сразу можно узнать по логарифмической линейке, которая торчит из нагрудного кармана его халата».

— Да не устраивайте вы скандала из-за ерундового трубопровода. Вы же специалист в этом деле,— восклицает доктор Хаген.

Бернгард поворачивается к двери, доктор Хаген бросается за ним следом, и вдруг безо всякой видимой связи Бернгард говорит:

— Прочтите, господа, соглашение, которое победители подписали в Потсдаме. Прочтите! Прочтите! Теперь нам конец! Как культурный народ мы больше не существуем. С нас сдерут последнюю рубашку.

Трах! Дверь с треском захлопнулась. «Конец,— звенело в ушах у Хольта.— Не существуем!»

■

Только Мюллер остался на месте. Хольт видел его острый желтый профиль. Мюллер продолжал работать. Страна лежит в развалинах, с людьми покончено, а этот человек работает, диктует письма, отдает распоряжения. Очевидно, он дал объявление о найме, в коридоре уже ждут трое каких-то господ...

Первым претендентом оказался высокий стройный человек лет пятидесяти. Он вошел, сняв шляпу и перекинув через руку светлый плащ.

— Доктор Риттер...

Риттер сел. Фрейлейн Герлах принялась заполнять анкету. Хольт чуть подался вперед, чтобы лучше видеть. «Доктор Риттер,— повторил он про себя...— Прямой, чопорный, очень холеный, с безупречными манерами. А Мюллер, кажется, был слесарем или токарем?»

— Да, переселенец,— сказал доктор Риттер.— Инженер-строитель.— Через дверь доносились только обрывки фраз.— До сих пор единолично... Руководил собственной фирмой... Да, монтировали установки и для химических заводов... Велика ли была моя фирма? Не очень. Скорее, небольшая... От шестидесяти до семидесяти рабочих и служащих... Когда мы вели работы за пределами рейха, приходилось, разумеется, дополнительно нанимать сезонных рабочих.

— Разумеется, дополнительно сезонных рабочих,— повторил Мюллер.

— ...Сейчас на голом месте...— послышался опять голос доктора Риттера,— все потерял — фирму, два земельных участка, все!

— Вы были членом фашистской партии? — спросил Мюллер.

«Сейчас он его поймает»,— подумал Хольт.

— Нет. Я никогда не состоял в национал-социалистской партии... всегда был либерален... И никого из моих сотрудников не принуждал вступать в партию...

— Благодарю вас,— сказал Мюллер.— Мы пришлем вам ответ по почте.

«Повезло,— решил Хольт.— Никто не был фашистом... Гундель говорит, что, оказывается, фашистов вообще не было... Хаос, миллионы мертвецов, миллионы бездомных, а вот доктор Риттер, понимаете ли, ни при чем...»

— Текст обычный,— сказал Мюллер.— И припишите: можем использовать вас в качестве подсобного рабочего на строительстве.

Хольт подскочил. «Потрясающе!» Он вспомнил: Мюллер — коммунист. Коммунист разделался с доктором Риттером...

— Следующий, входите!

Вошел человек лет шестидесяти, низенького роста. Очки в никелевой оправе, глаза чуть навыкате.

— Блом. Очень вам благодарен.

Он сел. Волосы серые, костюм серый, да и весь он какой-то серый и незаметный. Голос Блома звучал печально.

— Вы ищете начальника отдела строительства, предпочтение переселенцам? — Он несколько оживился.— Я с полной ответственностью заявляю, что вполне подхожу для этой должности.

— Разумеется, вы никогда не состояли в фашистской партии? — как бы вскользь заметил Мюллер.

«Конец»,— решил Хольт.

Блом весь съежился:

— Нет, состоял...

«Разумеется,— подумал Хольт.— Кто-то все-таки должен был в ней состоять. Хоть несколько человек. Сейчас Мюллер разделается с этим типом».

Мюллер потер подбородок.

— Но вы не были активным фашистом?

«Играет с ним как кошка с мышкой!» — решил Хольт.

— Нет, был, комендантом бомбоубежища. И ходил с кружкой, собирал пожертвования на нужды партии.

— Вас принудили вступить в нее? Это практиковалось. Не добровольно же вы стали фашистом.

«Нарочно мучает его». Хольт припомнил, что ему рассказывала Гундель: Мюллер просидел много лет в концентрационном лагере...

Блом совсем сгорбился.

— Я вступил в партию добровольно, еще в 1935 году. Я... я во все верил.

— Верили? — переспросил Мюллер.— Во что же вы верили?

— Во-первых, меня очень привлекало это... это освобождение от налогового рабства. Я думал, что этот... как его, Гитлер, сумеет многое изменить и исправить... Мир отвратителен и уродлив, и нам, маленьким людям, в нем скверно приходится! — Блом воодушевился.— Как вы думаете, почему я не получил доцентуру, хотя целых двенадцать семестров изучал математику у таких учителей, как Дедекинд и Кантор, и написал работу по теории чисел? Только потому, что в мире действует закон, согласно которому богатство ценится дороже таланта. Я чувствовал в себе призвание к математике. Я прирожденный человек чисел.

Расстегнув куртку и вытянув поудобнее ноги, Мюллер слушал Блома, не прерывая. А Блом все рассказывал — об инфляции, о сбережениях, которые превратились в ничто, о том, как испарилась его последняя надежда получить доцентуру, как пришлось начать все сначала. Он взялся изучать строительное дело, но у него не было средств, чтобы учиться. И он работал каменщиком, постепенно дошел до прораба, пока, наконец, не получил диплом архитектора...

— Архитектора? — переспросил Мюллер.— Мне показалось, что вы инженер-строитель или математик. Как же это вы стали архитектором?

Блом вынул документы. Да, он действительно инженер, специалист по строительству мостов и надземных сооружений, имеет также опыт в земляных и подземных работах. Но, кроме того, он еще архитектор и математик.

— И уж это, позвольте мне сказать, по призванию. Может быть, нужны рекомендации? В вашем городе проживает доктор Эберсбах...

— Эберсбах? Вы его знаете?..

— Лично нет.— Но что это вдруг случилось с Бломом? Незаметный, маленький человечек весь преобразился, расцвел. Выражение гордости и страсти осветило его лицо.— Лично нет. Но в 1916 году я полемизировал с Эберсбахом в «Анналах математики». Спор шел о ложном толковании теории рекурсивных функций со стороны интуиционистов, принижавших значение классического анализа. Правда, Эберсбах скоро отошел от их точки зрения...

— Достаточно! Нам надо проложить километр труб для парового и водяного отопления, от котельной до этого корпуса, здесь мы теперь вырабатываем сульфамиды. Старый трубопровод разбомбило. Сможете вы это сделать?

— Несомненно!

— Но у нас нет напорных труб,— предупредил его Мюллер.

— Значит, надо найти выход из положения,— ответил Блом.

— Такой ответ мне по душе,— воскликнул Мюллер.

И Хольт увидел, что Блом — фашист, который верил всему, который был комендантом бомбоубежища и сборщиком пожертвований, что этот Блом выплыл. Мюллер, оказывается, и не думал играть с ним в кошки-мышки. Он вовсе не собирался ни мучить его, ни мстить, ни разделываться с ним. Ничего подобного! Мюллер дал Блому возможность выкарабкаться. «Возможность»,— подумал Хольт, и его охватила надежда. Но Хольт не был ни инженером, ни архитектором, ни математиком. Он умел только стрелять, колоть да немного разбирался в морзянке. Обломок кораблекрушения, выброшенный на берег.

■

Впервые Хольт шел по заводской территории. От заводоуправления до самой речушки тянулись развалины. Скрюченные стальные остовы, покрытые ржавчиной, склонились над горами щебня, среди них высились оросительные башни разбомбленного завода. В развалинах копошились люди. Женщины в платках разгребали кирпичи. На расчищенном участке виднелись взорванные рельсы. Мужчины, раздевшись до пояса, забрасывали землей воронки. По ту сторону колеи, там, где в небо поднимался каркас сгоревшего цеха, уже шла стройка. Сощурившись, Хольт смотрел на каменщиков, которые возводили стены. Шнайдерайт был каменщиком.

Хольт присел на железную балку и уперся локтями в колени. К нему подошел какой-то человек. Мюллер. Хольт встал. Впервые он видел его так близко. Мюллеру можно было дать лет шестьдесят. Сухощавый, высокий, пожалуй, не ниже профессора Хольта, ужасающе худой. Брюки подпоясаны ремнем, под старой курткой торчат острые плечи. Казалось, с его жилистых рук содрано мясо до самых костей... Волосы седые и редкие, щеки запали, нос заострился. Хольт никак не мог оторваться от этого лица, мертвенно-бледного, несмотря на загар. Только светлые глаза и живой взгляд свидетельствовали о том, что Мюллер гораздо моложе, чем кажется. Хольт знал, что он неизлечимо болен. Этот истощенный человек решительно кого-то ему напоминал... На отвороте куртки Мюллер носил значок — красный треугольник, острием вниз... Когда Хольт видел этот значок? Когда и где?

Мюллер протянул ему руку.

— Как поживаем, Вернер Хольт? Уже на ногах, вот и хорошо! — Мюллер говорил тихим, даже ласковым голосом, слегка запинаясь.— Строите планы на будущее?

— Планы...— Хольт пожал плечами.

— Наберитесь-ка раньше сил! — посоветовал Мюллер. Он ободряюще кивнул и пошел было дальше, но Хольт сказал:

— Просто... взять да переключиться! Это не всякий умеет.

Мюллер вернулся.

— Вы долго болели. За эти недели произошло многое. Атомная бомба, Берлинская конференция, суд над Герингом и его сообщниками... Почитайте газеты. Вы должны узнать, что происходит в мире, во всем разобраться. Надо переучиваться.

Атомная бомба. Берлинская конференция. Суд над Герингом... Да, Хольт очень долго был отрезан от мира. Но земля по-прежнему вертится. Жизнь крепко держала его в своих лапах, она не отпускала его ни на шаг, она опять расставила ему силки. Узнать, разобраться, переучиваться... Нет, на этот раз Хольт перехитрит жизнь. На этот раз его уже не поймают на приманку, ни на какую, никто! Он упрямо сжал губы.

— Подождем,— сказал Хольт.— Сперва оглядимся.— Он почувствовал на себе испытующий взгляд Мюллера и сразу потерял уверенность.

— Сходите на собрание антифашистской молодежи,— сказал Мюллер все так же приветливо.— Посмотрите, что у них делается. Вас может взять с собой Гундель. А если хотите, я скажу товарищу Шнайдерайту...

■

В тот же день под вечер Хольт ждал в сквере Гундель. В ящике с песком играли дети. По мостовой со звоном неслись переполненные трамваи. Хольт, прищурившись, смотрел на солнце. Желто-красный диск медленно опускался за городом в слоистый туман. Кто-то сел рядом на скамью.

Глаза его слепило. Но Гундель он разглядел сразу. Она сидела рядом, в том же пестром, выцветшем летнем платьишке, в котором он увидел ее первый раз. Волосы у нее были каштановые, глаза — карие. Кажется, она подросла, кажется, руки у нее уже не такие худые, а плечи не такие угловатые, как раньше. Но улыбка и выражение лица те же... И все-таки разве эта обретенная вновь Гундель, сидящая вот здесь на скамье, разве она походит на ту, другую, которая жила в его воспоминаниях? Он пристально посмотрел ей в лицо. Во время болезни из вечера в вечер Хольт видел перед собой это лицо. Он выучил его наизусть. Даже закрыв глаза, он видел каждую его черточку. Крошечные веснушки на переносице, ямочки, когда она улыбается, на правой щеке большая, а на левой поменьше, завитки на висках... Но в эту минуту лицо ее казалось ему изменившимся, даже чужим.

Гундель пришла прямо после смены. Она работала на прядильной фабрике, которая по заданию оккупационных властей выпускала хлопчатобумажную пряжу. Жила она неподалеку, в фабричном предместье Мёнкеберг, в жалкой мансарде.

— Что это ты так меня разглядываешь? — спросила Гундель, придерживая зубами черную бархатную ленту и убирая обеими руками волосы со лба. Потом повязала голову лентой и распустила волосы.— До тридцатого,— сказала она, искоса взглянув на Хольта,— все обязаны перекрасить военную форму. Об этом напечатано в газетах.

— Мне бы их заботы! — съязвил Хольт, но увидев, как она на него посмотрела, быстро добавил: — Хорошо, хорошо. Пойдем к твоей антифашистской молодежи. Ты довольна?

— Только, пожалуйста, не ради меня.

— Нет, ради тебя! Только ради тебя! Мне и в гитлерюгенде осточертело.

— Не смей так говорить! — вскричала Гундель.— Ты прекрасно знаешь, что мы совсем другие.

— Возможно,— согласился он.— Сперва направо, потом налево. Но я так быстро поворачиваться не умею. Давай пройдемся еще немного.— Он встал.— Профессор предписал мне побольше бывать на воздухе.

Она пошла рядом с ним по шоссе. Они свернули на дорогу, полого поднимавшуюся меж садов. Открылся вид на долину, на город, подернутый туманом. Внизу простиралось море домов. Море развалин. Хольт остановился. Вот так же простирались перед ним Гельзенкирхен, и Эссен, и Ваттеншейд. Одна и та же картина. Не хватало только башенных копров.

— Ты стал совсем другим,— сказала Гундель, прерывая молчание.

— Чепуха!

Дорога шла через рощу, среди сосен и кустарника. Хольт выбрал сухое место на опушке. Они сели.

— Ошибаешься,— Хольт очертил рукою круг.— Не я, мир стал другим.— Он вытянулся на траве.— Просто меня несло течением, а теперь выбросило на берег в чужой, незнакомой местности.

— Пусть так,— возразила Гундель,— пусть это даже совершенно незнакомая местность. Все равно надо встать и оглядеться!

Он привстал и обвел взглядом рощу. В кустах валялись ржавые останки сгоревшего грузовика, на опушке виднелось несколько деревянных крестов с нахлобученными на них стальными касками...

— Все, что я считал действительностью,— заговорил Хольт,— оказалось призраком, иллюзией, все лежит в развалинах. А та действительность, которая сейчас окружает меня,— до нее мне нет никакого дела.

Гундель задумчиво обрывала лепестки цветка.

— Если бы все думали, как ты, у нас в городе не было бы ни воды, ни газа, ни света. И трамваи бы не ходили, и никто бы не пек хлеба.

— Правильно,— согласился Хольт.— Но водопровод чинить я не умею, в трамваях ничего не смыслю, печь хлеб тоже не способен.— Он поднялся и отодрал репейник со штанов.— Как видишь, я просто лишний, бесполезный человек. Только и умею, что стрелять да выстукивать морзянку. Ничему другому меня за всю мою жизнь не научили.— Хольт засунул руки в карманы и посмотрел на солнечный диск, пылавший над гребнем холмов по ту сторону города.— В лагере мы боялись, что нас передадут французам. Ходил слух, что они загоняют всех в иностранный легион.

Гундель тоже приподнялась. Он подал ей руку и помог встать.

— Сапожник, знай свои колодки,— сказал он.— Иностранный легион был бы, в сущности, только логическим выводом.

Он все еще держал Гундель за руку. Она подняла голову и посмотрела на него серьезно, беспомощно, и он узнал в ней прежнюю Гундель.

— Я думал, ты забыла меня.

— Я забыла тебя?

Хольт взял ее голову обеими руками.

— Мне казалось, что ты уже не та.

Она закрыла глаза. Его губы коснулись ее губ.

— Но это ты, правда ты!

— Не говори больше... об иностранном легионе... Хорошо?

— У меня никого нет,— сказал Хольт.— У меня есть только ты.

Она обняла его.

— Возьми себя в руки, я так боюсь за тебя!

Хольт поцеловал ее в губы. Губы были все те же.

Они пошли вниз. Сумерки пеленой опускались на город в долине. Здесь, наверху, под оранжевым небом, было еще светло.

Гундель по-прежнему держала в руке сорванный цветок.

— Интересно, как растет такой вот цветок,— сказала она, отбросив стебель.

Хольт ничего не ответил и взял Гундель под руку. Казалось, он оглушен ее близостью.

— Пойдем,— сказал он.— Пойдем куда-нибудь... в кафе.

— Что ты! Мне надо на собрание. Хорст Шнайдерайт уже ждет,— и Гундель прибавила шагу.

Он шел за ней, уничтоженный. Сумерки сгустились. Похолодало. Его знобило.

■

Барак стоял среди обугленных штабелей досок и горелого мусора. Окна были забиты листами картона. При свете свечи на садовых стульях и скамейках сидели юноши и девушки. Собралось человек двадцать. Все они знали Гундель. Все пожимали ей руку. Хольт уселся в сторонке.

К нему подошел юноша лет двадцати двух — двадцати трех. Правая нога у него была ампутирована, он передвигался на больших костылях. Неправильные черты лица, длинные светло-русые волосы, падающие на лоб, маленькие, светлые, глубоко посаженные глаза, которые почти сходились на переносице, левое ухо торчком. Его потертая военная форма была уже перекрашена.

— Гофман! — представился одноногий.

Хольт, смущенный и растерянный, не двигался с места.

— Я был, правда, только обер-выпивохой, но ты можешь спокойно назвать мне свое имя! — грубым голосом добавил Гофман.

Гундель торопливо подошла к ним, за нею остальные. Молодые незнакомые лица окружили Хольта. Гофман крепче оперся на правый костыль и, подняв левый, указал им на Хольта:

— Может, мы недостаточно хороши для тебя? — сказал он все тем же грубым тоном.— Что ж, поищи себе компанию получше!

Хольт поднялся. В эту секунду дверь распахнулась. Все повернули головы.

В барак вошел молодой парень, высокий, широкоплечий. Остановившись в дверях, он вопросительным взглядом обвел присутствующих, еле освещенных пламенем свечи. Потом, не поворачиваясь, ногой затворил дверь и спросил густым басом:

— Что тут у вас происходит?

В его голосе, в огромной фигуре, во всем его облике было что-то решительное, властное, что-то, показавшееся Хольту грубым и жестоким. И прежде чем ему сказали, кто этот человек, он знал: перед ним Шнайдерайт, каменщик Шнайдерайт. Он подошел к Гундель, и Хольт услышал его голос, который стал вдруг удивительно нежным:

— Хорошо, что ты здесь. Я ждал тебя у фабрики и думал, ты уже не придешь.

— Новичок,— сказал Гофман, показывая опять костылем на Хольта.— Очень важная персона. Не желает назвать себя! — И, обратившись к остальным, добавил: — Мы, видите ли, недостаточно для него благородны.

— Ну-ка, прекрати! — оборвал его Шнайдерайт и повернулся к Хольту. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

Хорсту Шнайдерайту минуло двадцать один. Узкое, резко очерченное лицо со сросшимися на переносице бровями казалось еще смуглее от иссиня-черной щетины. Две глубокие вертикальные складки прорезали лоб. У него была манера дерзко и вызывающе вскидывать голову.

Оба сразу почувствовали: между ними нет и не будет ничего общего.

Четыре года Шнайдерайт провел за тюремной решеткой. После 22 июня 1941 года отец и сын Шнайдерайты организовали саботаж на военном заводе. Отца, рабочего-металлиста, приговорили к смерти и казнили. Сейчас Шнайдерайт жил у матери, которую Советская Армия освободила из тюрьмы.

— Это Вернер Хольт,— сказала Гундель.

Шнайдерайт молча пожал ему руку. Кольцо вокруг них разомкнулось. Хольт сел на прежнее место. Он увидел на куртке Шнайдерайта тот же значок — красный треугольник.

Шнайдерайт взял Гундель под руку, отвел ее в сторону и что-то сказал. Она утвердительно закивала и улыбнулась. Невыносимая горечь захлестнула Хольта.

В бараке стало совсем тихо. Все уселись вокруг Шнайдерайта. Он вынул несколько исписанных листков и принялся читать. Хольт слышал слова, но смысла их не понимал. «Задачи молодежных комитетов... ни один человек не должен оставаться в стороне... разъяснять молодежи грабительскую сущность фашистской войны... финансовые магнаты... губительные последствия расизма... демократия. Еще и еще раз демократия...» И потом: «Самое важное сейчас — единство рабочих».

Хольт смотрел на пламя свечи. Его душило разочарование. Он здесь чужой. С трудом он заставил себя встать и выйти из барака.

■

Рабочий день на заводе часто длился десять, а то и четырнадцать часов. После работы профессор и его сотрудники ужинали за общим столом. Хольт и Гундель, если только она бывала вечером у них, ужинали вместе со всеми.

Фрау Томас, бывшая заводская уборщица, вела хозяйство профессора. К ужину она накрывала в конференц-зале. Сегодня, как и всегда,

она не пожелала сесть за стол. «Нет уж, что не полагается, то не полагается». Зато истории о взломах, убийствах и грабежах или уж на худой конец о спекулянтах и черном рынке она рассказывала с большим удовольствием.

— Стефан из котельной, вы ведь знаете его,— сообщила фрау Томас, подавая миску жареного картофеля,— так вот он отправился мешочничать, добрался до самого Ангальтского вокзала, а тут на станции у него все и отобрали.

— Да, это грустно! — заметил доктор Хаген, которого фрау Томас особенно уважала, как самого благодарного своего слушателя. Но Мюллер разозлился:

— Зато кулаки скоро не будут знать, куда им деваться со всеми простынями, радиоприемниками и швейными машинами.

Хольт сильно проголодался. Он быстро проглотил ужин и теперь с полным безразличием смотрел на окружающих. Гундель не пришла. Она осталась со своей группой в бараке. А здесь все ему чужие — отец, Мюллер, доктор Хаген и доктор Бернгард — лысый технолог с лошадиным лицом. Разве что новенький, Блом, кажется не таким чужим.

Доктор Бернгард брюзжал, как обычно.

— Вы говорите, сырье?— громко спросил он кого-то из присутствующих.— Я знаю только, что у нас нет сырья.— Он беспрерывно вмешивался в разговор, все так же громко и брюзгливо:— Да, господа, я предсказываю полнейшую разруху! Ждать нам не от кого и нечего, а уж от русских тем более! Как известно, нищий нищему не подмога!

Хольт закурил. Какие большие серые глаза у доктора Бернгарда! И как он скалит свои крепкие желтые зубы, обращаясь к Мюллеру! Однако Мюллер и не слушает его. Удобно устроившись в глубоком кресле и посасывая незажженную сигару, он беседует с доктором Хагеном.

— Меня вы не переубедите,— говорит Мюллер.— У нас здесь в горных реках уже лет тридцать не водится хариус. А в Вайсенгрунде его никогда и не было. Эта речушка — царство форелей. Я сам ловил там прекрасную форель прямо на удочку.

Хаген, смуглый, похожий на южанина, с интересом слушал своего собеседника. Но Мюллер посмотрел на часы и поспешно вышел из комнаты.

В открытое окно подул вечерний холодок. Профессор набил трубку. Как видно, им надо было еще кое-что обсудить...

Мюллер вернулся с пачкой бумаг под мышкой. Прежде чем войти, он протолкнул в дверь молоденькую девушку. Доктор Бернгард развернулся:

— Разве ты не могла позвонить мне по телефону? Теперь дожидайся!..

Девушка поздоровалась с профессором, затем с остальными и, наконец, робко подойдя к Хольту, протянула ему руку. Дочь Бернгарда, Карола. Хольт почувствовал головокружение. Не иначе, как от этой крепкой русской сигареты с золотым мундштуком, которой его угостил отец. Карола Бернгард пристально смотрела на Хольта серыми, как у ее отца, глазами. Она была, вероятно, ровесницей Хольта и, пожалуй, одного с ним роста. Зеленое узкое платье плотно облегало ее. Волосы у нее были цвета темного золота.

— Почему папа так сердится?— спросила она детским голоском.

Впрочем, это было сказано так, в пространство, она и не ждала ответа.

— Я уже слышала, что вы вернулись домой. Вы были очень больны. Но я так надеялась, что вы скоро поправитесь. Вам, наверное, пришлось пережить много тяжелого.— Она болтала, не умолкая, выразительно под-

черкивая отдельные слова.— Мне так жалко всех молодых солдат, которые возвращаются сейчас домой.

Хольт молча курил.

— Я вас так хорошо понимаю,— слышал он.— Я только что прочла «Возвращение» Ремарка.

Хольт пристально глядел ей в глаза, покуривая сигарету. «Чепуха,— думал он,— пустые слова и только...»

В другом конце комнаты снова послышалось обиженное брюзжание доктора Бернгарда:

— На сегодня с меня хватит. Разрешите откланяться. Карола, едем!

Хольт проводил Каролу на улицу, где стояла тарахтящая малолитражка Бернгарда. Они попрощались. Ему страшно было возвращаться в свою неуютную комнатушку. Он долго смотрел вслед машине. Красные огни угасли в темноте.

2

По утрам Хольт регулярно встречался с отцом за завтраком в одной из мансард под крышей заводоуправления, где оборудовали и личную лабораторию профессора — здесь он обычно работал часа два перед завтраком. Профессору минуло шестьдесят три года. Широкоплечий, большой, он скорее походил на крестьянина, чем на ученого. Волосы над его высоким угловатым лбом были совсем белыми. Складки вокруг рта обозначились еще резче, чем год назад, они придавали его лицу характерное выражение.

Однажды утром профессор отложил газету, которую читал за завтраком, и повернулся к сыну. Хольт молча хлебал варево из сечки, подслащенное сахарином, заедая его черствым хлебом. Наконец он отодвинул тарелку, и профессор налил ему какой-то напиток, по виду напоминавший какао.

— Что это такое, кола?— спросил Хольт.

— Продукт, добываемый из семян Sterculiacee, семейства кола,— разъяснил профессор.— Встречается на юге Западной Африки. Семена содержат около полутора процентов алкалоидов, в основном кофеина, в виде гликозида коланин. Напиток действует возбуждающе, как кофе. Впрочем, на вкус он хуже.

Педантически подробный ответ привел Хольта в раздражение. Эта дрянь казалась ему очень невкусной. Однако он быстро притерпелся к ней.

— Дай мне, пожалуйста, закурить,— попросил Хольт.— Кстати, у меня нет ни пфеннига.

Профессор открыл ящик письменного стола и положил перед сыном несколько кредиток и две пачки сигарет.

— Много не кури!

Хольт сразу же закурил. «Обращается со мной, как с мальчишкой,— думал он.— Лучше бы мне не приезжать сюда. Но ведь я приехал к Гундель, а не к отцу. При случае обязательно скажу ему это».

Профессор вынул из кармана листок и протянул сыну. «Полная средняя школа, Грюнплац, директор д-р Эберсбах»,— прочел Хольт.

— Можешь сослаться на Мюллера,— сказал профессор.— Занятия начинаются первого октября.

Хольт вертел листок в руках.

— С чего ты взял, что я собираюсь учиться в школе?

Профессор помолчал.

— Твоя мать писала мне, что намеревается до конца войны пробыть в Гамбурге. Когда ты в последний раз имел от нее письмо?— неожиданно спросил он.

— Если бы я хотел поехать к матери, то от Крёйцнаха мне было совсем близко.

— Знаю,— сказал профессор.— И рад, что ты приехал ко мне.

— Я приехал не к тебе,— перебил его Хольт.— Я надеялся застать здесь Гундель. Вот и все.

Складки на лице профессора обозначились резче. Он устало протер глаза. Но в Хольте уже проснулась злость. Ему захотелось уязвить этого старого нелюдима, человеконенавистника.

— Что касается Гундель,— сказал Хольт,— ты, конечно, можешь опять упрекнуть меня в «тяге к простонародью».

Много лет назад он действительно слышал эти слова в родительском доме. И теперь со злорадством их повторил. Профессор не помнил, произносил ли он что-либо подобное. Возможно, когда-нибудь и произнес или по крайней мере не возразил, услыхав эти слова. Он набил трубку и спокойно сказал:

— За последние годы у меня было достаточно времени пересмотреть мои ошибочные взгляды.

— Пока ты пересматривал свои ошибочные взгляды,— Хольт вскочил,— я из-за этих взглядов рисковал своей шкурой.— И, не сказав больше ни слова, он вышел из комнаты.

■

Хольт с утра до вечера бесцельно бродил по городу. Иногда он часами стоял на мосту и глядел на маленькую речушку, на грязную, покрытую нефтью воду.

Прошло несколько дней после ссоры с отцом. Его вызвали в дирекцию.

Отец и фрейлейн Герлах были уже там. Хольт остановился в дверях и снял фуражку. Профессор сидел у окна за письменным столом.

— Ты совсем не приходишь к завтраку,— начал отец безо всяких предисловий.— Я вообще не вижу тебя. Когда ты, наконец, явишься в школу? Занятия уже идут.

Но Хольт вовсе не намеревался выслушивать приказы.

— С чего ты взял, что я собираюсь учиться в школе?— спросил он в свою очередь.

Профессора ждали на заводе. Через час он должен был ехать с Мюллером на совещание в комендатуру. Ему нужно было продиктовать еще несколько срочных писем и дождаться вызова по междугородному телефону. Он сказал:

— Аттестат зрелости — лучшее разрешение вопроса. К тому же это избавляет нас от необходимости решать сейчас трудный вопрос о выборе для тебя профессии.

На лице Хольта появилось упрямое выражение. Профессор продолжал с явным нетерпением:

— Кроме того, ты выздоровел, и тебе нужна справка с места работы для получения продовольственной карточки.

— Фрейлейн Герлах подписывает каждый месяц столько справок, что ей ничего не стоит подписать еще одну.

Профессор встал.

— Нет,— сказал он.— Нет! — повторил он сурово, видя, что Хольт намеревается возражать, и стукнул ладонью по столу.— Я не потерплю, чтобы на моем предприятии выдавали ложные справки. А теперь ступай и изволь явиться в школу.

Хольт направился к двери. Он уже взялся за ручку, но вдруг вернулся к столу, за которым сидел отец. Он был бледен и несколько секунд не мог заговорить от волнения.

— Я не пойду в школу,— сказал Хольт тихо, но внятно,— и не пытайся мною командовать. Это бесполезно! Можешь вышвырнуть меня на улицу. Сейчас же! Да, вышвырнуть меня ты можешь, но...— он весь затрясся и, перегнувшись через стол, закричал,— но командовать мной ты не смеешь! И никто больше не посмеет... Никогда!

Он долго бродил по городу. Возбуждение его улеглось, он пробовал поразмыслить. Как ему жить дальше? Неужели и впрямь усесться за парту рядом с шестнадцатилетними? Постой, кажется, он читал в газете, что открываются специальные классы для участников войны?

Хольт пошел в Мёнкеберг на Грюнплац, где ждал иногда Гундель. За каштанами — их пестрая листва уже покрыла газоны и дорожки — высилось трехэтажное здание с широким порталом, к которому вела пологая лестница. Школа нисколько не пострадала от бомбежки. Хольт постоял в раздумье и нерешительно отворил двери. Кто-то схватил его за рукав.

— Стойте! Вам куда?

Перед ним вырос сторож в синем рабочем комбинезоне, низенький, лысый, со злым лицом.

— Узнать? А по какому делу? Стой!— заорал он.

Но тяжелые двери уже захлопнулись за Хольтом.

В коридоре первого этажа стоял гул. Хольт насилу протолкался между ребятишками и подростками, которые группами прогуливались во время перемены. «Стой!» — услышал он за собой опять и, только взбежав на второй этаж, почувствовал себя в безопасности. Шум перемены лишь глухо доносился сюда с первого и с третьего этажей. Несколько девочек чинно прохаживались по коридору. Кроме них здесь никого не было. Хольт принялся читать таблички на дверях: «Секретариат директора», «Учительская», указатель: «В актовый зал»... Все — начиная от натертого до блеска пола, кончая стандартными табличками на дверях — дышало порядком и дисциплиной.

Хольт совсем оробел. В открытое окно виднелись коричнево-красные кроны каштанов. Вытащив сигарету, он закурил, потом раздавил пальцами потухшую спичку. Нет, он совершенно напрасно заставил себя принять решение. Человек, вернувшийся из хаоса, не сможет подчиниться школьной дисциплине.

За спиной у него послышался шепот и смех.

— Здесь курить воспрещается!— сказал звонкий голос.

Хольт обернулся. Вокруг него, взявшись под руки, стояли шесть или семь девочек. Щеки их так и рдели от смущения. Всем этим девочкам с короткими и длинными, светлыми и темными волосами было лет по пятнадцати, не больше. Одеты они были по-разному — и в юбки с кофтами, и в платья, и в лыжные штаны с пуловерами. Прижавшись друг к другу и поглядывая на Хольта, они перешептывались и хихикали.

Хольт озадаченно сосал сигарету. Почувствовав, что краснеет, он уставился на одну из девчонок. Совсем еще малышка, худенькая, длинноногая, с русыми волосами. Она тоже посмотрела на него своими голубыми глазами, испуганно и слишком долго. Наконец девочка опомнилась и с наигранной гордостью вскинула голову...

— Как он на тебя смотрит, Анжелика!— сказала одна из подружек, и снова все захихикали. В эту минуту из-за угла выскочил сторож.

— Посторонним лицам вход воспрещается! Что вам здесь надо?

Хольт швырнул окурок в окно, пересек коридор и вошел в секретариат. Женщина в черном халате, ссутулившись, сидела за пишущей машинкой и печатала. Раздался звонок. Конец перемены. Секретарша продолжала печатать. Не поднимая глаз, она произнесла голосом мученицы:

— Я занята!

Хольт ждал. Он ждал долго.

— Господин директор завален работой,— сказала женщина, по-прежнему не отрываясь от машинки.

Наконец она все-таки встала, прошла в соседнюю комнату и, вернувшись, объявила:

— Прошу вас!

Просторная комната. Письменный стол. За столом, плавая в табачном дыму, сидел сгорбленный человек и курил длинную изогнутую трубку. Ему можно было дать лет шестьдесят, не меньше. По обе стороны сияющей лысины торчали клочки седых волос. Старик читал газету. На нем был костюм кофейного цвета. Брюки на коленях пузырились, на локтях блестели кожаные заплаты «сердечками». На ногах у него красовались желтые фетровые ботики. Его длинное лицо, изрытое морщинами и складками, светилось необыкновенным довольством, как и карие глаза под лишенными ресниц веками. Трубка, свисавшая из большого рта, доставала до груди.

Хольт растерянно замер в дверях и представился. Старик вынул трубку изо рта, отложил газету и сказал низким голосом с чистейшим саксонским акцентом: «Эберсбах», что прозвучало как «Эвершбах». Он внимательно посмотрел на Хольта, и парень, очевидно, показался ему забавным, потому что старик подмигнул ему и сказал:

— Ну и чудак!

— Господин обер-штудиен-директор!—начал было Хольт, но Эберсбах постучал себя кончиком трубки по лбу и решительно прервал его.

— Э, нет, так у нас не пойдет. Титулы у меня вообще не в ходу, любезнейший. Я знавал когда-то вдову одного дворника. Так она величала себя: вдова обер-адъюнкта-коммунальной-службы-при-городском-самоуправлении.

Хольт не знал, смеяться ему или сердиться.

— Я вернулся с войны и хочу опять поступить в школу.

Эберсбах сунул трубку в рот, прошлепал в своих желтых ботиках к окну, посмотрел на термометр и сказал:

— Пятнадцать градусов по Цельсию. Вы тоже мерзнете?

— Я хочу поступить в школу,— упрямо повторил Хольт.

Эберсбах смерил его взглядом с головы до ног.

— Мало ли кто может сюда прийти!..

— Меня послал Мюллер,— сказал Хольт.

— Мюллер?— переспросил Эберсбах, явно заинтересовавшись.— Красный Мюллер?— Он энергично покачал головой.— Враки. Что, ему делать больше нечего?

— А вы позвоните ему!— сказал Хольт.

Старик выпустил облако дыма и вынул трубку изо рта.

— Позвонить, говорите? Хорошо, уж как-нибудь я с ним встречусь. Смотрите, если вы наврали! Фрау Линке!—крикнул он. Вошла секретарша.— В класс «В»,— распорядился Эберсбах.— С испытательным сроком.— Он уселся за стол, взял газету и сказал, обращаясь к Хольту:— А теперь убирайся. Я занят!

Очутившись в тихом коридоре, Хольт остановился. Позади отворилась дверь. Из учительской вышел человек лет сорока, плотный, среднего роста. На нем был штатский костюм, перешитый из выкрашенной военной формы, с безукоризненно отутюженными складками на брюках. Темно-русые волосы его поседели на висках, множество морщин и морщинок прорезали озабоченное лицо. Увидев Хольта, он в первый момент замер, словно не веря своим глазам, даже в каком-то испуге, и стремительно бросился к нему.

— Хольт,— проговорил он.— Вернер, мальчик мой, вы живы? Как я счастлив!

Чувство счастья захлестнуло Хольта.

— Господин вахмистр...

Готескнехт взял его за плечи.

— С вахмистром, слава богу, покончено. Я — Готескнехт. Просто и скромно. Клеменс Готескнехт.— Сняв руки с плеч Хольта, он сунул правую ладонь за борт пиджака.— А где остальные, Хольт? Гомилка, Вольцов, Фетер? Вы мне расскажете все подробно. Как со здоровьем, все в порядке?— спросил он озабоченно.— Сейчас это самое главное.— Готескнехт сиял.

3

Удивительные ученики собрались в классной комнате первого этажа. Все двенадцать — участники войны, взрослые мужчины, все старше Хольта. Одного из них он встретил с весьма сложными чувствами. Гофмана, того самого, с ампутированной ногой. Нестриженые волосы свисали Гофману на лоб. Он курил вонючую самодельную сигару.

— Я был всего-навсего обер-выпивохой,— громко заявил Гофман.— Но как уместить мои кости на этих детских скамеечках, вот это загадка.

«Лучше держаться в стороне»,— решил Хольт. «Вы» и «ты» слышалось здесь вперемежку. Гофман всем «тыкал».

— Эй, ты, франт,— крикнул он, нацелившись костылем в одного ученика.— Как тебя звать?

Молодой человек с красивой головой и холеными руками, к которому обратился Гофман, был одет гораздо лучше других: пиджачная пара, сорочка, галстук. На его тщательно выбритом лице виднелись следы пудры. Услышав слова Гофмана, он слегка скривил рот и, демонстративно поклонившись остальным, представился:

— Аренс. Эгон Аренс.

— Ишь какой барин! — опять крикнул Гофман.— Красавчик Эгон! Да он, видно, слишком нежно воспитан, чтобы пойти со мной за столами.

— Пожалуйста,— любезно согласился Аренс.— Это ведь и в моих интересах.— Вместе с Гофманом он вышел из комнаты.

У соседа Хольта по парте один глаз был закрыт черной повязкой, а лицо изрезано шрамами.

— Бук,— представился он.— Удален глаз и ранение мозга. Неопасное. Только иногда не владею собой.

Вернулся Гофман. Где-то в подвале он отыскал столы и стулья. Все немедля выбросили свои парты в коридор и отправились в подвал. Перед дверьми их комнаты столпились зрители — ученики других классов. Но тут появился сторож в синем комбинезоне и разогнал всех.

— Стой! Кто разрешил?!

Гофман, который умел устрашающе громыхать костылями, набросился на него.

— Эй ты, сыщик! — заорал он. — Ну-ка, заткни глотку. Столы как раз по нашим габаритам!

Шаркая фетровыми ботиками, к ним подошел Эберсбах с неизменной трубкой во рту. Он быстро разрешил спор.

— Ну и чудак же ты, приятель, — сказал он, обращаясь к сторожу.— Радуйся, что они делают работу за тебя.— Он потянул носом воздух, вынул трубку изо рта и повернул голову к Гофману. Тот, повиснув на костылях, сосал свою сигару.—И дрянь же вы курите!—заметил Эберсбах.

— Если моя сигара недостаточно хороша, отправляйся куда-нибудь в другое место!

Эберсбах покачал головой, потом кивнул с видимым уважением.

— Смотри только не попадись Готескнехту, — предупредил он. — Тот этого не любит. Считает, что у нас всех недостаточно прусская выправка.

Хольт уселся с одноглазым Буком. Позади сидел Аренс, к которому уже прилипла кличка Красавчик Эгон. Он разговорился с Хольтом. Глаза Аренса смотрели холодно и иронически, слова тихо и легко слетали с его губ. Он был сыном мебельного фабриканта и собирался изучать медицину — фабрика должна впоследствии перейти к его старшему брату.

— Если только все фабрики не национализируют, — добавил Аренс. — У моего старика забот сейчас хватает!

Фамилию Хольт он слышал: фабрика Аренса поставляла для лаборатории профессора столы и стеллажи.

— Значит, вы сын профессора Хольта? — в голосе Аренса прозвучало явное уважение.— Нам следует держаться вместе. Заходите ко мне как-нибудь. Это было бы, право, очень мило!

Вдруг все умолкли.

— О молодых учителях и прочем, — произнес чей-то звонкий голос.

На кафедру взобрался рыжеволосый парень лет двадцати четырех. Взяв мел, он написал на доске: «Долой новых учителей!»*

Класс загудел. Человек маленького роста, но атлетического сложения, по фамилии Кинаст,— в свои двадцать пять лет он был уже лысым — внес поправку:

— Долой негодных новых учителей!

Первый оратор не пожелал принять поправку, но Кинаст зашипел на него:

— Мой брат тоже будет новым учителем, скотина ты этакая!

Атмосфера накалялась. Кто-то стер все с доски и написал: «Старьё-учительё, ступайте прочь!»

Одноглазый Бук, тихо и безучастно сидевший рядом с Хольтом, вдруг оживился. Он ткнул себя пальцем в грудь и спросил:

— Хотите? Хотите, я выступлю? Я умею говорить! Я умею произносить речи перед массами, покаянные проповеди, обращения к народу. У меня громадный ораторский талант. Я могу взбунтовать целую толпу. Хотите, я в три минуты взбудоражу весь этот улей? Я знаю толк в массовой истерии! Хорошо, итак — я произнесу речь против старых вонючих учителишек!

Бук вскочил на стол, вздернул, словно марионетка, руки над головой и сжал кулаки. Изрезанное шрамами лицо его исказилось. Срывающимся голосом он проорал:

— Ученики! Ученицы! Освобожденные школьные массы!

— Засохни! — рявкнул Гофман и ткнул его костылем в спину. Потом он проковылял к доске и вытер ее.

■

Дверь распахнулась. Ученики встали. Вошедший поднялся на кафедру. Готескнехт!

— Доброе утро. Садитесь, пожалуйста! — Готескнехт обвел взглядом учеников и, увидев Хольта, незаметно кивнул ему. — Я — Готескнехт, преподаватель немецкого языка и ваш классный руководитель... Говорят, что я слуга господа бога **, но если кто вздумает срывать занятия, тот, пожалуй, сразу убедится, что я слуга самого сатаны...

Не успел Готескнехт произнести эти слова, как Хольту с такой ясностью припомнилась другая сцена, столь похожая и столь отличная от

---

* Имеются в виду учителя, получившие педагогическое образование или закончившие курсы повышения квалификации после 1945 года.

** «Готескнехт» в буквальном переводе — слуга бога.

этой, что он на несколько секунд закрыл глаза. И так же, как тогда, давно, Готескнехт продолжал:

— Я не кричу. Никогда. Только ставлю отметки. От единицы до пятерки. И вам придется считаться с этими отметками, раз вы собираетесь через полтора года получить аттестат зрелости.

Заложив руки за спину, Готескнехт принялся ходить вдоль столов.

— Я надеюсь остаться в этой школе и буду руководить вами до выпускных экзаменов, хотя профиль вашего класса — математика и естествознание. Но преподаватель математики доктор Эберсбах — директор, и он не может взять на себя обязанности классного руководителя. А мне хотелось руководить особым классом, именно таким, как ваш. Я многого жду от вас. — Готескнехт повернулся лицом к ученикам и внимательно оглядел всех по очереди. — Мы все, — сказал он, — плыли в одной лодке. Мы все разделяли общие заблуждения. Мы все несем одинаковую вину. Давайте же попытаемся все вместе в оставшиеся полтора года избавиться от этих заблуждений.

Слова Готескнехта произвели впечатление не на одного Хольта. Неожиданно в наступившей тишине раздалось насмешливое покашливание. Кашлял рыжий Гейслер, который написал на доске «Долой новых учителей».

Готескнехт смерил его взглядом и продолжал:

— Я вовсе не намерен, преподавая немецкий язык, начинять вас целых полтора года сухими фактами. Во время занятий у нас на первом плане будет анализ и критика идей, доставшихся нам в наследство от прошлого. Но для этого требуется ваше активное участие. Мы, немцы, всегда слишком много верили и слишком мало знали. Я буду судить о вас не по тому, что вы зазубрили, а по вашей способности мыслить.

— Мысли свободны, — сказал кто-то. Опять Гейслер.

Готескнехт посмотрел на последнюю скамью.

— Свободны от чего? — спросил он. — Ваши мысли свободны от предубеждений? Сомневаюсь!

— До моих мыслей никому нет дела! — отрезал Гейслер.

— А как обстоит дело с вашим здоровьем? — участливо спросил Готескнехт, и Гейслер, растерявшись, ответил:

— Спасибо... Хорошо...

— В таком случае будьте любезны встать, когда разговариваете с вашим классным руководителем,— спокойно и резко произнес Готескнехт.

Гейслер поднялся со скамьи и вперил глаза в потолок.

— У нас еще будет возможность побеседовать о свободе мыслей,— сказал Готескнехт. — Я не премину в свое время поручить вам, Гейслер, доклад на эту тему.

■

Уроки кончились, но ученики не расходились. Надо было выбрать старосту, который одновременно был бы делегатом в школьном совете. Разгорелся нескончаемый спор. Гофман закурил свою вонючую сигару.

— Давай предложения!

К удивлению Хольта, Аренс предложил избрать Гейслера. Гейслер улыбнулся и, в свою очередь, выдвинул Аренса.

Гофман, который вел протокол, швырнул карандаш и схватился за костыль.

— Эту парикмахерскую куклу! — крикнул он.— Эту напомаженную обезьяну! Да какой это к черту делегат! Так я и дам ему представлять меня!

И Гофман выдвинул собственную кандидатуру.

Все настаивали на тайном голосовании. Решили написать бюллетени и раздобыть урну. Хольту надоела эта комедия. Он вышел в коридор. Нет,

он не обманывал себя. Ему не место в школе. Он припомнил расписание: физика, химия, математика, иностранные языки. Нисколько ему все это не интересно. Мысль о том, что придется день за днем, зимой и летом, просиживать в этом унылом классе, угнетала его. Критика идей, доставшихся нам в наследство!.. Интересно, что разумеет под этим Готескнехт?

К Хольту подошел Аренс.

— А Гофман вульгарный тип, — сказал он. — Вы не находите? Впрочем, он социал-демократ.

По лестнице сбежала девочка, взглянула на обоих и на ходу кивнула Аренсу. Хольт узнал ее. Тяжелые входные двери распахнулись. Ветер растрепал волосы девочки.

— Кто это? — спросил Хольт.

— Баумерт, Анжелика, она живет у нас со своей бабушкой. Это избавило нас от необходимости впустить в дом переселенцев. Хорошенькая малышка, правда? Подрастет, будет красавицей!

Хольт молчал. Он думал о Гундель. Теперь он сможет доложить ей и отцу об исполнении приказа: «Хожу в школу. Зачем, понятия не имею. Но хожу».

— Вот мы опять ходим в школу,— сказал он, обращаясь к Аренсу,— а ведь никто не знает, что с нами вообще будет. Ну не абсурд ли это?

— Знаем мы или не знаем, — возразил Аренс, — это не имеет ровно никакого значения. Пусть еще двадцать раз скажут, что государство германское останется, мы обречены на гибель.

Кто-то вышел в коридор и позвал их. Все готово, можно приступать к голосованию. Каждый получил бюллетень, на котором были написаны четыре фамилии. Хольт взял карандаш, перечеркнул все фамилии толстой чертой и сунул бюллетень в щель, прорезанную в картонной коробке. «Не буду я участвовать в этой комедии»,— решил он.

Старостой выбрали Гофмана.

■

В дождливый октябрьский вечер Хольт встретился с Гундель.

— Что у тебя в школе? — спросила она.

Школа все больше тяготила Хольта. Он совсем не учился и с каждым днем все яснее понимал, как безнадежны провалы в его знаниях. Но по крайней мере отец оставил его в покое.

Гундель шла с ним рядом, в своем коричневом штапельном пальтишке, из которого выросла, и рассказывала всякую всячину. Вчера она восемь часов простояла в очереди за картофелем. Сегодня у нее совсем нет времени.

— Пойдем со мной, — попросила Гундель, — ты нам поможешь.— И она с жаром принялась рассказывать, что их группа занята подготовкой агитвечера для привлечения новых членов в организацию антифашистской молодежи.

— После того как ты тогда ушел, Хорст понял, что на одних докладах далеко не уедешь. Сегодня будут всего несколько человек. Пойдем, пожалуйста! — молящим голосом добавила Гундель.

Ему было безразлично, где провести вечер. Только бы возле Гундель, все равно где, пусть даже в этом сарае, по которому гулял ветер.

В неровном пламени парафиновых свечей Хольт увидел незнакомые лица. Слева от него сидела Гундель, справа — девушка лет двадцати, в роговых очках. Напротив вертелся бойкий паренек лет пятнадцати, белобрысый, с дерзкими глазами и в кепке, которая была ему явно велика. Возле паренька сидел Шнайдерайт. Хольт спокойно и равнодушно смотрел на окружающих. Он был сейчас мирно настроен. Острое чувство

голода делало его покладистее. Гундель, кажется, не намерена расстаться с этими людьми. Ну и пусть. Только одно обстоятельство нарушало миролюбивое настроение Хольта — присутствие Шнайдерайта.

А тот сидел, склонив лицо со сросшимися бровями над блокнотом, его черные волосы падали на нахмуренный лоб. Шнайдерайт, видно, был закален. Несмотря на холодный октябрьский ветер, свистевший сквозь все щели, он снял куртку и, бросив ее на спинку стула, остался в одной тонкой фуфайке с короткими рукавами. Его обнаженные, удивительно мускулистые руки лежали на столе. Словно прикованный, смотрел Хольт на эти освещенные свечой руки с необычайно узкими запястьями и длинными пальцами. У Шнайдерайта были мозолистые потрескавшиеся ладони, а тыльная сторона покрыта сетью голубых набухших вен, отчего кисти казались нервными и одухотворенными. Правая рука водила карандашом по бумаге и так судорожно сжимала его, что кровь ушла из-под ногтей, а указательный и большой пальцы совсем побелели. Наконец Шнайдерайт отложил карандаш и развел онемевшие пальцы.

— Агитвечер, — сказал он своим густым басом. — Значит, первое отделение политическое. Единство рабочих — вот самое сейчас важное. Докладчики нам не нужны. Сами со всем справимся.

— Но ты же не станешь выступать на вечере с докладом? — заметила Гундель.— Этак у нас все разбегутся, а ведь мы хотим привлечь молодежь.— Она повернулась к Хольту.— Правильно я говорю?

Хольту не хотелось вступать в разговор, и он лишь неопределенно кивнул.

— Кто это разбежится? — спросил Шнайдерайт. — И что значит «все»? Может, и сбежит несколько паршивых обывателей. Скажите, пожалуйста! — вскричал он. — Революционные пролетарии не захотят слушать мой доклад!

— Это вечер, и никакого доклада на нем не будет! — повторила Гундель так упрямо, что Хольт с удивлением посмотрел на нее.

Но Шнайдерайт положил конец спору.

— Тогда обсудим сперва второе отделение, — решил он.

— Давайте что-нибудь повеселее, — потребовал белобрысый паренек.

— Погоди, — прервал его Шнайдерайт, — а что мы добавим?

— Пока что все убавляем, а не прибавляем, — сказала Гундель.

Шнайдерайт бросил карандаш.

— Если так будет продолжаться, мы и через пять лет не составим программы.

— Но как же ее составить, когда у нас ничего нет? — спросила девушка в очках.

— Ничего нет... Конечно, если все есть... — Шнайдерайт вспылил,— тогда всякий сумеет!

— Ну чего ты кипятишься? — остановила его Гундель.

— Поневоле вскипишь. — Шнайдерайт в сердцах отодвинул стул и принялся шагать взад и вперед по бараку. — Вечно все только ноют. Я просто заболеваю от этого. Вот мой отец порассказал бы тебе... Они-то были из другого теста. Послушала бы, как они ходили по дворам агитировать... А ведь они сидели без работы, и жратвы у них было не больше, чем у нас, а про деньги и говорить нечего. Да что там! Они даже руками размахивать не могли во время речей, потому что держали под курткой дубинки: их на каждом углу подстерегали штурмовики...

— Никто и не ноет, — сказала Гундель, — сядь, пожалуйста.

Шнайдерайт покорно сел.

Хольту опять показалось, что от Шнайдерайта исходит какая-то грубая, жестокая сила, что он ему бесконечно чужд. А что ему самому здесь надо? Чего он ищет у этих людей?

Гундель легонько толкнула его.

— Ты не слушал? Ты же учился в гимназии. Может, помнишь наизусть какое-нибудь стихотворение Гейне, кроме «Ткачей»?

— Гейне?— переспросил Хольт и покачал головой.— Гейне ведь был запрещен.

Шнайдерайт поднял глаза, поглядел на Хольта и продолжал писать.

— Да,— сказал он,— верно. Гейне был запрещен!

Хольт молча откинулся на спинку стула. Он почувствовал, как кровь бросилась ему в голову.

— Нам нужно что-нибудь веселенькое!— настаивал белобрысый паренек. И вдруг предложения посыпались у него как из рога изобилия. Хольт помнил кое-что из того, что назвал паренек. Шнайдерайт недовольно постукивал карандашом по столу.— «Чикагский хор», или «Последний срок», или... «Зубная щетка бабушки заржавела», в общем, так...— начал пояснять белобрысый.

Хольт скривил губы. Он знал эти песни. Старая дребедень, которой они забавлялись на вечеринках в казарме. Однако Шнайдерайт рассмеялся. «Неужели ему это нравится?» — подумал Хольт.

— Брось, не надо,— невольно вырвалось у Хольта.— Эти песни знает всякий, кто жил в казармах.

От смущения он говорил отрывисто, словно отдавая приказ. Шнайдерайт тотчас перечеркнул все записанное и пристально посмотрел ему в глаза.

— Ты уж, извини меня, пожалуйста, но я этих песен не слыхал. Покуда ты был в своей казарме, я, понимаешь ли, сидел в тюрьме.

Гундель успокаивающе положила руку на плечо Хольту, но он резким движением сбросил ее. Через несколько минут все вышли из барака.

— До свидания!— бросил Хольт, обращаясь к Гундель.

■

По улице шел патруль — двое советских солдат с повязками на рукавах и с автоматами. У Хольта резко забилось сердце. Но солдаты не обратили на него никакого внимания. Война кончилась... Хольт остановился и пропустил их вперед.

Пробираясь среди развалин, он неожиданно увидел ярко освещенный подъезд, у которого околачивались какие-то люди. Свет из окон падал во двор, загроможденный щебнем. «Танцзал Ноймана. Играет джаз Генри Козинского. По понедельникам — бал для вдов»...

— Сигареты?— К Хольту подошел подросток, широченнейшие клеши болтались у него на ногах.— Особые. Два пятьдесят!

Хольт вошел в вестибюль. Он посмотрел на часы. Уже десять. До комендантского часа оставалось пятьдесят минут. За вход он заплатил пять марок.

Душный низкий зал был пропитан табачным дымом. Хольта сразу оглушил пронзительный вопль труб и визг саксофонов. Толпа танцующих шаркала по паркету под раскачивающимися лампочками и пестрыми бумажными гирляндами, свисавшими с потолка.

Хольт отыскал свободное место у столика, за которым сидели три девушки. «...Черная пантера... прямо как в аду...» — подпевала одна из них в такт музыке.

— Вы не танцуете?— смеющаяся маска повернулась к нему.

Неестественно выпрямившись и слегка откинув голову, он сжал губы и уставился на лампочку, светившуюся в табачном чаду. «По понедельникам — бал для вдов». Хольт поднялся. Рядом с эстрадой, на которой играл оркестр, виднелась дверь с надписью: Бар «Вечный покой». Хольт протиснулся к стойке. Маленький стаканчик какой-то зеленой смеси

стоил несколько марок. Хольт выпил и купил пяток сигарет. Шум в танцзале сразу куда-то далеко отодвинулся. Воздух стал прозрачнее. Лампы загорелись ярче. Хольт смотрел на лампочку, пока в глазах у него не замелькали пестрые круги. Не расточай свое время на горести и раздумья. Ты жив, а мог давным-давно истлеть под развалинами. Он снова протиснулся сквозь толпу и вернулся в зал. «Сколько ты упустил,— думал он, глядя на девушек.— Ведь ты еще и не жил по-настоящему! Только искал жизнь — в приключениях, на войне, в смерти. Ты еще не нашел ее!»

Незаметно Хольт пропил все деньги, которые дал ему отец. Он сильно опьянел. Последний танец кончился. Все поспешно бросились к выходу: наступал комендантский час. Людской поток вынес Хольта на улицу.

Вот он и в мансарде. Как он добрался до завода? В расстегнутом мундире, привалившись к стене, он сидел на табуретке и не расслышал стука в дверь. Засунув руки в карманы и вытянув ноги, он смотрел тусклыми глазами на Гундель. Потом попробовал встать, но тут же шлепнулся обратно.

— Ты откуда взялась? — спросил он и заплетающимся языком пояснил:—Бар «Вечный покой»...—Отяжелевшей рукой он обвел вокруг.— Такая же пустота, как здесь...— и с жалкой улыбкой добавил:— Прибежище...

— Ложись спать!— Гундель повысила голос.— Неужели тебе не совестно?

Хольт осовело посмотрел на нее.

— Готескнехт,— проговорил он, с трудом ворочая языком.— ...Я ничего не знаю, я ничем не могу вам помочь... Но... но критиковать идеи, доставшиеся нам от прошлого, это он может! Нас всех поразила слепота... А вы,— сказал он, неуверенно тыкая пальцем в Гундель,— вы в вашем бараке, вы все там одним миром мазаны...

— Ну-ка, замолчи!— прикрикнула Гундель.— Ступай спать, сию же минуту!

Хольт встал. Ему удалось стянуть с себя мундир, и он рухнул на кровать. Волна подняла его высоко-высоко и швырнула в бездну. Он заснул.

4

Вечно совместная трапеза в конференц-зале! Вечно служебные разговоры за ужином! Ну сколько можно все это слушать? Надоело до тошноты! А сегодня и Шнайдерайт здесь, и доктор Хаген совсем подружился с Гундель, а Гундель ищет посудину, чтобы посадить в нее какое-то растение с перистыми листьями и желтыми ягодами. Бог ее знает, где она его подобрала! Вот она сидит возле отца, а Шнайдерайт как ни в чем не бывало усаживается с ней рядом, да еще с таким видом, словно так и полагается. Конечно, они опять говорят о своем вечере, о чем же еще... А фрау Томас, как всегда, сообщает новости. На этот раз просто сенсацию.

— Вы знаете зубного врача Бормана, того, что живет на Бадштрассе? Как, вы его не знаете?

— Надо же, чтобы зубного врача звали Бор-ман!— Доктор Хаген качает головой.— Ха-ха-ха, ничего не попишешь, nomen est omen *... Так что же с ним случилось?

— Застрелили, удавили, зарезали... Ужас, не правда ли?

— Говорят, что бандиты мешками таскали из его квартиры золото в слитках с клеймом рейхсбанка!

---

* Имя выражает все *(лат.)*.

— Что за чепуха! Золото, да еще и в слитках! Откуда бы там взяться золоту?

— Бернгард совершенно прав, разумеется, у нас нет золотых слитков. Репарации...

Тут раздался бас Шнайдерайта:

— ...которые не возмещают и в малой мере чудовищные разрушения в Советском Союзе.

Фрау Томас оскорблена до глубины души:

— А я вам говорю, что золотые слитки! Моей сестре сказал это старик Тиле, он живет по соседству с братом зубного врача.

— Хорошо, хорошо, пускай слитки. Желаю всем приятного аппетита!

Фрау Томас подает баланду из сушеных овощей, заправленную тертой картошкой. Доктора Бернгарда просто трясет:

— Мерзкое пойло!

«Видно, не голоден, говорят, у него дома тридцать штук кроликов...»

— В Крёйцнахе мы были бы счастливы, если б нам давали такое мерзкое пойло!— вырвалось у Хольта.

Шнайдерайт одобрительно кивает.

«Плевать мне, что он со мной заодно».

— А вы думаете, у русских было больше жратвы?

«Вероятно, Бернгарду приятно это услышать. Что ни скажи, кто-нибудь здесь да обрадуется. Лучше держать язык за зубами. А бас Шнайдерайта так и гремит. Не иначе, как делает доклад. Кажется, он не у себя в бараке...»

— ...Фашисты опустошили все поля...

«Будто это и без него не известно». Две ложки жареного картофеля. Бас умолкает. «Нет, поглядите только, как он ест! Тарелка в левой руке, нож в правой и глотает прямо с ножа!» Чай из сушеной ежевики. Все достают сигареты и трубки. Мюллер пока еще не вымолвил ни слова. Зажав в зубах незажженную сигару, он делает знак фрейлейн Герлах. Та достает блокнот для стенограммы. Карандаши ее с каждым днем становятся все короче. «Так, пора убираться отсюда. И как можно скорее».

— ...Не будете ли вы столь любезны убраться отсюда?

«Как? Что сказал Бернгард?»

— Молодой человек,— говорит Бернгард, обращаясь к Шнайдерайту,— не будете ли вы столь любезны убраться отсюда? Нам нужно обсудить кое-какие внутренние дела, которые вас не касаются.

«Ах вот оно что!.. Ну-ка, посмотрим!..»

Мюллер взглядывает на Бернгарда, отворачивается и говорит очень спокойно:

— Товарищ Шнайдерайт председатель производственного совета и как представитель рабочей общественности впредь будет принимать участие во всех наших совещаниях!

«Коротко и ясно!»

— Вы так полагаете? («Неужто Бернгард хочет сцепиться с Мюллером?») Вы, очевидно, нуждаетесь в подкреплении? Что касается производственного совета, то я лично не нуждаюсь в этом совете, мне вообще не нужны никакие советы, я предоставляю кое-кому другому получать советы из Москвы...

— Перестаньте городить чушь!— Отец сердится.

— Чушь? Ну, знаете, господа, так сюда скоро припрется истопник, сторож и, наконец, уборщица общественной уборной!..

«Здорово сказано. Правда, он слишком зарвался. Ничего, Шнайдерайту полезно получить по носу! Ишь, как расселся возле Гундель. Ну и наглец!»

— Господа! Хватит! — Бернгард недвусмысленно тычет большим пальцем через плечо в сторону двери.— Молодой человек, то, что мы

здесь обсуждаем и решаем, ничуть вас не касается. Вы немедленно уберетесь отсюда, или...

— Или?— Шнайдерайт полон решимости остаться. Это видно по его лицу.

— Или отсюда уберусь я.

«Черт побери, Бернгард-то, оказывается, говорит серьезно». Он встает, застегивает непромокаемую куртку.

— Решайте, господа, но сперва подумайте, в ком вы нуждаетесь: во мне или в этом товарище?

Тишина. Против Бернгарда все. «Нет, теперь он уже не уступит. Интересно, кто все-таки окажется сильнее. Гундель схватила Шнайдерайта за руку, словно собиралась его защищать. Неужели стул рядом с Гундель не окажется пустым? Нужно поддержать Бернгарда. Ободряюще кивнуть ему. Ага, заметил!» Тут вмешивается Мюллер. Он делает Шнайдерайту знак глазами, задумчиво потирает подбородок и очень спокойно говорит:

— Нам будет трудно без вас, господин доктор Бернгард. Но, если вы говорите всерьез, тогда, к сожалению, нам придется с вами расстаться.

«Все. С Бернгардом покончено». Он стоит, окаменев, и чуть не стонет.

— Значит, я уволен? («Какая наивность!»)

— Довольно! — Отец окончательно потерял терпение. Он хлопает ладонью по столу.— Хватит! Никто не собирается вас увольнять. Вы грозили уйти, если представитель производственного совета не удалится отсюда. А он не удалится, понятно? Ни один человек не станет поддерживать ваш ребяческий ультиматум. Помимо всего прочего, мы не в силах приказывать производственному совету. Усвоили вы это наконец?

— Что вы кричите? («Значит, отступает».) Я и так прекрасно слышу. Незачем кричать! — Бернгард садится на место.

Неприятное, чрезвычайно неприятное положение. Но он делает вид, будто ничего не случилось, открывает свой блокнот и брюзжит:

— Может, начнем наконец работать?

Блом, который еще не знает Бернгарда, смеется во весь рот. Бернгард бросает на него ядовитый взгляд. Блом, испуганный, сразу умолкает. Шнайдерайт по-прежнему сидит рядом с Гундель. Он немного бледен, но кажется еще самоувереннее, чем обычно. Нет, он не потерпел поражения, не вышел из комнаты. Никто не властен вышвырнуть его отсюда. Никто. И на его лице это написано.

К счастью, все, что здесь происходит, нисколько не интересует Хольта. У него со Шнайдерайтом нет ничего общего. Просто он попал сюда случайно и поэтому равнодушно взирает на всех; и какое ему дело до того, о чем говорит сейчас Мюллер?

А Мюллер говорит, что ни управление железных дорог, ни какое-либо другое учреждение не сумеет до зимы восстановить заводскую ветку; что грузовик разбит и у них нет никакой возможности завезти уголь; что старых запасов хватит только до рождества, и т. д. и т. п. Нет, Хольта это действительно не интересует, сколько бы они ни говорили, сколько бы ни подсчитывал Хаген на своей счетной линейке количество потребного топлива, сколько бы ни раздумывал Шнайдерайт, постукивая карандашом по блокноту.

— Скажите, а не могли бы мы сами отремонтировать подъездную ветку? — спросил вдруг Блом.

— А как быть со взорванным мостом через реку? — спросил его в ответ профессор.

«Ну и чудак этот Блом, вертится, словно не может усидеть на месте».

— Простите, но сооружение такого моста не представляет решительно никаких трудностей.

— Просто и ясно! — Мюллер поворачивается к Блому.— Значит, мы можем собственными силами восстановить и пути, и мост?

Блом внешне совершенно спокоен, но в душе так и кипит.

— Если вы разрешите вопрос с материалами и договоритесь со строительной фирмой о рабочей силе...

— Строительная фирма? — прозвучал бас Шнайдерайта.— А к чему нам она? Мы и сами справимся!

«Скажите, какой размах...» Однако Блом кивает головой, Мюллер тоже кивает, а отец говорит:

— Давайте лучше сразу обсудим все детали. В ближайшие дни мы дел не оберемся...

«А ты вот сидишь и чувствуешь, что ты отрезанный ломоть, и только шатаешься целыми днями да в школу ходишь — лишь бы к тебе не приставали, и не знаешь, что станется с тобой дальше, и не видишь перед собою пути, и всегда, повсюду чувствуешь, что ты чужой».

Хольт незаметно выбрался из комнаты.

Танцзал Ноймана находился за углом. У Хольта оставалось еще несколько пестрых бумажек, которые ему выдали перед тем, как выпустили из лагеря. Подойдя к заводским воротам, он увидел женскую фигуру в светлом пыльнике — Карола Бернгард.

Карола ждала своего отца. Она учится на курсах переводчиков. Домой далеко, и она старается подгадать, чтобы отец подвез ее в машине.

— Я очень рада, что мы так скоро снова встретились.

Вечер был холодным. Она зябла.

— Хотите, подождем в проходной или у меня? — предложил Хольт. Он велел сторожу передать Бернгарду, где его ждет дочь.

Карола вошла в холодную и голую мансарду.

— Как можно здесь жить! — воскликнула девушка. Она выглянула в окно. Во дворе горели три фонаря.— Завод... Развалины...

Хольт придвинул ей табуретку. Карола села и, закинув ногу на ногу, обхватила колени руками.— Мы живем за городом, в Хоэнхорсте.— Она говорила без умолку, а он, не перебивая, слушал ее звучный, выразительный голос.— Хоэнхорст расположен среди холмов, в самом конце западного предместья.

Он напряженно ловил ее слова. У Каролы были шелковистые волосы, прямая, стройная фигура. Она ему нравилась.

— Там у нас ничего не разрушено. Никаких развалин. Кругом виллы и сады.

Виллы и сады...

— Как у моей матери в Бамберге, где я жил раньше,— сказал он.

И ему вспомнился светлый, заросший плющом дом, южная стена вся из стекла. Детство и ранняя юность... Как давно не всплывали в его памяти эти картины.

— Если у вас там так хорошо, зачем же вы приехали сюда? — услышал он голос Каролы.

Хольт прислонился головой к стене.

— Вероятно, я помчался за мечтой, за иллюзией. Не стоит об этом говорить.— Он вынул сигареты и закурил.— Расскажите еще что-нибудь.

Не задумываясь ни на минуту, она заговорила опять:

— Я могу часами стоять в воротах и смотреть на Хоэнхорст. Он всегда очарователен. Даже сейчас, в октябре. Ничего я не люблю так, как осень.— Она подняла на Хольта свои большие глаза.

— Почему именно осень?

— Быть может, потому, что осенью, когда смотришь на поля, на леса и холмы, тоска по неведомым краям становится безмерной... Мне так хотелось бы уехать далеко-далеко, увидеть незнакомые, необычные

места. Я хотела бы вобрать в свою душу все прекрасное, что только есть в мире... Впрочем, и тогда я бы тосковала по нашему саду. Он великолепен в любое время года. Он всегда многолик...

Хольт сжал губами сигарету, дым щипал ему глаза. Пальцы машинально крошили обгорелую спичку. «Все прекрасное, что только есть в мире»,— подумал он. И ему опять вспомнилась вилла в Бамберге, и он словно впервые увидел склоны Регница, залитые солнцем, и светлую Майнскую долину. Они лежали перед ним, как дорога в другую страну, в мир вечной весны, о которой он так часто грезил когда-то.

— Может быть, вы навестите меня в Хоэнхорсте? — спросила, прощаясь, Карола.

— Вполне возможно. Не знаю.

■

В конференц-зале остались профессор Хольт, Мюллер, Шнайдерайт и Гундель.

— Коллега Бернгард опять был невыносим! — сказал Мюллер.

— Бернгард, может, и неплохо работает, но мне просто становится не по себе, когда я смотрю на этого типа! Кто знает, вдруг он из закоренелых фашистов или их пособников. Уж этих-то я особенно не переваривaю. Вот Блом, тот из другого теста, Блом наверняка был антифашистом,— заметил Шнайдерайт, помогая Мюллеру надеть серую стеганую куртку.

— Блом наверняка был антифашистом...— повторил Мюллер.— Да, что я хотел сказать? Ты играешь в шахматы?

— В шахматы? — Шнайдерайт растерялся.— Ну еще бы! Научился в тюрьме.

Мюллер кивнул.

— Как-нибудь сыграем. Но, знаешь ли, утверждать, что Бернгард был фашистом, все-таки нельзя. Они продержали его целый год в тюрьме. Он и при них никак не мог не брюзжать. Мне кажется, не брюзжать он вообще не может. А вот настоящий маленький наци — знаешь, из тех, что ходили в касках и с кружкой для сбора денег,— так это был Блом, а не Бернгард.

— Что ты хочешь сказать? — вскричал Шнайдерайт.

— Ничего. Только, что все не так просто. Ты еще научишься разбираться, товарищ Шнайдерайт,— добавил Мюллер строго, но беззлобно.— Непременно научишься! — Он обернулся к Гундель.

Она показывала профессору растение с желтыми ягодами.

— Где ты его нашла? — спросил профессор, беря у нее росток.

— В развалинах.

— Solanum,— сказал профессор,— точнее, Solanum luteum, желтый паслен, родственник нашего картофеля.

— Откуда вы знаете?

— Я знаю все местные виды паслена. Но даже если не знаешь названия растения, его всегда можно определить.

— Определить? И этому можно научиться?

Профессор кивнул.

— У меня в ящиках есть книги, я подберу тебе.

Мюллер обнял Гундель за плечи.

— Мы тут кое-что придумали...

— Совершенно верно,— подхватил профессор.— У нас есть свободная мансарда. Может, переедешь к нам?

— Здесь тепло,— добавил Мюллер,— и тебе не придется стоять в очередях за продуктами.

— Столоваться будешь вместе с нами,— продолжал профессор.— Переезжай, когда захочешь.

Гундель жила в чулане без печки, на чердаке, где ветер дул во все щели. А морозные зимние ночи были еще впереди. Она не успела ответить, как Шнайдерайт все решил за нее.

— Переедешь завтра же. Завтра суббота, я тебе помогу.

— Там еще надо привести кое-что в порядок. Придется вызвать столяра,— сказал Мюллер.

— Столяра?— удивился Шнайдерайт.— Чепуха! Сами справимся.— Он встал, чтобы проводить Гундель домой.

Оставшись вдвоем с профессором, Мюллер опустился в кресло. Он весь как-то сник, лицо его посерело и потухло. На лбу выступил холодный пот.

— Видно, мне скоро конец,— сказал он, прерывисто дыша.

— Мало спите, Мюллер,— как бы вскользь заметил профессор.— А знаете, как это влияет на общее самочувствие?

Мюллер приподнялся.

— Я мало сплю...— повторил он и, сев за стол, открыл папку с бумагами.— И все-таки мне надо бы попасть к настоящему врачу. Вот увидите, профессор, самое трудное у нас еще впереди. Пусть только наступит зима! А мне бы очень хотелось дожить до весны!..— Подписывая письма, он вдруг разозлился.— Все врачи — халтурщики. Они велят мне лежать, а я лежа задыхаюсь. И лечиться в стационаре... Вот с этого документа Хаген пусть снимет копию — он знает сего алхимика, у нас, может, скорее что получится... Я рад-радехонек, что живым выбрался из больницы.— Он задумчиво потер подбородок.— Профессор, а что...— Мюллер запнулся.— Да вы сами знаете...— Он подошел к профессору.— Возьмитесь-ка вы лечить меня! Вчера, когда вы разгружали ящики с медикаментами, я сказал себе: вот это настоящий врач! Уж он-то помог бы мне продержаться зиму!

— Но я не лечащий врач,— возразил профессор.

— Лечащие уже отравили меня своим дигиталисом.

— Вы сами знаете, чем вы больны,— сказал профессор.— Вылечить вас я не могу. И никто не может. Но...— он задумался.— Но если вы питаете доверие только ко мне, давайте попробуем, быть может, ваше доверие позволит вам продержаться зиму.

Мюллера словно подменили.

— Вот это здорово! Послушайте, а не начать ли нам сегодня же?

Профессор улыбнулся.

— Добрая доза витаминов вам во всяком случае не повредит.

■

Из нижних этажей доносилось гудение электромоторов. Даже по субботам завод сульфамидных препаратов работал до вечера. Комнатушка Гундель находилась в самом конце коридора. Шнайдерайт выпилил карнизы для окон и теперь, стоя на стремянке, пробивал шлямбуром дырки в стене.

— Пойдем сегодня в кино? — спрашивал он уже не в первый раз.

Гундель придерживала шатающуюся стремянку. Прошло несколько секунд, прежде чем она отрицательно покачала головой. Но сегодня Шнайдерайту не хотелось молча проглотить ее отказ.

— Скажи по чести, почему ты не хочешь пойти? — спросил он, спустившись на пол.

Гундель давно ждала этого вопроса и все-таки ничего не могла ответить. Она думала о Хольте, чувствовала, что противоречит сама себе, и не знала, как ей выпутаться.

— Зря я спросил,— проговорил наконец Шнайдерайт.

К вечеру комната приобрела жилой вид. Гундель и Шнайдерайт ужинали с профессором. Фрау Томас подала картофельный суп. Гундель пересчитала приборы — их было пять. Неужели Хольт и сегодня не придет ужинать? Фрау Томас, как всегда, не пожелала сесть за стол... «Нет уж, что не полагается, то не полагается». Профессор просил подождать Мюллера. Дверь отворилась, но вошел не Мюллер, а Хольт.

Он остановился в дверях, словно чужой. Вид у него был неряшливый.

— Добрый вечер! — сказал Хольт и скривил губы.

«Уже вместе,— подумал он.— Этот Шнайдерайт, разумеется, тут как тут». Хольт снял фуражку и молча поздоровался со всеми за руку. «А каменщик опять уселся рядом с Гундель, на моем стуле».

— Ты гулял? — спросил профессор.— Давайте подумаем, как добыть Вернеру зимнее пальто? — сказал он, обращаясь к фрау Томас.

— А то как бы Вернер не схватил насморк,— съязвил Хольт.— Я не знал, что ты придешь сегодня ко мне в гости,— добавил он, обращаясь к Гундель,— иначе не отправился бы гулять.

— В гости? — переспросил Шнайдерайт.— Разве вы не знаете, что Гундель переехала сюда совсем?

Хольт умолк. Его словно принуждал кто-то ответить так, как он ответил.

— Нет... Понятия не имел,— выговорил он с трудом. И, глядя прямо в глаза Шнайдерайту, добавил: — Впрочем, это не имеет значения. Ведь и вы не знаете о Гундель всего.

В эту секунду вошел Мюллер.

— Что тут происходит? — спросил он, держа куртку под мышкой и разматывая одной рукой серое кашне.— Надеюсь,— произнес он поспешно,— вы не стали меня дожидаться?

Общая беседа не клеилась. Мюллер рассказывал, как Блом строит железнодорожную ветку. Хольт машинально подносил ложку ко рту. Потом он, сгорбившись, молча сидел за столом. Он понимал, что гораздо больше обидел Гундель, чем Шнайдерайта. Этого он не хотел. Вскоре он ушел к себе в мансарду и бросился на кровать.

■

Лаборатории, мастерские, бухгалтерию и строительный отдел Блома временно разместили в бараках. В маленькой комнатушке — самом сердце предприятия, где на письменном столе стояло несколько телефонов, а на стене висела карта с планом завода, Мюллер проводил большую часть рабочего дня. Сейчас он сидел напротив Шнайдерайта. Оба склонились над шахматной доской. Партнеры расставляли фигуры. Шнайдерайту достались белые.

— У тебя с Вернером Хольтом были какие-нибудь недоразумения? — спросил Мюллер неожиданно.

Шнайдерайт покачал головой.

— Он нагрубил Гундель. Обидел ее безо всякой причины.

— Безо всякой причины,— повторил Мюллер, аккуратно поправляя на доске свои фигуры.— Скажи, какого ты мнения о Вернере Хольте?

Шнайдерайт долго сидел неподвижно, подперев голову кулаками. Хольт обидел Гундель, а кто обидит Гундель, будет иметь дело со Шнайдерайтом. Гундель нуждалась в защитнике, который, если понадобится, мог бы дать по рукам такому мальчишке, как Хольт. Шнайдерайт нахмурился. И что вообще означает этот дурацкий намек? Пусть Хольт поостережется!..

— Я не желаю иметь с ним дела,— вымолвил наконец Шнайдерайт.

Мюллер кивнул.

— Ну-ка, давай рискнем. Белые начинают и выигрывают.

Шнайдерайт пошел королевской пешкой на два поля. Мюллер сделал аналогичный ход. Шнайдерайт задумал план широкого наступления: прорваться конем на вражеский фланг и, как только черный ферзь покинет свое место, одновременно с объявлением шаха взять ладью и посеять панику в рядах противника. Мюллер не ожидал столь бурной атаки, он никак не думал, что его ферзевый фланг находится под угрозой, и пошел королевским конем. Придвинувшись к столу, Шнайдерайт нетерпеливо озирал доску. Хорста не устраивало, что его пешка стоит беззащитная под ударом черного коня. Ему не хотелось дешево отдавать ее, и он, не раздумывая, двинул на подкрепление пешку от слона. Тем самым он сделал кое-что для соблюдения основного правила стратегии, которое гласит: предпринимая наступление, нельзя забывать о безопасности собственного тыла.

Мюллер покачал головой и тут же взял конем белую королевскую пешку. Шнайдерайт расквитался, взяв пешкой коня, и в свою очередь тоже покачал головой. Мюллер буквально сам лез в западню, приготовленную Шнайдерайтом: спасаясь от белого коня, он передвинул своего ферзя на правый фланг. «Побить!» — немедленно решил Шнайдерайт. Но тут он увидел, что ферзь противника стоит на открытой диагонали, угрожая белому королю. Мюллер явно считал ниже своего достоинства сказать: «Шах!» И внезапно Шнайдерайт увидел весь этот дьявольский план. Он понял, что на него надвигается катастрофа. Сделано всего четыре хода, а конец уже ясен.

— Сдавайся,— сказал Мюллер.

— Сдаться? — прорычал Шнайдерайт и еще упрямее склонился над доской. Он не мог примириться с таким исходом. В шахматах не всегда бывает так, как предполагаешь. Может быть, еще удастся атаковать конем? Правда, у него оставался всего один ход, который прикрывал короля,— ход пешкой. Но тут же его центральная пешка была взята с шахом. Шнайдерайт попытался изменить тактику и стал делать ошибку за ошибкой, а тем временем черный ферзь учинил разгром в стане белых. Впрочем, комизм создавшегося положения до Шнайдерайта еще не дошел. Наконец, к ферзю присоединился слон.

— Мат,— сказал Мюллер.

— Реванш! — прохрипел Шнайдерайт.

На этот раз белыми играл Мюллер. Ему понадобилось восемь ходов, прежде чем он объявил «мат». Однако для черных партия была проиграна уже после четвертого хода.

— Здорово! — сказал Шнайдерайт.— Ты играешь намного, намного лучше меня!

— Я и не таких противников обыгрывал,— сказал Мюллер, укладывая фигуры в ящик.

Шнайдерайт не успокаивался.

— Давай-ка расставим фигуры,— потребовал он.— Разъясни мне, что я делал неправильно.

— Все! — отрезал Мюллер и захлопнул крышку.— Ты умеешь слушать правду? Прекрасно!

Шнайдерайт молча слушал. Потом встал и заходил по комнатушке взад и вперед.

— Воображаешь, что ты искусный и опасный игрок, а сам понятия не имеешь о шахматах,— сказал Мюллер, откинувшись на стуле.— Ты передвигаешь фигуры, как ребенок кубики. Разумеется, ты не обязан быть настоящим шахматистом, но ты садишься за доску по меньшей мере как гроссмейстер. Делаешь ходы без всякого толка и притом воображаешь, что придумал невесть какие хитрые и оригинальные комбинации. А когда по невежеству своему попадаешь в катастрофу, ты реша-

ешь применить силу. Вот тут ты и обеспечиваешь себе окончательную гибель.

Шнайдерайт перестал ходить по комнате.

— Критика уничтожающая,— сказал он.— Что же мне делать?

— Не играть в шахматы. Переключись на домино, если тебе скучно. Шахматы — макет мироздания и высшая школа диалектики.

— А если я не хочу переключаться?

— Тогда учись! — Мюллер аккуратно уложил доску и ящик с фигурами в свой портфель.— Существуют учебники. Я тебе достану. Но не зубри наизусть, а постарайся понять. Почему ты не организуешь шахматный кружок в своей молодежной группе? — Мюллер тщательно обернул кашне вокруг шеи. Шнайдерайт снял с крючка его куртку.— Всякий, кто не хочет быть нынче халтурщиком, должен минимально овладеть теорией.

Шнайдерайт стоял с курткой в руках.

— Знаю,— сказал он задумчиво.— Еще отец говорил: «Без революционной теории нет революционной практики...»

— Вот теперь,— Мюллер сощурился, и множество морщинок разбежалось из уголков его глаз,— можно сказать, что тебя осенило!

Шнайдерайт снова заходил по комнате. Куртка Мюллера тоже приняла участие в этой прогулке.

— Скажи мне откровенно, почему ты решил сыграть со мной в шахматы? — спросил Хорст.

— Я мало знал о тебе. Теперь знаю побольше.

— Как о шахматисте или товарище?

— Что за вопрос! — Мюллер присел.— Разве это не одно и то же? Ты думаешь, в жизни, в политике ты другой, чем в шахматах? У тебя нет знаний, ты не способен на обдуманные действия. К тому же вспыльчив и груб.

Лицо Шнайдерайта омрачилось.

— Разве нет? А как ты вел себя на собрании социал-демократов? — спросил Мюллер.

— Послушай! — сказал Шнайдерайт.— Самое важное сейчас — это единство рабочих. А тут вдруг встает этакий «соци», типичный соглашатель, который при Гитлере все время сидел за печкой, и заводит свою волынку: «Смотрите, чтобы вас не переехали слева!» Ну как тут не стукнуть кулаком?! — вспылил Шнайдерайт.

— Нет,— возразил Мюллер.— Кулаком тут стучать нельзя.— Мюллер, видно, устал. Его мучила одышка. Он расстегнул воротник рубашки, плечи его опустились. Запинаясь, он все-таки продолжал говорить: — Удар кулаком — это последний, но не лучший аргумент. Теперь, среди товарищей по классу, стучать кулаком — значит признаваться в собственном бессилии, в неясности своих позиций. Надеюсь, ты это поймешь, товарищ Шнайдерайт! — Лоб Мюллера покрылся холодной испариной.— А с этим болтуном социал-демократы прекрасно справились бы сами. И это было бы куда лучше, чем твой кулак.

Он замолчал. Удушье прошло. Мюллер достал носовой платок и вытер затылок и подбородок.

— Что касается соци... Постарайся вести себя иначе! Разве с тобой в камере не сидел ни один соци? То-то и оно!

— Все, что ты говоришь о товарищах по классу, справедливо. Но ты недоволен мною и потому, что я не выношу Бернгарда или, к примеру, Хольта. Да ведь они настоящие буржуи! Что ж я, по-твоему, должен мирно дискутировать с врагами? — Шнайдерайт остановился возле стола.— Ты забыл, какое зло они причинили всему миру! Такие типы, как Хольт, терпели все и даже одобряли массовый террор! Революцион-

ные массы смели бы фашизм и освободили бы нас из тюрем и лагерей, если бы не такие, как этот Хольт!

Мюллер закрыл глаза. Пот снова выступил у него на лбу.

— Этот сон мне тоже снился...— сказал он тихо,— сон о гневе народном, который разрушит стены темниц...

Помолчав, он поднялся.

— Я не только грезил, я боролся за то, чтобы разжечь пожар. И никогда не прекращал борьбы.— Он опять замолчал и в раздумье посмотрел на Шнайдерайта.— Ты говоришь о враге и подразумеваешь при этом фашизм, буржуазию. Но у нас есть враги и в нас самих. Запомни: мы хотим изменить привычный мир. Но в привычный мир входит и мир привычек, который заключен в собственной груди.— Мюллер говорил теперь медленнее, чем всегда.— Мы, коммунисты, знаем закон истории. Мы не смеем забывать о том, что историческое развитие есть движение вперед через противоречия. Слепота в этом вопросе — смертельный враг, которого мы носим в собственной груди.

Он еще несколько секунд пристально смотрел в глаза Шнайдерайту. Потом продолжал спокойно, обычным тоном:

— Люди, которые хотели вызволить нас из темниц, сами были в темницах. А кто в них не был, тот и не думал нас вытаскивать. Почти все были отравлены ядом, опьянены страхом и ложью. Что касается масс, то ты сам говоришь, что их подавили при помощи кровавого террора. Только многие вовсе не знали об этом. Ведь не только люди жили при фашизме, но и фашизм жил в людях. Сейчас мы должны помочь им понять, что такое свобода и кто такие мы. А наши враги,— он постучал костяшками пальцев по столу,— наши враги вовсе не те, кто сегодня не понимает еще ни нас, ни свободы. Наш враг тот, кто старается помешать нам разъяснить окружающим, кто такие мы и что такое свобода. И кто препятствует нам в этом.

— А Бернгард? — спросил Шнайдерайт.— А Хольт?

Мюллер надел наконец куртку.

— Трудно сказать. Бернгард работает. По-моему, он ворчит слишком откровенно, чтобы быть настоящим врагом. Но вот выдержит ли... Не знаю! А Вернер Хольт — этот свихнулся, да еще и распустился. Вообще-то он вполне соответствует среднему стандарту. Придется тебе поработать над ним. Таких людей, как Хольт, хоть пруд пруди. Нам надо завоевать их. Для этого и существует ваша молодежная группа.

Они вышли из барака.

— Я провожу тебя немного,— сказал Шнайдерайт. Было холодно и сыро. Осенний ветер мел вдоль улицы.— Как у вас дела с автоматом?

— Слесарям придется еще с ним повозиться,— ответил Мюллер.— Такая сложная машина не может безнаказанно проваляться полгода на свалке.

— Машина просто великолепная. А вот в моей профессии маловато машин, явно маловато,— заметил Шнайдерайт.

Они дошли до угла и остановились. Неожиданно Мюллер спросил:

— Скажи-ка, ты не замечаешь во мне никаких перемен?

Шнайдерайт задумался. Мюллер, как всегда, выглядел плохо, его мучила одышка.

— Вот видишь,—воскликнул он, довольный.—Значит, ты тоже заметил, что я выгляжу здоровее! Это потому, что меня теперь лечит профессор Хольт.— Мюллер, задрав голову, посмотрел на вечернее небо. Да, это, несомненно, результат его лечения. Другие врачи, шарлатаны этакие, мучили меня дигиталисом и держали в постели. А профессор лучше знает, что мне нужно,— он делает мне уколы витаминов. Знаешь как помогает! — Он протянул Шнайдерайту руку.— Вот увидишь, профессор даст Мюллеру продержаться зиму!

5

Когда Хольт пришел к Гундель извиниться за то, что обидел ее без всякого повода, она сделала вид, будто ничего не случилось, и сразу же принялась рассказывать про агитвечер.

— Мы уже составили программу, а вот подходящего зала найти не можем.

Хольт решил доставить Гундель удовольствие. Городской комитет молодежи организовал у них в школе различные кружки. Готескнехт был своего рода связным между комитетом и школой.

— Если нужен актовый зал, придется нам попросить Эберсбаха,— сказал Готескнехт, взяв Хольта за рукав.— Почему вы не приходите ко мне? Вы просто меня избегаете! Что с вами?

— Ничего! Только я при всем желании не справляюсь с учебой. Все начисто перезабыл.

— Поразительное малодушие,— возмутился Готескнехт.— Неужели вы думаете, что вашим товарищам легче? Тогда в чем же дело? Пожалуйста, не корчите кислую физиономию. Присылайте вашу молодежь!

Так Готескнехт познакомился с Гундель и Шнайдерайтом. Переговорив с Эберсбахом, он сообщил им:

— Можете репетировать в актовом зале. И без всякого стеснения приходите ко мне. Вдруг что-нибудь да подскажу.

Стоял уже ноябрь. В следующее воскресенье, перед тем как идти на репетицию, все собрались возле барака, который Шнайдерайт упорно называл Домом молодежи.

Шнайдерайт огляделся, ища Гундель. Нечаянно он споткнулся о костыли Гофмана. Тот сидел на обугленных досках, прямо посреди лужи.

— Подбери костыли! — буркнул Шнайдерайт.— Расселся в грязи!

— Коли тебе не нравится грязь на моих штанах, поищи компанию поблагороднее.

Шнайдерайт разозлился, но в эту минуту увидел Гундель, увидел, что она одна, и подавил гнев.

— Мы будем репетировать в школе на Грюнплац,— сообщил он.

— Скажи на милость,— Гофман подобрал костыли.— Ведь это моя школа! — Он закурил свою самокрутку.

По случаю воскресенья Гундель повязала волосы не черной, а красной лентой.

— Ну как, обжилась в новой комнате? — спросил ее Шнайдерайт.

— Послушай,— спросила она в ответ,— правда, что сон, который приснится в первую ночь на новом месте, непременно сбывается?

— Как ты можешь городить такое! — возмутился Шнайдерайт.— Это же суеверие. Марксисты не должны быть суеверными!

— Не знаешь? Жаль! — сказала Гундель.

— Почему жаль? А что тебе приснилось? — полюбопытствовал Шнайдерайт.

— Да так, ничего. Раз это суеверие и все равно не сбудется...

— Нет, скажи,— настаивал Шнайдерайт.— Видишь ли, может быть... А вдруг...

Гундель только покачала головой.

У школы их ждал сторож, чрезвычайно расстроенный тем обстоятельством, что приходится впускать сразу столько посторонних.

— Соблюдать полный порядок! Взяться за руки по двое! Стройся! — скомандовал сторож.

Гофман с трудом протиснулся в дверь и, повиснув на костылях, спросил:

— Интересно, как это я «построюсь», а? — и заковылял в вестибюль. За ним гурьбой ввалились и остальные.

Двусветный торжественный зал был обшит темной панелью. Вдоль задней стены тянулся балкон, переходивший на левой стене в галерею. Только на сцене и можно проверить, годится ли их программа.

Шнайдерайт уселся с Гундель в первом ряду и вытащил свои записи. Подняли занавес: за ним оказался второй, серебристо-серый, прозрачный. Сквозь него, как в тумане, виднелась сцена.

— Начали! — подал команду Шнайдерайт.

В эту минуту одна из дверей отворилась. В зал вошел Хольт. Он огляделся, видимо, ища кого-то, и направился прямо к Гундель и Шнайдерайту.

Час назад Хольт сидел в мансарде и, как всегда, не мог заставить себя взяться за уроки. Мысль, что в эту самую минуту Гундель опять со Шнайдерайтом, не давала ему покоя. Он выбежал из дома и пошел в школу. Сейчас увидит их рядом. Всегда и везде этот Шнайдерайт! Нет, он не отступит перед ним! Не отдаст ему Гундель! Ни за что!

Хольт увидел, что Гундель обрадовалась его приходу. Как можно непринужденнее подал он руку Шнайдерайту и, не снимая фуражки, уселся позади них во втором ряду.

Шнайдерайт сидел, закинув ногу на ногу. Настроение у него явно было мрачное.

— Второе отделение. Хор, давайте! — скомандовал он.

Гундель тоже поднялась на сцену. Хольт не спускал с нее глаз. «Называть это хором — чистое надувательство»,— подумал он. На огромной сцене стояло человек десять-двенадцать. Голоса были жиденькие и фальшивые. «Просто смешно. Неужели этот Шнайдерайт ничего не понимает?»

Лоб Шнайдерайта прорезала глубокая складка. Он поманил к себе Гундель.

— Ну-ка, послушай отсюда. Еще раз!

Гундель и Шнайдерайт обменялись взглядом. Гофман, который сперва забился в самый дальний угол, проковылял на костылях вперед.

— Правда, я был всего-навсего обер-выпивохой, но слушать это тошно!

Все окружили Шнайдерайта. Гундель повернулась к Хольту:

— Вернер, а как ты находишь?

— Никуда не годится!

Шнайдерайт так и подскочил.

— Никуда не годится! Меня бесит, когда я слышу такое.

— Извините,— сказал Хольт.— Но я думал, что у вас можно откровенно высказывать свое мнение.— И откинувшись на стуле, он саркастически добавил:— В тот вечер вы так усердно твердили о демократии!

— Господин Мюллер обещал достать нам гармонику, — поспешно сказала Гундель.— Тогда все будет звучать куда лучше.

Шнайдерайт махнул рукой, он нисколько не обольщался. Спиной он чувствовал взгляд Хольта.

— Продолжаем!

Кто-то, запинаясь, прочитал «Ткачей» Гейне. «Хоть беги!»

— Дальше!

Испанские песни. Исполнитель, разумеется, подражал Бушу, но голос у него сорвался.

— Дальше! Народный танец.

Гармоники еще не было, и танцоры сами насвистывали мелодию. Под этот аккомпанемент четыре пары вертелись на сцене. «Смешно!» — подумал Хольт.

Складка на лбу Шнайдерайта стала еще глубже. Нет, программа никуда не годилась. Это ясно.

Гундель что-то обдумывала, закусив губу. Шнайдерайт повернулся к Хольту. Он с трудом заставил себя спросить дружелюбным тоном:

— А ты... А что скажете вы?

— Прелестно, очаровательно,— отозвался Хольт.— Ведь вам хотелось услышать именно это, не правда ли?

Шнайдерайт вскочил так резко, что стул под ним опрокинулся. Хольт тоже вскочил. Прошла секунда. Шнайдерайт поднял стул, с треском поставил на место и сел. Гундель успокаивающе взяла его за руку и посмотрела на Хольта.

Хольт поднял руку, словно собираясь отереть пот со лба, но только поглубже надвинул фуражку. Ему врезалась в память эта картина: Гундель рядом со Шнайдерайтом, рука об руку. Она с ним, вся целиком с ним!

Раздвинув стулья, Хольт покинул зал. Он пересек Грюнплац. Дорожки были усыпаны пестрой листвой. Засунув руки в карманы и опустив голову, он шагал все медленнее и медленнее, пока не остановился. Он стоял, разгребая ногой шуршащие листья. Увяло, все увяло. Все, что было ему когда-то мило и дорого, он потерял, должен был потерять. Хольт видел перед собой лицо Гундель, ее улыбку, ее взгляд. Единственное, что у него еще оставалось, что было ему дорого. А теперь он теряет и ее. И Хольт пошел дальше, размышляя о людях, которые его окружали, о своей теперешней жизни, в которой он ничего не понимал.

— Поражены слепотой,— сказал он вслух. Наконец он подошел к трамвайной остановке. Вагон был переполнен. Хольт с трудом протиснулся на площадку и поехал к Готескнехту.

■

Шнайдерайт услышал, как за Хольтом захлопнулась дверь, и вздохнул с облегчением.

— Итак, продолжаем. Первое отделение.— Он заметил, что Гундель расстроена.— Теперь смотри,— попросил он ее.— О Хольте поговорим после.

Тема — единство рабочего класса. Шнайдерайт мечтал о зажигательном докладе, но Гундель решительно восстала против его намерения:

— Нет, агитвечер и доклад — это несовместимо.

Решили голосовать. К радости Гофмана, предложение Шнайдерайта не прошло.

— Хорошо,— сказал Шнайдерайт, надувшись.— Давайте придумаем что-нибудь другое. Хотите, устроим любительский спектакль?

— Согласны. А где взять пьесу?

— Взять?— переспросил Шнайдерайт.— Да мы сами сочиним!

Он просиживал теперь ночи напролет и, зажав в неуклюжих пальцах перо, писал.

И вот они начали репетировать отдельные сцены.

Стройка. Обеденный перерыв. Каменщики беседуют между собой. «Какие разрушения!..» — говорит первый. «Товарищи! Как же это могло случиться?» — спрашивает второй.

— Что вы стоите, как истуканы, черт вас подери!— заорал Шнайдерайт.

Но они решительно не знали, куда девать руки и ноги.

«Вот видите, товарищи,— продолжал первый,— если бы тогда все мы были едины...» — и тут же прочитал доклад Шнайдерайта, весь целиком.

— Хватит!— закричал Шнайдерайт.— Кончайте!

В эту минуту кто-то неслышно подкрался к ним, шаркая войлочными ботиками. Старый Эберсбах давно уже стоял у дверей, никем не

замеченный, и попыхивал изогнутой трубкой. Вынув изо рта трубку, он представился: «Эвершбах».

— Ну и чудаки! — старик ткнул мундштуком Шнайдерайта в грудь.— Из крайне левых, да? А я-то думал, что коммуна — за единство рабочих.— Он показал трубкой на сцену и ухмыльнулся. — Уж лучше этого против единства рабочих ничего не придумаешь.

— Зачем вы смеетесь над нами? — воскликнула Гундель.

Эберсбах взял Гундель за подбородок и приподнял ее голову.

— Смотрите, какая красотка! Помолчи, помолчи! Слушай меня! Нет, ты и вправду премиленькая. Ну-ка, ступай на сцену, повтори все, что он тут читал. Тебе они поверят, поверят всему, что бы ты ни сказала.

Шнайдерайт отвернулся. Насмешливая улыбка бродила у него на губах. Он собрал свои заметки.

— Завтра у нас субботник. Будем опять расчищать завалы... А в среду вечером проведем репетицию в Доме молодежи.

— Да ты налакался, что ли? — спросил Эберсбах.— Чего брыкаешься! Ведь здесь вам гораздо удобнее.— Он засеменил вслед за ними к дверям, бормоча на ходу: — Люблю, когда собираются этакие чудаки.— И уже вдогонку прокричал: — Наш школьный кружок сделал бы все, может, и лучше, но, черт подери, им и в голову не придет что-либо подобное!

Шнайдерайт повел Гундель в кафе, наспех оборудованное в нижнем этаже сгоревшего дома. Они сели за круглый мраморный столик, на который падал свет керосиновой лампы, висевшей над стойкой. Кроме них посетителей не было.

— По крайней мере мы теперь знаем, что все никуда не годно. Но вечер состоится, тут и сомнений быть не может.— Шнайдерайт проговорил эти слова как-то рассеянно.

Кельнерша поставила на их столик горящую свечу. Шнайдерайт заказал пиво и грог.

— Как тебе понравился Эберсбах? — спросил он и тут же, без всякой связи, добавил: — А что имел в виду Хольт, когда сказал, что я не все о тебе знаю?

Вытерев столик, кельнерша расставила перед ними напитки и удалилась. Шнайдерайт отхлебнул пива и пристально посмотрел на Гундель.

— Хорошо. Поговорим о нашем вечере. О чем ты все время думала?

Гундель молча развязала красную ленту, прихватила ее зубами и, убрав с висков волосы, снова повязала ее.

— Я хочу понять, в чем тут дело, — сказала она. — Мне кажется, во всем, что мы придумали, нет ничего правдивого, так мы никого не убедим. — Гундель оживилась. — Я знаю, что хочу сказать, а вот выразить не умею. Мы хотим привлечь к себе молодежь, а показываем сцены, которые сами, без ее участия, поставить не можем.

— Значит, по-твоему, мы должны заявить, что нам нечего им показывать, раз они не помогают нам?

— Вовсе не так. Представь себе, что мы разыгрываем сцену—вечер самодеятельности. И вот кому-то захотелось станцевать народный танец... Но нас слишком мало и поэтому ничего не получается...

— Или кто-нибудь решил сыграть в шахматы,— подхватил Шнайдерайт, — а партнера у него нет...

— А в зале, конечно, сколько угодно шахматистов, — продолжала Гундель. — Теперь ты понял? Мы споем песню, ничего, пусть звучит фальшиво, пусть зал смеется. Но мы скажем им: зря смеетесь. Разве вы не видите, что нас мало, что некому научить нас петь? Вот вы все, кто знает слова, поднимитесь на сцену и пойте вместе с нами... Может, кто

и поднимется. Песня сразу зазвучит, и все поймут, что мы не можем без них обойтись!

— А если не поднимутся? — спросил Шнайдерайт.

— А мы посадим среди зрителей участников вечера и условимся, что они должны делать. Пусть они начнут.

— Но нас слишком мало, — возразил Шнайдерайт.

— Ты слышал, что сказал господин Эберсбах? До чего он потешный! Если его школьный кружок умеет представлять лучше, пусть они нам и помогут!

Шнайдерайт молча смотрел на пламя свечи. В воображении он уже видел переполненный зал. Вот Гундель выходит к рампе, и вместе с ней в спектакле принимает участие весь зал. Шнайдерайт откинулся на спинку стула. Он долго-долго смотрел на Гундель... Постепенно лицо его утратило жесткое выражение...

— А знаешь, — сказал он, просветлев, — несколько дней назад я листал томик Гейне, искал «Силезских ткачей» и прочел еще кое-что. Я даже не подозревал, что бывают такие прекрасные стихи. Особенно одно. Я перечитал его много раз и все время думал о тебе. «Ты как цветок весенний — чиста, нежна, мила...»

Гундель склонилась к нему.

— А как дальше?

— «Любуюсь я, но на сердце скорбь камнем легла»,— проговорил он чуть слышно.

Шевеля губами, она повторила про себя стихи и попыталась улыбнуться. Но улыбка угасла под его взглядом.

— А Вернер вот что хотел, наверное, сказать,— голос Гундель пресекся. — Наверное, что мы с ним уже давно знаем друг друга, еще с того года, когда я отбывала трудовую повинность, и что я только ради Вернера и приехала к профессору... Потому что тогда я обещала ждать его, покуда он не вернется с войны... А ты всего этого не знал.

Шнайдерайт провел ладонями по лицу.

— Хорошо. Давай обдумаем еще раз программу. У нас есть время до среды. А что будет с моей пьесой?

— Хорст, я бы не хотела тебя обидеть...

— Обидеть! — проговорил он презрительно и наклонился к ней. — Обидеть, нет... — он засмеялся. — Я сделан из другого теста, чем Вернер! — И уже с трудом владея собой, добавил: — Могу только сказать — неплохой номер ты устроила. Обещала фашисту ждать его. А о своих родителях и не подумала!

Она поднялась очень бледная, постояла несколько секунд и снова села, движением головы отбросив назад волосы.

— Я не слышала этих слов, Хорст, — тихо сказала Гундель. — Иначе мне пришлось бы уйти. Ведь я знаю тебя и понимаю. — Она еле сдерживала слезы. — Ты жестоко обидел меня! Пойми это, Хорст! Ты должен понять!

Он хотел что-то сказать, но не смог и молча схватил ее за руки.

— Я понимаю, — выговорил он наконец. — Но мне так тяжело, так чертовски тяжело! В тюрьме я задыхался от ненависти, чуть не умер, так тосковал по свободе... Мне было семнадцать, потом восемнадцать... И я не хочу, не могу понять, что на воле в это время жили, смеялись, что мои ровесники гуляли и обещали друг другу ждать... Не понимаю!— закричал он. — А мы! Неужто никто о нас не думал?

Гундель высвободила наконец руки. Она гладила его сжатые кулаки, пока они не разжались. Тогда она вложила в его ладони свои пальцы, и оба долго сидели рядом, не произнося ни слова.

Квартиру Готескнехта разбомбило. Он жил теперь с женой в маленькой мансарде стандартного домика, в южном предместье возле самого бора. Хольт видел поросшие лесом пологие холмы, которые постепенно переходили в горы. Там был Хоэнхорст. Мельком он вспомнил о Кароле.

Готескнехт обрадовался гостю. Он был в домашней куртке, сшитой из одеяла и отделанной зеленым шнуром.

— За то, что вы навестили меня, ставлю вам «отлично». Ваш приход — огромное для меня удовольствие.

Крошечный кабинет Готескнехта был обставлен скудно: две полки, набитые книгами, допотопная кушетка, табурет и журнальный столик. Готескнехт освободил столик. Стопку тетрадей и пузырек с красными чернилами он сунул на полку между книгами. Фрау Готескнехт принесла чай. Ей можно было дать лет сорок с небольшим. Она была выше ростом и, вероятно, старше своего мужа. Работала она инспектором в городском отделе социального обеспечения. Готескнехт налил Хольту чашку «настоящего китайского чаю» из ежевики. Хольт закурил.

— Я достаточно опытный психолог,— сказал Готескнехт,— и вижу, что вас что-то угнетает.

— Угнетает? Нисколько!

— Жаль! — сказал Готескнехт. — Чертовски жаль! Но я рад вашему приходу, даже если вас ничто не угнетает. — Он достал с полки грубку и кисет. — С вами что-то неладно. Я часто спрашиваю себя, зачем вы ходите в школу? Вы же сидите и ничего не делаете. Вам надо выговориться, Хольт! Нам всем это надо! Но сперва расскажите, что было с вами после того, как мы расстались на блаженной памяти сто седьмой?

Хольт заговорил рассеянно, с неохотой. И лишь дойдя до судьбы Гомилки, оживился и стал рассказывать подробнее.

— Ну, а как же теперь?

Хольт пожал плечами. Готескнехт курил и молчал.

— Все ясно, — сказал он. — Распространенная болезнь! Человек не может освоиться в новой обстановке. Жизнь идет своим чередом. По улицам расхаживают русские, и, как ни странно, их не поражает молния с небес, и все совсем не так, как нам казалось. И мы разочарованы оттого, что земля не разверзается... а мы продолжаем жить.— Он вынул трубку изо рта.

Хольт опять молча пожал плечами.

— Есть и другое разочарование,— продолжал Готескнехт,— ведь все было напрасно, все было ложью, враги оказались добрыми парнями, а вчерашние герои — преступниками. И вы никак не можете совладать с этим. Не так ли?

Хольт откинулся на спинку скрипучей кушетки.

— С этим можно примириться, — сказал он.

— Нет, этого я слышать не желаю, — возразил Готескнехт.— Надо не мириться, а убедиться! — Он допил чай, отложил трубку и встал. — Никто лучше меня не знает, как трудно дается нам это убеждение. А действовать согласно этому убеждению еще труднее. Ибо между нами и тем, в чем мы должны убедиться, стоит очень многое: прошлое, которое нас сформировало, человеческая косность, эгоизм и, кроме того, страх. Но мы всегда должны действовать только согласно своим убеждениям. Вот наша основная задача.

— А вы, вы всегда действовали согласно своим убеждениям? — спросил Хольт, и в голосе его прозвучала насмешка.

— Слишком поздно. Совсем под конец. Я был командиром батареи, и под моим началом служили пятнадцатилетние мальчики, Хольт. Им не было даже семнадцати, как вам тогда! Батарею нашу перебросили

на восток, она должна была принять участие в боях у Зееловых высот. Она-то, с ее дребезжащими пушками без оптических прицелов! Командир сказал мне по телефону: «Можно вести наводку и по стволу!» Против танков? Да ведь это смертный приговор. Нет, такой приказ я выполнить не мог. И не выполнил. За мной отрядили полевых жандармов, но тут, в последнюю минуту, нас атаковали русские, и мы без боя сдались в плен. В лагере под Кюстрином у меня нашлось наконец время подумать, кем я хотел быть и кем стал в действительности.

— Вы были порядочным человеком всегда, — перебил его Хольт.— Вы были нам отцом.

Готескнехт горько улыбнулся.

— Порядочным?.. Разве можно быть порядочным при бесчеловечной системе, если только не вести борьбу против этой системы?

Хольт вдруг почувствовал себя усталым и больным, он смотрел на Готескнехта, а думал о Мюллере, о Шнайдерайте.

— Меня самого,— сказал он,— швырнуло в войну, в жизнь, в вину. Не понимаю, как все это было возможно.

— Мы, немцы,— заметил Готескнехт,— всегда слишком много верили и слишком мало знали.

— Но ведь это не ответ. Он влечет за собой вопрос — почему?

Стемнело. Готескнехт зажег свечу и в задумчивости прислонился к полке.

— Встает старый вопрос,— сказал он, словно говоря с самим собою.— Бюхнеровский вопрос — обстоятельства, которые не зависят от нас...*

— Вы тоже ничего не знаете.— Хольт чувствовал, как в нем закипает ярость.— Вы старше меня на двадцать лет, но вы ничего не знаете! Вы говорите о критике идейного наследства и на уроках непрестанно употребляете слово «гуманность». Но когда я спрашиваю вас, почему я качусь вниз, да,— крикнул он,— вниз, безудержно, с самого детства, вы ничего не можете мне ответить!

— Когда рушится ложное представление о мире,— отрезал Готескнехт,— это вовсе не означает катастрофы.

И тут Хольту стало сразу ясно все. В тридцать третьем году он был еще ребенком, а ему пришлось расхлебывать эту кашу. Но заварили-то ее отцы. И теперь вместо того, чтобы ясно ответить на вопрос, они смущенно топчутся вокруг да около...

— Господин Готескнехт,— Хольт встал и широко расставил ноги. Не зная, куда деть фуражку, он нахлобучил ее на голову, засунул руки в карманы и, не спуская глаз с Готескнехта, спросил: — Вы голосовали за Гитлера?

— Да,— ответил Готескнехт. Наклонившись над столиком, он прикурил от свечи. Лицо его казалось усталым и постаревшим.— Да,— повторил он.— Сначала я голосовал за партию Центра, а потом, с тридцать второго, за Гитлера.

Хольт пристально смотрел на Готескнехта. Откровенность учителя нисколько его не тронула.

— Послушайте,— сказал Готескнехт,— я голосовал за Гитлера, но это не имеет никакого значения. Он все равно стал бы диктатором, даже без моего голоса. Но если вас действительно интересует ответ на ваше «почему», тогда будьте любезны поинтересоваться причинами! Я скажу вам, к каким выводам пришел я лично. Самым роковым оказалось то, что Веймарская демократия предоставила мне одну свободу — выбрать Гитлера.

* Георг Бюхнер (1813—1837) — немецкий писатель — революционный демократ, драматург. Автор здесь и дальше несколько раз обращается к его пьесе «Войцек», в которой раскрывается трагическая судьба прусского солдата.

Но Хольт уже не слушал его. Да, когда Гитлер пришел к власти, сам он был еще ребенком, ему было шесть лет. Он учился азбуке, сосал леденцы и любил слушать сказочку о спящей красавице. Не он виновен в этом ужасе. Только отцы в ответе за все. Отцы наплевали на ответственность... Они принесли нашу жизнь в жертву своей мании величия. Они довели несчастную Германию до гибели. Они позорно и постыдно сдались и совершенно сознательно выбрали войну и преступления... Эта мысль все больше завладевала Хольтом. Пусть никто не говорит, что он-де этого не хотел и не знал. Все было написано и опубликовано — все, даже то, что нужно мечом завоевать новые земли на Востоке. Значит, те, на кого была возложена ответственность за жизнь детей, за благо страны, обязаны были оглянуться, призвать на помощь свой здравый смысл. Они обязаны были заглянуть за кулисы, а не опьянять себя громкими фразами, не ковылять, как слепые, к избирательным урнам! Да, такова правда, и от нее никуда не денешься.

Вот сидит он, Готескнехт, «отец батареи». Нет, только дурак поверит еще раз этому старшему поколению. И сто крат дурак тот, кто позволит ему распоряжаться своей судьбой!

— Спасибо,— сказал Хольт,— я действительно ухожу от вас гораздо умнее, чем пришел.— И поправив на голове фуражку, вежливо добавил: — До свидания.

6

Встречаясь в школе, Готескнехт и Хольт делали вид, будто ничего не случилось. Но ноябрь был уже на исходе, и Готескнехт, отзывая Хольта в сторону, говорил иной раз с тревогой, а иной — с укоризной:

— Почему вы не занимаетесь, Хольт? Вы не окончите школу.

Хольт отвечал уклончиво. Он не объяснял Готескнехту, что считает посещение школы бессмысленным, что и занятия в классе, и домашние задания с каждым днем кажутся ему все более ненужными, как и его жизнь вообще.

Только с Аренсом он иногда делился откровенно:

— То, что я хожу в школу,— это бессмысленная попытка начать с того самого места, где все оборвалось много лет назад, и еще делать вид, будто ничего не случилось.

Аренс держался в стороне от других соучеников, но с Хольтом пытался сойтись поближе.

— Вы, быть может, слишком все усложняете? — сказал Аренс.— Нужно переждать, нужно чем-то заполнить свое время. Нам не остается ничего другого, как занимать себя, чем — безразлично... Немец предполагает, а русский располагает.

Разговор происходил во время большой перемены. Хольт и Аренс прогуливались по коридору.

— Не знаю, что пришлось пережить лично вам... Скажите, вы уже разделались с прошлым? — спросил Хольт.

— А вы?

— Нет. Есть вещи, о которых я просто не могу вспоминать. Но оставим это.

Раздался звонок. Они вернулись в класс.

— Политинформация. Сегодня очередь господина Гофмана.— Аренс уселся на свое место.— Вам не кажется, что мы прекрасно могли бы обойтись без этих информаций? Высокая политика — интересная игра, но Германия в ней участвовать уже не будет.

Готескнехт сел на свободную скамью. Гофман поднялся на кафедру и без всякого разбора начал зачитывать сообщения из газет. План переселения, выработанный Контрольным советом. Образование местного

городского Комитета женщин. Решение земельного самоуправления о национализации всех предприятий концерна Флика. «Разбойники» Шиллера в городском театре. Выдача новых промтоварных карточек. Убытки, понесенные Советским Союзом во время войны, достигают семисот миллиардов рублей... Обнаружены новые могилы в местах массовых расстрелов...

Хольт прислушался.

— «В Бауцене обнаружено несколько массовых могил...— слушал он, чувствуя, как на грудь ему наваливается чудовищная тяжесть...— Расстреляны эсэсовцами... как предполагается, узники концентрационных лагерей, эвакуированные в связи с наступлением советских войск... их гнали на Запад через Бауцен...»

Гофман сошел с кафедры, Готескнехт начал урок, а Хольт все еще сидел неподвижно. «Да, их гнали на Запад, через проход в противотанковом заграждении!» Воспоминания эти преследовали Хольта неотступно всю дорогу, хотя он нарочно старался идти домой как можно дольше. Из всех картин прошлого эта, казалось, забыта навсегда. Тем отчетливее встала она сейчас в его памяти. ...Туманное утро. У противотанкового заграждения сменились часовые. Среди заступивших был Петер Визе. Издалека доносились выстрелы, словно щелканье кнута. К заграждению подошла колонна. Призраки — и все-таки действительность. Живые скелеты, на которых болтались полосатые одеяния с красными треугольниками на спине...

■

Когда Хольт вернулся домой, отец уже обедал. Хольт тоже сел за стол.

— Чем болен господин Мюллер? — спросил он, помолчав.

— У него подострый септический эндокардит.

Хольт попросил разъяснить, что это означает.

— Неизлечимая болезнь сердца. Кроме того, ему в лагере отбили почку, а в другой, еще функционирующей, очаговый нефрит.

— А он знает, что с ним?

— Летом после освобождения он лег в больницу. Решил выздороветь во что бы то ни стало. Но, узнав о своем состоянии, настоял, чтобы его выписали.

— Почему? — спросил Хольт.

Профессор подошел к окну. На дворе был серый, пасмурный день.

— Почему? — переспросил он, не оборачиваясь.— Мюллер не согласен лежать в постели и ждать смертного часа, который, может быть, наступит не так уж скоро. Он хочет встретить смерть в гуще жизни. Ты ведь знаешь его. У Мюллера ясная голова, он еще чувствует в себе силы. Он хочет жить, и живет без громких слов, хотя знает, что конец близок.

■

В воротах Хольт повстречал Гундель. Он редко обедал за общим столом и поэтому видел ее не чаще, чем прежде, хотя они жили сейчас под одной крышей. Гундель, поглощенная своим агитвечером, принялась рассказывать ему о репетициях. Но Хольт почти не слушал ее. В тот день у противотанкового заграждения, стоя перед открытой могилой, он думал: «Как же я теперь посмотрю в глаза Гундель?» А сейчас он вдруг почувствовал, какая пропасть лежит между ними.

— Что с тобой? — спросила Гундель.

«Все они спрашивают: что с тобой?»

Гундель торопилась. «Вероятно, к Шнайдерайту, их-то никакая пропасть не разделяет».

— Со мной ничего.

«Шнайдерайт,— думал Хольт,— а ведь его так же швырнуло в жизнь, как и меня. Кто же распределил между нами роли? Кто разверз между нами пропасть?»

— Ты права,— сказал он.— Я тебе не пара. Слишком много грязи прилипло ко мне.

— Что это значит? — спросила Гундель, ошеломленная.

Но он кивнул ей и пошел прочь. А дома наткнулся прямо на Мюллера.

— Как поживаем, Вернер Хольт? — приветливо спросил Мюллер. На лацкане его куртки блестел треугольник. Когда-то он был нашит у него на спине. Мюллер мало знал о Хольте. Но у таких, как Мюллер, глаз острый...

Он позвал Хольта в конференц-зал. «Не противься! Признание так и рвется из тебя». Фрау Томас поставила три прибора и принесла миску с супом. Как всегда, у нее была очередная новость, но на этот раз они не стали ее слушать, и она ушла, оставив их вдвоем. Не расстегивая куртки, Мюллер сел.

— Как дела в школе? — спросил он.— Нравится вам в Мёнкебергской группе антифашистской молодежи?

— Честно говоря, нисколько не нравится,— ответил Хольт.— Меня там только терпят. Я для них чужой.

Мюллер удивленно посмотрел на него.

— Хотите, чтобы я и вам врал! — воскликнул Хольт.— Перед вами я не могу притворяться. Говорю совершенно откровенно — больше я туда не пойду!

— Да что с вами приключилось?

— Не заслуживаю я вашего дружеского тона, господин Мюллер! Права на него не имею. Вы и не подумали бы так относиться ко мне, если бы только знали!..

— Если бы знал — что?..

Признание само рвалось из Хольта.

— В газете напечатано, что в Бауцене обнаружили новые массовые могилы. Я тоже знаю одну могилу, я найду ее, там зарыто семь или восемь человек, таких, как вы, в полосатых куртках, с красным треугольником на спине. И Петер Визе тоже лежит там, их пристрелили эсэсовцы...

— А вы, Хольт? Вы? Да говорите же! — крикнул Мюллер.

— Я присутствовал при этом,— голос у Хольта сорвался.— Я стоял там с винтовкой, и смотрел, и даже пальцем не пошевелил.

— И это не давало вам покоя, правда? — спросил после долгого молчания Мюллер. Глядя мимо Хольта, он повторил: — Стоял и смотрел...— Мюллер расстегнул, наконец, куртку и размотал кашне...— Завтра утром ждите меня у ворот. Пойдете со мной и дадите официальные показания, где нужно искать эту могилу.

■

Школа стала окончательно безразлична Хольту. Он даже и не пытался включиться в учебу. Сидя на уроках, он бесконечно рылся в памяти, перебирая прошлое. Особенно часто вспоминал он Зеппа Гомилку. Адвокат, отец Зеппа, написал Гундель, что собирается в Дрезден по каким-то неотложным делам. На днях он как раз и должен быть в Дрездене. В свое время адвокат казался Хольту чуть ли не единствен-

ным человеком, который знал, каким путем надо идти. Этот путь он указал и своему сыну...

Не сказав никому ни слова, Хольт поехал в Дрезден. Он только оставил Гундель записку с просьбой сообщить об этом отцу.

Поездка была очень утомительная. Сначала Хольт ехал на подножке, потом ему удалось протолкаться в вагон. Он стоял всю дорогу, не имея возможности шевельнуться. Только тут он наконец обдумал, что ему нужно от отца Зеппа.

Однако в Дрездене он уже не застал адвоката. В Радебейле, предместье Дрездена, жена зубного врача Гомилки, дяди Зеппа, сказала Хольту, что он опоздал: адвокат уехал в Берлин. Впрочем, Хольт даже не был разочарован. Вернее, он почувствовал какое-то облегчение.

В Дрезден Хольт возвращался пешком. Очутившись у Эльбы, он спустился к воде и пошел по длинному каменному молу. Серая тусклая вода с рокотом ударялась о камни, образуя водоворот. В нем, описывая круг, вертелась пустая бутылка. Хорошо, что он не застал адвоката. Ничего, кроме латинских словечек, все равно от него не услышишь. Но куда деваться сейчас? Унестись по течению? Куда-нибудь река да впадает.

Начался дождь, тучи нависли совсем низко, стемнело. Хольт завернулся в плащ-палатку и быстро зашагал к городу.

Он остановился у освещенного подъезда какого-то бара, уплатил за вход и сел у столика. К нему подсели три девушки, совсем молоденькие. Их вечерние платья были сшиты из каких-то лоскутьев. Девушек в баре было больше, чем мужчин, и перед каждым новым танцем накрашенные девичьи мордочки с надеждой и даже вызовом оборачивались к Хольту. Но он не обращал на них внимания. Хольт докурил последнюю сигарету и пересчитал оставшиеся монеты. Кельнер принес ему какой-то напиток под названием «алколат», безбожно дорогой. Хольт выпил и заказал еще.

В переполненном зале было душно, воняло табачным дымом и потом. Растрепанные бумажные гирлянды, свисающие с потолка, бледные размалеванные лица, ритмически двигающаяся по паркету толпа — если это и есть жизнь, значит, он вообще ее не знал. И Хольт решил смешаться с этой толпой, может быть, ему удастся почувствовать наконец жизнь. Но он продолжал сидеть, не двигаясь, смотрел на лампы и курил. Девушки перестали уже обращать на него внимание.

■

Шли часы. Разнузданное пьяное веселье охватило посетителей. Время от времени толпа танцующих вдруг исчезала, на паркете никого не оставалось, грохот оркестра смолкал. И тогда в ушах стоял глухой гул голосов, неожиданно взрывавшийся женским смехом.

В один из таких перерывов Хольт заметил высокого, крепкого мужчину, который большими шагами направлялся через зал прямо к его столику. На нем был темный, в светлую полоску костюм, широкие брюки и яркий, кричащий галстук. Белые, как лен, волосы торчали над детским розовым лицом. Маленькие свиные глазки впились в Хольта. На секунду человек, казалось, окаменел. И вдруг бросился вперед.

— Подумать только! — взревел он.— Да возможно ли это? Старый вояка! Дружище Вернер! Как ты сюда попал? Ты же убит! Я сам видел, как они тебя прикончили! Да скажи, наконец, что-нибудь, черт ты этакий! — заорал он еще громче.— Как ты сюда попал?

Фетер! Кристиан Фетер, живой, колотил Хольта по плечу, сияя во все лицо. Он был вне себя от восторга. Хольт не мог опомниться. Фе-

тер! Фетер не истлел в подвале под развалинами. Кристиан Фетер здесь, живехонек.

А Фетер уже тащил Хольта через весь зал к своему столику и представил его какой-то девице по имени Карлинхен. Ей было лет двадцать. Черноволосая, кудрявая, с круглым желтым личиком, напоминавшим тыкву. На пухлой ручке Карлинхен сверкали два кольца, красный лак покрывал ногти. Фетер долго шептался с кельнером и несколько раз пригоршнями вытаскивал деньги из кармана пиджака. Кельнер принес бутылку вишневого ликера.

— Сию минуту, господа,— сказал кельнер, обращаясь к сидевшим за соседним столиком,— я все вам подам. Вот только господин уплатит за вино.

Фетер уже успел разлить ликер в большие рюмки.

— Итак, за встречу!

Хольту обожгло горло. Он все разглядывал Фетера. Кристиан казался штатским до мозга костей — благодушный, довольный, словоохотливый. Он, видимо, действительно был счастлив, встретив Хольта. Но Хольту не сразу удалось стереть в памяти образ другого Фетера, того, кто тогда, в подвале, держал бельевую веревку и орал: «Повесить, и точка! В саду на груше!» В конце концов никто никого не повесил. Фетер был только сторожевым псом, выполнявшим приказы своего хозяина. Хозяином был другой, Вольцов. А Вольцов мертв. Нет, Хольт не мог упрекнуть Фетера ни в чем, что не поставил бы в вину и себе. Надо предать забвению прошлое.

Хольт выпил еще рюмку. Оцепенение медленно проходило. Может быть, жизнь не столь уж безнадежна. Надо только уметь принимать ее так, как принимает Фетер,— словно сумасшедшую ярмарку, на которой есть все, что душе угодно. Ведь если верить Фетеру, сейчас наступило время неограниченных возможностей, и тот, кто не использует эти возможности, а занимается разгребанием развалин,— поистине олух! Вот Фетер заворачивает большими делами. Он меняет чулки на сигареты, связан с межзональными рынками и получает огромные барыши, на которые действительно можно жить.

— Хватай все, что можно! — воскликнул Фетер.— Ну-ка, старик, тяпнем еще по одной! Скоро все равно начнется война между amis и русскими.

Он рассказал Хольту о своих родителях. Отца взяли в фольксштурм, и он был убит, а мать живет у родных здесь, в Дрездене, она теперь и пикнуть не смеет.

— А ты, Карлинхен, помалкивай, не то получишь... Погоди, мы еще потанцуем.

Наконец пришла очередь Хольта рассказывать. Но Фетер был плохой слушатель. Он то и дело перебивал. Как? Опять ходить в школу? Рехнулся Хольт, что ли? Да и вообще все, кто слушает стариков, сами виноваты.

— А у твоего старика завод? Завод медикаментов? Интересно! Значит, у него самый первоклассный товар! — Фетер прекрасно во всем разбирался.— Вот, например, таблетки от триппера или что-нибудь в таком роде. Я выложу пятьдесят марок за трубочку. То есть как это не пройдет? — Фетер искренне возмутился.— Ну, знаешь, если так, ты никогда ничего не добьешься. Твое здоровье, вояка! — Он стал расспрашивать о старых знакомых.— А знаешь, сейчас всюду появились списки лиц, переменивших местожительство.— Фетер вытащил из кармана несколько листков, отпечатанных на гектографе, и бросил их на стол. Затем поманил пальцем Карлинхен, и она послушно пошла с ним танцевать.

Хольт пробежал глазами список. «Барним Ута,— прочел он.— Проживает в собственном доме у озера под Оберкраменом, за перевалом Санкт-Блазиен, Шварцвальд, французская зона».

Хольт опустил листок. Откинувшись на спинку стула, он задумчиво смотрел в зал.

7

Готескнехт сделал вид, будто ничего не случилось, и Хольт, пропустив много дней, опять начал ходить в школу. Фетер обещал вскоре навестить его, он говорил о каких-то своих больших планах. Хольт связывал с этим посещением неопределенные надежды. Может быть, встреча с Фетером окажется поворотной в его бесцельном существовании? И в самом деле, разве перед ним не открылись сейчас новые горизонты, разве его не занимают мысли, нисколько не связанные ни со школой, ни с заводом, ни с Гундель и Шнайдерайтом? Ута Барним жива! Прошло несколько дней, прежде чем Хольт освоился с этой мыслью. Ута жива! Может быть... Нет, конечно, она не забыла его.

Хольт посещал занятия только потому, что для получения продовольственных карточек ему нужна была справка из школы. Да и что бы он стал делать целыми днями? Молчаливый и рассеянный, сидел он в классе, и учителя поставили на нем крест.

— Неуспевающим у меня делать нечего,— сказал Эберсбах.

Один только Готескнехт по-прежнему старался усовестить Хольта.

— Дальше так продолжаться не может. Нельзя же распускаться! Нельзя!

Хольт даже не защищался. Готескнехт смотрел на него испытующе.

— Пора вам проснуться, Хольт. Смотрите, как бы не было поздно!

Но Хольт замкнулся в себе. Он не хотел слушать ни Готескнехта, ни других. Впрочем, однажды он внял настойчивым приглашениям Аренса и навестил его.

В первые дни декабря начались снегопады и жестокие морозы. Зима, которой все так боялись, наступила сразу. У Хольта все еще не было пальто. Он расхаживал в старом мундире, а под него надевал толстую солдатскую фуфайку и теплый шарф.

Аренсы жили в Мёнкеберге, в доме, пристроенном к их мебельной фабрике. В комнате Аренса висели фотографии их загородного домика, который находился недалеко в горах, у водохранилища.

— Нравится вам этот пейзаж? — спросил Аренс, увидев, что Хольт рассматривает снимки.— Я буду рад, если летом мы вместе поедем туда.— Он явно старался завоевать расположение Хольта.— Право, мы очень приятно проведем там конец недели.

За чаем в столовой, обставленной старинной мебелью, Хольт познакомился с родителями Аренса. Отсутствовал только старший брат, он уехал по делам. Хозяйка дома, фрау Аренс, была чудовищно толста. Эгон недавно рассказал Хольту, что мать его тяжело больна, она страдает ожирением, гипотиреоидным адипозитасом. Аренс произносил медицинские термины, как самые обычные слова. Фрау Аренс, которая от тучности почти не могла двигаться, задыхалась, сидя за чайным столом. Стоило ей произнести несколько слов, как у нее начиналась одышка и, прижав руки к своей огромной груди, она стонала: «О, господи... воздуху!» Эгон тотчас вскакивал и распахивал окно. Мебельный фабрикант Аренс был седоватым, холеным господином лет пятидесяти. Красивую голову и глаза с длинными ресницами Эгон унаследовал от отца. Хозяин дома, любезный и жизнерадостный, готов был бурно ра-

доваться по любому поводу и непрестанно разражался громким смехом. Попивая чай и жуя овсяное печенье, господин Аренс осторожно выведывал у Хольта, что делается у них на заводе. Хольт вежливо отвечал, что, к сожалению, ничего не знает.

— Как бы там ни было, акционерному обществу «Шпремберг» придется туго,— сказал господин Аренс, тщательно вытирая салфеткой кончики пальцев.— Впрочем, так будет не только с крупными предприятиями. Вот погодите, у нас экспроприируют все заводы и фабрики. Только не мою! — воскликнул он, словно не помня себя от радости.— Правда, я занимался военными поставками — делал шкафы по заказу вермахта, но меня окончательно вычеркнули из списка лиц, имущество которых подлежит национализации. Награда за добрые дела.

— У нас работали восточные рабочие,— пояснил Эгон,— русские. Отец действительно очень о них заботился, хотя это каралось. Давал им дополнительный паек, одеяла, медикаменты. После разгрома рабочие письменно засвидетельствовали это.

— Мой муж был всегда добр к своим людям... О, господи, воздуху!..— крикнула госпожа Аренс.

Эгон бросился к окну.

— Ваша мать в Западной зоне? — поинтересовался господин Аренс.

— И вы живете здесь? — воскликнул Эгон.— Просто удивительно.

— А вы бы хотели жить в Западной зоне? — спросил в свою очередь Хольт.

— О нет! — возразил фабрикант.— Разумеется, нет! Вот погодите, здесь проведут национализацию, и я одним махом избавлюсь от всех конкурентов! — Он неудержимо расхохотался.— А пока национализированные предприятия,— продолжал господин Аренс, наконец успокоившись,— начнут выпускать продукцию такого качества, чтобы конкурировать со мной,— о, господи! — к тому времени я давно уже буду в земле.

Хольт распрощался. Эгон проводил его до дверей. На дворе была метель, он быстро продрог и поднял воротник. «И вы живете здесь?» — слышался ему голос Эгона.

Какая-то девушка прошла мимо. Она направлялась к дому. Хольт удержал ее за локоть.

— Да это Анжелика!

Девушка подошла и, склонив голову набок, доверчиво посмотрела на него.

— Пойдем в кино!

Она покачала головой.

— Я с вами почти незнакома.

— Пойдем. Вот и познакомишься.

Она, видимо, раздумывала. Сквозь рукав пальто он почувствовал тепло ее руки.

— Не выйдет. В шесть я должна быть дома. Бабушка за мной очень следит.

— Придумай что-нибудь. Ты ведь поешь в школьном хоре? Скажи, что тебе надо на репетицию!

— Хорошо,— согласилась Анжелика.— Авось поверит.— Она хотела войти в дом, но Хольт опять удержал ее.

— Послушай... А сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— Врешь!

— Но мне уже исполнилось пятнадцать...

Хольт неожиданно вспомнил: «И вы живете здесь?.. Если у вас там так хорошо, зачем же вы приехали сюда?.. Может быть, вы навестите меня в Хоэнхорсте?»

— Знаешь что,— сказал Хольт,— оставайся-ка дома. В кино мы сходим через год. Разумеется, если я еще буду здесь.— И кивнув Анжелике, он зашагал к трамвайной остановке.

■

Хоэнхорст находился далеко за городом, по дороге в горы. Здесь уже всюду лежал снег. Хольт долго бродил между виллами, разыскивая дом доктора Бернгарда. Он оказался последним в длинном ряду стандартных построек. Звонок не работал. Сквозь щели ставен пробивался слабый свет. Вероятно, выключен ток. Что ему нужно у Каролы? Хольт готов был уже повернуть назад, но передумал и, отворив садовую калитку, обошел дом кругом. До него донеслись звуки рояля. В конце сада у сарая висел керосиновый фонарь. Должно быть, там и помещался легендарный крольчатник доктора Бернгарда. Хольт поднялся на веранду, отворил дверь и пошел прямо на звуки музыки.

Открытый кабинетный рояль чернел в гостиной. По обе стороны пюпитра в медных подсвечниках горели свечи. Играла Карола. На ней было все то же плотно облегающее платье, фигура ее казалась еще более тонкой, а лицо бесплотным. Увидев Хольта, девушка в испуге перестала играть и покраснела. Впрочем, она быстро оправилась от смущения.

— Почему вы бросили играть? — спросил Хольт.— Что вы исполняли?

— «Патетическую». Вы меня испугали, теперь у меня ничего не получится.— Карола вынула свечи и пошли впереди Хольта, освещая ему путь.

«Словно ангел с подсвечника»,— подумал Хольт, усмехаясь.

Она провела его в свою комнату. Он огляделся. Здесь, за городом, все будило в нем воспоминания.

— Как у Петера Визе,— сказал он. Это имя напомнило ему Уту. Охотничий дом в Шварцвальде... Далеко отсюда, но недостижимой цели не бывает. Карола вопросительно смотрела на него.— Видите ли, Петер Визе хотел стать пианистом. Он часто играл мне, особенно Шумана.

— А где он теперь?

— Теперь он мертв.

Карола долго стояла у двери, не двигаясь. Потом схватила свечу и на несколько минут оставила его одного. Хольт не заметил, что она вышла. Он сидел, глубоко задумавшись. Да, Петер Визе мертв. И как ни бессмысленно все, что случилось, он умер хорошей смертью.

Карола принесла вазу с яблоками, тарелку и фруктовые ножи.

— До сих пор жизнь меня щадила,— заговорила она, усевшись на свою постель, застланную пестрым покрывалом.— Но я знаю, что значит потерять любимого друга. Мне тоже пришлось это испытать.

В словах ее не было решительно ничего дурного. Почему же они будили в нем чувство протеста? Он и сам не мог этого понять.

— Вы не расскажете мне о вашем друге? — попросила Карола.

Хольт покачал головой.

— Вы всегда думаете о прошлом?

— Я постарался многое забыть. Но прошлое преследует нас. Вот я гляжу на вас, Карола, вспоминаю годы, прожитые в Бамберге, вспоминаю детство.

— Воспоминания о детстве — лучшее из всего, что у нас есть.— Карола закинула ногу на ногу и, сцепив пальцы, обхватила руками колени.

— Может быть,— согласился Хольт.— Но я бы солгал, сказав, что это так. Я убежал из дома. Первый раз в Гамбург, потом — на войну. Я не мог выдержать дома. Сейчас я спрашиваю себя — почему, в сущности? Впрочем, не будем об этом говорить.

Хольт ничего не ел с самого обеда и очень проголодался. Он схватил яблоко, вытер о рукав и впился в него зубами; скоро от яблока остался только черенок. Чувство голода прошло. Карола молча смотрела на Хольта. Им овладело мирное, доверчивое настроение.

— Знаете, с тех пор, как я вас увидел, жизнь уже не кажется мне такой безнадежной,— сказал он.— Но я никак не могу освоиться в новой обстановке. Все мне чужие.

— А я вам тоже чужая? — спросила Карола почти шепотом.

— Да,— сказал он грубо.— Когда вы говорите об осени, о саде, о тоске по далеким краям, мне кажется, что вы проспали все последние годы. Может, и я был когда-то таким, как вы. Может, и во мне все лишь засыпано пеплом. Но, слушая вас, я подумал, что, пожалуй, у меня есть еще выход.

— Я вас так понимаю! — тихо сказала Карола.— Не знаю, почему вам захотелось бежать, но я знаю, что чувствуешь, когда родные места вдруг становятся тесными, а тоска по далеким краям неодолимой. Вы долго были бездомным, если вы вернетесь в мир вашего детства, быть может, все, что угнетало вас раньше, покажется вам теперь великим счастьем.

Она сказала именно то, что ему хотелось услышать, чтобы принять решение. Но желание противоречить овладело им с такой силой, что он поднялся с места. Он посмотрел на нее оценивающим взглядом. Эта стройная, привлекательная девушка нравилась ему. Как ни искусственно звучали ее слова, она была полна жизни, а Хольт еще не знал, что такое настоящая жизнь. Засунув руки в карманы и глядя на нее в упор, он сказал:

— Ведь вам вовсе не безразлично, останусь я здесь или уйду навсегда! Зачем же вы притворяетесь?

Она опустила глаза. Потом встала, смущенная, чтобы посветить ему. Но он взял у нее свечу из рук и поставил обратно на стол. «Только не уламывать, не упрашивать». Притянув Каролу к себе, он завел ей руки за спину и поцеловал прямо в губы.

— Отвечай! — приказал Хольт.— Тебе все равно — уйду я или нет?

— Мне будет очень грустно, если я не увижу тебя больше,— сказала Карола.— Но меня будет утешать мысль, что я помогла матери вернуть сына и обрести счастье...

■

Фетер наконец явился. Он пришел в субботу днем с превеликим шумом. Сидя у себя, Хольт услышал его громкий голос. К счастью, Мюллер еще с утра уехал на грузовике, профессор работал наверху, в лаборатории, а Гундель, как обычно, была в молодежной группе.

Фетер с двумя чемоданами стоял у проходной и, указывая на вахтера, возмущался.

— Не впускает, подумай только!

На Фетере было демисезонное пальто в клетку и жесткая черная шляпа. Схватив свои чемоданы, он тяжело затопал за Хольтом вверх по лестнице.

«Фетер пришел. Этим решается все».

— Послушай,— сказал Хольт, уже все заранее обдумав.— Ты когда собираешься туда? Завтра? Прекрасно. Захватишь письмо для Уты Барним.

— Успеется,— Фетер осмотрел все углы, поглядел в окно на заводской двор и, наконец, уселся на кровати.— Как ты можешь жить в этом хлеву? Вот станем с тобой компаньонами, такими делами заворочаем!—

Фетер был полон планов. Он говорил о делах, на которых можно разбогатеть почти без риска, только это очень долго. Но есть и другие, более опасные, зато гораздо более прибыльные. Вот для этого ему и нужен напарник, такой, как Хольт.

— Погоди,— сказал Хольт.— Я жду ответа на мое письмо. Если не привезешь, тогда посмотрим. «Тогда я продам душу черту»,— подумал он.

Они решили пойти куда-нибудь, где бы Хольт без помехи написал письмо. Но Хольту хотелось соблюсти правила хорошего тона и представить Фетера своему отцу.

Фетер низко поклонился профессору. Детское лицо его так и сияло, он болтал без умолку. Да, он всегда восторгался фильмом «Роберт Кох». Он тоже хотел стать естествоиспытателем. Дома на кухне проделывал всякие опыты с кислотой и прочим, а отец драл его за это нещадно, подумать только! Здесь, в лаборатории, его страшно все интересует.

— Можно посмотреть, что у вас там?

— Не трогайте ничего руками,— строго сказал профессор.

Фетер проворно обогнул стол, сунулся в бывшую ванную, где в клетках сопели кролики, осмотрел приборы, аппараты, холодильник, инкубатор и долго созерцал соседнюю комнату, в которой профессор хранил химикалии и медикаменты. Затем с полминуты понаблюдал, как профессор работает, и громко заметил:

— И как только у вас хватает терпения, вот уж, можно сказать, курочка по зернышку клюет, а сыта не бывает. — Выходя из лаборатории, он все еще подтрунивал над тем, как здесь воняет — не то эфиром, не то еще чем-то. Хольт, разозлившись, вытолкал его в коридор.

На вокзале они сдали чемоданы в камеру хранения и отправились бродить по улицам. Снег опять растаял, но в городе пахло зимой, и эта первая послевоенная зима, словно чудовищный призрак, пугала людей, толпившихся в очередях у магазинов. Лица у всех были серыми и потухшими. Фетер достал из кармана пачку сигарет.

— Товар экстра, «пэлл-мэлл», сверхдлинного формата.— Он покосился на Хольта.— Ты тоже мог бы иметь все, что угодно, если б не был размазней. У твоего старика стоят три бутыли, каждая литров по десять, не меньше, чистый спирт. Да я с ходу выложу тебе на стол по четыреста марок за литр.

— Отстань! — сказал Хольт.

Фетер схватил его за руку.

— А сколько таблеток от триппера, целые пачки! Да ведь на них сейчас спрос больше, чем на чулки и на «честерфилд»!

— Отстань! — повторил Хольт.

Они зашли в пивную, неподалеку от вокзала.

— Моя здешняя база, — пояснил Фетер, здороваясь с хозяином, который был ему знаком.

Около семи они перекочевали в танцзал Ноймана. Фетер заказал спиртного и замешался в толпе танцующих.

Хольт остался у столика. Он пил рюмку за рюмкой и быстро хмелел. Скоро все окружающее отодвинулось куда-то далеко. Он вынул бумагу, ручку, выпил еще одну рюмку и принялся за письмо. «Дорогая Ута,— написал он. И вдруг все его мучения неудержимым потоком хлынули на бумагу.— Я нигде не нахожу себе места. Жизнь чужда и враждебна. Я одинок, я покинут, я тоскую о тебе...» Чепуха. Ложь. Хольт смял листок. Он хорошо знал, как она насмешлива. Он пил, покуда лампы вокруг не загорелись ярче.

Нет, к чему слова и лишние вопросы? Самое правильное — приехать к ней без предупреждения. Но на это он не решался. Прошло больше двух лет, как они расстались. С тех пор много воды утекло. Ута в Шварц-

вальде. Кто знает, прежняя ли она еще? А он сам? Разве он не изменился? На то далекое время, когда он вел еще полусознательное существование, жизнь набросила густую тень. Только один огонек светил ему во мраке — Гундель.

Хольт взял ручку. «Дорогая Ута, — быстро строчил он. — Мне очень хочется тебя навестить. Если ты не возражаешь, пожалуйста, напиши мне в Любек, до востребования». Он заклеил конверт. «А если она не ответит? Тогда мне остается только ехать к матери. Или продать душу Фетеру».

Хольт пил, а Фетер все подливал. Взяв у Хольта конверт, он сунул его в бумажник, где лежали толстые пачки кредиток.

— Дай мне денег! — сказал Хольт и нетерпеливо добавил: — Давай, давай! Ты купаешься в деньгах!

Фетер постучал себя по лбу, однако после долгих колебаний вынул бумажник.

— Ладно. Не хочу быть скупердяем. Правда, сейчас у меня туго с монетой. Я все вложил в чулки, но тысчонку тебе дам. Разумеется, под расписку.

Хольт расписался и спрятал кредитки в карман.

Хольта пугало долгое, ничем не заполненное время ожидания. Впрочем, Фетер обещал вернуться к рождеству. Деньги давали Хольту независимость. Пусть хоть несколько вечеров лампы горят ярко. Хоть на несколько мгновений забыться от тоски и безнадежности.

8

Прошло больше двух недель с того дня, когда Фетер был здесь. Если с ним ничего не случилось, значит, скоро вернется. У Хольта стало легче на душе.

Вот уже несколько дней Хольт без уважительных причин не посещал школу. Пусть они исключат его из списков учащихся. Правда, не легко избегать домашних. Просто удивительно, как это отец не замечает, что он прогуливает и с утра до вечера слоняется по улицам. Впрочем, что тут удивительного? У отца другие дела. У него всегда были другие дела. С мыслями об отце Хольт легко справился. Вот с мыслями о Гундель справиться было труднее. Но он и с этим совладал. Гундель не с ним, она со Шнайдерайтом. И Хольт увидел наконец мир таким, каков он есть: дисгармоничным, с трещиной, расколовшей его пополам. Раньше мир представлялся ему манящим, таинственным, волшебным лесом, в центре которого он привык видеть самого себя. Это чувство он пронес через все детство и юность. Сегодня оно казалось ему наивным, пусть благородным, но смешным. Существовало два мира, и их разделяла пропасть. А он стоял на краю этой пропасти и смотрел туда, где думали, говорили и поступали по-другому. Послевоенное время выбросило его в чужой и непонятный мир Мюллера, Шнайдерайта, Гундель. Здесь ему искать нечего. Здесь он пришлый.

С того дня когда Хольт побывал у Каролы, он отказался от тайного стремления стать другим, жить иной, не своей жизнью. Нужно вернуться в тот круг, из которого он вышел, из которого его вырвала война,— в круг своей матери, родных, Уты. Его место там, и, может быть, там он найдет то, чего ищет — свою собственную, свою настоящую жизнь.

Хольт знал, что потерпел крушение. Значит, надо предпринять новую попытку, ведь впереди еще долгая жизнь, нельзя прожить ее так, как он живет сейчас, в это время ожидания. Надо что-то сделать с собою, но что — он не знает. Может быть, Ута знает или мать? А если не они, так уж, наверное, знает Фетер. Раз он сам не может найти путь, значит,

надо пойти за Фетером. И тогда его перестанет терзать то, что еще мучительно — правда, все реже и реже — шевелится на самом дне его сознания. Это ощущение возникает каждый раз, когда он видит заводской двор, или лабораторию и человека в белом халате, или грузовик, въезжающий в ворота...

В таких случаях он спасался бегством в город. Никому не известный, он тонул в людском потоке. Это было бегство в немое одиночество, в водоворот послевоенных будней. Хольт бродил по улицам, где жизнь замирала рано, или усаживался в каком-нибудь баре — они теперь вырастали, словно из-под земли. С превеликим трудом он распределил деньги, которые ему дал Фетер — их должно было хватить на все время ожидания, несколько вечеров ему пришлось побыть дома. Но всегда, находясь в обществе незнакомых людей, он казался погруженным в себя. Хольт почти не танцевал. Сидя за столиком, он молча смотрел на лампы и мысленно передвигал стрелки часов.

Сегодня все было как обычно. Звенели рюмки, играла музыка. Приближалась полночь.

Вдруг шум затих. Лампочки загорелись ярче. Кельнеры бросились получать деньги по счетам. В дверях мелькнули синие шинели полицейских.

— Всем оставаться на местах!

На улице, пронзая туман светом фар, выстроилась колонна грузовиков. Крики, смех.

Облава!

Машины помчались к полицей-президиуму. Но и этот эпизод оказался лишь новым аттракционом на сумасшедшей ярмарке, которая называется Жизнью — от начала до конца, — от «алколата» до «Не ломайся, парень. Возьмут у тебя отпечатки пальцев, и все. За этим тебя и привезли».

Долгие часы в пустом помещении с деревянными скамейками вдоль стен. На скамейках галерея мужчин — старых и молодых, в непромокаемых куртках, в матросских штанах, в измятых рубашках. И среди них Хольт. Сперва некоторые еще шутили, смеялись, потом потянулось бесконечное ожидание. Все устали. Только под утро начали вызывать на допрос. Все опять оживились.

— Фамилия! Налево! Направо! Хольт, Вернер? Ничего не значится. Направо, пожалуйста!

— Тебе здорово повезло, других отправят в карантин.

— Погодите, вот сюда!

Письменный стол, двое в штатском, на лацканах пиджаков красные треугольники.

— Посмотри, что при нем?

— Триста марок без малого.

— Может оставить. Восемь сигарет? Купили на черном рынке, не мелите чепуху, такой сорт по карточкам не выдается!

— Отпусти его. Следующий!

■

На улице был уже день. В центре города, среди развалин, экскаватор вгрызался ковшом в груду щебня. Хольт прислонился к стене обгоревшего дома. Рев мотора больно отдавался у него в ушах. Хольт почти не ощущал унижения, пережитого минувшей ночью. Все это уже вообще неважно. Он глядел, как отъезжают машины, груженные щебнем. Мотор опять взвыл. Широкие гусеницы пришли в движение. Ковш глубже вгрызся в развалины, гора щебня заколебалась и рухнула. Поднялась туча пыли.

Мотор замолк. Экскаваторщик вылез из кабины. С соседнего участка подбежали несколько женщин в пестрых платках. Пыльная туча рассеялась. Засыпанный подвал разверз свою голодную пасть.

Одна из женщин, не слушая предостережений, полезла в дыру. Через минуту она выбралась оттуда и что-то закричала. Экскаваторщик взмахнул руками и побежал к подвалу, женщины бросились за ним.

Не замеченный никем, Хольт перебрался через насыпь и стал спускаться в темноту, все глубже и глубже.

У нижней ступеньки он наткнулся на мертвеца. Хольт чиркнул спичкой и увидел картину, навсегда врезавшуюся ему в память.

Мертвецы уже разложились. Провалившиеся рты скалили зубы. На костяные лбы свисали космы волос. Ни один взгляд не упал на Хольта из пустых глазниц. Жилы, словно тросы, выступали на иссохших шеях. Все они были когда-то людьми. Мужчины, женщины, дети, застывшие в предсмертных судорогах. Скорченные, валялись они на земле, сидели на скамейках, окаменев в той позе, в которой их застала смерть. Двое еще держали в объятиях друг друга. Руки мумий, прижатые в ужасе к лицу, виднелись сквозь истлевшую одежду. На одном рукаве горела кроваво-красная повязка со свастикой.

Спичка погасла.

«Люди — отражения тени», звучал в памяти Хольта стих из Пиндарова гимна, который он когда-то прочел. Хольт шел прямо на свет, пробивавшийся сквозь дыру. Вдруг он наступил на что-то хрупкое, услышал, как рассыпался в прах мертвец: человек — отражение тени.

Не обращая внимания на глазеющую толпу, Хольт выбрался из подвала и ушел прочь. Он знал: теперь к нему придет успокоение, теперь уляжется его тайный страх, что он может бессмысленно растратить жизнь, так и стоя у нее на краю.

Нет, никто не может растратить жизнь бессмысленно. Жизнь сама бессмысленна. Мертвецы доказали ему это. Они тоже знали заботы, радости, огорчения, страсти. Они жили. И ничего от них не осталось. Только кости и тлен. Бессмысленны были их тревоги, бессмысленны радости, бессмысленны огорчения, бессмысленны страсти. Мертвые в подвале все равно лежали бы там, в темноте, даже если бы в мире не существовало ничего — ни тревог, ни страстей, ни самой жизни.

Вот что надо знать прежде всего. Тогда легко жить. Иди по жизни! Все, что ты сделаешь, не имеет никакого смысла... Ступай дыши! Прозрачный воздух веет тебе в лицо твоим же тленом... Ступай люби! На скелете не останется и следа высокого чувства, стыда или вожделения... Бессмысленно все. Юные мертвецы, там, на войне, знали это. Но они молчали. Истлевшие здесь, в подвале, кричат об этом на весь мир.

■

Гундель и Шнайдерайт проводили теперь репетиции в актовом зале почти каждый день. Школьная группа тоже участвовала в подготовке вечера. Программа выступлений была уже твердо намечена. Несмотря на всю сложность, Шнайдерайт не отказался от намерения использовать предстоящий вечер для пропаганды объединения рабочих партий. Его доклад прошел множество стадий и превратился в нечто, совершенно отличное от того, чем был вначале: он стал зрелищем.

— Интересное решение! — сказал Готескнехт, часто присутствовавший на репетициях.— Очень своеобразное, Гундель! Ставлю вам «оч. хор.». Как это вы напали на такую мысль?

— В кино,— пояснила Гундель,— когда смотрела «Броненосец «Потемкин». Я подумала, что можно вообще обойтись без слов и тем не

менее сказать то, что мы хотим. Кажется, мы нашли верный путь. Только не все еще получается.

— Может быть, дело в освещении? На сцене слишком холодный и резкий свет, — заметил Шнайдерайт.

Готескнехт раздумывал:

— Погодите! Я поговорю с Лорентцем,— сказал он.— Это наш молодой коллега. Преподает математику и физику.

Лорентц оказался парнем с пухлым мальчишеским лицом и рыжими волосами, остриженными «ежиком», едва ли старше Шнайдерайта.

— Лорентц, — представился он, — через «тц», как великий физик, но пока еще не так знаменит.

Заложив руки за спину и склонив голову набок, он стал посреди прохода и внимательно следил за всем, что делается на сцене. Потом попросил Гундель рассказать ему как можно подробнее, что именно хочет изобразить Шнайдерайт.

— Ясно! — сказал Лорентц. — Свет со сцены мы уберем. Поставим прожекторы с цветными стеклами, подключим реостаты и еще сделаем настоящее шумовое оформление. Вот и порядок!

— Но где же это достать? — спросила Гундель.

— Достать? Чепуха! — заявил Шнайдерайт. — Вы только дайте мне человека, который разбирается в электротехнике, а уж сделаем мы все сами.

К следующей репетиции балкон в зале превратился в лабораторию средневекового алхимика. Лорентц перетащил сюда чуть не половину оборудования из физического кабинета. Вместе со Шнайдерайтом они просиживали теперь до рассвета и что-то мастерили. Вот и сейчас Лорентц сидел среди прожекторов, весь опутанный проводами.

— Что это за горшки? — спросила с удивлением Гундель.

— Реостаты — цинковые пластинки в разбавленной серной кислоте. Ясно? Ну-ка, начнем.

И Лорентц принялся колдовать. В кромешной тьме рампа зажглась еле видными таинственными огнями. В лучах прожектора зеленовато-голубым отсветом засверкал воздушный занавес, и из мрака выступила сцена, призрачная, словно окутанная густым туманом...

— Замечательно, — сказал Готескнехт, когда репетиция окончилась. — Вы справитесь, Гундель. Получится прекрасное зрелище. А как обстоит со вторым отделением?

— Мы посадим в зал пятьдесят ваших школьников. Они подыграют нам, а за ними потянутся остальные.

Явился Гофман, без костылей. Оказалось, что у него великолепный протез — он надел его, чтобы сыграть свою роль. Сегодня, как, впрочем, после каждой репетиции, он опять заявил:

— Ну и поганую роль вы мне дали!

Репетиция кончилась, все вышли из школы. Готескнехт отвел Гундель в сторону.

— Вам и Шнайдерайту давно пора зайти ко мне в гости, не правда ли? Да, вот что я хотел еще спросить: скажите, вы хорошо знаете Вернера Хольта, помните, он вас ко мне направил?

Гундель остановилась.

— Я живу на заводе, у его отца. Хольта я почти не вижу. Мне даже кажется, что он нарочно меня избегает. Но он говорит, что с утра он в школе, потом, до позднего вечера, занимается у товарища. У Аренса, если не ошибаюсь.

— Да что вы! — вскричал Готескнехт. — Хольт вовсе не ходит в школу. И без всяких объяснений. Мне давно следовало позвонить его отцу.

— Что ему нужно было от тебя? — спросил Шнайдерайт, когда они возвращались домой.

— Спрашивал о Вернере. Он прогуливает и врет.

Шнайдерайт с угрюмым видом шагал прямо по сугробам.

— Пора назначить окончательный срок,— сказал он, беря Гундель под руку.— Нужно написать плакаты. А листовки Мюллер позволил мне отпечатать на ротаторе. Только ты достань разрешение на печать. Накануне нашего вечера мы отправимся с листовками по ресторанам и барам. Мы обязаны вытащить молодежь из этих спекулянтских притонов и увести ее к себе.

— А Вернера мы не обязаны увести к себе?

— У нас нет времени бегать за каждым в отдельности.

■

В воротах Хольт столкнулся с Мюллером. Тот уже выходил с завода, как вдруг в первом этаже распахнулись двери и фрейлейн Герлах крикнула:

— Господин Мюллер, вас вызывает Дессау!

Мюллер схватил Хольта за руку:

— Пожалуйста, сбегайте к Блому. У него испорчен телефон. Скажите ему, что ровно в три состоится приемка моста.

Отремонтированная колея прорезала заводской двор. Хольт пошел к баракам по узкой тропке, проложенной через развалины.

Рабочий кабинет Блома был очень мал. В нем едва помещался стол, стул и полка, битком набитая книгами и бумагами. Дверь в смежную комнату была открыта. Там за чертежными досками работали девушки.

Блом сидел у письменного стола, серый, незаметный, как всегда. Увидев Хольта, он оживился — тотчас встал, закрыл дверь в смежную комнату и, протянув Хольту руку, заставил сесть.

— Я очень рад, что вы зашли ко мне. Вероятно, вас интересует, как шли работы по реконструкции железнодорожного пути?—спросил Блом, не дав Хольту заговорить. И он начал рассказывать о проблемах, связанных с грунтом, о невероятном количестве расчетов, которых они потребовали, о дренажных прослойках в насыпи, о прусских нормативах при строительстве путей... Сняв очки, Блом, мигая, посмотрел на своего посетителя.

Хольт знал, что Блом оказался незаменимым работником, но по-прежнему считал его смешным чудаком, к которому, пожалуй, никто не относился всерьез. И сейчас, когда инженер сидел, сгорбившись над таблицами и чертежами, он был похож на какого-то удивительного гнома, который живет в уединенном гроте, заваленном таблицами, расчетами и проектами... Наконец Хольту удалось передать поручение Мюллера. Он хотел уже встать, но почему-то не сделал этого. Что-то удерживало его здесь против собственной воли.

Блом воспринял сообщение рассеянно, даже как-то безучастно.

— Вам давно следовало зайти ко мне,— сказал он.— Я убежден, что у вашего поколения должна быть потребность пройти по всем тропам, ведущим в прошлое. Вам необходимо избежать ошибок и заблуждений стариков.

«Правильно! — подумал Хольт.— Старики заварили кашу, а я должен ее расхлебывать».

— Я человек чисел,— сказал Блом,— но и у меня есть некоторый жизненный опыт. Жизнь, дорогой господин Хольт, не очень-то милостива к нам, простым людям...

Хольт встал. Самое время уходить. Но Блом поднял руку, словно заклиная его остаться.

— Нет, вы нисколько не мешаете мне, нисколько! — Он неторопливо надел очки в никелевой оправе.— И вообще для серьезной работы сейчас еще рано. Я работаю по ночам.— Блом улыбнулся.— Этот полный соблазнов мир там, за окном, должен сперва погрузиться во тьму, понимаете? Лишь когда в нашей тесной келье приветливо загорится лампа...— Блом опять улыбнулся, как бы извиняясь.— Я человек чисел, и поэзия мне чужда, но разрешите сослаться на величайшую немецкую поэму — не драму «...тогда и в моем...— гм... как его... да,— ярче свет горит... узнаешь ход светил *.— И каким-то молодым движением Блом провел рукой по волосам.

Почему-то эти слова оказали магическое воздействие на Хольта, и он пошел навстречу видению, которое воскресил в его памяти Блом. Перед ним возник образ человека, который бежит от бессмыслицы окружающего мира в науку, где разум находит удовлетворение в себе самом. Этот образ приковал к себе мысли Хольта. Он не исчезал — ни рядом с мертвецами, которые рассыпáлись в прах, ни рядом с жизнью, которая бессмысленно неслась мимо.

— Мир, полный соблазнов,— ведь вы так сказали? — произнес Хольт, облокотившись о стол.— А сами вы видите смысл в жизни? — Хольт знал, что Блом почти двадцать лет проучился в технических институтах, в университетах и строительных академиях. За годы учения он поседел и высох. А к чему привело его невероятное упорство? — Для чего вы живете, господин Блом?

— Прекрасно! — воскликнул Блом.— Столь радикальный вопрос следует ставить радикально. Это ваше преимущество, ибо вы молоды.

Радикальный? Не успел еще вопрос сорваться у Хольта с языка, как он показался ему дурацким. Правда, он занимал Хольта даже в четырнадцать лет. Но тогда на него существовал единственно возможный ответ: ты живешь для Великой Германии, для Отечества и тому подобное. Pro patria mori **. Это звучало громко, это возвышало душу, а обернулось такой гнусностью, что Хольт на веки вечные утратил охоту спрашивать — для чего я живу? И вот сейчас он все-таки спросил. Интересно, что скажет ему Блом? Но пусть только Хольт услышит — я живу для мирной демократической Германии или что-нибудь в этом роде, как написано сейчас на всех полотнищах с лозунгами,— он просто встанет и хлопнет дверью.

— Во-первых,— ответил Блом,— я живу, чтобы строить какой-нибудь цех или небольшой железнодорожный мост и получать от этого удовлетворение. Кроме того, я обязан сделать что-нибудь полезное и для моих ближних, без которых никак не могу существовать, хотя, с другой стороны, я вовсе не чувствую себя слишком обязанным человечеству. Как вы думаете, почему с моей доцентурой, когда я занимался теорией чисел, ничего не вышло? Только потому, что мои дражайшие ближние следуют принципу, согласно которому богатство ценится больше, чем талант...

Хольт молчал. Что же последует во-вторых?

— Во-вторых,— сказал Блом,— призвание! Труд строителя — это некий мост между работой ради хлеба и работой по призванию. Милый господин Хольт,— продолжал он, воодушевляясь,— человек призван познавать! Человек живет, чтобы познать «все действия, все тайны, всю мира внутреннюю связь» ***. Познание — вот единственное содержание жизни! А высшая форма познания — это переход явлений из соблазнительного изменчивого качества в строгое, неподкупное количество. Если

---

* Блом произвольно цитирует из «Фауста Гете.

** Умереть за родину *(лат.)*.

*** «Фауст» Гете.

явления не подлежат строгой математической формулировке, значит, они непознаны. Но мир познаваем, и не верьте тем, кто это отрицает. Природа не дает сорвать с себя покрывало... Нет, позвольте... Великий Гете заблуждался в этом вопросе. Конечно, если природа не хочет открыть нам свои тайны, мы не можем заставить ее это сделать — ни при помощи рычагов, ни при помощи гаек. Но мы можем вырвать их у нее при помощи математики! Точно так же, как все материальное может быть или будет когда-нибудь выражено математически, так и математика может быть воплощена в материи — в конструкции перекрытий, мостов или...

Дверь приоткрылась. В комнату заглянул один из рабочих. На мосту дожидается приемочная комиссия, дожидается половина завода, дожидается уже двадцать минут! Блом сразу превратился в прежнего, незначительного человека и забормотал:

— О, господи, куда же я их засунул? — Он растерянно искал свои очки. Нашел, схватил портфель, бумаги, и дверь за ним захлопнулась.

Он оставил Хольта в какой-то странной растерянности.

■

Близилось рождество, когда Фетер наконец вернулся. Поставив возле себя два чемодана, он уселся на железной кровати. Уши его пылали с мороза. Он трещал без умолку.

— Я прямо оттуда, через Любек—Шверин. Правда, слишком большой крюк, зато никакого шухера.— Он принялся рассказывать о своих делах. Сверх всякого ожидания, ему сопутствовала удача.

— Какое ответное письмо? — переспросил Фетер.— Ах, нет! Ее адрес был указан неправильно... Я еще вчера вечером справлялся в Любеке. Да не строй ты такую рожу. Сегодня мы с тобой кутнем на славу. Я откопал здесь роскошное заведение, разумеется, ты мой гость!

В последние дни выпало много снега. Хольт молча шагал рядом с Фетером. У него все еще не было пальто, и он мерз. Неужели Ута не написала? А ведь он верил, что придет ответ. Надо уезжать, но куда? Хольт был в полном смятении.

Вслед за Фетером он вошел в освещенный подъезд.

Танцзал «Бабочка». Открыт совсем недавно. Круглая площадка для танцев, освещенная снизу. Сумрачно-красный свет настенных бра. Кельнеры во фраках, все с тонкими усиками.

Приятели сели за столик возле самой площадки. Бутылка «алколата» явилась только почином. Фетер щедрым жестом бросил на стол пачку сигарет. Еще год назад он краснел при виде девушки. А сейчас без всякого смущения оглядывал зал.

— Прежде всего я организую нам по хорошенькой Карлинхен!

Хольт ничего не ответил. Он жадно осушил рюмку, потом еще одну. Ему хотелось оглушить себя алкоголем, но он лишь сильнее почувствовал свое одиночество. Летом, возвратившись домой, он лелеял мечту о Гундель. А сейчас?

Фетер хлопнул ладонью по столу.

— Ты никак спишь? — он вылил остаток вина в рюмку Хольта.— Видишь вон тех двух Карлинхен? Блондинка — первый сорт! Черненькая, на мой вкус, тоща, но, может, тебе подойдет? Сейчас приведу их.

Выставив зад и выпятив грудь, Фетер петухом зашагал к девушкам.

Хольт выпил еще рюмку. Часовая стрелка передвинулась на одно деление, и Фетер вернулся с девушками. Впрочем, все вокруг — ритми-

ческий шум оркестра, танцующие пары, приглушенные звуки трубы,— все это вдруг отдалилось от Хольта. Да, остается только одно: уехать к матери в Гамбург.

— Он всегда был малость не в себе,— извиняющимся тоном произнес Фетер, вернувшись к столику, и обратился к смуглой девице, которая со скучающим видом сидела возле Хольта.— Сейчас закажу зелье покрепче, увидишь, как он развеселится!

Фетер вступил в переговоры с кельнером. Он вытащил пачку смятых кредиток, и на столе тотчас появилась бутылка, оклеенная пестрыми этикетками. Хольт пил. Коньяк обжигал ему горло. Фетер потащил свою Карлинхен в круг танцующих. Девица, сидевшая рядом с Хольтом, курила и молчала.

После поездки в Дрезден только мысль об Уте помогала Хольту одолевать мучительное чувство, которое он испытывал в присутствии Гундель. Он порвал со всем. И только Гундель еще удерживала его здесь. Она была с ним всегда. Ее взгляд, улыбку нельзя было забыть. Что могло быть сильнее, чем она? Что могло сломить ее власть над ним?

— Да здравствует мгновение! — орал Фетер, обнимая свою Карлинхен.— Оно никогда больше не повторится. Наслаждайтесь мгновением. Ваше здоровье!

И Хольт пил. Он повернулся к своей соседке.

— Пойдем танцевать.

Да, Фетер прав. Нет ничего сильнее мгновения, нужно только отдаться ему целиком. Он почувствовал руку девушки на своем плече и услышал ее голос:

— У тебя горе?

— Горе? Ничего похожего. Как тебя зовут?

— Мехтильда.

Свет под потолком погас и медленно загорелся снова. Хольт отвел Мехтильду к столику. Только теперь он посмотрел на девушку. Она выглядела старше его. Кажется, красивая, насколько можно было разглядеть под слоем косметики.

— Немецкая женщина не красится,— сказал Хольт. Она презрительно надула губы.— Кто ты? На что живешь?

— Я танцевала в балете.

«В балете? Возможно».

— А здесь чего шатаешься?

Она оперлась подбородком на сцепленные пальцы и состроила скучающую гримасу.

— Ты права! Оставим это,— сказал он.

Оставим, не будем говорить о том, что гонит сюда людей. Один бежит от жизни, другой ищет жизнь. Давай вообще не будем говорить.

— Потанцуем, Мехтильда! — он крепко взял ее за плечи.— Только сделай одолжение, пойди смой с себя грим.

Она покачала головой, но подчинилась. Скоро Мехтильда вернулась, и Хольт увидел, что вряд ли она старше его. Они пошли танцевать. Стрелка часов опять передвинулась.

— Знаешь что, давай выпьем еще коньяку! — Фетер обнял свою девицу и запел «О, моя Карлинхен, поцелуй меня!»

Хольт повернулся к Мехтильде и, схватив ее за запястья, притянул к себе. Почти касаясь губами ее лица, он спросил:

— Ты живешь одна или?..

И умолк на полуслове, взглянув поверх ее головы. В вестибюле, у гардероба стояла Гундель. Нет, это не было ни привидением, ни бредом. Это была Гундель в своем коричневом пальтишке и в белом платке. Она пришла не одна. Рядом с ней стоял Шнайдерайт и еще один парень из

их барака. Они поговорили с кельнером, потом к ним подошел директор и велел пропустить их в зал. Гундель и Шнайдерайт в сопровождении коренастого парня переходили от столика к столику, раздавая листовки. Одни выслушивали их, другие грубо отмахивались. Они приближались к столику Хольта.

Опомнившись, Хольт попытался оттолкнуть от себя Мехтильду, но она прижалась к нему головой, ее волосы закрыли Хольту лицо, и, когда он отвернулся, Мехтильда упала ему на грудь. Хольт схватил рюмку, Фетер налил ему коньяку, и он осушил ее залпом. На несколько секунд плотная завеса опустилась перед его глазами. Потом пьяный туман рассеялся. Через два столика от него, застыв, стояла Гундель. Она смотрела на Хольта, и Хольт смотрел на нее. Взгляды их скрестились. Мехтильда все еще лежала у него на груди. Она обнимала его и гладила по голове. Хольт стряхнул ее руку.

Шнайдерайт, нахмурив брови, подошел к их столику. Он еще ничего не заметил.

— Чего ему надо? — взвизгнула подружка Фетера.

— Мы хотим пригласить вас на наш агитвечер,— сказал Шнайдерайт и протянул Фетеру листовку.

— А где это будет? — проскрипел Фетер.

Шнайдерайт дал листовки девушкам. Только тут он увидел Хольта.

Испуг и стыд, охватившие Хольта, вдруг перешли в ярость. Шнайдерайт! Везде Шнайдерайт! Неужели он никогда не отделается от этого человека? Мехтильда попыталась удержать его.

— Это красные, не связывайся с ними!— торопливо прошептала она.

Но хмельная волна уже подняла Хольта, а широко раскрытые глаза Гундель окончательно лишили его рассудка.

— Чего ты за мной бегаешь? — крикнул Хольт.— Убирайся в свой барак!

Шнайдерайт повернулся было, чтобы уйти, но, услышав этот крик, словно врос в пол.

— Буржуйский сынок, сволочь пьяная! — сказал он.

— Каторжник! — прорычал Хольт.

Шнайдерайт ударил его. Хольт пошатнулся, но тотчас выпрямился и нанес ответный удар. Со стола полетели рюмки. Завизжала девица. Коренастый парень бросился между дерущимися. Гундель подбежала к Шнайдерайту. Кто-то схватил Хольта и рванул его назад. Он упал на стул, Мехтильда удерживала его обеими руками. И тут Хольт опять увидел взгляд Гундель, устремленный на него... За столиками раздавались дружные угрозы по адресу Шнайдерайта, он положил руку на плечо Гундель и вывел ее из бара.

Обессиленный и почти отрезвевший, Хольт сидел на стуле. Мехтильда отирала носовым платком кровь с его разбитой губы. Фетер сунул кельнеру, подбиравшему осколки, несколько монет и опять налил всем коньяку. Хольт пил и пил. Наконец-то все кипевшие в нем мысли и чувства успокоились. Лампочки загорелись ярче. Опьянение заглушило чувство стыда и отчаяния. Мехтильда потащила его танцевать.

— Пойдем! — сказал Хольт минуту спустя.

Девушка последовала за ним.

В лицо им ударила вьюга. Идти было далеко. Ветер свистел в разбомбленных зданиях. Мехтильда жила в большом многоэтажном доме. Сейчас, в длинном ряду руин, он казался вымершим. Девушка отперла ворота, и Хольт протолкнул ее во двор. Они остановились, осыпая друг друга жадными, а может быть, только заученными поцелуями. И жадными, а может быть, только заученными были их объятия в серой холодной комнате наверху. . . .

Около трех часов ночи, невзирая на комендантский час, Хольт возвращался в Мёнкеберг, пробиваясь через лабиринт разрушенных улиц. Окоченевший Фетер ждал его в проходной, он был слишком пьян, чтобы сердиться. Окна дирекции в первом этаже светились. Разумеется, Мюллер все еще работает. Хольт позвонил. Вахтер впустил их. Хольт схватил Фетера за руку. Надо подняться как можно тише. Но Фетер громко затопал по лестнице и заорал во все горло: «Мчится наш танк...». Хольт, рассвирепев, ткнул его в спину. На Фетера напала икота. Войдя в комнату, он стал громко браниться:

— Паршивая кон...— гоп-ля! — конура, где даже петь нельзя! Ну как у тебя? — несколько успокоившись, спросил он.— Моя Карлинхен не захотела...

— Если ты сейчас же не заткнешься... — прикрикнул на него Хольт.

— Еще чего! — сказал Фетер, со стоном повалившись на кровать, и тут же заснул.

Но Хольт уснуть не мог. Бледный, сидел он на табуретке. В эту минуту он отчетливо сознавал все, что с ним происходит. Его снова несло по течению. Около шести утра он увидел в окно, как по заводскому двору прошел Мюллер. Хольт растолкал Фетера. Тот настойчиво просил позволения оставить здесь свои чемоданы до завтра. Хольт согласился. Днем больше, днем меньше... Теперь это уже не имело значения. Он незаметно выпроводил Фетера и побрел через весь Мёнкеберг, по свежему глубокому снегу. Метель прекратилась, но белый, молочный туман окутал улицы. Шоссе поднималось в гору, туман рассеялся. За городом, над холмами ярко сияло солнце. Хольт посмотрел вокруг. На небе грозно толпились рваные тучи. Долина казалась гигантским озером, до самых краев, до дальних гор наполненным туманом. И город с его руинами и дымовыми трубами и пустырями утонул в этом тумане, словно исчезнув с лица земли. Поля лежали под снегом. Стая ворон с громким карканьем опустилась на голые тополя, стоявшие вдоль шоссе. Насколько хватало глаз, нигде ни души.

Хольт прислонился к стволу тополя. Как вообще могла прийти ему в голову мысль приехать в русскую зону? Он гнался за своей мечтой, за Гундель. Но мечте о Гундель, этой детской мечте о любви, пришел конец. Хольт припал головой к дереву. С гор наплывали тучи. Скоро опять повалит снег. Хольт видел Шнайдерайта, видел, закрыв глаза, как этот человек, большой и жестокий, становится на его пути, как он на каждом шагу вмешивается в его жизнь, как он всегда хочет быть первым и стремится завладеть всем, что дорого Хольту, завладеть Гундель. Хольт прогнал от себя это видение. Вернувшись на завод, он бросился на постель и заснул.

9

Под вечер фрау Томас разбудила Хольта. Профессор желает поговорить со своим сыном, сказала она. Еще несколько дней назад Хольт испугался бы. Сейчас ему было все безразлично. Профессор не имел над ним никакой власти. Хольт уезжает, и никто на свете не может удержать его. Он прошел по коридору и постучался к отцу.

Увидев, как сын входит в лабораторию, профессор понял — для мальчика авторитета не существует. Он предложил ему сесть. Мальчик, очевидно, совсем запутался. Вот он стоит, растерянный, неряшливый, небритый. Глубокие тени залегли у него под глазами, воротник мундира расстегнут. Профессор заволновался. Он стал медленно протирать предметное стекло, стараясь собраться с мыслями.

Хольт сел. Он ждал. Не он искал этой встречи. Ему решительно нечего было говорить.

— У меня очень мало времени,— сказал отец. — Я должен ехать с Мюллером и вернусь только завтра днем. Я хотел поговорить с тобой. К сожалению, мне только сегодня сообщили, что ты давно не ходишь в школу. Что ты можешь сказать по этому поводу?

— Я могу сказать по этому поводу, что ты, разумеется, приказал мне ходить в школу, только меня никто не спросил, хочу ли я туда ходить. Как видишь — не хочу. Значит, приказ уже не приказ.

Профессор видел вызов в глазах сына. Он молча признался себе, что, перегруженный работой и многими обязанностями, слишком долго предоставлял сына самому себе.

— Хорошо, —сказал он спокойно. — Сразу после Нового года ты подыщешь работу. А покамест перестанешь бесцельно слоняться и будешь помогать тут, дома.

Хольт молча и вызывающе смотрел на отца, но тот продолжал:

— Весной здесь открывается университет. Я вынужден был отказаться от места заведующего кафедрой, потому что занят на заводе. Но два раза в неделю мне придется читать курс общей гигиены. Кроме того, я буду руководить институтом серологии. Мне необходимы сейчас книги, которые стоят в ящиках на чердаке. Среди них есть и классики и философы. Нужно все привести в порядок — иначе ими нельзя пользоваться. Думаю, что до Нового года дела с ними хватит. Гундель согласна помогать тебе в свободное время.

Упоминание о Гундель ударило Хольта по самому больному месту. «...Согласна,— повторил он про себя.— Значит, ее-то спросили. Отец приказывает — сын повинуется». Нет, он и на минуту не оставит отца в этом заблуждении.

— Я подумаю,— сказал Хольт.

Профессор услышал угрозу, прозвучавшую в словах сына.

— Прими, пожалуйста, во внимание, что у меня совсем нет времени, а Гундель вряд ли одна справится с книгами.

«Гундель, опять Гундель! Отцу незачем впутывать Гундель в игру. Отцу вообще нет никакого дела до Гундель. Это я отыскал Гундель, когда она была в беде, а не отец. Он в то время сидел в своей прогнившей дыре и пересматривал свои убеждения».

— Не понимаю, чего тебе вдруг от меня понадобилось,— грубо сказал Хольт. — До сих пор тебе было наплевать на меня.

Профессор отложил замшевую тряпочку и стекла. Упрек был слишком справедлив. И в голосе его прозвучала искренняя теплота, когда он сказал:

— Давай оставим прошлое, обратимся к...— Но сын не дал ему договорить. Казалось, одно-единственное слово заставило рухнуть все преграды.

— Вот этого ты и хочешь! — закричал Хольт.— Оставить в покое прошлое... Вот этого вы все и хотите!

Нет, Хольт не хотел оставить в покое прошлое. Ни за что. Вполголоса, лихорадочной скороговоркой он высказал отцу в лицо все, что думал.

Да ни о чем другом и нельзя говорить, кроме как об этом проклятом прошлом, в которое Хольта швырнули помимо его воли, без всякой его вины.

— Кто из нас двоих выбирал Гитлера или, по крайней мере, спокойно смотрел, как он идет к власти? Не я же! Я тогда и в школу еще не ходил. Правда, у меня уже была «тяга к простонародью», но в фа-

шизме и в войне я все-таки не повинен. Меня бросили в дерьмо. Меня с пеленок пичкали болтовней о солдатской доблести, о том, что «Германия, Германия превыше всего». А кто, скажи, пожалуйста, бросил меня в дерьмо? Кто даже пальцем не пошевелил, чтобы открыть мне глаза? Ты! Я пришел к тебе однажды за помощью, а ушел в еще большем отчаянии...

— Я сказал тебе тогда всю правду,— прервал сына профессор.

— Сказал! — повторил Хольт.— Швырнул! Как кость собаке. Но я не позволю швырять мне правду, не позволю совать мне бесконечные книги. Ты давно упустил время, когда можно было сделать из меня послушную собачонку. Ведь для этого господин профессор не должен был бы разрушать свой брак, для этого господин профессор должен был бы думать не только о своей почтенной особе, но и обо мне, для этого тебе пришлось бы сохранить для меня родительский дом...

Все! Нить мыслей оборвалась. Хольт судорожно рылся по всем карманам в поисках сигареты. Отец придвинул ему свою пачку. Хольт закурил. Профессор долго молчал, подперев голову ладонью. Наконец он сказал:

— Кое в чем ты прав. Мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз, когда ты будешь спокойнее. Но я подразумевал вовсе не столь далекое прошлое.

— А какое же?

— Давай лучше говорить о будущем.

Но Хольту не хотелось перед разлукой лгать отцу, он продолжал стоять на своем.

— Какое прошлое ты подразумеваешь? Ага, недавнее! Что же такого случилось?

— Ты слишком распустился.

— Распустился? В каком смысле?

— Мальчик, давай же...

— Что значит распустился? Почему ты не хочешь говорить со мной откровенно?

Профессор нахмурился.

— Ты очень часто напивался последние недели. Ты дважды не ночевал дома...

Хольт ухмыльнулся.

— А когда тебе, отец, было девятнадцать, ты никогда не являлся домой пьяным?

Профессор онемел. Впрочем, чувство справедливости пересилило в нем гнев. Действительно, разве в девятнадцать лет, когда он был студентом, ему не случалось напиться?

— ...А что касается двух ночей...— сказал Хольт.— Все последние годы, покуда ты усердно пересматривал свои убеждения, как ты думаешь, сколько ночей я не возвращался домой? И как ты думаешь, многого ли не хватало, чтобы я вообще не вернулся?

Профессор поднял руку.

— Я даю тебе... скажем, сорок восемь часов, чтобы ты принял мои предложения. Во-первых, ты поступишь на работу, которую я тебе подыщу. Во-вторых, подчинишься определенной домашней дисциплине. В-третьих, прекратишь всякое общение с этим Фетером.

— А если нет?

— Тогда ступай своей дорогой.

Хольт встал. Профессор тоже. «Ступай своей дорогой», он спокойно и твердо произнес эти слова.

— Вернер,— отец положил ему руку на плечо.— Мне бы хотелось, чтобы ты остался здесь. Я желаю тебе добра. Попытайся понять это.

Да, понять... Угловатым движением Хольт высвободил плечо. «Как это? Человек живет, чтобы познавать. Так сказал мне Блом, чудак Блом, живущий в нереальном мире...»

Хольт еще подростком пытался понять многое, например,— почему в мире есть бедные и богатые, почему любовь в сказке прекраснее, чем в жизни, или почему не существует мерила для добра и зла, права и бесправия... Все это было очень давно. Тогда для ищущих были плохие времена, глаза у всех были завязаны, они жили, погруженные во тьму. Повсюду царили обман, ложь. Все было фальшью, все, вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до этого мгновения.

Хольт надел фуражку, сдвинул козырек на лоб и вышел из лаборатории.

■

В подворотне стоял грузовик, а на нем большая оплетенная бутыль. Кто-то в субботу вечером поставил сюда машину, загородив проезд. В бутыли было семьдесят пять килограммов уксусной эссенции, ее никак нельзя было оставлять без присмотра. Мюллер заглянул в окна первого этажа. Свет выключен повсюду. За окошечком в проходной сидел, скрючившись, сонный вахтер, он дожидался смены.

Мюллеру не раз приходилось таскать на себе мешки по сто килограммов весом. В лагере он работал в каменоломнях. Под тяжестью бутыли он, конечно, не развалится. Мюллер потрогал бутыль и еще раз посмотрел на выступ стены возле лестницы. Вот туда он ее и поставит. Прислонившись спиной к машине, Мюллер взялся за ушко плетенки, нагнулся, и бутыль легла ему на спину. Если она упадет, он задохнется в парах кислоты... Спокойно! Мюллер наклонился, и бутыль всей тяжестью навалилась на него. Он покачнулся, но устоял. Придерживая бутыль правой рукой, он осторожно занес левую через плечо, но никак не мог нащупать второе ушко плетенки. Мюллер невольно опустился на колени, рука его вывернулась в запястье, и бутыль заскользила на землю.

В эту секунду Хольт соскочил с лестницы и подхватил бутыль.

— Отпускайте!..

Мюллер отпустил. Хольту показалось, что от напряжения у него что-то лопнуло внутри. Но ему удалось поставить бутыль на выступ в стене.

Оба стояли, задыхаясь, и смотрели друг на друга.

— Без малого два центнера,— произнес наконец Мюллер.

— Я чуть не свалился,— ответил Хольт.

— Обезвоженная уксусная эссенция. Могло произойти несчастье,— сказал Мюллер.

— Нет, вы и сами справились бы с ней!

Оба засмеялись.

— Спасибо,— сказал Мюллер.

Хольт отвернулся. На выщербленной каменной ступени, освещенной фонарем, сверкал кусочек слюды. Лицо Хольта приняло обычное замкнутое выражение.

— От буржуйского сынка вы такого не ждали?

— Разве вас кто-нибудь так назвал? — Тень улыбки промелькнула на лице Мюллера.— Вернер Хольт! Дружище! Почему вы не хотите взять себя в руки? Мы все вас ждем!

«Мы», сказал он. Нет, словечко «мы» относилось не к Хольту. Оно относилось к другим: к Гундель, Шнайдерайту, Мюллеру. Вот их оно объединяло. Его оно исключало. И Хольт задумчиво сказал:

— Мы с вами говорим на разных языках.

— Ваш язык понять нетрудно,— сказал Мюллер.— «Мчится наш танк»... Этого разве что глухой не поймет.

— Это... не я пел... Это мой приятель.

Мюллер спустился со ступенек.

— Вы и ваш приятель один другого стоите! Оба деклассированы!

■

Хольт нащупал в кармане несколько кредиток. Чего нужно этому вахтеру? Гундель здесь. Она могла каждую минуту... Хольт торопился. Только этого не хватало — столкнуться сейчас с Гундель.

Он пошел быстрее, свернул в переулок. Во всем виновата бессонная ночь. У него сдали нервы, вот ему и чудится, что за ним кто-то идет.

Танцзал Ноймана. Бар «Вечный покой». Прибежище... Скорее затеряться в этом бешеном балагане. У входа Хольт увидел свободный столик. Кто-то тотчас подсел к нему. Блондинка, навязчивая. Он отдал последние деньги за бутылку разбавленной сивухи.

— Выпей со мной!

Он пил. О чем это она спрашивает? Почему он грустный? Не надо об этом. Вовсе он не грустный. Грусть наступила позднее. Он пил быстро и много. Лампочки должны сегодня гореть ярче. Уже поднялось к потолку облако табачного дыма. Уже куда-то далеко отодвинулся шум. Интересно, что за существо сидит рядом? Может, из нее получится вторая Мехтильда? Хольт жадно тянулся ко всему, что затуманивало мысли.

Он не сразу заметил, что возле его столика стоит Гундель. Она была бледна. Снежинки таяли на ее коричневом пальтишке, превращаясь в сверкающие капли.

Хольт встал, пошатываясь.

— Пойдем,— сказала Гундель.— Пожалуйста! Пойдем!

Он старался шагать ровно. На морозе ему стало лучше. Они шли по безлюдным улицам. Гундель знала — ему дано сорок восемь часов сроку.

— Вернер, прошу тебя, сделай так, как требует отец.

Хольт не отвечал. Он боролся с опьянением. Слишком быстро влил в себя сивуху, и алкоголь начал действовать только теперь. Наконец они пришли. Перед ее комнатой в конце коридора волна снова подняла его и снова поставила на ноги.

— Ступай спать, сейчас же,— приказала Гундель.

Его опять закружило. Он взял Гундель за плечи. Теперь он твердо стоял на ногах, но сознание его и воля были парализованы. Он схватил Гундель в объятия. Она вырвалась.

— Если ты впустишь меня к себе... я подчинюсь отцу... Только впусти!

— Такой ты мне противен! — Гундель толкнула его изо всех сил, он зашатался.

■

Гудок паровоза разбудил Хольта, спавшего мертвым сном. Он вскочил, подошел к окну. На часах было начало четвертого. Во дворе горели фонари. По новой ветке на завод въезжал первый товарной состав. Паровоз опять пронзительно закричал, потом крик его заглох в облаке пара. Несколько человек подошли к паровозу, Блом поднял над головой горшок с цветами и передал его машинисту. Цепь вагонов, груженных углем, исчезла в темноте.

Хольт бросился на постель, но заснуть уже не мог. Сознание его было ясным, он помнил все. Возврата к Гундель нет. Он сам убрал себя с ее пути.

Перед обедом явился Фетер, потребовавший, чтобы его впустили. Тупая головная боль мучила Хольта. Он провел Фетера к себе. Фетер долго бранил — сначала этот паршивый чулан, потом подсушенный хлеб.

— Это весь твой завтрак? Постой-ка, у меня в чемодане консервы, принеси только горячей воды.

Две чашки крепкого кофе уничтожили наконец действие сивухи. Фетер заговорил о своих делах. Конъюнктура улучшается, спрос на рынке растет, фирму можно расширить. Поглощая мясные консервы, он громко и добродушно болтал:

— Ты станешь моим компаньоном. На самых выгодных условиях. Уж мы-то с тобой сойдемся. Скажи — да, и через два года будем богачами.

Хольт сидел на кровати, подперев голову. Он уедет к матери. Но чтобы уехать, нужны деньги.

— Так как же? — спросил Фетер.— Кончаешь здесь свою волынку?

— Выбрось это из головы, Кристиан. Спекулянт... Нет, это не для меня.

— Ну что ж! — Фетер, казалось, не был особенно разочарован. Он достал из чемодана бутылку ямайского рома, налил большую порцию в кофе Хольту, потом, выглянув в коридор, затворил двери и сел.— Меня так же тошнит от штатской жизни, как и тебя,— заговорил он, понизив голос.— Слишком много покоя, слишком мало событий для таких старых вояк, как мы с тобой. А кроме того, придется слишком долго ждать, пока я наскребу сто тысяч.

— А зачем тебе сто тысяч?

— Видишь ли, я хочу скупить здешние развалины. Скоро amis начнут войну против большевиков, войну с атомными бомбами. А когда здесь все перейдет к американцам, я со своими руинами сделаю большой бизнес. Я прочел книгу «Как они стали великими и богатыми» — об американских миллионерах, они здорово разбогатели на продаже земельных участков.

Уж не шутит ли Фетер? Нет, он совершенно серьезен.

Фетер знал конъюнктуру решительно на всех рынках.

— Вот, послушай-ка! Что дает грандиозную прибыль, так это мясо. А уж как добыть свинью из хлева, это мы с тобой знаем.

Хольт безмолвно уставился на Фетера.

— Мне бы только съездить в Дюссельдорф,— продолжал Фетер.— Там я достану пару хороших пистолетов, потом мы наденем русскую военную форму и отправимся по деревням. Пистолет к брюху, орем что есть мочи разные непонятные слова и — закалываем хрюшку. Тут даже никакого риска-то нет. Полиция вооружена одними дубинками, а население и так трясется от страха, завидя Ивана.— Фетер выжидательно посмотрел на Хольта и подлил в чашки ром.

Хольт, вероятно, никогда не относился к Фетеру серьезно. Ни к тому толстому парнишке, который постоянно чувствовал себя приниженным, ни к тому псу Вольцова, который стоял в подвале с веревкой в руках. Фетер вздернул бы тогда на грушу не только Вейнерта. Подай ему Вольцов знак, он вздернул бы и Хольта! А вот сейчас он сидит тут, в комнате, пьет кофе с ромом и хлопает себя по ляжкам: «Погоди только, мы с тобой станем миллионерами!» Да он и сейчас готов, не задумываясь, повесить человека, если это ему выгодно. Вечному ребенку с розовым лицом угрызения совести неведомы.

Хольт ясно увидел, как он и дальше пойдет одной дорогой с Фетером, той самой дорогой, по которой они так долго шли вместе. Он закрыл глаза. Ему вспомнилась ночь, какой-то двор, он стоит, приставив пистолет

к груди человека. Хольт увидел, как он снова стреляет в людей, может быть, в подбежавшего полицейского с красным треугольником на груди...

Нет! Хольт потерпел крушение. Он вел себя как скотина. Только не думать о Гундель! Может быть, он скоро подохнет в какой-нибудь канаве. Но одного с ним не будет: он не станет еще раз участвовать в преступлении. Хольт допил кофе.

— Это безумие! Выбрось из головы, Кристиан.

Фетер разозлился не на шутку.

— Раз ты не хочешь принять участие в деле, изволь вернуть мне тысячу марок.— Он швырнул долговую расписку на чемодан.

— Заткнись,— крикнул Хольт.— Тысяча марок подождет. А сейчас ты дашь мне еще, и не вздумай сквалыжить, слышишь! Мне нужна по меньшей мере еще тысяча.

Фетер рассмеялся и постучал себя пальцем по лбу.

— Чего захотел! Дружба дружбой, а денежки врозь! Еще денег? Как бы не так! Если не отдашь, я предъявлю расписку твоему старику. Ну и рожу скорчит он. Вот будет потеха.

Угроза звучала весьма недвусмысленно. Хольт наклонился к Фетеру.

— Помнишь, я давал тебе в морду? Когда только мне вздумается. Могу и сейчас дать!

Фетер защелкнул замки чемоданов и надел пальто.

— Как бы не так!— И уже в дверях сказал: — Я человек миролюбивый. Но что слишком, то слишком! Теперь тебе придется оказывать услуги мне.

— Что это еще значит?

— Ничего. Ровно ничего. В крайнем случае лишь то, что мои дела действительно идут отлично. Тысяча марок для меня ничего не составляет. Но дарить их тоже не собираюсь. Я согласен разорвать расписку и дать тебе еще денег. Только сперва ты достанешь мне спирт — вон оттуда!..

Хольт бросился к Фетеру, но тот предусмотрительно укрылся за чемоданами.

— Мне казалось, что тебе нужны деньги,— сказал Фетер, держась за ручку двери.

Да, чтобы уехать, Хольту действительно нужны были деньги. Ярость улеглась, его охватило чувство бессилия. Выбора не было. И не все ли равно, одной кражей больше, одной меньше. А все-таки удивительно: оказывается, он может опуститься еще на ступеньку ниже!

— Подожди здесь,— сказал Хольт. Он вышел в коридор и прислушался. Снизу доносилось жужжание электромоторов. Хольт прошел через лабораторию в кладовую.

К Фетеру вернулось благодушное настроение. Он поглядел на содержимое бутыли.

— Четыре литра? Маловато! — Он понюхал.— Надеюсь, не разбавленный? — Поглубже вбив кулаком пробку в горлышко, он отдал Хольту расписку.

— Так, теперь мы квиты!

Хольту было уже все безразлично. Он притащил и вторую бутыль, побольше.

— А теперь таблетки!

Фетер внимательно осмотрел коробочки.

— Альбуцид. Товар — первый сорт.— И он отсчитал двадцать ассигнаций с ярко-красным рисунком на фиолетовом фоне, по сто марок каждая, выпущенных оккупационными властями.

Наконец Хольт выпроводил Фетера. Вернувшись наверх, он завернул свои жалкие пожитки в плащ-палатку.

В переполненном пассажирском поезде Хольт ехал на север. Он стоял в проходе и смотрел в окно. Чудовищным усилием воли ему удалось вытеснить из памяти сегодняшний день — Фетера, его вымогательство, кражу. Поезд шел и шел в вечерней мгле, и Хольт думал, что время, прожитое у отца и теперь безвозвратно канувшее в вечность, он отбросит, как ненужную тяжесть. Он надеялся, что сразу же почувствует облегчение, свободу. Напрасно, он испытывал только грусть. Да, он грустил по всему, что здесь проиграл и утратил. Но грусть и раскаяние всегда приходят слишком поздно.

10

Свет погас.

В темном зале и на галерее, тесно прижавшись друг к другу, сидели люди — около тысячи человек всех возрастов и профессий. Здесь были железнодорожники, женщины, работающие на расчистке развалин, рабочие химического завода, девушки с прядильных и ткацких фабрик. Здесь был и Мюллер в красном галстуке, и профессор Хольт, и старый Эберсбах со своей остывшей трубкой, и даже Блом. Люди в зале ничего не знали друг о друге. Они жили бок о бок в стране, которую не выбирали себе. Каждый был скроен на свой особый лад. Но у всех было общее: холодная печь дома, пустая корзинка для хлеба и прошлое. Некоторые понимали, какие скрытые силы несут ответственность за их нищету и несчастья. Другие порой трезво, порой в смятении старались разобраться в случившемся. Третьи роптали на судьбу.

Свет, казалось, никогда не зажжется. В зале начали было шуметь, но вскоре успокоились. Здесь было тепло, и темнота после тяжелого трудового дня подействовала на людей усыпляюще. Когда же в зале чуть посветлело, зрителям показалось, что им снится сон.

Страшный сон. Кто из них не знал этих снов, когда просыпаешься, обливаясь потом? Снов, которые пудовой тяжестью давят на грудь? Они увидели какое-то серое пространство, окутанное зловещим туманом. Туман фосфоресцировал, и сквозь него можно было различить стоящих людей, вернее, их силуэты, расплывчатые, как воспоминания. И люди в зале старались припомнить, где же находятся те, что на сцене,— может быть, возле завода или у биржи труда? Нет. Люди стояли, сгрудившись, как бессмысленно стоят иногда во сне. Должно быть, и они живут бок о бок в стране, которую себе не выбирали. Положение их тоже вовсе не идеально. Туман этот вреден, пространство, в котором они живут, стиснуто шаткой кулисой, отбрасывающей зловещую тень на толпу. Но кто же обрек этих людей на существование теней? Кто не пускает их к солнцу?

Теперь стоявших на сцене можно было разглядеть лучше. Каждый был скроен на свой особый лад. Один коренастый, мускулистый, видно, он обладает огромной физической силой. Другой высокий с перекошенным лицом, должно быть, очень нервный. Много здесь было разного люда, но у всех было нечто общее: над всеми нависла страшная опасность. Она уже зримо ощущалась в тревожном свете, мерцавшем словно отблески зарниц. Она врывалась в сон звуками, ритмами, еще далекими, но уже грозными. Она ворвалась в воспоминания... Люди, стоящие в тумане, знали, что им грозит опасность, таящаяся там, за кулисами. Они не были в неведении. О нет, никто в этом зале не был в неведении. Но никто ничего не предпринял. Все вели себя по-разному. Один, очень образованный, одаренный, презирал обывательские страхи. Какое ему дело до приближающегося топота кованых сапог? Другие, по глупости или по злобе, посмеивались в кулак, будто ждали добра от надви-

гающейся на них катастрофы. Третьи собирали почтовые марки и делали вид, что ничего не происходит. Они думали, что с человеком, который стоит в стороне, ничего не может случиться. В конце концов, дело было не в них... Решали все вот эти, которых было большинство. А большинство не презирало опасность, не посмеивалось в кулак, не пряталось за маской беспечности. Они были в силах справиться с любой опасностью. Они расшатали нависшую над ними кулису. Но среди них не было единства. Некоторые, в том числе и тот, коренастый, мускулистый, видели вещи более или менее ясно. Они хотели действовать без промедления. Они не скрывали своих взглядов и намерений. Им нечего было терять, кроме своих цепей. Они твердо знали, что их не спасет ни бог, ни царь и ни герой, что они сами должны добиться своего освобождения. Другие — среди которых стоял тот высокий, нервный,— в сущности, тоже хотели избавиться от беды. Но они не знали твердо, чего хотят, у них были дурные советчики, и их легко сбили с толку. Эти люди хотели, с одной стороны, выступить против опасности, а с другой, боялись причинить кому-нибудь зло. Из-за этого они так и не сумели объединиться. Все ближе раздавался грохот кованых сапог, все ярче вспыхивали в небе зарницы, все больше и больше признаков предвещало беду. Вот-вот разразится катастрофа... Прежде, когда зарницы мерцали над крышами больших городов, женщины — вот эти самые, что сейчас сидели в зале, бросались во двор, хватали играющих детей и уносили их прочь, а мужчины прятали в подвал свои велосипеды. Но там, во мгле воспоминаний, никто не уносил детей, никто не прятал велосипеды и никто не прогонял призрак, хотя толпа бушевала, как вулкан... Они и теперь еще не были едины. Коренастый предостерегал, настаивал, умолял, и те, кто сейчас вспоминали, не могли понять, как же это они тогда не прислушались к его словам.

Человек с перекошенным лицом все время отделывался отговорками. Он окончательно заблудился, перебегая с одной стороны на другую. У него были и впрямь дурные советчики. А среди его приятелей были даже такие, которые слушали, что им нашептывают из-за кулис. И, кроме того, эти величественные пренебрежительные жесты (зал вспоминал их с удручающей ясностью): право, ничего страшного не случится. «Подождем, перебесятся и утихнут». А буря уже грянула. Факельная процессия с ревом ворвалась в Бранденбургские ворота. Но еще можно было спастись. Коренастый призывал города и села, он звал весь рабочий люд выйти на последний решительный бой. Теперь уже всем стало ясно, что грозит большое несчастье. Но, с другой стороны... Тут с чудовищной силой ударила молния... Наступила темная ночь, Варфоломеевская ночь. Колонна маршем прошла по площадям. Она растоптала всех — и ученых, и глупцов, и наивных. Она шла, топча всех без разбора. Это была длинная ночь насилия и сопротивления, ночь убийства. Огонь охватил уже весь мир. А они шли и шли в кроваво-красном пламени, покуда все вокруг не превратилось в развалины... Постепенно на востоке забрезжил рассвет. Но только когда уже все превратилось в развалины, наступило утро.

Утро пришло бледное и холодное, пропитанное запахом пожарищ. Но туман рассеялся, зловещая кулиса рухнула, и за ней до самого горизонта открылась даль. Всюду были одни руины. Все оказалось еще ужаснее, чем можно было вообразить. Было пролито много крови — и здесь, и на всей земле. Нигде ничего не осталось. Все надо было начинать сначала. И никогда еще начало не было таким трудным. Печь была холодной, корзинка для хлеба пуста. В сером рассвете виднелся силуэт коренастого. Он и несколько его товарищей уцелели. И вот он стоял, седой, в полосатой арестантской одежде, искалеченный, и смотрел на чудовищные разрушения. А потом взялся за работу.

Послышался отрывистый стук. Еле различимый в сумеречном свете, приковылял на костылях высокий одноногий человек. Из его товарищей несколько тоже остались в живых. Все вместе собрались они около развалин. Ведь им снова придется жить бок о бок в этой стране, которую не они себе выбирали. Но если они снова начнут спорить... И каждый в этом зале почувствовал, что его снова душит кошмар, ибо за горизонтом лежит старый мир и может настать день, когда вновь засверкают зарницы... И если сейчас опять начнется «с одной стороны» и «с другой стороны»... От этой мысли у тысячи зрителей перехватило дыхание... Если они и теперь не сумеют объединиться... Но тут, в свете разгорающегося утра, руки их сомкнулись. Весь зал вздохнул, как один человек. И старый Эберсбах, и Мюллер, и тысяча зрителей, все стремительно встали со своих мест... Гром аплодисментов утонул в стихийно зазвучавшей песне «Смело, товарищи, в ногу...» А наверху, на балконе, сидел Шнайдерайт. Страшное напряжение, владевшее им, улеглось. Он видел, что его поняли.

■

В комнате за сценой Гундель надевала пальто. Она бесконечно устала. Возбуждение прошло, и к ней вновь вернулось тяжелое настроение последних дней. Преодолеть его она была не в силах.

Зрители расходились медленно, и Шнайдерайт задержался в зале. Гундель ждала его с нетерпением. Рядом с ним все становилось легче. А у нее на сердце лежал камень. Скольких бы людей ни убедил сегодняшний спектакль, но того человека, которого ей так хотелось убедить, в зале не было. Утром ей сказали, что Хольт исчез, забрав свои скудные пожитки. А это означало, что он никогда не вернется, что он ушел навсегда.

Зимней ночью, идя рядом со Шнайдерайтом, Гундель постепенно успокаивалась. Они шли, окутанные метелью. Со Шнайдерайтом она была в безопасности. И счастливое чувство свободы охватило ее. Шнайдерайт строил планы на Новый год, на предстоящие праздники. Гундель соглашалась с ним во всем.

— Мы всегда видимся с тобой только в группе. Мне хочется, наконец, поговорить с тобой наедине.

— А о чем же ты хочешь поговорить со мной наедине? — спросила Гундель серьезно, мягко и с таким затаенным лукавством, что Шнайдерайт ничего не ответил и только крепче взял ее под руку. Он не заметил лампочки, горевшей в заводской подворотне. В ее тусклом свете он видел только глаза Гундель. Без всякого усилия он поднял ее на руки. Она со вздохом облегчения обхватила его голову и поцеловала в губы. Шнайдерайт нежно и покровительственно прижал ее к себе.

(Продолжение следует)

ТУДОР АРГЕЗИ

Стихам все вновь звучать...

Перевод с румынского
АННЫ АХМАТОВОЙ

Доброе утро, весна!

Весна! Ты с моею родимой страною
Встречаешься, будто с сестрицей-весною.
Ты — юная вечно, она — молодеет,
В своих перекрестках зеленых свежеет.
Погодою тихой, безмолвным приветом
Встречает тебя, озаренная светом,
Встречает тебя по-иному, чем прежде,—
В почти паутинной, тончайшей одежде,
Расшитой колосьями, маком снотворным,
Расшитой плющом молодым и проворным,
В душистых цветах, в васильковых узорах
Встречает тебя на зеленых просторах...
У ней на плече для сестры ненаглядной
Кувшин с ключевою водою прохладной.
Она угощает сестру дорогую
Водицей, что сладостнее поцелуя.

Минувшие годы тебя здесь поили
Слезами и кровью, отравой бессилья.
Был мечен твой памятный путь не цветами —
Он мечен могилами был и крестами.

Весна вечно юная, дай же навечно
Сестре своей руку в день встречи сердечной.
В предверье надежды, в канун возрожденья
Встречаетесь вы — две весны, два цветенья.

Потерянные листья

Уж полстолетья ты тревожишь неустанно
Чернила и слова, перо томишь в руках,
И все ж, как и тогда, победы нет желанной:
Они всегда с тобой — сомнение и страх.

И для тебя опять как тягостная мука
Страница белая и вид строки твоей,
И первого в душе опять боишься звука,
И буквы для тебя опять всего страшней.

Когда же вновь листки исписаны тобою,
Они уже летят поверх озерных вод,
Летят из сада прочь, как листья под грозою,
Так что и персик сам их проглядел уход.

И в каждом слове ты вновь чуешь содроганье,
Сомненье горькое чернит твои мечты,
Живешь ты, как во сне, в своих воспоминаньях.
Кто диктовал тебе — уже не знаешь ты.

Перекресток

Как средь лиственных факелов летом,
Солнце пусть на душе пробудится,
И пронзит меня праздничным светом,
И качнет в колыбели, как птицу.

Пусть роса увлажнит мои травы,
Миром их умастит благовонным,
Аромат его чистый наславу
Пусть омоет их ветром влюбленным.

Дождь, разрушил я плоть мою — землю,
Что из зерен пробилась сквозь землю.

Ель, сомкни поскорей свои корни —
Пусть не будет счастливее братства.
Пусть не будет смолы чудотворней
Смол тепла моего и богатства.

Не щадите меня. Я без страха,
Я спокойно пойду к вам в неволю.
Мотылек, ты сотки мне рубаху.
Скрой от лунных лучей меня, поле.

Что со мною? О, долго ль еще мне
Через реки и горы влачиться?
Нет. Мое существо все огромней,
Дайте срок — и оно возродится.

О чем грустить?

В прекрасной осени печали нету места...
Мой домик как букет, что в храм несет невеста.
В окне — листва плюща, соцветия глициний,
И днем в мое окно с небесной мирной сини
Шлет солнце дробный свет — он здесь гостит подолгу,
С предмета на предмет скользящий втихомолку,
И в бликах теневых дрожит легко и зыбко
Венчанья иль крестин невинная улыбка.
О чем грустить, когда сквозь этот свет безмолвный,
Как лодка, жизнь моя скользит легко и ровно?
Я вижу кипы книг, столь близких мне и милых.
И новой жизни цвет могучий на могилах.
Я вижу, как с ветвей лист за листом слетает,
Их серебрит луна, а иней разъедает.
Когда же голуби спускаются на крышу,
Я голоса любви в их воркованье слышу.
Со мною сонмы звезд — весь небосвод поныне
Раскинут наверху, как яркий хвост павлиний.
И одиночества тоска со мной, усталым,
Неслышно рядом спит, накрывшись покрывалом,
И шепчет мне она в разрывах сна мгновенных:
«Ты все еще со мной? Ты здесь? Ты в тех же стенах?»
К чему стыдиться мне, и ей к чему стыдиться,
Что ото всех других она со мной таится?
О чем же мне грустить? О том ли, что из глины
Звучаньем скрипок я не обжигал кувшины?
А дранкой крытый дом, мой дом, с букетом схожий,
Близ Тротуша стоит. О чем грустить? И все же...

■

Плэмпале*

Протяжно чья-то песнь с балкона понеслась.
Неведомо когда она там родилась.
Сначала легкая, как шелковый пушок,
Но вот ее напев на мир вечерний лег,
На весь притихший сад, на листья, на стволы,
Чтоб муки исцелять под нежной дымкой мглы.
И слышит тишина ту песню сквозь туман —
В ней врачевание кровоточащих ран.
Звук разветвляется, и эха слышен бег,
И сыплется с ветвей лиловый пышный снег.
Звучащие стихи, где в каждом спит цветок,
Что льнет к другим цветам, как будто к слогу слог!
И в старости мне вновь слова спешат помочь.
Подняться я хочу, отбросить посох прочь.
Страданий океан под радостью живой,
Как небо после гроз, меняет облик свой.
В сегодняшнем встает минувшее опять —
Как в песне той стихам все вновь и вновь звучать.

■

* Один из районов Женевы.

Набросок

Скрипач, брось скрипку, мне ее не надо,
И вздохам тем душа моя не рада.
Мне звуки флейты задают вопросы,
И тягостен их хор многоголосый,
Я на вопросы отвечать не в силах,
Пусть прошлое покоится в могилах.

Свирели, наи, трубы сладкогласны,
Но в их звучанье слышен стон неясный.

Молчите, ветры, воды и криницы,
Как будто вы не быль, а небылицы.
Пруд, зеркало свое забудь и тени,
Что промелькнули в нем, как ряд видений.
А если б я услышал отзвук дальний,
То стал бы дух мой горше и печальней.
В свинцовый саван призраки одеты,
И мне невыносимы их приветы,
И мне невыносимы их упреки,
Что ж не смолкаешь ты, смычок жестокий?

Вечерняя песня

Как на флейте и на скрипке людям я играл бывало,
Чтобы жизнь со мной мирилась и меня не забывала.
И свирелью первой стебель был пшеницы рыжеватой,
Плыли свадебные песни над просторами земли.
Но однажды в волнах речек, в наводнения раскатах
Песнь заглохла, чтоб я слышал, как летели журавли.
Каждый вечер я томился пенья страстною тревогой,
Преклонив свои колени, очи к звездам возводил,
В униженье и печали у вселенной, как у бога,
Новых песен, новых звуков полный трепета просил.

Руки к небу воздевая, на колени встав покорно,
Я молился (так, наверно, втайне молится скала),
Чтобы песнь ко мне вернулась, чтобы снова ночью черной
В сны мои она проникла и всегда со мной была.
И за это мне, мальчонке, целовали руку деды,
Что от струн я отрываю, словно празднуя победу.
И меня за это часто хороводы окружали,
Словно волны, что играют под лучами маяка.
И меня в долинах звонких парни стройные венчали
И лавровыми венками и листвою дубняка.

О, когда б вечерней дойне жить подольше в этом мире!
О, когда бы новым струнам вечно рокотать в эфире!

Неизвестному поэту

Возводишь ты алтарь, что был в твоих мечтах.
Не призрачен ли он? Не разлетится ль в прах?
В тот миг, как тормошить ты души словом стал,
Навеки клятвой той судьбу свою связал.
Велишь ты звездам петь, людей возносишь ввысь,
Тщеславье позабудь и дара не страшись.
Нельзя шутить с огнем, коль стал писать стихи:
Пусть много в книге слов — не меньше шелухи.
Им красок новизну и свежесть подари,
По-новому они заблещут изнутри.

Проклятье над тобой век будет нависать.
Пока строитель ты, все волен выбирать.
Но чтоб алтарь стоял у бездны на краю,
В фундамент заложи свой дух и жизнь свою.

■

ОВИД КРОХМЭЛНИЧАНУ

ПОЭЗИЯ ТУДОРА АРГЕЗИ

«Иностранная литература» знакомит в этом номере своих читателей со стихами самого крупного румынского современного поэта Тудора Аргези в переводах Анны Ахматовой. Тудору Аргези исполнилось в этом году 84 года. У него за плечами — творчество не менее своеобразное, чем творчество Энеску или Брынкуша*. Его неустанные искания и весь его творческий опыт говорят о таланте, на редкость вдумчивом, строгом и плодотворном. Стих Аргези, как замечает критик Джордже Кэлинеску, «с шумом и одновременно» распахивает «десять ворот», открывая «головокружительные перспективы». Изменчивый, как Протей, поэт способен молниеносно переходить от образов, отмеченных самой прозрачной одухотворенностью, к весомым и материальным, как шероховатые камни; стих, звучащий с грубой силой, сменяется другим, в котором слышна нежность; простосердечие соседствует с хитростью, пленительная неуклюжесть — с величайшей изысканностью. Поэзия Аргези нелегко укладывается в некую единую формулу.

Он дебютировал в 1896 году, шестнадцати лет и, подобно Рембо, привел в смятение ценителей поэзии; но первый томик его стихов «Нужные слова» появился только через три десятилетия, в 1927 году. Выходец из крестьянской семьи, поэт рано восстал против родительской власти, бежал из дома, был учеником каменотеса, помощником химика на сахарном заводе, потом постригся в монахи, однако вскоре сбросил рясу и уехал в Швейцарию. Здесь он окончил вольную школу ремесел, по тамошнему обычаю работал на дому, посещал кружки политических эмигрантов, путешествовал по Франции в качестве бродячего торговца; затем вернулся на родину и занялся журналистикой, участвовал в получивших широкий отклик выступлениях социалистического журнала «Факла» [«Факел»] против буржуазных общественных установлений, вскоре стал самым беспощадным памфлетистом из всех, каких знала румынская пресса, и был брошен в тюрьму. Начиная с первых его стихов — этого мучительного диалога с божеством, прометеевского бунта и прославления вселенной в юношески простых «Нужных словах»,— его сравнивали с Эминеску; и тем не менее

* Джордже Энеску (1881—1955) — известный румынский композитор. Константин Брынкуш (1876—1957) — известный румынский скульптор.

уже эти стихи были встречены упорной оппозицией официальных кругов. Другие его книги: антиклерикальные памфлеты «Деревянные иконы» (1930), стихи о мире отверженных «Цветы плесени» (1931), хвала семейной жизни «Книга игрушек» (1931), сатира свифтовского плана на Румынию прошлого «Заметки из страны Кути» (1933), песни чудес микрокосма «Вечерняя книжечка» (1935), фантастический роман «Кладбище Благовещения» (1936), поэма в прозе «Чего ты, ветер, хочешь от меня» (1937), стремительные строфы «Хороводы» (1939) выходили в свет, вызывая поклонение одних и воинствующее неприятие других. Целое поколение поэтов начертало имя Аргези на своем боевом знамени; в то же время академия, университет, церковь предавали его анафеме. На протяжении этих лет Румыния пережила крестьянские восстания 1907 года, первую мировую войну, влияние Октябрьской революции, опустошающее воздействие мирового экономического кризиса и героические битвы пролетариата против ликвидации демократических свобод, королевскую диктатуру, наступление фашизма, катастрофу второй мировой войны и, наконец, час освобождения — 23 августа 1944 года. Только народно-демократическая власть воздала таланту Аргези должное, и поэт имел основания заявить на праздновании своего восьмидесятилетия в 1960 году: «...если и я, с моими скромными заслугами, из которых я признаю единственную — то, что с начала жизни и до нынешних лет, опираясь на палку, с инструментами в котомке, я шел одной и той же тропинкой, продираясь сквозь шилы колючего кустарника и западни,— если и я вижу себя в почетном ряду, то это чудо совершил Серп и Молот... Целу́ю серп Величия, затерянный среди зноя и нив. Целую грудь слесаря, обожженную пламенем и омытую потом».

Каковы же основные грани поэзии Аргези, сложившейся еще до Освобождения! Одну из них можно назвать «жаждой абсолютного». Герой этих стихов — непокорный бунтарь, вдохновленный, как Бранд, зовом высот; пророк, которого не слышит «чернь» и который царственно облекается в мантию своего одиночества. В этих стихах бьется прометеевское сердце. Они, как говорит сам Аргези, прославляли «униженных», «философов и отшельников», которые, пока равнодушно дремали те, кто довольствовался жизнью, основанной на «пошлых желаниях», на «триумфе плоти», штурмовали мыслью непознанное, «рванувшись соколами в голубые просторы». Притесняемые, непризнанные, одинокие в своих кельях, мучимые бессонницей и палимые лунным лучом, эти «бесчисленные страстотерпцы», «истерзанные, уродливые и нагие», изгнанные «с литургии богатства», на своих убогих чердаках, в комнатах «без постели и без огня» постигали законы вечности. Одинокая, чуждая славы жизнь мечтателей и пророков была отмечена связью с абсолютом; свысока взирали они на эфемерный блеск сильных мира сего.

Другая грань поэзии Аргези — прославление безвестного, тяжкого труда «рабов земли». Поэт возносил этот труд на высоту великих человеческих ценностей, впервые превращая, как он сам говорит, «мотыгу — в перо и борозду — в чернильницу», язык «понуканья для скота» — в стих, «лохмотья» — в «почки и кроны», раскрывая силу духа и ума, прячущиеся под суровостью и простотой крестьянина. Изначальное, естественное получало, таким образом, в поэзии Аргези право на уважение и противостояло вычурному и искусственному, ломая ложную иерархию, когда слово имели лишь фальшь и мишура власть имущих.

Аргези еще и поэт «цветов плесени», то есть красоты, возросшей в отвергнутом обществом мире. «Ногтями левой руки» он «царапает» на сырых, почерневших стенах темницы образы этого проклятого мира, подобно Гойе заставляя кричать линии своего гротескного, внушающего ужас рисунка. Исследуя жизнь тех, кто «отмечен позорным клеймом», он стремился раскрыть ее неведомые миру черты. Поэт опрокидывал привычное понятие о преступлении, он показывал мученичество жертв буржуазного общества, которое зачастую возвышало осужденных над их судьями, и, ссылаясь на Вийона и его близость с каторжниками, доказывал, что нередко прекрасное живет, соединившись в странном сплаве с пороком и злодейством. Таковы созданные им образы дикого цветка — Тинки, очаровательной цыганки «с лживым вздохом», или «прекрасного, как юный бог, разбойника с большой дороги».

Еще один объект, нашедший отражение в поэзии Аргези,— это мир «зерна и крошки». Подобно Франциску Ассизскому, поэт братался с «воробьями-

воришками», с «сонными жуками», с «чечетками, кошками и козлятами» — со всеми живыми существами: он ощущал тесную, интимную органическую связь с ними. Показывая, как при помощи бесконечных слияний и взаимопроникновений каждая крохa участвует в «движении вселенной», поэт восстанавливал в правах то, что на первый взгляд незначительно и ничтожно.

Аргези также и поэт ясного веселья. Он открывал вновь простые радости, отвергнутые из-за предрассудков морально окостеневшего мира. Аргези доказывал, что людям, не «испорченным цивилизацией», присуща особая живость мысли. «Интеллект,— замечает он,— повел к бесконечному расчленению. Старые кристаллы подверглись раздроблению на все уменьшающиеся части, снова соединявшиеся и снова размалывавшиеся; из их неуловимой пыли невозможно вновь создать призматический кристалл, даже если замешивать муку понятий на самой лучшей слюне философии и на самой тонкой урине интеллекта». И во имя радикального пересмотра шкалы ценностей, которую освятил тривиальный утилитаризм буржуазного общества, заплатив за нее духовным увечьем, поэт восклицал: «Принесите нам, дети, от вашей игры, от земли и песков новые кристаллы. Драгоценности наши смрадны, жемчужины наши гниют, золото наше породило вшей, червяков и плесень».

Наконец, особая группа произведений Аргези дает представление о сатирической силе его таланта. Мощными символами-карикатурами он сводил социальное устройство вчерашней Румынии к чудовищной, абсурдной, апокалиптической системе, предназначенной для того, чтобы поощрять низменное в человеке. Подобно Босху, от видел за внешней пышностью и великолепием окружавшей его жизни похожую на галлюцинацию картину бесконечных вырождений, распада, регресса, происходивших в символическом болоте, на дне которого сильные мира сего подобны омерзительной фауне, демоническим существам, бессмысленно суетящимся, размножающимся с чудовищной быстротой и простирающим свою проклятую власть — власть низших организмов — на жизнь. Против этого адского заговора бушевала гневная речь Аргези.

Различные ипостаси поэзии Аргези скрывали за собой его общественную позицию. Поэт стремился низвергнуть своим творчеством принятую систему ценностей старого мира и заменить ее другой,более справедливой. Отрицание, которое у Бодлера касалось в основном эстетических норм и оборачивалось желанием доказать, что можно творить искусство из уродливого, приобретало у Аргези всеобъемлющие масштабы. Поэт занимал позицию, в корне враждебную господствующим, вошедшим в обиход суждениям, взглядам, утверждавшимся в том мире, который он презирал и вопреки догмам которого он переоценивал одно за другим все то, что безвинно пострадало от узкого, филистерского, рутинерского духа. Иконоборчество, свойственное натуре бунтарской, непокорной, не мирившейся с существовавшим порядком; внимание к ценностям, которыми пренебрегали; пафос утверждения отверженных, пребывавших в безвестности,— все это делает Аргези поэтом, чрезвычайно характерным для времени и общества, его сформировавших, то есть для эпохи империализма и пролетарских революций, как она преломилась в истории Румынии. Чувствительный сейсмограф, реагировавший на вулканические перемещения, шедшие из глубин жизни общества, он отмечал могучее подспудное развитие выходивших на поверхность новых социальных сил. Поэт улавливал энергию, с какою неведомые, дотоле презираемые массы вторгались в историю, требуя себе места под солнцем; он чувствовал себя призванным провозгласить этот революционный переворот в отношениях, восстанавливая в правах всех обиженных.

Индивидуализм поэта был порожден непониманием разрушительного действия законов капиталистической экономики, которое он ощущал как «ярость слепого случая», направленную против простых людей, приученных считать себя бесправными и бессильными частичками в бессвязном целом. Он был солидарен с угнетенными массами, но в их борьбе за утверждение непризнанных ценностей он стремился к роли вольного стрелка. Однако индивидуализм Аргези не вел к романтической гипертрофии его собственного «я». Наоборот, поэт воспринимает положение одинокого, непримиримого мятежника как горькую неизбежность. Он неустанно искал оправдания своей обособленности, изоляция тяготила его, а многоликость его поэзии говорила лишь о постоянной потребности в связях с людьми.

Аргези всегда проявлял бурную антипатию к богеме, как к выражению деклассированности художника в капиталистическом мире. Ему даже нравилось подчеркивать, что он человек «добропорядочный», что у него есть семья, дети, что он занимается хозяйством, выращивает индеек и ездит на мотоцикле, интересуется ценами на картофель и последними мировыми событиями, принимает участие в спорах соседей и, к удовольствию своих отпрысков, вместе с ними ползает по дому на четвереньках. Он находился в непрестанной войне с издателями, мечтал о выпуске собственной газеты — пусть она будет величиной с «лотерейный билетик»,— хотел построить типографию и сам набирать свои книги. Аргези склонен был представлять себе труд художника наподобие некоего ремесла, ставить его в один ряд с работой кузнеца или горшечника. Острое ощущение своего родства с трудовым миром проистекает у поэта именно отсюда. Капитализм на стадии империализма был в Румынии особенно злой мачехой для мелкого производителя с его относительной независимостью, и над ликвидацией подобной независимости оно поработало безжалостно. Этим объясняется особая чувствительность Аргези к распаду, то напряженное апокалиптическое чувство, которое преследует поэта. Творения Аргези становятся победой над хаосом, уничтожением и индивидуалистической изоляцией — победой, завоеванной с огромным трудом, ценой безмерных усилий. В этом и состоит глубоко гуманистическая идейная миссия творчества Аргези: в мире контрастов возвыситься над тенденциями распада и наперекор им, вопреки неистовству, с которым они осаждают общественное сознание утвердить целостность человека.

Его образы живы, осязаемы, они обладают поразительной материальностью, они глубоко национальны. Аргези переворачивает все пласты румынского языка, очищает от ржавчины архаические слова и конструкции, расплавляя их в своих тиглях, проверяя смысл формулировок, которыми монахи и книжники переводили на язык чабанов священные тексты, сохраняя сверканье пословиц и остроумных речений, сельский аромат различных идиом, кричащий колорит арготизмов, звучность неологизмов; он создает сочетания поразительно новые и в то же время необычайно точные.

Иногда Аргези завязывал бурный диалог с божеством, посвящая ему псалмы, досаждая ему вопросами и осыпая его упреками; так рождалась душераздирающая лирика «веры и отрицания», которая триумфально завершилась — пройдя через иллюзии, сомнения и отчаяние — решительным атеистическим отрицанием. Эта революционная победа над самим собой стала возможна для Аргези после освобождения Румынии, благодаря его приобщению к идеологии победившего пролетариата. В «Песне человеку» (1955) поэт прославляет гигантскую творческую силу труда, грандиозный марш «homo faber», открывшего путь к спасению от проклятья ничтожности и сумевшего, благодаря трудовым свершениям, заменить «планету крови и падали» другой — из «кварца» и «металлов».

Ныне, в годы народной власти, Аргези переживает небывалый творческий подъем. Страницы, созданные поэтом под знаком революции и вдохновленные ее перспективами, получают новое измерение. Лишь теперь в полной мере раскрывается глубокий и всеобъемлющий смысл его символов. Великолепным «1907 годом» — поэмой, освещенной пламенем крестьянских восстаний, грациозными «Пестрыми стихами» (1957), разнообразными заметками о социалистическом строительстве, недавними безоблачными и светлыми «предпосмертными» стихами из книг «Листва» и «Новые стихи» (1963) Аргези завоевал право считаться пророком социального и морального возрождения, которое переживает его народ.

Тебе наследство, сын мой,— только имя
На этой книге с песнями моими,
А книга — лишь ступень вечерней тени,
Идущей от далеких поколений.
От предков до тебя по темным ямам
Пришлось ползти моим отцам упрямым,
А сильному и молодому сыну
Легко теперь подняться на вершину.

(Перев. Н. Павлович)

Теперь, в мире, наконец-то принадлежащем им, законные наследники поэта не могут читать эти строки «Завещания» без внутреннего трепета.

МУХАММЕД ДИБ
(АЛЖИР)

Беспощадная ночь

Я познакомился с Мухаммедом Дибом в 1950 году в редакции «Альже репюбликен».

Он работал днем, а я ночью, так что нам редко случалось беседовать — разве что в субботу, когда сотрудники отдыхали.

Мы оба писали. Наши стихи появлялись на литературной странице «Альже репюбликен», печатавшейся по средам, в органе коммунистической партии «Либерте» и в журнале «Террасс», который прекратил свое существование в том же году, когда был основан.

В то время для алжирских поэтов и писателей, писавших на французском языке, не было другого выхода, как отдавать свои силы боевой журналистике. Однако иногда нас печатали и в Париже в так называемых левых журналах.

Для Диба, как и для меня, главным было любой ценой закончить большое произведение, над которым он давно работал, и найти издателя.

Я покинул Алжир в 1951 году и вновь встретился с Дибом два года спустя в Париже, где только что вышел в свет его первый роман «Большой дом». Это было реалистическое произведение, описывающее хорошо знакомую ему повседневную жизнь простых людей в его родном городе Тлемсене.

Издатель романа Поль Фламан, прогрессивный католик, увидел в Мухаммеде Дибе первого алжирского писателя, который пробил брешь в стене молчания, ограждавшей тогда вековой миф о «французском Алжире».

Действительно, в то время Алжир во французской литературе представлял прежде всего Альбер Камю, вокруг которого группировались Роблес и другие известные писатели, немало лет прожившие в Алжире, но по самому существу своему остававшиеся французами. Они любили Алжир и с внешней

См. начало «Международного форума рассказа» в № 4.

стороны выразительно рисовали его, но алжирский народ оставался им чуждым. Понадобился «Большой дом», чтобы впервые показать французам Алжир, о котором они даже не подозревали, — Алжир, увиденный изнутри.

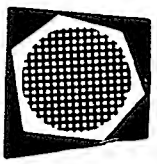
Заслуга Мухаммеда Диба состоит в том, что, опубликовав эту книгу, он нанес прямой удар по опереточному Алжиру — экзотическому и патерналистскому.

Французская критика признала за ним эту заслугу.

И революция, которая потрясла всю Северную Африку — с востока до запада, — разразившись сначала в Тунисе и Марокко, а потом и в Алжире, где она бушевала семь лет, окончательно доказала перед лицом всего мира, что такие люди, как Мухаммед Диб, имеют право говорить от имени своего народа. Мы больше не нуждаемся в адвокатах! Алжирцы сами взялись за перо, как берутся за оружие.

Во время войны Мухаммед Диб опубликовал еще несколько книг. Рассказ, который вы прочтете, был напечатан недавно в еженедельнике «Леттр франсез». Он свидетельствует о том, что Алжир нашел в Мухаммеде Дибе писателя, изображающего тысячу и один путь борьбы за национальное освобождение.

Катеб Ясин



ни пошли.

Садилось солнце, и в глубине пустынной улицы на пылающих тротуарах четко вырисовывались силуэты редких прохожих. Предвечерняя дымка и легкие облака, застилая, но не гася золотой пожар над гигантскими деревьями, над уходящими вдаль садами, окутывали тишиной, казалось, необитаемые виллы.

Сначала они шли не спеша, потом, взглянув на оранжевый горизонт, на киноварь заката, ускорили шаг.

Позади раздался шум мотора, и почти тотчас троллейбус поравнялся с ними, на мгновение заслонив от них улицу. Они бросились бежать, Нельзя упустить его — это последний троллейбус, на котором они еще успеют к единственному часу, обозначенному на циферблате. Троллейбус остановился, пассажиры начали выходить. Повиснув на руке у Фодиля, Наэма бежала вприпрыжку, постукивая высокими каблучками. Он крепко прижал к себе ее локоть, чтобы не дать ей упасть. Ее волосы щекотали ему лицо. Троллейбус издал жалобный скрип, трогаясь с места, и в эту минуту Фодиль вскочил на подножку и рывком втащил за собой смеющуюся Наэму.

Троллейбус тронулся; не переставая смеяться, она полетела прямо на Фодиля и, чтобы смягчить удар, уперлась ему в грудь руками. Новый толчок. Она ухватилась за Фодиля. Троллейбус набирал скорость.

Они одновременно посмотрели на сумочку, которую она держала в руке.

— Не бойся,— прошептала Наэма. Она улыбнулась и отвела глаза.— Это мне не в новинку.

Теплое чувство шевельнулось в нем. Люди вокруг были неподвижны и бесстрастны, как статуи.

Наэма прижимала к груди сумочку. Остановка, еще остановка; они приближались к центру.

Фодиль почувствовал что его охватывает оцепенение, и только присутствие Наэмы не давало ему впасть в забытье. «Ничего, можно дать

себе передышку, это не страшно», — подумал он, но что-то еще удерживало его на краю пропасти, которая — он это знал — с минуты на минуту должна была поглотить его.

Внезапно ему показалось, что троллейбус остановился, что мир сомкнулся вокруг него плотным кольцом и это кольцо вращается с головокружительной быстротой, обволакивая его туманом и затягивая в омут. Он закрыл глаза, снова раскрыл их — троллейбус ехал по-прежнему.

«Я жду от жизни так много, — подумал он, — я так много хотел бы сделать».

Краски сгустились, небо стало багровым. То тут, то там в отблесках заката молниями вспыхивали тополя. Аутодафе в средневековом городе.

Фодиль улыбался далеким теням, прощаясь с ними. Дом, старая женщина — он уже с трудом узнает их. Посреди внутреннего дворика цветет абрикосовое дерево; виноградная лоза под косым углом карабкается на террасу и оттуда свешивается во двор.

Отец и мать — то вместе, то врозь. Зачем они здесь? Они последними провожают его и, кажется, хотят еще что-то сказать ему на прощанье. Как нужно ему узнать это «что-то»! За их молчанием, он это чувствовал, таилось нечто живое, ищущее, окружающее его со всех сторон. Но ни отец, ни мать не раскрывали рта. Решатся ли они наконец заговорить? Он тщетно прислушивался. И вдруг ему стало ясно, что они уже все сказали. Когда? Неужели он перестал их понимать? Фодиль застыл в замешательстве.

Вспыхнувшее в нем теплое чувство потушил черный, ледяной ветер. Ожившие тени близких — из какого давнего, оставшегося далеко позади обиталища явились они сюда? — внезапно исчезли, и вместо них лишь блуждающие огоньки плясали у него перед глазами.

Спускаясь к морю, которое то появлялось, то вновь исчезало, город медленно разворачивался вокруг своей оси. Один за другим проплывали мимо дома, ощетинившиеся деревьями сады; их отражения скользили по мерцающей поверхности залива. Море, как огромная линза, собирало в фокус последние лучи света, и этот ослепительный блик в своем непрерывном вращении, казалось, увлекал за собой сверкающий диск солнца.

Что сказали бы родные Фодиля о Наэме, о нем самом? Там, у них, все было совсем иначе. Сумели бы они понять его? Во всяком случае, на них не за что было бы сердиться: пути, которые у них на глазах проходили их дети, оставались им неизвестны.

Фодиль рассмеялся.

Наэма ответила ему улыбкой.

Над ними умиротворенно вздрагивало сентябрьское небо, глубокое и безмятежное.

Наэма опять улыбнулась Фодилю. Но он был далеко. Она с тревогой заметила, что перед ней стоит незнакомец, человек, который был для нее загадкой, человек, погруженный в свое одиночество. Ее охватило смятение, какой-то безотчетный страх. Ей показалось, что она ослепла и лишь ощупью пробирается в воцарившейся мгле.

Этот чужой человек был не Фодиль. Подмена произошла так внезапно, что она не сразу осознала ее.

Беспомощная и растерянная, она не понимала, где его искать. Он ускользал от нее. Она подумала испуганно: «Кто придет ему на помощь? Кто отвратит от него беду? Я? Да... Я найду его, и мы пойдем вместе».

Ей захотелось поделиться с ним своими мыслями, но она не решилась — это было опасно. Она расскажет ему обо всем, когда дело, которое им поручили, будет выполнено.

Она понимала и в то же время отказывалась понимать, что с ним происходит,— происходит не только потому, что он сейчас отрезан от

всех, но и потому, что его завораживает самопожертвование, на которое он себя обрек. Однако она верила: любовь поможет ей разбить черное зеркало, в котором Фодиль созерцал самого себя. Он вернется к ней.

«Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Завтра? Через час? Может быть, никогда...»

Наэма рассеянно посмотрела вокруг. Здесь, на площадке троллейбуса, и дальше, внутри, взгляд ее встречал лишь холодные, словно высеченные из серого камня, лица. Она переводила глаза с одного пассажира на другого: все то же застывшее выражение у всех — у мужчин и у женщин. Их стертые черты не выражали ничего, кроме страха смерти или желания убивать. Троллейбус качнуло, и она прижалась к Фодилю, пытаясь уйти от леденящего холода этих масок. Она с трудом удерживала дрожь.

В это мгновение ослепительный блеск, пронизывавший воздух, море и город, внезапно исчез; все стало серым и безликим; сверкающий мир рассыпался пеплом.

Фодиль посмотрел на пассажиров и увидел обугленные изваяния, выброшенные потухшей лавой заката. Немые, мертвые изваяния.

Наэма сказала «скоро». Фодиль бросил взгляд на часы: только одна цифра была обозначена на циферблате, и стрелка уже почти касалась ее.

Он поднял глаза и встретился со взглядом Наэмы. Ее тонкие пальцы сжали его локоть.

По лицу Фодиля скользнула чуть заметная улыбка, но для Наэмы этого было довольно — перед ней снова стоял Фодиль, такой, каким она знала его по университету. Она почувствовала, что опять начинает дрожать. Стараясь взять себя в руки, она сказала первое, что пришло на ум:

— Все в порядке?

И он, наклонившись к ней, ответил:

— Все в порядке.

Троллейбус затормозил, содрогаясь всем своим железным корпусом. Они вышли; за ними — еще несколько пассажиров.

■

На улице они как будто забыли друг о друге; казалось, они даже не были знакомы. Но она, следуя за ним на расстоянии, старалась не упустить его из виду.

Фодиль шагал впереди, врезаясь в толпу. Движение, ощущение твердой почвы под ногами помогали рассеять окутывавший его туман. Ночь словно стерла с лица земли огромный город. Только освещенные витрины, каким-то чудом устоявшие против натиска тьмы, смыкались местами в непрерывную цепь, воссоздавая целые улицы — сверкающие контуры улиц. Трамваи и машины со втиснутым в них грузом пассажиров проносились мимо, на мгновение заслоняя падавший из витрин свет. И мелькание этих темных прямоугольников, которые временами совмещались, но никогда не сталкивались, превращало цепь сияющих окон в ослепительный поезд, стремительно мчащийся в бездну, а трамваи и машины, казалось, не трогались с места.

Над серым пепелищем города горели фонари, вспыхивали неоновые росчерки реклам. Прохожие словно растворялись в полумраке. Их призрачные силуэты сближались, сливались воедино, снова распадались — паяцы на ниточках, покорно-безучастные и в то же время пугающе живые.

Фодиль испытывал блаженное чувство покоя. На мгновение им овладела уверенность, что стоит ему захотеть и он с закрытыми глазами, помимо своей воли, будет двигаться вместе со всеми в этой толпе теней. Смешавшись с потоком прохожих, он поплыл по течению — мимо смутно

очерченных громад, глухих фасадов, зеркальных стекол. Казалось, ему больше не было нужды ни смотреть, ни думать.

Наэма по-прежнему шла позади. Тени и отсветы, яркие вспышки, вращающиеся огненные шары: он приближался к почтамту, и город все плотнее сжимал свои тиски, толпа становилась все гуще. Эта толпа подчинила его себе, бросала из стороны в сторону, и он, ощущая себя инородным телом в общем потоке, на каждом шагу наталкивался на препятствия, как будто предназначенные для того, чтобы заставить его свернуть с пути.

«Идет ли Наэма за мной? Не потеряла ли она меня из виду?» Эта мысль служила ему ориентиром, маяком, который определял его путь. Он не мог оборачиваться назад, он должен был смотреть прямо перед собой. Но мысль о Наэме вела его.

Ему захотелось взглянуть на часы. Спешить было нечего. С той минуты как он расстался с Наэмой и его поглотил прожорливый город, он провалился в губчатую пустоту, которая подстерегает человека, когда он остается один, и беспомощно барахтался в ней. Вокруг было смутное море человеческих лиц. На каждом шагу перед ним всплывали новые маски, тут же уносимые неодолимым течением. Он не успевал разглядеть их, уловить их выражение. Они все сливались в один, бесконечно повторяющийся образ, все были лишь окаменелыми слепками с открытыми глазами. Куда увлекало течение этих людей, захлебнувшихся в уличном прибое? Иногда на поверхности появлялись красивые женские лица — четко обрисованный овал, строгие черты. Они исчезали не сразу; Фодиль чувствовал на себе неуловимо пристальный взгляд, а потом их тоже, как всех, накрывала волна. Еще мгновение Фодиль видел их перед собой. Откуда появлялись эти лица, суровые и нежные, с блестящими, но незрячими глазами, и куда, к какому берегу их относило? Они бередили в душе Фодиля старую рану, которая кровоточила, не раскрываясь. Их красота невозмутимо сияла в этом кипящем водовороте.

Наэма по-прежнему шла позади.

Освещенные изнутри трамваи с пронзительным скрежетом разрезали город. Они проносились один за другим все чаще, все стремительнее и, вырываясь из ночи, толкали перед собой рельсы, мостовую, дома. На тротуарах, прижимаясь к витринам, теснилась толпа. Фодиль видел только белые пятна лиц, безносые и безглазые, как это бывает во сне, но все эти люди, напирая на него с разных сторон, помогали ему идти; движение уже не требовало от него никаких усилий, ничто не мешало ясности и четкости мысли.

Он говорил себе:

«До конца. Мы пойдем до конца. Будем бороться, пока не иссякнут силы. Пока не угаснет последняя искра огня, который горит в нас».

Ночь, одна из первых осенних ночей, уже становилась свежее; потянул ветерок.

Фодиль остановился. Он был у цели. Он ждал.

Он ждал недолго. Наэма догнала его — он почувствовал, угадал ее близость. Глядя прямо перед собой, она открыла сумочку, сделала еще шаг вперед и словно невзначай наткнулась на Фодиля. Он ощутил в руке холодный ствол пистолета и мгновенно спрятал оружие во внутренний карман куртки, слева, на сердце. Наэма, не поворачивая головы, прошла мимо. Ее напряженные нервы улавливали каждое движение прохожих. Никто не шел за ней следом. Она внезапно остановилась, будто вспомнила что-то, и повернула назад, незаметно косясь по сторонам. Сердце неудержимо стучало. Нужно казаться спокойной, непринужденной, нужно взять себя в руки. Он идет ей навстречу, в уличной сутолоке. «Я не должна смотреть на него,— твердила Наэма,— он такой же прохожий, как все». Они сходились все ближе, лицом к лицу, она не могла

пропустить его. Шаг, два шага, три... Она замешкалась, не зная, с какой стороны обойти его. Он тоже.

— Простите, мосье...

— Простите...

Она прошла. Гранаты оказались у него в кармане. Она перешла через улицу. Он продолжал свой путь. Наэма свернула в переулок, ускорила шаг и снова вышла на ту же улицу, но уже не позади, а впереди Фодиля, по другую сторону кафе, для которого предназначались гранаты.

Теперь он, в свою очередь, считал шаги: один, два, три... Считал машинально, безотчетно. Ему казалось, что он превратился в снаряд, летящий вне времени, с немыслимой скоростью. А где-то внутри него безостановочно звучало: шаг, два шага, три, четыре... Здесь. Он пришел. Один, два, три... Первая граната летит в цель. Четыре... вторая граната. Взрыв. Пять, шесть... Звон разлетающихся стекол, крики, вопли. Семь... Грохот нового взрыва. Сотрясая улицу, рванула воздушная волна. Восемь, девять... Люди рассыпаются в разные стороны. Десять, одиннадцать... Распахнутые двери домов и магазинов — единственное прибежище в этом хаосе — притягивают, заглатывают обезумевшую толпу.

Улица опустела, вокруг не оставалось ни души. Прекратилось движение, замерла жизнь. И посреди этой мертвой пустоты — пылающее кафе, осколки выбитых стекол, пятна крови на тротуаре. Слышались мольбы о помощи, душераздирающие стоны. Но и они вскоре умолкли, воцарилась пронзительная тишина. И пока длилась эта несокрушимая, всеобъемлющая тишина, тысячи огней, почудилось Фодилю, взметнулись, рассыпались в небе, словно вдребезги разбилось сердце города.

Фодиль, пошатываясь, пошел прочь.

Прошло много времени, целая вечность, прежде чем раздался одиночный выстрел. Короткая пауза, потом еще и еще. Пулеметная очередь прострочила ночь; и вот уже со всех сторон доносится нарастающий вой полицейских машин.

Толпа хлынула назад, к кафе. Какие-то одержимые с выпяченными подбородками размахивали пистолетами, стреляя на бегу. Сквозь оглушительный рев прорывались истерические рыдания женщин. Жандармы, солдаты территориальных частей, парашютисты оцепили улицу, загородив все проходы. Спереди, сзади, из боковых переулков подъезжали «виллисы» с подкреплением; непрерывно рявкали автомобильные гудки. Кольцо оцепления все сужалось; никто и не думал сопротивляться.

■

Фодиль вместе с отхлынувшей толпой оказался на противоположном тротуаре, потом вернулся назад и, пробежав несколько метров, свернул в переулок. Он хотел уйти поскорее. Но нельзя было чересчур торопиться. Дойдя до перекрестка, он увидел впереди Наэму. У него вырвался вздох облегчения. Он замедлил шаги. Не сводя с нее глаз, он следовал за ней. Но идти становилось все труднее. Он словно окоченел. Он не испытывал боли, но какая-то непонятная тяжесть навалилась на него. Он медленно продвигался вперед, с мучительным усилием отрывая подошвы от внезапно размякшего тротуара. Воздух, свернувшись хлопьями, превратился в снег, черный как уголь. Но далеко впереди маячил огонек. Наэма. Хватит ли сил дойти до нее? Он должен. Он не смеет остановиться. Шаг, еще шаг. С какой стороны подойти к ней? Она стояла неподвижно и ждала, потом не спеша перешла на другое место. Она улыбалась, то спускаясь к нему по ступенькам времени, то отступая.

Ему захотелось крикнуть во весь голос: «Наэма!» Но он удержался. В этом враждебном городе, в беспредельной тьме, там, где стояла Наэ-

ма, занимался новый день; его свет сиял, не расплываясь, неожиданный и хрупкий.

Фодиль пошатнулся. Он прислонился к стене и, весь подавшись вперед, с трудом переводя дыхание, уставился на Наэму.

В конце широкой улицы загорелись огни, и на фоне этих огней, словно в огромном Луна-парке, стояла Наэма.

Вздрогнув, он хотел идти дальше, идти во что бы то ни стало. Но ноги уже не слушались его.

Он закрыл глаза и стоял так в нерешительности, не зная, что ему делать, позабыв о времени. Наконец он переставил ногу, попробовал опереться на нее. Он снова шел навстречу Наэме. Его тело плавилось, растекалось, растворялось во тьме. Он приближался к Наэме, но разделявшее их расстояние вырастало опять. С сияющей витрины магазина полуголая кукла, одиноко торчащая среди дамских шляп, смотрела, как он идет, не продвигаясь ни на шаг.

Внезапно Фодиль понял, что с ним случилось. Он не почувствовал страха, не закричал.

Ему не было больно. Его занимало только одно — ослепительный свет, который, как нож, разрезал его пополам.

Не отрываясь от стены, Фодиль разглядывал куклу в витрине, и ему казалось, что стоит ему сделать еще шаг и она, потеряв равновесие, шлепнется лицом вниз.

Медленно кружился и плыл город, и вместе с ним нескончаемой чередой кружились и плыли мысли Фодиля, запутываясь и оплетая его. Так вот что такое смерть!

— Фодиль, что с тобой?

Шепот Наэмы раздался совсем рядом. Она почему-то подошла к нему сзади. Неужели это конец? Он не заметил, как она вернулась. Ему казалось, что он падает, сейчас упадет. Он не упал. И сам удивился этому.

— Я ранен.— Он думал, что говорит вслух.

— Что с тобой? — сдерживая крик, повторила Наэма.

— Я ранен,— выдохнул он.— Возьми и уходи.

— Что взять?

— Пистолет... У меня в кармане...

— Я не могу.

— Возьми... и уходи, прошу тебя.

— Нет. Послушай...

— Иди.

Подавив внезапный испуг, от которого подкашивались ноги, Наэма пододвинулась вплотную к Фодилю.

— Послушай,— умоляюще зашептала она.— Положи руку сюда,— она взяла его за руку,— мне на плечо. Опирайся. Идем. Как двое влюбленных...

Он пошел. И город, который, казалось, уже обвивал вокруг них свои кольца, раздался и стал разворачиваться в улицы, спокойные, почти безобидные на вид.

Они шли очень медленно. Он положил руку ей на плечо, она поддерживала его, обнимая за талию. Он не знал, куда и зачем он идет. Никто их не ждал, нигде. Далеко ли еще до конца? Не все ли равно? Наэма была рядом. Она велела ему идти. Остальное не имело значения.

Влюбленные не торопятся. Редкие прохожие, испуганно озираясь, пробегали мимо. Откуда-то сзади все еще доносился шум, звуки выстрелов. Но эти двое по-прежнему шли не спеша, ни на что не обращая внимания, словно все это их не касалось.

Внезапно вынырнув из-за угла, промчались полицейские машины; и тотчас же на улице появились солдаты, жандармы. Наэма поняла, что

опасность гонится за ними по пятам. Долго ли еще они смогут идти, не возбуждая подозрений? С проезжавшего мимо грузовика посыпались шуточки — парашютисты зубоскалили на их счет.

Она свернула направо и остановилась, задыхаясь от усталости. Осторожно прислонив Фодиля к стене, она прижалась к нему, будто лаская. Теперь она могла отдохнуть и переждать, пока проедут машины. Но куда им идти? В какую сторону? Она одна должна была это решить, никто не мог ей помочь. Надо было убраться отсюда и увести Фодиля. Она наклонилась к нему, собираясь заговорить, спросить его — о чем, она не знала сама,— но, взглянув на него, поняла, что это было бы бесполезно. Голова его упала на грудь, за все время он не издал ни звука. Быть может, он потерял сознание.

Немного погодя, увлекая его за собой, она перешла на другую сторону и свернула в темный переулок. По этому переулку можно было спуститься в порт и, если повезет, уйти от опасности. Чувство облегчения, почти радости овладело Наэмой. Фодиль, казалось, пришел в себя; но дышал он тяжело, неровно. По соседним улицам упорно шныряли «виллисы»: поиски еще продолжались. Они ушли недостаточно далеко.

Навстречу им медленно, настороженно двигался патруль. Наэма подтащила Фодиля к первой попавшейся двери. Дверь была заперта. Она прислонила его к одной из створок. Патруль приближался. Она обняла Фодиля и, притянув его голову к себе, зашептала взволнованно:

— Поцелуй меня, милый. Посмотри на меня...

Она прижалась губами к его холодному рту. Он приоткрыл глаза и посмотрел на нее, не узнавая. Но минуту спустя его губы слегка шевельнулись, еле заметно отвечая на ее поцелуй. Она услышала что-то похожее на вздох, и этот звук словно вошел в нее: она покачнулась, ощутив его у себя в груди.

— Я с тобой,— шепнула она.

Патруль поравнялся с ними.

— Кхм! Кхм!

Они прошли совсем рядом и, обратившись в тени, растаяли в темноте. «Странно все-таки, что они не услышали, как бьется мое сердце»,— подумала Наэма. Страх неожиданно исчез, она уже ничего не опасалась.

Из окна третьего этажа раздался сердитый окрик:

— Эй, вы, влюбленные! Нашли время лизаться! Это уж слишком. Проваливайте отсюда!

Они двинулись дальше.

Теперь они брели безо всякой цели — Наэма не знала, куда идти. О том, чтобы добраться до явки, не могло быть и речи. Фодиль с каждой минутой становился все тяжелее; она изо всех сил старалась его удержать. От напряжения у нее дрожали колени. Еще немного, и она упадет.

— Фодиль,— позвала она тихо,— ты больше не можешь идти?

Он не ответил.

— Попробуй, еще несколько шагов.

Долгий вздох вырвался у него из груди. Она была вынуждена остановиться. Ей показалось, что она волочит за собой обмякшее, безжизненное тело. Идти дальше? Но разве это возможно?

Она собралась с силами и, поборов усталость, снова пустилась в путь. Она решила больше не останавливаться. Все двери были заперты, все окна закрыты ставнями. У нее спирало дыхание, в груди все горело огнем. Продолжая идти, она пугливо оглядывалась по сторонам. Они вышли к откосу, который спускался в порт. Вокруг не было ни души. Казалось, они находились на краю света, такой пустынной выглядела местность. Моря не было видно, но резкие запахи рыбы, мазута и дегтя пропитывали влажный воздух. На равных расстояниях один от другого высоко на столбах горели фонари, прокалывая, но не раздвигая тьму. Они

прочерчивали над шоссе волшебную тропу, уходившую в черную даль, где мерцали бесчисленные огоньки. Глядя на эти искорки, затерянные в тумане, Наэма осознала всю беспредельность своего одиночества.

Подавив отчаяние, она наконец решилась: она пойдет прямо вниз по откосу. Там, на берегу, среди чернеющих портовых строений, она, вероятно, найдет уголок, где они смогут спрятаться и дождаться рассвета.

В эту минуту земля задрожала у них под ногами: внизу с оглушительным свистом показался поезд. И все заходило — здания, пустыри, набережная, мол. Вагон за вагоном катился мимо, исчезая во мраке, где через минуту только тускло поблескивали рельсы. Опять все застыло вокруг. Наэма подождала, пока утихнет стук ее сердца, и стала осторожно спускаться с откоса. Но не пройдя и двадцати шагов, они попали в ослепительный луч прожектора. Он настиг их с ошеломляющей внезапностью. Повисший в воздухе огромный зловещий глаз уставился на них словно в кошмаре, излучая безжалостный свет. Он вбирал в себя ночь и весь город.

Наэма, казалось, уже слышала окрик: «Документы!»

Но только чудовищный глаз по-прежнему вонзал в них ослепительные, как молния, лучи.

Перевод с французского Е. ПРИГОЖИНОЙ

ФРАНКЛИН КЕВЕДО

(ЧИЛИ)

И у нас появится румянец

Лучший рассказ года? Трудно дать ответ на этот вопрос. Мир наводнен рассказами, и многие из них хороши.

Мне кажется, ныне у нас половодье рассказа — жанра очень трудного, ибо нелегко, скажем, вместить море в одну каплю, жизнь — в кулак, весь мир — в один орех, как это удавалось Чехову.

Я все же попытаюсь высказать свое мнение, коль скоро ко мне обратились с таким вопросом. За последнее время я прочел много превосходных рассказов, написанных зарубежными авторами. Но, разумеется, с бóльшим правом я могу судить о произведениях, принадлежащих моим землякам — чилийским писателям.

Так же как и вся Латинская Америка, Чили переживает пору расцвета рассказа, его весну.

Это особенно заметно, вы словно физически ощущаете это, когда знакомитесь с вышедшей еще в 1962 году антологией «Новый реалистический чилийский рассказ»; ее составили Йерко Моретик и Карлос Орельяна, вступительную статью к ней — «Реализм и чилийский рассказ» — написал Моретик.

Новеллисты, представленные в этой антологии, очень не похожи друг на друга, но все они действительно настоящие

писатели. Они показывают жизнь, народ, конкретных людей нашего времени, внешний их облик и внутренний мир.

Помещенные в антологии произведения, правда, не всегда достигают одинаковой глубины и не обладают равными художественными достоинствами, но все они несомненно отражают реалистические традиции нашей литературы.

Совсем недавно я прочел рассказ, который произвел на меня сильное впечатление. Кстати, этот рассказ, «И у нас появится румянец», в конце прошлого года был удостоен первой премии на конкурсе рассказов, организованном издающимся в городе Консепсьон еженедельником «Эль сур».

Автор этого рассказа, Франклин Кеведо, родился в 1919 году в провинциальном чилийском городке Линарес. Учился он в Вальпараисо. Литературный критик и новеллист, Кеведо вынужден зарабатывать на жизнь, занимаясь не имеющей к литературе никакого отношения работой.

В рассказе «И у нас появится румянец» — в ограниченном объемом и временем действия произведении — Франклину Кеведо удалось, на мой взгляд, показать ту жизнь, какой живут люди у нас, в Латинской Америке, где мечты простого человека разбиваются при столкновении с жестокой действительностью. Однако надежда не покидает героя. В рассказе Кеведо есть что-то чаплинское. Сколько в нем человеческой теплоты! Это волнующая песнь о наших «маленьких» и забытых людях. Рассказ очень выразителен и полон тонких наблюдений, написан с большим внутренним напряжением.

Нет сомнения, что читатели почувствуют скрытое, словно подземный родник, присутствие непреклонного духа героя, разделят с ним его надежду.

В. Тейтельбойм

Вскарабкавшись на осла, я вихрем проносился по улице Санта-Лусиа и возле самой двери нашего дома кричал:

— Папа, я перебил всех бандитов за холмом!..

Это было давным-давно, но как сейчас я помню и нашу мостовую, и дома с облупившейся штукатуркой, и мальчишек, которые лихо проезжали на самокатах или играли в «пятнашки» между лачугами и мастерской.

— Ни одного не оставил в живых!..

Ты выходил на порог и улыбался.

— Молодец, сынок, молодец.

И похлопывал меня по плечу. Ты никогда не обнимал меня. Помню, ты опасался, чтобы я опять не вздумал прокатиться на казенных мулах вместе с дружками из городской полиции — ты не любил их и называл не иначе, как дерьмо.

Где же сигареты?.. Спички почему-то выскальзывают из пальцев.

Ослик у меня был что надо, не уступал доброму коню, а бандиты — они все полегли, как дохлые собаки...

Ты сиял от счастья. Твой сын очень храбрый мальчик, он станет настоящим человеком. А я горделиво выпячивал грудь и старался вытянуться как можно выше перед тетушками.

— Да, он у меня умный, хороший, немного, правда, озорной. Ну, это ничего, подрастет, станет серьезнее. Вот увидите, увидите...

Узнав, что я остался на второй год в четвертом классе, тетушки заявили, что нечего зря со мной мучиться, пусть, мол, идет работать. А ты стоял на своем. Мальчик должен учиться, он выйдет в люди.

Я слышал этот разговор сквозь приоткрытую дверь. Быть может, этой двери уже и нет. Помню, она всегда еле держалась, заплата на заплате,— я еще помогал тебе прибивать на нее фанеру от ящиков из-под сахара.

— Мальчишка потерял год, потому что он влюблен,— изрекла старшая тетушка.

Ты расхохотался.

— Что же может быть утешительнее в его годы, чем любовь?

Тетушка удалилась, поджав губы.

В тот день, когда я наконец принес свидетельство об окончании средней школы — с опозданием на четыре года,—все дома сидели за столом, уткнувшись в тарелки.

Лишь ты взглядом спросил, как дела.

— Все в порядке, очень хорошо.

Ты встал и похлопал меня по плечу. Потом достал бутылку вина.

— Я же говорил, что из него выйдет толк. За твое здоровье, мальчик!

— Но мы еще не видели свидетельства,— не преминула вставить одна из тетушек.

Ты пытался бросить на нее испепеляющий взгляд, ранее зачастую приводивший в ужас все семейство. Шестьдесят лет нужды и невзгод, однако, сломили тебя, и от этого взгляда осталась лишь гримаса.

Тетушки все же смолкли.

Я помню все до мелочей. Глаза твои сразу стали добрыми.

— Сынок (ты всегда говорил «сынок», если хотел подчеркнуть важность разговора), я буду работать ради тебя, ты получишь образование, пусть даже нам никто не станет помогать.

За столом воцарилось напряженное молчание.

— Я возьму еще работу, обойду всю округу, зато у тебя будет все необходимое. И в один прекрасный день на нашей двери заблестит бронзовая табличка «Доктор...»

У тебя на щеках даже появились ямки.

Мне все же кажется, что в конце концов ты потерял веру в меня. Хотя никогда и не говорил мне этого. А быть может, я ошибаюсь, ведь я могу сделать очень многое. Правда, очень многое я откладываю на завтра, на послезавтра...

Бронзовая табличка так и не появилась на нашей двери. Шли месяцы, а я откладывал учебу, медлил принимать решение. Но теперь все будет иначе. Клянусь тебе, я буду другим. И ничего, что ты уже никогда не увидишь... И не важно, что у меня слезы на глазах. Тебе не нравились слезы на моих глазах. И все же ты останешься доволен тем, что я сделаю.

Я не стал адвокатом из-за того, говорят, что слишком много времени пропадал в кафе. Но я работал, работал в конторе. Никто не сможет упрекнуть меня, я был честным служащим. А ведь легко мог стать мошенником. Ты можешь гордиться, твое имя не запятнано. Что верно, то верно, сложнее стало с тех пор, как я женился. Нам пришлось жить и столоваться у хозяйки, и здесь у нас родился первый ребенок. Мы вынуждены были подлаживаться под настроение хозяйки и кухарки, чтобы достать горячей воды.

Потом я остался без работы, и ты помогал мне, не жалуясь, ничего не требуя взамен. Наш мальчик рос болезненным, у него развивался рахит, и это тебя тревожило, пожалуй, больше, чем меня. С женой мы постоянно ссорились. На новом месте мне не удалось удержаться и года.

Но ты ведь знаешь, это была не моя вина, как толковали. Я не опаздывал на службу и не болтал дни напролет с друзьями о поэзии и о книгах. Нет, поверь мне. Я очень старался, но при первом же сокращении всех новичков уволили.

Ты уже не сулил мне блестящего будущего — ты говорил, что в нашей жизни прежде всего надо выстоять, нельзя сдаваться. Я не сдавался. Да, у меня есть кое-что сообщить тебе. Книга, о которой я тебе говорил, почти готова. Теперь ты будешь счастлив. Мне всегда хотелось иметь много-много денег и подносить тебе подарки. Я ни разу не говорил тебе об этом и, что еще хуже, не мог сделать этого. А ведь как хорошо было бы купить тебе домишко с садом — ты смог бы оставить непосильную работу, и к обеду у тебя было бы мясо да стаканчик красного вина.

Ты навещал нас и всем казался спокойным, не отягощенным заботами человеком, довольным своей скромной жизнью. Но я частенько видел, как морозным ранним утром ты семенил на работу — это бывало всегда рано, рабочие еще не уходили на утреннюю смену; а голова у тебя все белела, белела. В такие минуты у меня крепло убеждение: во что бы то ни стало я должен выбиться в люди, обеспечить тебе покой и достаток.

Помню, несколько лет назад, я служил уже на новом месте, к рождеству нам выдали денежные премии. Я прикинул в уме, как разделю ее. Тебе я, пожалуй, подарю ботинки — в витрине я присмотрел такие удобные, будто специально предназначенные тому, кто вот уже полвека ходит по косогорам Вальпараисо, собирая деньги за воду.

На следующий день мы увиделись с тобой.

— Давай выпьем по кружке пива,— предложил я.

Ты хотел заплатить, но я не позволил. Это и был мой рождественский подарок. У нас дома не хватало чересчур многих вещей, нужно было еще столько купить жене и сыну. За вторую и третью кружку заплатил ты. Помнишь?

— Нет, нет! — остановил ты меня.— Дай я заплачу. Конечно, заработок у меня невелик, но зато и расходов меньше. Я не хожу ни в кино, ни в театр. Не люблю я этого. Сплошной обман, кругом подделка. Даже бедняки там, и те фальшивые. В семьдесят лет на женщин денег не тратишь, да и желудок немного требует.

В тот момент мне показалось, будто передо мной мертвец — ты говорил словно по инерции. Мне пришлось с усилием скрыть охватившее меня волнение. Не знаю, заметил ли ты это. Я постарался перевести разговор на другую тему. Обычно свои планы на будущее я не решался раскрывать. А вот тогда признался — раньше я не говорил с тобой об этом, мне этот план казался самым безрассудным из всех,— я мечтаю стать великим писателем, романистом с мировым именем; настанет день, и я в ореоле славы подъеду к дверям твоего дома — нет, не на осле, а в собственной машине. И ветер, и море, и холмы — все вокруг предстанет радужным и нежным. И ни тоска, ни унижения не могли заставить меня отказаться от этой затаенной мечты — напротив, ее лелеяли, подогревали, разжигали. Как-то жена заявила мне, что клянет тот день, когда она вышла замуж за человека, у которого нет денег даже на молоко ребенку, я ничего не ответил, но вера в будущее еще более окрепла. Да, сейчас я ничто, однако когда-нибудь буду великим писателем. Я все ей прощу, мы снова полюбим друг друга, ведь ей и впрямь пришлось много страдать из-за меня. Наш сын уже не будет желто-зеленым, личико его округлится и щечки порозовеют, как у нее в дни нашего знакомства. И у нас появится румянец — даже у того, кто никогда не бывал румян.

— Знаешь, папа,— сказал я тебе,— в будущем году я собираюсь опубликовать свою книгу. Больше половины у меня уже написано. Это будет роман.

По правде говоря, в ту пору у меня еще ничего не было — ничего, кроме мечты и каких-то туманных идей.

— В самом деле? Я так рад. О чем ты пишешь?

— Роман о жизни в Вальпарансо.

— Эх, сынок, если бы тебе это удалось, я умер бы счастливым. Ты знаешь, нынче я мало читаю, но раньше очень любил читать.

Это верно. От тебя я унаследовал страсть к книгам. Но как можно работать над книгой, если ты живешь на чужой квартире с сыном и женой, ожидающей второго ребенка, если из тебя тянут все соки.

В прошлом году ты очень деликатно спросил меня, как обстоят дела с романом.

— Не хватает времени, роман гребует большой работы. Быть может, месяца через три-четыре закончу.

— Дай бог, сынок. Я уже очень стар, а мне так хотелось бы увидеть роман напечатанным.

Да, папа... Я подарил тебе еще двух внуков, но романа ты так и не увидел. Я просто в полном отчаянии. Мне так хочется искупить свою вину. Если бы ты прожил еще годик-два, ты порадовался бы успеху твоего сына — твоему успеху. Но ты ушел, как безвестный обитатель окраин. Напрасно ждал радости победы.

Но это не важно, папа. Сейчас я тебе все объясню. Дай только закурю другую сигарету, я что-то плохо вижу. Но это так, пустяки. Искусственное освещение в конторе подпортило мне зрение. Я все выскажу на кладбище. Не знаю, должен ли сын выступать в таких случаях, но все равно. Я обо всем расскажу, и каким ты был, и расскажу, как изо дня в день у тебя крали радость,— и среди тех, кто обкрадывал тебя, был я.

Могильщики ждут. Я скажу попозже, в конце. Они ждут. Никто ничего не говорит. Я расскажу о нашей разбитой жизни, о горьком прозябании, расскажу, как целыми днями ты скитался по Вальпарансо, чтобы прокормить себя, чтобы поддержать меня.

Они уже засыпают тебя землей, папа...

Перевод с испанского О. ПЛИНК

ЭРВЕ БАЗЕН

(ФРАНЦИЯ)

ШАНКИ ДОЛОЙ

Нежный и жестокий Эрве Базен

Я очень люблю Эрве Базена. Мы живем по соседству на берегах Марны, притворы и чародейки Марны, где писатель обрел мир и тишину. Я частенько навещаю Эрве Базена. Обычно он является мне в облике прилежного садовника, влюбленного в цветы,— он выпалывает сорную траву, обирает гусениц и возится со своими плодовыми деревьями. Это худой сорокалетний человек с улыбчивым лицом; у него квадратный лоб, на который спадают пряди иссиня-черных густых волос, горбатый орлиный нос и могучая плотоядная челюсть, снабженная тяжелым подбородком,— ни дать ни взять челюсть людоеда.

Только этого людоеда, обитателя Шеля и Ганьй, околдовали своей буйной силой абрикосовые деревья, щедрые на дары вишни и тихони-яблони. Зачастую небылицы, которые создает молва вокруг писателей, развеиваются, как дым, стоит поближе познакомиться с их героями. За это я и люблю рассказ «Шапки долой», где тесно переплелись нежность и жестокость.

В произведениях Эрве Базена, которых уже немало и среди которых такие романы, как «Головой об стену», «Смерть коняшки», «Встань и иди», «Во имя сына», являющиеся фрагментами одного большого полотна, подчас навеянными личными мотивами (однако не в столь большой степени, как принято думать), но чаще всего рожденными художественным вымыслом, слились в одном сплаве солнечный свет и ночной мрак. Душа поэта и дар памфлетиста, вступив в союз, подарили нам этого удивительного мастера контрастов. Подчеркиваю: поэтический родник питает свежие, полнокровные творения этого писателя, и не зря в свое время жюри по присуждению «Премии Аполлинера» удостоило Базена этой почетной награды. Кое-кого из несведущих читателей удивила необыкновенная музыкальность произведения Базена «Кого я дерзаю любить», где мрачная драма разыгрывается среди сонной тишины и безмятежного покоя. Они не знают, что Эрве Базен написал также ряд стихотворений, одно из которых я привожу здесь:

В ворохе перьев черных
Наседка-ночь высиживает день.
Небо опустилось на землю, как птица на огромное яйцо,
А дом наш, раскинув крылья кровли черепичной,
Пригрел нашу любовь.
И когда, одежды сбросив,
Стоишь ты предо мной, нагая,
Мне чудится: из хрупкой скорлупы своих грудей ты вышла,
Как птица из яйца...

Арман Лану

Никола́ Лебарже отшвырнул уторник и выругался. Нет, право, не найдешь теперь прочных бочарных досок и не сделаешь порядочной работы. Вот вторую клепку запорол — раскололась надвое! Он посмотрел на свои руки — они нисколько не дрожали; посмотрел на бутылку с вином, поставленную на старый бочонок и накрытую опрокинутым стаканом,— она была едва почата. Вдруг он насторожился, прислушался. В тишину жаркого летнего дня, словно тяжелые редкие капли, падали мерные удары колокола.

— Эмму хоронят,— сказал Никола вслух.

Лицо у него потемнело. Три года назад умер отец. Пришли в мастерскую, а он лежит мертвый, уже закоченел весь, лицо синее, а рука все еще сжимает тесло, широко раскрытые глаза пристально смотрят на то, что было его жизнью. Кругом целые горы пахучих стружек, пирамиды обручей для бочек, штабеля досок, по стенам развешаны на гвоздях инструменты и соседствуют друг с другом всякие изделия, какие могут изготовляться в старой мастерской умелого бочара. Чего, чего тут не было: и деревянная кадочка-маслобойка и большущая дубовая кадка, всевозможные бочки и бочонки — бочки десятиведерные и сорокаведерные, бочонки для солки селедок, бочонки для патоки, бочонки из каштa-

нового дерева для яблочной водки, лоханй и корыта для стирки; а в темном пыльном углу хранились семейные святыни рода Лебарже, две источенные червем прадедовские бочки, до того обветшавшие и рассохшиеся, что дерево едва не крошилось под пальцами и свет проникал сквозь щели в их боках — «парижская бочка» на 432 пинты и длинный узкий «бордоский» бочонок, еще сохранивший все свои ивовые обручи. Никола стряхнул с себя задумчивость, пожал плечами. Э, да что там, кому это теперь нужно! Совсем захирело ремесло. Теперь у него заказывают только самые простецкие бочки для местного дешевого вина.

— Ну, надо собираться,— пробормотал он,— наверно, уже пора.

Раз в церкви зазвонили, значит, шествие тронулось: покойников предают земле в половине двенадцатого, чтобы живые могли без помехи позавтракать в полдень. Уже с четверти двенадцатого Никола тянуло в кабачок «Друзья мюскадэ». Он достал кисет из прорезиненной ткани и принялся ладить самокрутку, но слишком обильно послюнил бумагу, и она порвалась; свернул другую и, хоть самокрутка получилась нескладной и толстой, кое-как раскурил ее. Затем Никола ногой распахнул дверь и вышел во двор, служивший местом свалки для старых ржавых обручей, которые громоздились там, переплетались, образуя сложные геометрические фигуры.

— Мари, пойдешь? — крикнул он.

Мари всегда сопутствовала ему. Во-первых, осторожности ради: она вела счет выпитым стаканчикам. Но кроме того, и главное, ходила с мужем «за компанию»: бочар и его супруга — дружная пара, куда один, туда и другой. Все у них шло складно: вместе думали, вместе выпивали, иной раз ссорились, а чаще обнимались, случалось и средь бела дня; они любили друг друга без громких фраз, без слюнявых нежностей, с постоянством бесхитростных сердец, и перед их любовью за пятнадцать лет совместной жизни бледнела пламенная стр-р-расть любовников — героев слащавых кинофильмов, в которых нынче нам желают преподнести образцы самой пылкой любви.

— Мари!

Удивленный тем, что жена не ответила тотчас же, Никола, занимавший квартиру в нижнем этаже, по соседству с мастерской, заглянул в кухонное окошко. Жены там не было, он увидел только на низеньком буфете свой собственный подарок, который преподнес Мари в день ее рождения, когда ей исполнилось тридцать три года, — прехорошенький бочоночек, поставленный на прехорошенькую тележечку. К несчастью, жена держала в нем с тех пор желудочную настойку из черной смородины или из зеленых орехов — довольно противное целебное пойло для малыщей. Тогда бочар вышел в коридор, общий для шести жильцов этого дома, и крикнул в пространство:

— Мари, ты идешь?

— Да нет ее дома, твоей жены... Не слышишь, что ль, звонят? — раздался голос с верхней площадки лестницы. Голос принадлежал Жюли, повелительнице второго этажа.

— Выходит, Мари на похороны ушла? — спросил Никола, задрав голову.

— На похороны? Это Эмму-то хоронить? — возмущенно воскликнула Жюли.— Ты что, спятил? Да ни одна собака не пойдет. Посмотри на улицу — никого нет, ни души. Думаешь, людям охота креститься, когда ее повезут на кладбище? Уж не за то ли, что она закатила себе такие похороны и впервые в жизни появится с крестом на груди? А все-таки каждому охота увидеть своими глазами, что никто не пошел. У меня там наверху весь дом собрался. Спрятались за занавесками и смотрят, как из ложи. А Мари понесла куда-то твой серый костюм, видно, в чистку

собралась отдать. Когда вернется, пусть поднимается ко мне, если хочет... Что ты говоришь?

Никола пробурчал что-то невнятное, явственно прозвучало лишь одно слово «сволочь», неизвестно к кому обращенное.

Жюли не моргнув глазом истолковала его по-своему.

— Вот уж действительно,— подтвердила она, не подозревая, что показывает образец истинного смирения.

Никола прикрыл рот рукой, стараясь приглушить раскатистый хохот. Ему вторило осторожное хихиканье Мари, которая вошла бесшумно и все слышала.

— Живых ей теперь мало, она уж и на мертвых набрасывается,— тихо проговорил бочар.

— Ну пойдем же,— торопила Мари.

Никола вытащил из кармана берет и натянул его до самых ушей. Супруги, он — в спецовке, она — в закрытом переднике, повернули налево и двинулись по улице, по которой плыл похоронный звон, громко возвещавший о смерти толстухи Эммы.

Немного дальше, в нижнем городе, тот же мерный гнетущий звон плыл над пустынным тупиком Моро, залитым солнцем и застывшим в том оцепенении, каким охвачены бывают улочки провинциальных городишек в лунные ночи. Лишь у подъезда, обтянутого траурной тканью, лохматый пес обгладывал острыми зубами большую кость. Но он и ухом не повел, когда шестеро факельщиков, присланных из Нанта, в великолепных черных одеждах, как это положено при похоронах по первому разряду, вынесли из дома покойницы гроб красного дерева с позолоченными ручками и водрузили его на катафалк, украшенный шестью огромными венками. Лошади, которые стояли уже добрых четверть часа, нетерпеливо потряхивали султанами из страусовых перьев и вздрагивали под траурными попонами, перебирая ногами по мостовой, уже запачканной навозом.

Пес забеспокоился и убежал с костью в зубах лишь в ту минуту, когда вслед за распорядителем похорон, вслед за служкой, который нес крест, вслед за хором, где мальчики-певчие в коротких сутанах отличались друг от друга только цветом носков, вслед за причетниками в белых стихарях спустился, наконец, по лестнице, слегка запыхавшись, священник в сутане и не спеша надел на блестящую лысину четырехугольную шапочку с лиловой каймой.

В степенном облике священника чувствовалось некоторое смущение: ему было известно, кого хоронят. Он не ожидал большого наплыва провожающих, и его не удивляло даже отсутствие старух — любительниц скорбных обрядов, никогда не пропускающих ни заупокойной мессы, ни панихид в годовщину смерти,— эти старые шептуньи-богомолки скрашивают бедные похороны. Ни одна привратница чистилища не явилась, это было в порядке вещей да и, в сущности, справедливо. Но не пришел никто из соседей. И ни одной монашки. Вопреки обычаю, не явились ни сестра Жермена, которая ухаживала за больной перед смертью, ни сестра Матильда, которая обмывала и обряжала покойницу. Процессия построилась.

Распорядитель похорон поглядел вокруг, поворачивая голову, подпертую жестким воротником. Священник последовал его примеру. Нет, решительно никто не пришел. Никого не привлекли эти похороны, заказанные по первому разряду, обычно предназначавшемуся для особ, занимающих видное положение,— для мэров, для генеральных советников. Не помогла скандальная и дорогостоящая пышность, на которой настаивал нотариус, сам, однако, не пожаловавший на погребение,— провожающих не было. Не было и любопытных. Полное безлюдье на улицах свидетельствовало о презрении всего города.

Тяжкий вздох приподнял сутану на груди священника: бывают же у пастыря такие неблагодарные задачи, когда ему приходится считаться с фактами и с законными правами верующего, с порицанием всего окружного города, увы, вполне обоснованным, и с общественной пользой милосердия, не менее обоснованного, ибо оно связано с предсмертным причащением покойного, а также с высоким тарифом погребальной церемонии. Ну что ж, надо идти. Священник выставил вперед подбородок и двинулся в путь. Вслед за ним, напрягая жилистую шею, тронулся разбитой походкой распорядитель похорон, за ним по пятам — служка с крестом в руках, певчие и причетники; двое факельщиков взяли под уздцы лошадей, остальные, заменяя собой отсутствующих родственников и друзей, ухватились за толстые шнуры, свисавшие с крыши катафалка...

Процессия тронулась, певчие затянули:

— Miserere Mei Deus*.

В каком-то оцепенении прошли десять, прошли тридцать метров... Все тот же погребальный звон, все то же безлюдье, все тот же палящий зной. Из тупика свернули в столь же пустынный Монастырский проезд и в конце его увидели еще более пустынную Старобазарную улицу. Не желая снимать шляпы перед катафалком, покупатели, зеваки, лавочники разбегались во все стороны. Кое-кого из укрывшихся можно было заметить за уличной витриной, за полуоткрытой дверью лавки, за торопливо задернутой шторой. Чувство неловкости все возрастало, охватывало всех участников шествия, пышного и до нелепости куцего. Причетники, вяло откликавшиеся на возгласы священника, покашливали и насмешливо переглядывались. Мысль, приходившую многим из них, прекрасно выразили слова, раздавшиеся откуда-то из подвального окошка:

— А народу-то что кот наплакал!

Мальчишка певчий прыснул от смеха. Другой густо покраснел, когда проходили мимо лавки, которую держала его мать, третий сделал неопределенное движение. Священник вдруг охрип и, откашлявшись, чтобы прочистить горло, громко запел:

— Ne projicias me a facie tua**.

Но худшее было впереди. За Старобазарной улицей начинался Верхний город. Уже на углу площади Освобождения стало ясно, какой прием их ожидал. Постовой полицейский, с необычным усердием регулировавший мнимое уличное движение, не мог, разумеется, покинуть свой пост: по долгу службы ему следовало взять под козырек при появлении катафалка, но, поскольку тот же долг повелевал ему взять под свою опеку погребальное шествие, он повернулся к процессии спиной и раскинул руки, запрещая въезд на площадь экипажам и автомобилям, которых и в помине не было. Почти тотчас же на улице Генерала де Голля, называвшейся прежде Большой, то есть на главной артерии города, откуда, как и в ранее пройденных кварталах, словно ветром вымело почтенных обывателей, из окон посыпались проклятия и брань.

Женский голос завизжал:

— Этакой тварью кладбище поганить! У меня там мать похоронена! Святая была женщина!

Из другого окна пробасил мужской голос:

— А я думал, что таких в церкви не хоронят!

Затем поравнялись с «Голубым баром», раз двадцать вызывавшим негодование и жалобы заместителей мэра от партии МРП, и тогда за окном, где смутно виднелась теснившаяся там молодежь, зашевелились взлохмаченные головы, на уровне медного прута оконной занавесочки замигал длинный ряд глаз, и послышался протяжный вой: «У-у-у!» Почти

---

* Помилуй меня, господи *(лат.)*

** Не отринь меня от лица своего *(лат.)*.

в то же мгновение некая особа — несомненно, более зрелого возраста — нашла остроумный выход душившей ее злобе, она завела проигрыватель, и из широко открытого окна зазвучал романс:

Хочу я белых, белых роз...

Обливаясь потом под черной сутаной, на которой вышитый серебром пеликан вонзал клюв себе в грудь, священник, измученный, перепуганный, осипший, чувствовал, что теряет свое пастырское достоинство и даже подобающую кротость. Ему хотелось дать отпор издевательствам, возопить, как вопияли праведники над прахом тирана, оскорбляемого убийцами: «Уважайте смерть, граждане!» Но он был не из тех, кто способен бросить вызов толпе или нарушить порядок богослужения. Он думал лишь о том, как бы одолеть поскорее двести метров, которые еще оставалось пройти до церкви, а затем еще восемьсот после отпевания, провожая покойницу на кладбище. Возмущенный неприличной торопливостью, чувствуя, что ему наступает на пятки служка с крестом, на которого напирали певчие, распорядитель похорон все же смирился и зашагал, как солдат в строю.

Венки из красных роз, обвитые лентами без надписей, густо посыпали лепестками тряскую мостовую Крепостной улицы — и все уже знали, что Эмма сама себе преподнесла эти пышные венки, так же как сама, по своей наглости, заказала для себя княжеские похороны. Процессия чуть ли не бежала бегом. Необычная, непристойная быстрота пугала лошадей, приученных к торжественной медлительности похоронных шествий. Запыхавшись, факельщики цеплялись за шнуры катафалка, как за корабельные тросы, и не могли прийти в себя от изумления.

— Уму непостижимо! — шептал один из них на ухо соседу.— На свадьбах, бывает, устраивают кошачий концерт, но чтобы на похоронах! Чем им так насолила старуха?

— Гулящая, кажись, была,— ответил другой.

Он замолчал, с любопытством глядя вперед. Шествию пришлось остановиться: дорогу преградил фургон для перевозки мебели, шофер разворачивался, чтобы въехать в ворота. В первый раз перед катафалком сняли шапку — это сделал шофер. Слабое утешение! Двадцать пар глаз успели разглядеть цифру 75 на борту грузовика: то был чужой, заезжий человек.

Но шагов через тридцать возродилась надежда. Появилось два пешехода — рабочий и домашняя хозяйка. Раз пешеходы, значит, местные жители; может быть, они смиловались над Эммой. А может быть, они ничего не слышали, ничего не замечали — о том, казалось, свидетельствовал берет неопределенного цвета, глубоко надвинутый на голову мужчины и словно приросший к ней. Парочка шла вдоль стены женской школы, где около надписи «Вывешивать объявления запрещается» пестрели яркие обрывки различных плакатов, в частности, призыв «Все на выборы!», дополненный краткой и весьма выразительной надписью карандашом. Мужчина остановился и, достав из кармана зажигалку, принялся дергать большим пальцем колесико, терпеливо высекая искру крошечным осколком кремня, чтобы зажечь потухший окурок; женщина подошла и заслонила его от ветра. Ни он, ни она будто и не слышали погребальных песнопений:

— Requiem aeternam dona ei, Domine...*

Проходя мимо них, распорядитель похорон искоса поглядел на берет, по-прежнему сидевший на голове мужчины; его примеру последовали певчие, затем причетники, наконец и сам священник устремил на

* Вечное упокоение подай ей, господи *(лат.)*.

злосчастный берет косой взгляд, исполненный, однако, столь горячей мольбы, что свершилось чудо.

С удовольствием затянувшись сигаретой, незнакомец поднял лицо, овеянное легким зеленоватым облачком дыма.

Женщина, услыхав скрип колес, обернулась, и священник узнал своих прихожан. Он улыбнулся, уверенный в благочестии этой пары. Улыбка была грустная, но тотчас же пришло утешение.

Мари широко перекрестилась и быстро зашептала мужу:

— Берет, берет сними!

Никола выплюнул окурок, стащил с головы берет и, потирая от смущения руки, согнулся перед катафалком чуть ли не до земли.

■

Что было дальше, никто из участников шествия не видел, так как приличия не позволяли им обернуться и посмотреть; никто не мог знать также, какая борьба происходила в душе человека в засаленной спецовке, к которой пристали дубовые стружки. Что одержит верх в этом единоборстве: дух целомудрия или снисходительности? Никола поднял голову и пробормотал:

— А ведь это правда!..

— Да,— подтвердила Мари,— Жюли не соврала.

Удивление быстро сменилось негодованием, они вдруг почувствовали, что хотя их двое на этой улице, она пуста, совершенно безлюдна. Оба молча смотрели на кучку людей, шагавших за катафалком по мостовой; только эти наемные люди и шли за гробом.

«Истинно говорю вам, если не я, то камни возопиют»,— сказано в Евангелии от Луки. Они плохо знали изречения этого святого, но тут действительно вопияли камни. Никола машинально двинулся за процессией, держа берет в руке. Он говорил вполголоса:

— Она путалась со всеми в городе, это верно. Во время войны не гнушалась немцами, тоже верно. А потом и американцами не брезговала. Гуляшая баба да еще сварливая, со всеми из-за пустяков цапалась и вроде даже радовалась, что ее терпеть не могут. А уж скряга была просто редкостная, дрожала над своими погаными деньгами, на одной картошке сидела. А все-таки...

— Ведь она из воспитательного дома,— сказала Мария.

— Да,— протянул бочар,— в пятнадцать лет она забеременела от своего хозяина, и он, негодяй, ее на улицу вышвырнул, это всем известно. Разве уж она так виновата, что пошла по торной дорожке и зарабатывала деньги не днем, а по ночам? И к тому же за последние десять лет ничего худого про нее не скажешь — остепенилась. В чем же ее вина? Что растолстела, стала неряхой, одевалась кое-как, грубила людям? Подурнела, вот и стала во всем виновата. Когда была молода да хороша, ее тут многие тискали — знаю я кое-каких ее полюбовников. А теперь, похоже, они не могут ей простить того, что сами же когда-то на нее польстились.

— Она ведь еще и хвасталась, что ей прежде славно жилось,— сказала Мари.

— И такая бессовестная, нисколько не стыдилась своего прошлого ремесла. Мне, знаешь, иной раз неловко было ее слушать. Хоть бы не жалела о своем прежнем житье-бытье... А теперь, вот я думаю, что ее, может, простить надо. Много за ней всяких грехов водилось, но лгать она не умела.

Прибавив шагу, Никола и Мари быстро нагнали похоронное шествие.

— Да и чего там, она ведь умерла,— продолжал бочар довольно громко.

— Оно, может, и забавно, а все ж таки зло разбирает, что она оставила такие капиталы, что ее хоронят, как королеву, будут служить за ее денежки панихиду по ней,— словом, купила себе место в раю за деньги, заработанные грязными шашнями. А вообще-то это ее дело, а не наше.

— Глумиться над покойниками я не согласен, к черту. Когда приговоренному рубят голову, сам прокурор снимает шапку.

— Правильно,— согласилась Мари,— мертвый что новорожденный — вины на нем нет.

Они миновали лавку винодельческого кооператива и уже подходили к канаве, где текла розовая после мытья винных бочек вода.

Кто-то свистнул, желая привлечь их внимание, и супруги увидели, что проходят мимо погребка «Друзья мюскадэ». За окном Шарень, главный завсегдатай этого заведения, подавал им знаки. Напрасно им шептали: «Куда собрались в таком наряде?»

О своем наряде супруги и не подумали. Они переглянулись и все сказали друг другу без слов, добродушной улыбкой: в некотором отношении даже лучше, что они так одеты, по крайней мере все у них искренне, без всякого расчета; его спецовка, ее фартук придают если не торжественность, то силу их протесту.

— Только до паперти,— сказала Мари тихонько.— В таком виде в церковь неудобно войти. Но и этого достаточно, чтобы щелкнуть по носу кого следует. Застегни ворот.

Супруги сошли с тротуара, и Никола, взяв жену под руку, решительным шагом двинулся вслед за катафалком, высоко подняв голову, держа берет в руке.

— О! О! О! О! О-О! — понеслось из окна в окно.

Но вот все стихло, и вскоре супруги, бросившие вызов целому городу, вздохнули с облегчением. Оставалось совсем немного до конца улицы, где обосновались монашеские общины: слева — монастырь «Добрый пастырь», справа — «Серые монахини». Их сочувствие было мало вероятно, но можно было рассчитывать на сдержанность. Вскоре шествие свернуло на площадь Нотр-Дам, восхваляемую путеводителями Мишлена и столь лишенную жизни, столь застывшую в своей монументальности, что она казалась увеличенной копией своей собственной фотографии, украшающей почтовые открытки.

У паперти, с которой десятка два голубей взлетело к небесам, обители блаженных, в толстом слое пыли затих и стук колес, и далекие суетные шумы города. Двери распахнулись, и в глубине церкви, задрапированной траурной материей с серебряными «слезками», засверкал огнями бесчисленных свечей черный помост для гроба; рядом с ним, читая молитвенник, ждал старший викарий, одинокая фигура под огромными сводами церкви.

— Exultabunt Domino ossa humiliata, * — весьма кстати возгласил священник, поднимаясь по ступеням.

Он заметил бочара и его жену, которые не спеша направились в церковный садик. Священнослужитель заморгал глазами, может быть, удивленный упорством, а может быть, недовольный нерешительностью этих людей в рабочей одежде.

Потом он вошел в церковь, где уже звучало громкое пение, стоял запах воска, приятно веяло прохладой и переливались разноцветными искрами хрустальные люстры.

Никола рухнул на скамью под тенистым платаном.

— Ну вот, дело сделано,— сказала Мари.

---

* Вознесем господу смиренный этот прах *(лат.)*.

— Не много сделали, — возразил Никола.

— Куда же больше? — спросила Мари.

— Погоди, дай подумать.

Бочар погрузился в размышления и долго молчал, а кругом стояла тишина знойного полдня, играли солнечные зайчики и сквозь стрельчатые окна доносились порой тягучие аккорды фисгармонии. Думал он напряженно и так хмурился, что лоб его казался изрытым стамеской. Но вот его лицо просветлело и озарилось добродушной и в то же время хитрой улыбкой, которой Мари обычно побаивалась.

— Послушай, — сказал Никола, — бочка без дна — не бочка. Ничего не надо делать наполовину. Дать отпор человеческой низости — дело доброе, но вот было бы здорово, если бы они сами признались в своей подлости и сняли бы шапки с головы!

— Не представляю, как этого можно добиться,— сказала Мари.

— Слушай, Эмма оставила деньги, это уж наверняка: она немало накопила за двадцать пять лет, тем более что сердечных дружков у нее не водилось, а таких скряг, как она, еще поискать. Кубышка у нее, конечно, изрядная, недаром она себе такие похороны закатила, и, разумеется, она оставила завещание... Понимаешь? И если ее завещание...

Стукнула калитка в монастырской стене. Появилась сестра Жермена, держа в руках сумку с медицинскими инструментами, и быстро зашагала к больнице, находившейся близ церкви.

С осторожностью заговорщика Никола шепотом продолжал развивать свой план.

Некоторое время Мари в нерешительности покачивала ногой, потом перестала, и вдруг у нее затрепетали ноздри, и все лицо, чуть тронутое веснушками, озарилось веселой улыбкой, полной невинной радости и озорного лукавства.

Вскоре переговоры, несомненно, перешли в заговор, и теперь важна стала не только благородная его цель, но и суетное удовольствие, порожденное стремлением осуществить замысел.

Наконец Никола заговорил во весь голос и вскочил.

— Мешкать нечего, — сказал он. — Ты вот что, загляни к Жюли, слетай к Женевьеве — словом, побегай по соседкам. А я займусь питейными заведениями. Потом мы переоденемся и вернемся сюда. Провалиться мне на этом месте, если до конца отпевания человек двадцать пять не переменят своего мнения.

И супруги помчались галопом, он в одну сторону, она — в другую.

■

Как Никола и рассчитывал, его появление в пивнушке «Друзья мюскадэ» не прошло незамеченным, а ему только того и нужно было. Словно по команде, все умолкли и уставились на бочара. В сущности, всем давно уже пора было идти обедать, однако Никола увидел здесь Кейру, Бишара и прочую братию — известных любителей плотно поесть, а на своем месте в углу точили лясы старые заговорщики Аргуэн и Тулуб.

— Стаканчик белого, да поживее! — бросил бочар кабатчице, облокотившись о стойку.

Вот тут-то и началось. Наступление повел Шарень.

— Ну и ну, дружище, — сказал он с нескрываемым восхищением в голосе, — раненько же ты начал! Тебе ведь, кажись, не больше пятнадцати было, когда Эмма своим промыслом занималась?

От взрыва смеха всколыхнулись животы, дрогнули столы и плеснули в рюмках разноцветные наливки и настойки.

— Теперь все ясно, — послышался голос Аргуэна, — значит, это после тебя она ушла на покой?

Новый взрыв хохота. Смеялась даже сама хозяйка заведения.

— Хорошо еще, ты свиньей неблагодарной не оказался,— подхватил Тулуб, — как порядочный, провожаешь старых подружек, когда ноги протянут. Ну, и, конечно, прихватываешь с собой благоверную — как же, как же, мы ведь понимаем — она, поди, в накладе не осталась, выучку-то муженек у кого проходил!

В зале надсаживались от смеха. Хозяйка обеими руками придерживала живот, словно опасаясь за его целость. Никола одним духом проглотил вино и обернулся; лицо его покраснело больше, чем ему хотелось бы.

— Скальте зубы, шелапуты! — громко произнес он.— Только я бы на вашем месте прослезился: каждому на гроб уже припасено по деревцу в лесу. Курносая охальников любит, говаривал, бывало, мой старик. Ну, кто следующий? А мы посмеемся. Да помри самая распоследняя сволочь, и то я пойду за гробом. По мне, так саван всегда чистый, даже если простыни грязноватые. Ясно? Получите с меня, мадам Берта. Пойду домой переодеваться, как бы на панихиду не опоздать.

Тулуб присвистнул и в знак восхищения высоко поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. Аргуэн и Шарень насмешливо зааплодировали. Но кабатчица за обитой цинком стойкой вдруг перестала смеяться, словно поперхнувшись. Никола наклонился к ней: правдой их не пронять, что ж, пустим в ход верное оружие — ложь. Тут он был совершенно спокоен: язык у Берты длинный, и она, конечно, не станет держать его за зубами, когда представляется такая возможность удружить завсегдатаям кабачка и посвятить их в захватывающую дух тайну, которую выболтает ей разоткровенничавшийся бочар.

— Если бы эти болваны знали, они бы поскакали туда еще быстрее меня, — проговорил Никола сквозь зубы. — Эмма была потаскухой, что правда, то правда, но вообще-то неплохой бабой. По завещанию видать.

— По завещанию? — переспросила мадам Берта с плохо разыгранным равнодушием.

Никола опасливо оглянулся и внутренне возликовал, заметив, что собравшиеся жадно напрягают слух, притворяясь, будто им совершенно безразлично, о чем там говорят. Он наклонился еще ниже, чуть не касаясь носом уха мадам Берты:

— Так уж и быть, скажу вам как старому другу. Только чур, не вздумайте проболтаться вашим пьянчугам — такая удача не для этих паскудников. Так вот, у Эммы в большой жестянке из-под печенья нашли больше десяти миллионов золотом. И знаете, кому все это достанется?.. Ни за что не угадаете...

Он снова оглянулся. Все шло как по нотам: клиенты мадам Берты пили вино и хлопали картами с деланной непринужденностью, которая выдавала разбиравшее их любопытство и уверенность в том, что они выведают тайну у хозяйки, как только Никола уйдет. Бочар же делал вид, будто не решается, будто панически боится, что стены разгласят его секрет и роковые слова, пусть даже произнесенные едва слышным шепотом, достигнут чужих ушей. И тут, словно осененный гениальной догадкой, Никола схватил карандаш, блокнот для записи заказов и отличным почерком — чего нельзя было сказать о правописании — вывел две строчки. Он еще не кончил писать, как мадам Берта, читавшая вверх ногами, воскликнула:

— Не может быть!

— Не сойти мне с этого места! Мне сам старший письмоводитель сказал.

— Но это же безумие!

— Еще бы, — подтвердил Никола. — В общем, каждый выражает благодарность по-своему.

Мадам Берта была хорошей коммерсанткой. Она подмигнула бочару сначала одним, потом другим глазом с воспаленными, припухшими веками, подведенными карандашом, и зашептала:

— А наши плутишки по-своему ее добиваются? Ясно! А я-то думаю, с чего бы это Никола Лебарже и его супруга...

Никола приложил палец к губам. Кабатчица смотрела на него с уважением. Бочар чувствовал себя так, словно его с ног до головы вымазали какой-то липкой дрянью. К счастью, он вовсе не заслуживал столь сомнительного уважения.

— Ну, я пошел, извините, — сказал Никола, берясь за дверную ручку.

Очутившись на улице, он остановился и глубоко вздохнул: ну вот, с одним делом покончено. Бочар посмотрел на часы, представление заняло всего пять минут, можно сделать еще два-три захода. Будет, конечно, потруднее, чем у «Друзей мюскадэ», но на такую приманку, как оскорбленная добродетель, публика обязательно клюнет. Наведавшись за вторым стаканчиком белого в кафе «Луара», за третьим — в трактир «Странники», Никола испил до дна чашу временной непопулярности, но зато нашел там снисходительных слушателей, которым и выложил в задушевной беседе доводы в свое оправдание. Однако, когда на часах было без десяти, бочар, опасаясь, как бы его не разобрало от выпитого вина, поспешил на почту. Там он написал текст телеграммы, оставил бланк на столике так, чтобы каждый мог удовлетворить свое любопытство, заперся в телефонной кабине и позвонил двум отнюдь не вымышленным мясникам. Он заказал у них от имени предполагаемых клиентов, в данном случае Шареня и Кейру, две задние ножки от баранов высшего сорта. Понятно, при этом не обошлось без дополнительных объяснений:

— Извините, я вам в нескольких словах. Понимаете, я тут узнал от жены прелюбопытную вещь. Выходит вроде, что...

Вновь чувствуя себя проказливым мальчишкой-подмастерьем, бочар словно помолодел и даже забыл о времени, о котором ему напомнил тихий перезвон колоколов, означавший, что в церкви началось возношение даров. Он выскочил на улицу (где, кстати сказать, уже дважды замечал свою жену, которая перепархивала от одной кумушки к другой) и припустил рысью. По дороге он столкнулся с Тулубом и Бишаром, которые тоже куда-то спешили. Ему попались также две-три городские сплетницы: окруженные плотным кольцом женщин, они с необычайным воодушевлением передавали своим прилежным слушательницам содержание того, что Мари называла «радиогазетой Нижнего города». Узнав последние новости, почтенные дамы расходились в разные стороны, скупые с величайшей поспешностью уносили тайну в своей кошелке, а те, что пощедрее, делились ею со всеми встречными и поперечными, скитаясь от лавки к лавке. Одна такая особа налетела на Никола, чуть не сбив его с ног:

— Господин Лебарже! Вы знаете, что говорят! Вы знаете, что говорят!..

Никола терпеливо ее выслушал, не выразил ни тени сомнения и двинулся дальше. Минуту спустя бочар был уже в своей комнате и в чрезвычайно веселом расположении духа натягивал на себя траурный костюм, безуспешно стараясь сохранить серьезный вид в присутствии Мари. Жена поджидала его в шляпке и перчатках, то и дело повторяя прерывистым голосом:

— Представляешь себе, клюнуло! Да еще как клюнуло!.. Ну, будь же посерьезнее, Никола... Ведь на похороны идем.

Они бежали во всю прыть и вскоре увидели, что труды их не пропали даром: по направлению к верхней части города стремительно катилась черная людская лавина. Но лишь у церковных ворот, где они

остановились, задыхаясь, бочар с женой смогли в полной мере оценить успех задуманного ими предприятия: человек тридцать, тоже с трудом переводя дух, поджидали уже на площади, а за ними спешили другие, поправляя на ходу узел черного галстука, довершающего наспех надетое траурное облачение. Впрочем, такая поспешность была вполне понятной: заупокойную мессу и панихиду уже отслужили, усопшую отпели. Гроб снова взгромоздили на помост катафалка — причем раздался такой грохот, словно посыпались ящики, — и певчие, сходя по ступеням паперти, затянули неизменное:

— In paradisum deducant te angeli...*

— Весьма сомнительно, даже если за дело возьмутся ангелы! — пробурчал тщедушный господин, знакомый, по всей видимости, с церковной латынью.

Никола и Мари, которые как раз в эту минуту пробирались сквозь толпу, затрепетали от радости, узнав в сухопаром самого господина Ле Кариделя! Зачем он явился сюда? Проследить хозяйским оком за воздаянием погребальных почестей, которые ему предстояло оплачивать? Или для того, чтобы пресечь возмутительные слухи, победоносно распространившиеся до самых предместий? А может быть, нотариус покойной Эммы убоялся не прийти на похороны, видя, что горожане, в поведении которых произошла столь разительная перемена, зашевелились и сорвались вдруг с мест? Рядом с Ле Кариделем невозмутимо стоял Тулуб и подмигивал Никола, словно норовил сказать: «Думаешь, столяры глупее бочаров?» По правде говоря, труженик рубанка не только не оказался глупее, но даже обскакал мастера деревянной колотушки: вместе с женой «древогрыз» Тулуб притащил с собой еще и двух тулубят, рассудив, по-видимому, что его доля в наследстве возрастет соответственно числу присутствующих домочадцев.

— Прошу вас,— оторопело молвил распорядитель, очевидно окончательно переставший что-либо понимать.

Однако, когда начали разбирать шнуры катафалка, произошла небольшая заминка. Поскольку по местным обычаям женщины допускались к участию в погребальных церемониях вместе с мужчинами, Мари и Никола выступили вперед и весьма ловко оттерли господина Ле Кариделя. Увидев перед собой наших супругов, нотариус начал шепотом оправдываться:

— Вообще-то, знаете, я сюда заглянул, просто чтобы убедиться, что похороны проходят в полном соответствии с желанием заказчицы. Но раз уж все...

— Ну, разумеется, становитесь сюда, — сказал Никола, уступая ему место.

Нет, это просто невероятно: сам господин Ле Каридель со шнуром в руке! Какой могучий союзник появился у церковной братии! Подтолкнув жену, которая пошла в паре с мадам Тулуб, и устроив так, что в партнеры нотариусу подобрался какой-то старик из богадельни в синем балахоне, Никола скромно отступил и замешался в первые ряды похоронного шествия, где рядышком выступали — кто бы мог подумать! — жена колбасника Блуэза, девица из почтово-телеграфного отделения, Кейру со старухой матерью, Бишар с племянницей, один из служащих налогового управления, два приказчика из мясной лавки, посыльный из гостиницы «Бретань» и многие другие, к которым пристраивались по пути все новые и новые лица. Путь предстоял неблизкий, и певчие, не умолкавшие ни на минуту, раскрыли свои требники на псалме 119-м:

— Ad Dominum cum tribularer clamavi...**

---

* В рай да введут тебя ангелы *(лат.)*.

** К господу воззвал я в скорби моей *(лат.)*.

Вновь повернули на Крепостную улицу. Упорствующие смотрели из окон, храня угрюмое молчание; более покладистые выстроились живой изгородью вдоль мостовой и обнажили головы, подавленные зрелищем людского потока, увлекающего за собой все новые живые частицы.

— Cum his qui oderunt pacem eram pacificus...*

Во второй раз двинулись по улице Генерала де Голля, и все торговцы, являя образец благовоспитанности, стали в дверях своих лавок, радуясь возможности загладить вспышку дурного настроения и оказать особое уважение покойнице, которую почтили своим вниманием столь многие из верных их клиентов. На ходу перевернув страницу требника, певчие уткнулись носом в псалом 129-й:

— De profundis clamavi ad te Domine...**

Похоронное шествие снова потянулось по Старобазарной улице, сквозь густую толпу сбежавшегося простонародья. Теперь хор во всю глотку возносил хвалу всевышнему, коему дано исторгнуть из бездны порока смиреннейших своих рабынь:

— Et ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus ejus...***

Наконец, оставив слева Монастырский проезд — стезю, которая привела Эмму к бесчестью и позору,— процессия повернула на Кладбищенскую улицу, служившую началом Нантского шоссе. Здесь процветали Юбер и сыновья, соперники фирмы «Братья Бро» — они тоже занимались изготовлением мраморных надгробий и бумажных хризантем и тоже выбрали местечко поближе к своим клиентам-мертвецам, подобно тому, как бакалейщики устраиваются под боком у живущих.

Долетавший издали колокольный звон, церковное пение и тихий говор людей заглушало теперь шарканье бесчисленных ног, и пока хвост процессии еще тянулся далеко позади, у перекрестка под колесами похоронных дрог уже хрустел кладбищенский гравий. За решетчатыми воротами погоста голова шествия повернула в сторону, и священник, удивление которого все возрастало, обомлел, увидев нескончаемую вереницу людей: она была намного длиннее кортежа, который шел в свое время за гробом мэра — депутата парламента, тридцать лет прослужившего городу верой и правдой. Так ничего и не поняв, святой отец возблагодарил господа. Кладбище, эту тихую обитель, пастырь знал как свои пять пальцев. То была роща с дорожками и аллеями, устроенными среди гранитных плит,— место, где все, кто при жизни доставляет столько хлопот: капралы и гулящие девки, найденыши и баронессы, чиновники и дельцы, каноники и чернорабочие,— где все эти люди, вернее их бренные останки, расставшись с нетленной душой, встречаются, наконец, не ведая злобы и презрения, единственно для того, чтобы тихо и мирно превратиться в фосфорнокислый кальций. Сквозь лес крестов, словно вехи расставленных над громадной залежью покойников, над несметным скопищем прихожан, в десять, в двадцать, в тридцать раз превышавших числом ныне живущих, священник направился прямо к пятому квадрату третьего участка, туда, где возвышался холмик жирной сырой глины, заметный издали на иссохшей от зноя земле. Причетники уже занимали свои места на краю могилы, а толпа растекалась по аллеям кладбища. Никола очутился между своей женой и нотариусом, к которому уже присоединился старший письмоводитель и торопливым шепотом на ушко пересказывал последние новости. По всей видимости, это сообщение не доставило господину Ле Кариделю большого удовольствия: он даже привскочил на месте и метнул на бочара не поддающийся описанию взгляд, в котором слились ярость и восхищение. Но Никола ничего не видел: он с удовольствием наблюдал, как спори-

* Долго жила душа моя с ненавидящими мир... *(лат.)*

** Из глубины взываю к тебе, господи... *(лат.)*

*** И он избавит Израиля от всех беззаконий его... *(лат.)*

лась работа в руках факельщиков из Нанта, тонких знатоков своего дела. Не прошло и минуты, как они сняли венки, достали веревки и приготовили свое невеселое снаряжение — все это с удивительной сноровкой, без лишней суеты. Обвязав гроб скользящими петлями веревок, они опустили его в яму и доставили покойницу на суд божий тихо и плавно, ни разу не задев за стенки могилы, так как ничто не наполняет сердца родственников такой скорбью, как горстка земли, преждевременно осыпавшейся на полированную крышку красного дерева. Ввиду такого стечения народа факельщики соблюдали особые предосторожности. Никола подумал, что все сделано честь по чести и что старая Эмма сполна получила за свои деньги. Затем под солнцем блеснула чаша со святой водой, и как только с кропила упали первые капли, хор затянул:

— Ego sum resurrectio et vita.*

После освящения могилы пропели псалом Захарии и погребальные литании; затем певчие монотонной скороговоркой зачастили прощальные возглашения, пока не добрались до последнего, и вот наконец раздались слова молитвы «Requiescat in pace» **.

— Прошу вас,— снова сказал распорядитель похорон.

Священник протянул кропило нотариусу. Никола отступил и пальцем легонько подтолкнул Ле Кариделя в спину: он с величайшей охотой уступал ему первенство. Сам бочар подошел к могиле лишь десятым и, охваченный внезапным волнением, заглянул в яму. «Прости меня, бедная старушка,— подумал он,— я сделал все, что мог. Ты не знала супружеских объятий, пусть же навеки примет тебя в свои объятия сырая земля. Никому здесь нет дела до того, что ты уносишь с собой в могилу и что не даст тебе покоиться в мире,— они думают лишь о том, что ты оставляешь на земле и что не обременит их совесть. Скажи там, наверху, что не ты одна виновата и что очень скверно живется в этой юдоли...» Никола отошел в сторонку и взял жену под руку, он смотрел, как люди теснились вокруг могилы, меся ногами жирную глину,— только ее и перевернула по-настоящему смерть Эммы. Все было кончено. Теперь лучше уходить: священник, расстегнув и сбросив на руки мальчика из хора свою сутану, уже шел прочь от места погребения, тихо бормоча заключительные молитвы, а к яме приближался могильщик с лопатой на плече.

— Выйдем через южную калитку,— предложила Мари.

Но выбраться с кладбища оказалось не таким-то простым делом. Люди сбивались все теснее в ожидании манны небесной. Они бросали друг на друга враждебные взгляды, словно боясь, что у них вырвут кусок изо рта. Среди могил ползли шепотки: «Слишком уж быстро раззвонили». А вот послышался громкий голос Тулуба: «Куда же такая уймища народу!» Там и сям уже велись переговоры, заключались союзы. «Что же они будут делать? Чует мое сердце, останемся мы с носом...» «Нет уж, будьте покойны, я не позволю им записывать кого вздумается!» «Они» относилось, по-видимому, к нотариусу Ле Кариделю и письмоводителю, которые будто сквозь землю провалились. «Главное — самим взяться за проверку»,— раздавался голос Тулуба. Внезапно толпа схлынула с третьего участка. Воспользовавшись этим, Никола с женой поспешно направились к выходу по боковой дорожке.

— Сделаем крюк побольше и вернемся домой кружным путем, по набережным,— сказала Мари.

Но когда калитка, звякнув, отворилась перед ними, Никола почувствовал, что его ухватили за рукав. Это был нотариус, который тоже почел за благо бежать, прячась за громоздкими часовенками, воздвиг-

---

* Я есть воскресение и жизнь *(лат.)*.

** Покойся в мире *(лат.)*.

нутыми над семейными склепами именитых торговцев мюскадэ. За ним, как тень, следовал письмоводитель.

— Ну и люди! — воскликнул Ле Каридель.

Эти слова можно было истолковать двояко.

— Да, люди оказались благороднее, чем я думал,— с чувством произнес Никола.

— Вы хотите, наверно, сказать, что они посходили с ума! Я, как водится, узнал обо всем последним, а они вообразили, что я с самого начала был в курсе дела. Представьте себе, во всем городе только и разговоров о том, что мадемуазель Эмма оставила тридцать миллионов.

— Тридцать? — разом вскричали Мари и Никола.

— Кто говорит — тридцать, кто — пятьдесят, но все в один голос утверждают — вы слышите? — что она завещала свои миллионы тем, кто придет на ее похороны! С точки зрения закона, это совершенная дичь: завещание можно составлять лишь в пользу поименно перечисленных наследников. Но ведь люди не имеют ни малейшего понятия о правовых нормах, все будут кричать, что их обокрали. Теперь вам понятно, почему я поспешил убраться? В какое дурацкое положение меня поставили! Попадись мне в руки этот шутник...

— Он перед вами,— спокойно молвил Никола.— Мы с Мари не стерпели такого издевательства над покойницей и дали людям возможность искупить свою вину.

— Гм,— хмыкнул нотариус,— заставлять делать доброе дело из низменных расчетов...

— ...по нашему, лучше, чем позволить сделать пакость из благородных побуждений,— закончил Никола.

Господину Ле Кариделю было и досадно, и смех его разбирал; охваченный противоречивыми чувствами, он умолк. Благочиние нужно для милосердия как веревка для повешенного, ему, нотариусу, это было известно лучше других. Но нельзя же, оправдываясь этим, допускать, чтобы милосердие отдавало крамолой. Бочар с женой славные люди, да, видно, лукавый их попутал. На довольно крутом подъеме улицы Раймона Бегра нотариус остановился, тяжело дыша.

— Но самое забавное,— громко сказал он,— это то, что ваша подопечная действительно написала завещание. Оставила она всего два миллиона — они лежат у меня, и все эти деньги завещаны одной девице...

— Какой поучительный пример: порок поощряет добродетель! — воскликнула Мари.

— По правде говоря,— продолжал нотариус,— это всего-навсего беспутная девчонка, которую совратили полгода назад.

Никола обернулся и посмотрел на кладбище, видное теперь сверху. На гроб Эммы сыпалась земля, а по дорожкам у могил все так же взбудораженно кружила черная людская стая, по которой время от времени прокатывались волны, гонимые ветром слухов. Тулуб с блокнотом в руках неутомимо писал имена, имена, имена...

— Когда я учил в школе катехизис,— сказал Никола,— священник говорил, что настанет день и праведники будут сочтены в долине... Как бишь ее...

— ...в долине Иозафат,— подсказал нотариус.

— Видите? — продолжал бочар.— Праведники сами себе устроили перепись. Ну, а Эмма...

Никола снова взял руку жены и прижал локтем к себе, там, где под рукавом пиджака вздувались могучие мышцы.

— Послушал я вас и вижу, что был прав. Она заслужила такие похороны.

Перевод с французского В. ПИЧУГИНА

ЯН ВОЛКЕРС
(ГОЛЛАНДИЯ)

Черный сочельник

Молодой голландский писатель Ян Волкерс (родился в 1928 г.) вызвал всеобщий интерес, внезапно ворвавшись в литературу (если можно так выразиться) из мира скульптуры. Он стал писать новеллы и небольшие романы, которые получили широкий отклик, как положительный, так и отрицательный. Подлинный сын своего жестокого века и своего жестокого общества, Ян Волкерс написал несколько рассказов, которые потрясли читателя своей грубой, беспощадной правдой. В то же время молодой автор полон сочувствия к людям, и это часто проявляется у него самым неожиданным образом.

Именно поэтому — хотя в творчестве Яна Волкерса немало такого, что можно назвать сомнительным,— я и решился представить один из его рассказов, напечатанных в 1963 г., как образец современной прозы младшего поколения голландских писателей.

Тойн де Фрис

Никогда еще голод не был связан с такими звучными именами — Красный император, Персиковый цвет, Роза Копланд, Епископ *. Я почувствовал запах луковиц еще прежде, чем увидел их в передней, где они лежали в серых мешках с крупными синими надписями, оповещавшими о сорте. Я остановился на пороге и вдохнул этот запах, который не смог бы описать, но он вызвал в моей памяти картины праздника, который был давно, еще до войны. Я сидел тогда на солнце между корзинами с луковицами тюльпанов и сдирал с них твердую рыжеватую кожицу, лишь на миг задерживая их в руке,— прежде чем положить очередную луковицу в корзину, я бросал быстрый взгляд на ее блестящую коричневую поверхность, сквозь которую тут и там проглядывала сочная, желтовато-белая мякоть. За этим занятием я так загорел, что один из рабочих сказал мне:

— Когда ты помрешь, тебя похоронят на негритянском кладбище.

Как только двустворчатая дверь позади меня со стуком захлопнулась, тотчас открылась дверь кухни в противоположном конце коридора, и появился мой отец.

Настороженное выражение исчезло с его лица, он как-то неопределенно, мягко улыбнулся и, покачивая головой, сказал:

— А, блудный сын.

---

* В последнюю зиму второй мировой войны в оккупированной Голландии люди вынуждены были есть луковицы тюльпанов.

Но он по-отечески не обнял меня, как будто на руках у него, словно многопудовые гири, висели две тысячи лет христианства и не давали ему пальцем шевельнуть. Он продолжал стоять в привычном свете кухни, который вместе с запахами капусты и газовой горелки лился мимо него в коридор и падал на меня.

Потом отец взял один из мешков, открыл его и показал мне несколько луковиц.

— Итак, вот до чего дошли люди. Приходится есть растения, которые вовсе не предназначены для еды.

Он пожал плечами, бросил луковицы обратно в мешок и понес его на кухню.

— Это на сегодня,— сказал он.— Да, это тебе не страна изобилия.

Бледное подобие улыбки появилось на его морщинистом лице, и, заметив это, я чуть не обнял его за плечи, когда мы входили в столовую. Мать сидела за столом и вырезала из продуктовых карточек маленькие пронумерованные квадратные талончики, а затем прикрепляла их скрепкой к соответствующему листку в книжке заказов бакалейщику. Она подняла на меня глаза, и я увидел, что лицо у нее красное и распухшее, как будто она долго шла под проливным дождем.

— Вернулся,— сказала она и долго смотрела на меня, дольше обычного. Потом опустила голову и снова принялась вырезать талончики.

Я подошел к ней и поцеловал ее в щеку. Она еще ниже склонилась над карточками, и я видел, как она подавила желание положить ножницы и вытереть влажное пятно на щеке. Я похлопал ее по спине и сказал:

— Вот и мы, милая мамочка.

— Одного сына потеряли — другой вернулся,— сказал отец.

— Хорошо хоть, что рождество будешь с нами,— сказала мать.

Она сложила продуктовые карточки и спрятала их в конверт.

— Сейчас по этим карточкам ничего не получишь, кроме зеленого горошка,— сказала она.

— Это самый черный сочельник в моей жизни,— сказал отец.— Ни елки, ни свечей... Одни только луковицы тюльпанов, свекла и горох. Мы идем к катастрофе. Я пробовал достать какую-нибудь мелкую дичь, но ничего не вышло.

Он посмотрел на меня, и лицо его немного прояснилось.

— Теперь вся семья опять в сборе,— сказал он.

Вдруг мысль о смерти моего брата резанула его как ножом. Он долго с горечью смотрел в сад, барабаня пальцами по крышке стола. Потом со вздохом посмотрел на отвернувшуюся мать.

Я поплелся на кухню, бросил пальто на стул и вышел.

Крыльцо было скользким. Казалось, что кусты в саду увешаны салфетками и причудливыми вышивками из наследства моей бабушки. Туман начал подниматься, обнажились заиндевевшие яблони. На лужайке отчетливо вырисовывалась каждая травинка. От сада веяло такой первозданной чистотой, словно то был рисунок ребенка, и деревья, трава и кусты нарисованы на школьной доске хрупким кусочком мела.

Я подошел к деревянным козлам, где лежал большой ствол дерева. Мне показалось, что я узнал ольху — я взбирался на нее в детстве, чтобы залезть на крышу сарая. Я взглянул на сарай. Ольха исчезла, а сарай стал совсем другим; у него не было почти ничего общего с прежним сараем. Я взял пилу, оставленную в недопиленном стволе, и стал пилить дальше. На землю посыпались оранжевые опилки.

«Я распиливаю на куски свою память,— думал я.— С прошлым покончено. Пусть от него ничего не останется, никому оно не нужно».

Я взглянул через плечо на дом. Отец смотрел на меня из окна застекленной веранды. Губы его двигались. Он разговаривал с матерью. Я решил, что он говорит обо мне, но, может быть, я ошибался. Казалось, он улыбался мне, но это мог быть и обман зрения, вызванный туманом и немного рябившим оконным стеклом. Я помахал ему рукой. Он несколько раз кивнул мне. Потом отошел от окна.

Отпилив от ствола несколько поленьев, я взял большой топор и ударил по одному из них. Топор глубоко вонзился в дерево. Тогда я поднял его вместе с поленом над головой и изо всей силы ударил им о колоду. Куски дерева полетели во все стороны. Одна щепка впилась мне в ногу. Острая боль, как огонь, пронзила все мое тело, и мне стало жарко — такое же ощущение испытывал я в детстве, когда день рождения или какое-нибудь другое торжество кончалось для меня благополучно, без наказаний. В таких случаях, подходя вечером к родителям, чтобы поцеловать их на ночь, я, бывало, говорил:

— Какой это был чудесный день!

Выйдя из комнаты, я останавливался, прислушиваясь, и если кто-нибудь из семьи говорил: «Какой благодарный ребенок», я стремглав бросался наверх в свою комнату, и где-то в груди у меня вспыхивал огонь, с быстротой пожара охватывая всего меня. Прибежав к себе, я прыгал и дурачился до тех пор, пока не сваливался в изнеможении прямо на одеяло и, не раздеваясь, засыпал.

И я рассмеялся, вспомнив, каким был чудным и странным мальчишкой. Я оперся на топорище, поднял глаза. Туман исчез, и сквозь покрытые инеем ветки проглядывала голубизна неба — казалось, смотришь в калейдоскоп: только тряхни его, и оба рисунка совпадут.

В тот вечер, после ужина из луковиц и капусты, отец читал нам притчу о блудном сыне, не понимая, что тем самым лишь подчеркивает, почему он так сдержанно встретил меня днем.

— «И когда сын был еще далеко от него,— читал он,— отец почувствовал его приближение и, охваченный милосердием, подошел к нему, обнял и расцеловал».

Не кончив чтения, он захлопнул Библию. Посмотрел на меня, потом по очереди окинул взглядом моих братьев и сестер и заключил по памяти:

— «Ибо этот ваш брат был мертв и вновь возрожден. Он был потерян и найден вновь».

Я уже не мог чувствовать себя дома свободно — слишком долго я отсутствовал. Я бесцельно бродил по комнатам, то поднимался к себе в мансарду, откуда холод вскоре прогонял меня, то опять спускался вниз. В сарае я поджарил луковицу на маленькой керосинке. Осторожно отрезал кусочек от пропеченной до черноты луковицы, попробовал — вкус оказался отвратительный. Луковицы можно есть только в вареном виде. Я выкинул жареную луковицу в сад — а вдруг весной из нее вырастет черный тюльпан. Иногда я колол дрова, а то часами стоял в гостиной за потрепанными занавесками и глядел на улицу. Между камнями мостовой пробивалась желтоватая травка. Редкие прохожие тащили грубо сшитые мешки, в которых, судя по форме, была свекла. Все соседи были настолько изнурены, что я с трудом их узнавал. Словно отсутствовал целых десять лет, и за это время вся улица с ее обитателями постарела и выцвела. В отчаянии смотрел я вокруг, но деваться было некуда: я знал, что должен жить здесь. Передо мной, на противоположной стороне улицы,— заклеенные крестами витрины. А позади, если обернуться,— бледные, худые лица братьев и сестер. Теперь я был самым старшим и чувствовал, что на моих плечах лежит большая ответственность,— надо что-то пред-

принять. Но что? Я зажмурился и стал думать. Мне чудились всевозможные преступления, которые я мог бы совершить, чтобы достать еды для семьи. Вдруг в сознании моем всплыл противный крик индюка — я слышал его, когда шел домой мимо большого поместья. Я незаметно вынул из комода бинокль — одну из немногих вещей, еще не обмененных на еду,— и пошел наверх.

Поднимаясь по лестнице, я думал о том, что на свете нет более мрачных и недоброжелательных существ, чем индюки, и настроение-то у них всегда похоронное. Даже перьев и то у них нет, а как бы кусочки жженой бумаги, в которых они разгуливают, показывая всему свету отвратительное декольте, отдающее болезнью и несчастьем, нечто среднее между раком и геморроем.

Войдя в комнату, я открыл окно. От холода у меня захватило дыхание. Я поднес бинокль к глазам и поверх крыш домов попытался рассмотреть поместье, но увидел лишь сплошной серый занавес ивняка — даже отдельных деревьев не различишь. Закрыв окно, я обнаружил, что стекла бинокля запотели, и протер их изнанкой свитера, но не предпринял новых попыток разглядеть поместье. Я вынул из чулана старую подушку и, привязав к одному из ее углов длинную бечевку, другой конец перекинул через конек островерхой крыши. Затем я вздернул подушку в воздух и наступил на конец бечевки ногой, вынул из кармана перочинный нож и раскрыл его. Согнувшись, словно хищный зверь, я угрожающе занес нож. И отпустил ногой веревку. Прежде чем подушка успела упасть, я бросился на нее и всадил нож по самую рукоятку. Я повторял это снова и снова — из дыр в подушке полезли перья, так что это было очень похоже на настоящую охоту.

Тут я услышал в саду звук пилы и подошел к окну. Только теперь, глядя вниз, я заметил, как поседел отец. Он словно был покрыт инеем, как и кусты вокруг. Маленькой ручной пилой он пытался распилить толстенное дерево. Я сбежал вниз, взял из сарая двуручную пилу и подошел к нему. Он одобрительно взглянул на меня и взялся за ручку. Я пилил, закрыв глаза, и не заметил, как мы перепилили дерево, а когда чушка отвалилась, ткнулся носом вперед. Бешеная боль ударила мне в пах. Я уперся руками в поясницу и несколько раз согнулся и разогнулся. Отец смотрел на мое искаженное болью лицо со смешным выражением сочувствия и раздражения моей неуклюжестью. Потом он вдруг перевел взгляд ниже и с неописуемым изумлением спросил:

— Боже мой, что ты делал?

Я посмотрел на себя. Мой свитер и брюки были сплошь усеяны маленькими белыми пушистыми перышками.

— У тебя такой вид, точно ты сражался с ангелом,— сказал он.

■

В этот вечер я рано лег спать. Сделав петлю из бумажной веревки и положив ее на стол рядом с раскрытым ножом, я, не раздеваясь, прилег в ожидании комендантского часа. Другого случая у меня уже не будет, потому что послезавтра рождество. Я решил добыть индюка живьем и запереть в сарае, а отец на следующий день пусть отрубит ему голову и ощиплет. Я скажу, что индюка мне дал ночью один из друзей, потому что, если только отец узнает о том, как я его достал, он может отослать меня с ним обратно.

Когда в голову мне приходила мысль о том, что это будет противозаконный поступок, я представлял себе бледные лица своих братьев и сестер и твердил:

— Нужда не знает законов.

Но может ли нужда стереть из моей памяти плакат, который висел когда-то в нашей школе, у лестницы, и на котором между двумя стилизованными цаплями было написано: «БУДЬ ДОБР К ЖИВОТНЫМ. НЕ УБИВАЙ ПТИЦ»? Я тогда с легкой душой, гордо подняв голову, проходил мимо, потому что это была одна из немногих заповедей, которых я никогда не нарушал. Одноклассники даже презрительно называли меня «пичужкиным богом» за то, что я фанатично и настойчиво оберегал птичьи гнезда в окрестностях нашей школы. Ради этого я отправлялся в школу раньше всех и садился за парту последним. Однажды днем, проверяя птичьи гнезда, я наткнулся в лесу на умирающего кота. Я опустился подле него на колени и подложил ему руку под голову, хотя страдающее от боли животное все время пыталось укусить меня. Изо рта его текла какая-то слизь, но я не отходил от него и плакал, пока он не умер. Тогда я накрыл кота листьями, решив на следующий день вернуться и похоронить его. Я вытер руки о мох и пошел из леса. На опушке я увидел своего одноклассника, который сидел на мостике и внимательно смотрел в воду. Взглянув поверх его плеча, я увидел в воде маленьких, еще не оперившихся птенчиков черного дрозда из того гнезда, что было рядом с падубом. Я без колебаний прыгнул в канаву и схватил птичек, но в руках у меня были лишь безжизненные комочки мяса. Я положил их на мостик и посмотрел в упор на мальчишку. Он продолжал лежать, развалившись, и искоса поглядывал на меня с тревогой и восхищением, потому что я слепо бросился в воду, но в то же время и с насмешкой, потому что я стоял по колено в грязи. Тогда я схватил его за шею и так сильно ударил кулаком по голове, что, казалось, у него треснул череп. Я прижал его голову к земле и расцарапал все лицо. На лбу и щеках у него проступили белые полосы, быстро наполнявшиеся кровью. Шлепая по воде к берегу, я чувствовал, как все мое тело напряглось в ожидании драки. Мальчишка этот несколько раз оставался на второй год. Он был выше меня на целую голову. Но когда я шагнул к нему, он повернулся и бросился бежать. На другой день он не пришел в школу, не пришел он и через день. И вообще больше не пришел. Чéрез несколько недель учитель сказал нам, что он умер от менингита. Я знал, что я в этом виноват, что это я убил его. Я все время смотрел на его пустующее место за партой. В конце концов я не мог больше этого выдержать и сознался во всем учителю, рассказав о том, как были утоплены птички и как я со всей силы ударил его по голове. Но учитель рассмеялся, ободряюще похлопал меня по плечу и сказал, что удар по голове не может вызвать менингита, потому что это заразная болезнь. Но я все никак не мог успокоиться. Я был уверен, что, когда ударил его по голове, в нем что-то оборвалось.

Я встал с постели и подтянулся на балке. Потом сделал еще несколько упражнений, чтобы физически подготовить себя к предстоящей авантюре. Затем подошел к окну и прислушался. До меня донесся удаляющийся шум велосипедных колес, подпрыгивающих по булыжнику. Это удивило меня: как мог ехать велосипедист, когда на расстоянии вытянутой руки ничего не видно — туман был такой густой, что стекло в окне казалось матовым. Я выждал, пока звук не замер в отдалении и не воцарилась полная тишина. Тогда я переобулся в теннисные туфли и сунул в карман, лезвием вниз, раскрытый перочинный нож. Веревки я не взял. Одна мысль о том, что я мог бы воспользоваться ею, наполняла меня ужасом.

■

Туман был такой густой, что мне пришлось идти ощупью вдоль садовых оград, чтобы не сойти с тротуара или не наткнуться на фонарный столб. Еще издали я услышал звук шагов приближающегося немца.

Стук его кованых сапог глухо отдавался на улице, как будто солдат шел в стеклянном колпаке. Убедившись, что он прошел мимо, по другой стороне улицы, я двинулся дальше.

В лесу мне пришлось идти только по слуху. Когда у меня под ногами начинали трещать сучья и сухие листья, я понимал, что сбился с тропинки. Внезапно из темноты у самого моего лица появлялись ветки, поэтому идти приходилось очень медленно. Но по тропинке я шел совершенно беззвучно. Боялся я только одного: как бы не наткнуться на кого-нибудь. Это было бы очень страшно — ведь мы увидели бы друг друга, только когда столкнулись бы нос к носу. Один из нас мог бы помереть со страху.

Посреди мостика, ведущего на островок, где в загончиках содержалась дичь, стоял забор, по обе стороны которого выступали доски, опутанные колючей проволокой, уходившей под воду. Тщетно пытался я перелезть через них. Я задыхался, дрожа от возбуждения. Вдруг над самой моей головой, на заборе, я различил очертания двух птиц. Не знаю, сколько времени простоял я, застыв в неподвижности, прежде чем сделал этот прыжок вверх. Но как только я, забыв обо всем на свете, прыгнул, как только мои худые дрожащие руки потянулись к теплоте, к жизни, бившейся в этих птицах, все вокруг сразу огласилось неуклюжим хлопаньем крыльев. Затем послышался всплеск, отчаянное барахтанье и жалобный крик, перешедший в тихое бульканье,— как будто плывущую по воде бутылку захлестнуло волной, и она ушла под воду. Мне почудилось, будто ледяная вода канавы, в которую погружалось тело птицы, охватывает и меня, подступая к горлу. Я перегнулся через перила, и мне показалось, что я различаю на воде крупные круги, расходившиеся с легким шипением уже проигранной пластинки.

И тут я увидел вторую птицу, которая, должно быть парализованная ужасом, свалилась с высокого забора и лежала, прижимаясь к мосту. Я бросился на нее, схватил ее голову и крепко зажал клюв, чтобы она не закричала. Голова была маленькая, и я подумал, что это, наверно, индейка. Мне стало и радостно, и грустно. Радостно потому, что рука моя сжимала не уродливую, неправильной формы, серо-голубую голову индюка, усыпанную бородавками и сережками. А грустно потому, что индейка не столь уж безобразна, чтобы заслужить такой конец. Я поднял птицу и крепко прижал ее к себе. Всю дорогу домой птица согревала мне грудь, и это вызвало у меня чувство вины — ведь я повинен буду в том, что тепло скоро уйдет из ее тела.

Осторожно закрыв за собой дверь сарая, я присел возле верстака и отпустил индейку. Она перевернулась, стукнувшись головой о верстак. Я ощупал птицу — она неподвижно лежала на боку. Подойдя к стене, я зажег коптилку. Перед мной, словно сине-зеленое проклятье, лежал павлин с покрытым кровью клювом. Он был мертв. Я слишком сильно сдавил ему голову. Хвост его отпал — осталось только несколько длинных перьев с глазками на них. Я вырвал их и отложил в сторону. Венчик на голове сломался. Я попытался расправить его, но он по-прежнему походил на увядший букетик. Глаза птицы были широко раскрыты и из-за окружавших их желто-белых пятнышек казались совсем темными. Я вздрогнул при мысли о том, что птица, умирая, возможно, не смогла закрыть глаза из-за того, что веки были прижаты моими пальцами. Подцепив двумя ногтями веко, я закрыл павлину глаза, один за другим, и только после этого увидел птицу по-настоящему мертвой. Я подумал, что мне придется ощипать ее прямо сейчас, самому, ибо если оставить ее лежать так, потом никто не захочет ее есть. Поставив лампу на пол, я расстелил около птицы рогожный мешок и принялся ее ощипывать. Когда павлин был наполовину ощипан, я увидел на животе его мелких вшей, которые то-

ропливо ползли туда, где еще были перья. Ползли они и по моим ладоням. Я стряхнул их и засучил рукава.

Твари спешат покинуть остывающее тело небожителя, подумал я. Мои пальцы, сдирающие перья, для них — всадники Апокалипса.

Когда вся птица была ощипана, я положил ее на верстак и, отвернувшись, отрубил топором голову. Потом отрубил лапы и бросил их в лежавшие на полу перья — они утонули в них, как в хорошо взбитой мыльной пене. Сложив вместе края мешка, я поднял его и вынес на задворки, где и закопал перья. Затем вернулся в сарай, взял голову павлина и перья от хвоста и проскользнул в дом. Я постоял на кухне, прислушиваясь, но в доме царила мертвая тишина. Тогда я прошел в гостиную и вставил перья в вазу на камине, где уже было немало таких же перьев. Потом я поднялся по лесенке на чердак и зажег спичку. Разыскав маленький стеклянный колокольчик, я сдул с него пыль и положил под него павлинью голову. Даже при свете догорающей спички видно было, что голова кишит насекомыми. Их было столько, что они сплошной пеленой покрыли веки, и от их движения шевелились перья. Поставив стеклянный колокольчик на место, я спустился по лестнице и прошел к себе. Смертельно усталый, я свалился на кровать и уснул, не раздеваясь, прямо на одеяле.

У рождественского стола был праздничный вид. Золотисто-коричневая жареная индейка ничем не выдавала своего происхождения. Сестра даже обернула ее лапы красивыми бумажными салфеточками и обложила блюдо веточками падуба. Мать приготовила салат из протертой свеклы, остатков уксуса и яблока, которое ей дала подруга. Луковицы тюльпанов выглядели как подрумяненные орехи, и, глядя на подливку, вы бы не сказали, что птица зажарена на смеси вазелина и прогорклых говяжьих шкварок. Отец, сложив руки, приготовился прочесть молитву. Я не закрыл глаза, а смотрел на стол, на жаркое. Потом взгляд мой упал на камин. Между старыми выцветшими перьями резко выделялись своей вызывающей свежестью и сине-зеленым бархатным блеском темных глазков те, что я недавно добавил в вазу. Отец на мгновение запнулся, и я краем глаза посмотрел на него. Он проследил за моим взглядом, и в глазах его зажегся темный огонь. Глядя на меня, он прочел:

— И не введи нас в искушение, и избави нас от лукавого. Ибо приидет царствие твое, и воля, и слава. И ныне, и присно, и во веки веков.

Перевод с английского Г. ШВЕДОВА

СЮСАКУ ЭНДО

Море и яд

ПОВЕСТЬ

Перевод с японского
П. ПЕТРОВА

ПРОЛОГ

В августе, в самый разгар жары, я переехал в Нисимацубара, пригород Токио. Этот район земельная компания рекламировала для застройки коттеджами. Но пока домов здесь было мало, да и от Синдзюку* надо было добираться сюда электричкой битый час.

Около станции прямой лентой пролегает шоссе. Раскаленное солнце обжигает каменистую дорогу. По шоссе то и дело проносятся грузовики со щебнем. И откуда они мчатся?.. На одном сидит молодой грузчик с наброшенным на шею полотенцем и распевает модную песенку:

Матрос, улыбнись, вступая на трап.
Море сурово — оно не для баб.
Ты ведь матрос.
Не роняй в море слез...

Грузовики поднимают клубы желтой пыли, она оседает, и тогда по обе стороны дороги всплывает несколько строений. Справа аптека, мясная и табачная лавки, слева — бензоколонка и закусочная, где кормят лапшой из гречневой муки. Да, чуть не забыл! Есть тут еще и ателье. Оно одиноко торчит метрах в пятидесяти от бензоколонки. Непонятно только, почему на отшибе? От пыли, поднимаемой грузовиками, витрина ателье и выведенные на стекле масляной краской слова «Пошив элегантного платья» совсем посерели. В витрине выставлен поясной манекен телесного цвета. Это манекен европейца, какие нередко можно увидеть на выставках предметов санитарии и гигиены, вызывающих двусмысленные улыбки. Волосы на голове манекена красноватого цвета: вероятно, его хотели сделать блондином. С лица этой голубоглазой с прямым носом куклы не сходит загадочная улыбка.

Уже целый месяц тут стоит невыносимая жара без единого дождя. Земля на огороде между закусочной и бензоколонкой потрескалась, в кукурузе, поблекшей и вялой, отрывисто и сухо, словно задыхаясь, трещат кузнечики.

* Один из токийских вокзалов.

— Ну и жара!.. Помыться бы в бане! — сказала жена.

Но баня здесь тоже не близко. Она находится на противоположной стороне дороги, метрах в трехстах от станции.

— Баня баней, а как тут насчет врача? Мне ведь каждую неделю нужно делать поддувание.

Но уже на следующий день врача мы нашли. Жена сказала, что недалеко от бани видела вывеску с надписью: «Страховой врач Сугуро».

В прошлом году во время медицинского осмотра служащих фирмы у меня в верхушке легкого обнаружили маленькую, величиной с горошинку, каверну. К счастью, спаек не было, и дело обошлось без операции. Врач в Кэйдо, где я жил раньше, уже с полгода лечил меня пневмотораксом. Поэтому сразу же по приезде на новое место нужно было найти другого врача. Жена объяснила мне, как пройти, и я тотчас же отправился искать лечебницу Сугуро.

На окнах бани играли лучи заходящего солнца. Идя мимо, я услышал плеск воды и стук шаек: наверно, мылись окрестные крестьяне. Эти звуки почему-то навели меня на мысль о человеческом счастье. Лечебницу я нашел быстро: она находилась между баней и огородом, в котором краснели спелые помидоры. Домик, напоминающий небольшой казенный барак, не был даже огорожен, лишь выжженный солнцем бурый кустарник отделял его от огорода. Солнце еще не село, но ставни в доме почему-то все были наглухо закрыты. Во дворе валялся детский резиновый сапожок. У входа в дом стояла наспех сколоченная собачья конура, но собаки не было.

Я несколько раз нажал кнопку звонка, однако никто не отозвался. Я обошел вокруг дома — никого! Но вот одна ставня приоткрылась, в просвете показался мужчина в белом халате.

— Кто там?

— Больной.

— Что вам?

— Мне нужно сделать поддувание.

— Поддувание?

Врачу на вид было лет сорок. Он рассеянно смотрел на меня, поглаживая подбородок. Комната за приоткрытой ставней показалась мне очень темной, а скрытое в тени лицо врача каким-то серым, отекшим. Может, оттого, что я загораживал свет?

— Раньше к доктору обращались?

— Да. Мне делают поддувание уже полгода.

— Рентгеновский снимок есть?

— Я оставил его дома.

— Без снимка мне делать нечего.

С этими словами он закрыл ставню. Я постоял некоторое время, прислушиваясь, но из дома не доносилось никаких звуков.

— Странный врач,— сказал я жене, придя домой.— Очень странный!..

— По выбору, наверно, лечит.

— Возможно. И акцент какой-то чудной. Видно, недавно в Токио. Откуда-нибудь из провинции.

— Не все ли равно. Главное, тебе надо начать лечение и ехать на Кюсю. Ведь свадьба сестры на носу.

— Да, конечно.

Но и на следующий день и еще через день я к Сугуро не пошел, хотя дышать становилось все труднее. Что-то мне мешало идти к этому врачу.

Обычно при пневмотораксе в грудную клетку, в межреберье, вонзают толстую иглу, вроде сапожной, к которой присоединена резиновая трубка. По ней и накачивается воздух, сжимающий легкое. В этой процедуре мне был неприятен не сам укол, а то, что его делали в таком

месте, которое обычно всегда защищено. Каждый раз, когда я с поднятой рукой ждал укола, я чувствовал знобящий холодок в груди и мной овладевало беспокойство — ведь, подняв руку, как бы открываешь уже ничем больше не защищенное место. Даже у врача, к которому привык, делать эти уколы — удовольствие не из приятных, а у нового — просто страшно. Попадется неопытный — того и гляди, проколет легкое. Такие случаи бывали. И когда я вспоминал серое, отечное лицо Сугуро, его мрачную комнату; у меня пропадало всякое желание идти к нему опять.

Но откладывать лечение без конца было нельзя. Через полмесяца мне надо было ехать на Кюсю, в город Ф., на свадьбу свояченицы. Жена из-за беременности поехать не могла, а кроме нас с женой, у свояченицы не было близких родственников. Но прошло уже два дня, а я все никак не мог решиться пойти к Сугуро со снимком.

В субботу я впервые отправился в здешнюю баню. Вернулся я домой со службы часа в два, с головы до ног пропыленный — мимо меня промчался грузовик, подняв облако пыли.

Час был ранний, и в бане мылся лишь один человек. Он сидел в бассейне, ухватившись за край руками и уткнувшись в них подбородком. Некоторое время он молча смотрел на меня, затем подал голос:

— Самое время мыться.

— Что?

— Самое время, говорю, мыться. Позже окрестные ребятишки испоганят воду. Ведь они прямо в бассейне мочатся. Управы на них нет!

Стараясь не привлекать к себе внимания — уж очень я был худ,— я отошел в угол и стал намыливать свои тонкие руки и впалую грудь. И тут я узнал человека, сидевшего в бассейне. Это был хозяин бензоколонки. Обычно я видел его в белом комбинезоне со шлангом в руках и поэтому не узнал сразу.

Из женского отделения послышался детский плач.

Хозяин бензоколонки шумно вылез из бассейна. В стенном зеркале отразилось его лисье лицо.

— Эх! — выдохнул он и, плюхнувшись в шайку, начал тереть мочалкой свои длинные ноги.— Ты, видно, недавно сюда перебрался?

— Да, с неделю. Прошу любить и жаловать.

— А кем работаешь?

— Служу в торговой фирме по продаже гвоздей.

— Фирма-то в Токио? Трудновато, поди, ездить отсюда.

Я украдкой оглядел своего голого собеседника. Он был, как говорят, человеком атлетического телосложения. Тщедушные люди, вроде меня, рядом с такими молодцами обычно испытывают чувство какой-то ущемленности. На правом плече у него краснел большой шрам — видно, след от ожога. Кожа в этом месте стянулась мелкой рябью, напоминая щербины на шляпке гвоздя.

— Жена твоя, кажется, скоро родить должна?

— Да.

— Видел ее на днях, к станции шла. Наверно, тяжело ей сейчас!

— Есть тут поблизости хороший врач?

Сейчас я думал уже не о себе, надо было побеспокоиться о жене.

— Тут вот рядом лечебница Сугуро.

— А что, он — хороший врач, этот Сугуро?

— Говорят, неплохой! Правда, молчаливый и со странностями.

— Да, мне тоже показалось...

— С уплатой за лечение не торопит. А совсем не заплатишь, тоже ничего не скажет.

— Был я у него недавно. Дом будто заколочен.

— А-а, наверно, хозяйка с ребенком уехала в Токио. Говорят, она прежде у него медсестрой работала.

— Давно он тут поселился?

— Кто?

— Сугуро этот.

— Как будто недавно, но раньше меня.

Из-под ног моего соседа потекла грязная вода. То и дело задевая меня локтем, он энергично растирал свое тело правой рукой. Раскрасневшаяся, распаренная кожа заблестела. Завидно! Мне показалось, что даже след от ожога на его плече разгладился и посветлел.

— Это у вас ожог?

— Что? А-а, это! Миномет! Китаезы отметку оставили в Центральном Китае. Рана доблести.

— Больно, наверно, было?

— Больно — это не то слово! Будто раскаленную кочергу приложили. А ты в солдатах был?

— В самом конце войны. Очень недолго.

— Гм... Не слышал, значит, этих мин? Здорово шипят, сволочи! Шшш... шшш...

Я вспомнил полк в Тоттори. В полумраке комнаты, где принимали новобранцев, нас встретило несколько человек с такими же лисьими лицами, как и у этого. Когда они глумились над новобранцами, казалось, их узкие глазки улыбаются. Возможно, они все теперь сделались хозяевами бензоколонок.

— А все же в Китае здорово жилось! Баб бери, сколько душе угодно! Делай, что взбредет в голову! А кто заупрямится — тут же к дереву и коли, упражняйся в штыковых приемах.

— И на женщинах?

— А что?.. Хотя больше на мужчинах, конечно.

Намылив голову, он повернулся ко мне лицом и, словно впервые увидев мои тонкие руки и узкую грудь, поднял удивленно брови.

— Ну и худ же ты! Такими руками человека не проткнуть! В солдаты не годишься. А я вот...— начал было он, но тут же осекся.— Конечно, не я один. Всем, кто был там, пришлось приколоть пару-другую китаез... Вот и портной, сосед мой. Верно, уже знаешь его? Он тоже в Нанкине покуралесил, будь здоров! Ведь жандармом был, не кем-нибудь!

По радио откуда-то доносилась модная песенка. Пел Хибари Бику*.

В женском отделении опять заплакал ребенок. Я вытерся и сказал:

— Извините, мне пора.

В раздевалке спиной ко мне стоял какой-то человек и снимал рубашку. Часто мигая, он взглянул на меня и тут же отвернулся. Это был Сугуро. Я не понял, узнал он меня или нет. На его лицо упал солнечный луч, капельки пота на лбу заблестели.

Я пошел домой через огороды, где росли помидоры. Повсюду раздавался унылый треск кузнечиков. Он навевал тоску.

Проходя мимо ателье, я остановился. Вспомнил, что говорил о портном хозяин бензоколонки. Витрина, как всегда, была покрыта толстым слоем белой пыли, за стеклянной дверью виднелась согнувшаяся над швейной машинкой фигура человека. У него было скуластое лицо с глубоко посаженными глазами. И такие лица в армии встречаются довольно часто: на них я насмотрелся в полку в Тоттори.

— Что вам угодно?

— Да нет... Я так... Жарко очень...— растерялся я.— Просто беда! А вы работаете!

— Какая там работа! — И портной неожиданно улыбнулся приветливо и добродушно.— Глушь тут!

---

* Современный эстрадный певец.

На лице манекена в витрине застыла неживая загадочная улыбка, а его голубые глаза, уставившись в одну точку, как будто на что-то смотрели.

Домой я вернулся весь в поту, хотя и был только что в бане. Жена сидела на веранде, положив руки на вздувшийся живот, как бы обнимая его.

— Послушай, ты знаешь, что такое сфинкс?

— О чем это ты?

— Возле кукурузного поля есть ателье. Там в витрине стоит манекен. У него улыбка как у египетского сфинкса.

— Не болтай глупостей! Лучше сходил бы к врачу.

Жена настаивала на своем, и в сумерки, захватив рентгеновский снимок, я отправился к Сугуро. Ставни опять были плотно закрыты, во дворе валялся тот же резиновый сапожок. Собачья конура по-прежнему пустовала.

В отсутствие жены Сугуро, по-видимому, готовил сам. В кабинете, как и во всем доме, стоял странный, спертый, застоявшийся запах — не то от пациентов, не от от лекарств, уж не знаю. Светлая, выгоревшая на солнце занавеска была порвана.

Увидев маленькое пятнышко крови на халате Сугуро, я почувствовал себя нехорошо. Пока я устраивался на кушетке, Сугуро, часто мигая, рассматривал рентгеновский снимок, держа его на уровне глаз. Проникавшие сквозь занавеску лучи освещали его отечное лицо.

— Прежний врач вводил мне по четыреста кубиков.

Сугуро не ответил. Я напряженно следил, как он вынул из ящика стеклянную баночку с иглами, проверил у одной отверстие и, присоединив иглу к резиновой трубке, взял шприц. Его толстые волосатые пальцы шевелились, как гусеницы. Под ногтями чернела грязь.

— Поднимите руку,— глухо сказал он.

Его пальцы стали нащупывать углубление между ребрами — место, куда нужно вонзать иглу. От его прикосновений веяло каким-то металлическим холодом. Нет, скорее даже не холодом, а бессердечной точностью, будто перед ним был не больной, а неодушевленный предмет.

«Совсем другие пальцы, не такие, как у прежнего врача,— подумал я, и дрожь пробежала по моему телу.— У того они были теплые».

В бок мне вонзилась игла. Я явственно почувствовал, как она легко прошла сквозь плевру и остановилась. Великолепный укол!

— М-м...— натужился я.

Сугуро, не обращая на меня внимания, рассеянно смотрел на окно: обо мне он, кажется, и не думал, да и вообще похоже было, что он ни о чем не думал.

Хозяин бензоколонки отозвался о Сугуро, как о человеке молчаливом и странном. Действительно, он был странный.

— Неприветливый, именно неприветливый. Такие врачи встречаются,— сказала мне жена.

— Кто его знает! Во всяком случае, среди пригородных врачей вряд ли найдешь другого, кто бы так искусно смог ввести иглу. И почему он осел в этой дыре?

«Ввести иглу кажется пустяком, но в действительности дело это трудное,— не раз слышал я от своего прежнего врача, когда жил в Кэйдо.— Тут доверяться практиканту нельзя. Кто умеет сделать это как нужно, уже специалист по туберкулезу».

Этот врач, проработавший не один год в туберкулезном санатории, объяснил мне, что, если игла новая, боль бывает незначительной, но, чтобы быстро довести иглу до нужного места, надо уметь рассчитать силу. Случается, что прокалывают легкое, и тогда возникает спонтанный

пневмоторакс. Но даже если этого и не произойдет, все же пациенту можно причинить сильную боль.

Я знал это по собственному опыту. Ведь даже старому, имевшему большую практику врачу в Кэйдо не раз приходилось вынимать иглу и начинать все заново. И порой испытываешь такую боль, словно твою грудь рассекают пополам.

Такого казуса с Сугуро не случалось ни разу. Одним плавным движением он вводил иглу в плевральную полость, и я не испытывал никакой боли. Не успевал я охнуть, как все кончалось. Если прежний мой врач был прав, то этот человек с отечным и серым лицом, должно быть, давно уже занимался лечением туберкулеза. Не понимаю только, зачем такой специалист, да еще по своей воле, забрался сюда...

И все же его искусство не могло заглушить во мне беспокойства, и, скорее, даже не беспокойства, а какой-то неприязни. Я не мог этого объяснить ни жесткостью его движений, когда он нащупывал межреберное углубление, ни тем леденящим холодом, который чувствовался, когда его руки прикасались к телу. Все это, вместе взятое, заставляло меня содрогаться. Вначале я думал, что во всем виноваты его толстые и волосатые, как гусеницы, пальцы, но, кажется, и это было не так.

После моего приезда уже прошел почти месяц. Живот жены увеличивался на глазах. Вскоре мне предстояло отправиться на Кюсю, на свадьбу свояченицы.

— Может, девочка будет. Живот-то круглый,— радостно шептала жена, прижимая к щеке распашонку.— А знаешь, стучит как! Иногда очень сильно!

Большую часть своего времени хозяин бензоколонки прохаживается в своем белом комбинезоне перед насосом. Я здороваюсь с ним, когда иду на службу. Иногда останавливаюсь поболтать. А в бане встречаюсь время от времени и с хозяином ателье.

Порой мне уже кажется, что, стоит только выздороветь, и я буду вполне счастлив. И домик свой, хоть и маленький, есть, и ребенок будет. Может быть, это счастье и невелико, но оно меня вполне устраивает.

И только один Сугуро не давал мне покоя, будоража любопытство. Ставни его дома оставались закрытыми: наверно, жена еще не вернулась. Валявшийся во дворе детский резиновый сапожок куда-то пропал; возможно, его утащила собака.

Однажды мне удалось кое-что разузнать о Сугуро.

Я пришел к нему на прием в пятый раз. Ожидая своей очереди, я случайно обнаружил среди старых журналов небольшой альбом. Это был поименный список выпускников медицинского института в городе Ф. Фамилия Сугуро редкая, и она сразу бросилась мне в глаза. Меня удивило странное совпадение: Ф., где учился Сугуро, был как раз тем городом, куда я собирался ехать на свадьбу.

— Оказывается, у него акцент жителя Ф. на Кюсю.

— Какой акцент?

— Я же тебе говорил! Когда я в первый раз был у него, он так смешно выговаривал некоторые слова!

— Уж не сбежала ли от него жена, от этого Сугуро? — как-то сказал мне в бане хозяин бензоколонки.— Все может быть! Ведь говорят, что он с ней жил, еще когда она работала у него медсестрой.

— Н-да, человек он странный.

— Ну, его-то странности нам на руку. Вот в прошлом году у меня заболел ребенок, он его вылечил, а денег до сих пор не требует.

— А скажите, жена Сугуро, что, по вашим словам, сбежала от него, как выглядит?

— Как выглядит? Баба и баба! Такая же бледная, как и он. Она почти нигде не показывается, даже к станции не выходит!

Я регулярно бывал у Сугуро, но он со мной почти не разговаривал. Порванная занавеска все больше и больше выгорала на солнце, но ее не меняли. Пациенты, в большинстве своем крестьяне, терпеливо ожидали в прихожей своей очереди, листая газеты и журналы. У Сугуро медсестры не было, и лекарства приготавливал он сам.

Как-то вечером, когда жара особенно давала о себе знать, прогуливаясь вдоль шоссе, я увидел Сугуро. Он стоял у дороги с тросточкой в руке и пристально смотрел на витрину ателье. Заметив меня, он отвернулся и зашагал прочь. Когда я поздоровался с ним, он молча кивнул мне в ответ.

Витрина, как всегда, была покрыта белой дорожной пылью. Портного не было видно, и лишь красноволосый манекен со своей обычной улыбкой смотрел сквозь стекло. Оказывается, Сугуро разглядывал «сфинкса».

В конце сентября я сел в унылый поезд и отправился на Кюсю, на свадьбу свояченицы.

Перед отъездом Сугуро сделал мне поддувание. Я не спросил его, можно ли мне ехать,— все равно не получил бы ясного ответа

Свояченица выходила замуж по любви за клерка, с которым познакомилась в Токио, но родители жениха жили в городе Ф., поэтому свадьбу решили отпраздновать там. Свояченица, видимо, чувствовала себя неловко: из ее немногочисленной родни присутствовал только я.

Сразу же по приезде мне захотелось скорее вернуться домой. Я много слышал об этом речном крае и был очень удивлен, увидев совершенно черную, пахнущую болотом реку Накагаву, протекавшую в центре города. По ее темной мутной воде плыли то дохлые щенки, то рваные резиновые сапожки. Я сразу вспомнил затхлый запах в приемной Сугуро. Жители города говорили с таким же акцентом, как и он, и я почему-то подумал, что Сугуро тоже смотрел на эту реку и ходил когда-то по этим улицам. И мне опять стало как-то не по себе.

Свадебный ужин устроили в небольшом ресторанчике недалеко от центра. Жених свояченицы — коренастый мужчина — производил впечатление типичного клерка. Один из бесчисленных служащих, похожих на тех, которые, как и я, по утрам дожидаются электрички на станции Синдзюку. И я мысленно пожелал, чтобы у свояченицы родился ребенок, чтобы они с мужем купили дешевый участок где-нибудь в пригороде Токио, построили свой домик и наслаждались бы, подобно мне, маленьким, обыкновенным счастьем. Глядя на них, я, между прочим не в первый раз, подумал, что самое большое счастье для человека — быть обыкновенным, жить тихо, размеренно, без треволнений.

За столом моим соседом оказался двоюродный брат жениха. Он тоже был коренастый, но полный. На его визитной карточке я прочел: «Врач».

— Вы, наверно, окончили здешний медицинский институт? — спросил я так просто, от нечего делать и вспомнил альбом, который видел у Сугуро.— Кстати, вы встречали такого врача — Сугуро?

— Сугуро? — переспросил он, повернув ко мне покрасневшее от выпитого сакэ* лицо.— Дзиро Сугуро?

— Да.

— Вы его знаете?

— Да, он делает мне поддувание.

— Гм...— Мой собеседник пристально посмотрел на меня.— Так, значит, он теперь в Токио? М-да...

---

* Японская рисовая водка.

— А что, вы вместе учились?

— Нет. Он... Разве вы не знаете, Сугуро был замешан в этом деле...

И, понизив голос, он стал рассказывать.

Попрощавшись с гостями, молодые отправились на вокзал. Мы проводили их до станции. Начался дождь. Всем сразу стало как-то скучно. Родственники жениха предложили выпить, но я, сославшись на усталость, отказался и побрел к себе в гостиницу. Она почти пустовала. Когда горничная, постелив постель, вышла, я еще долго сидел на циновке, выкурив подряд чуть ли не полпачки сигарет, хотя давно уже бросил курить.

Наконец, раздевшись, я лег на постель, но уснуть не мог. Я думал о Сугуро, историю которого узнал сегодня. По крыше стучал дождь, где-то в конце коридора тихо смеялись горничные.

Едва задремав, я тут же просыпался. В темноте передо мной появлялось землистое, одутловатое лицо Сугуро, шевелились его волосатые, похожие на гусениц пальцы. Моя правая рука невольно вздрагивала, словно эти пальцы прикасались к ней.

Дождь, видно, зарядил надолго. После обеда я надел плащ и пошел в редакцию местной газеты.

— Я хотел бы просмотреть старые газеты. Может, вы разрешите?

Девушка, сидевшая за окошком с надписью «Администратор», посмотрела на меня подозрительно, но все же позвонила в архив.

— Газеты каких лет вас интересуют?

— Первого послевоенного года. Помните, это дело с военнопленными в институтской клинике? — ответил я.— Хотелось бы просмотреть тогдашние газеты.

— У вас есть какая-нибудь бумага?

— Нет.

Все же мне разрешили пройти в архив и познакомиться с интересовавшими меня газетами.

Вот оно передо мной, это дело. Врачи городской клиники обвинялись в умерщвлении восьми пленных американских летчиков, которых они использовали в качестве подопытных животных. Опыты должны были показать, потеря какого количества крови является для человека смертельной, в каких дозах можно вливать физиологический раствор, заменяющий кровь, и сколько времени человек может прожить после частичного удаления легких. В этих опытах принимали участие двенадцать работников институтской клиники — врачи, лаборанты, сестры. Суд начался в городе Ф., а окончился в Иокогаме. В конце списка обвиняемых значилась фамилия Сугуро. Газеты не сообщали, какую роль он играл в этих опытах. Главным обвиняемым был профессор, заведовавший хирургическим отделением. Он покончил с собой вскоре после процесса, восемь человек были приговорены к многолетнему заключению, трое получили по два года каторжных работ. Сугуро был в числе последних троих.

Из окна архива я видел низкие рыхлые тучи, нависшие над городом. По временам, отрываясь от чтения, я смотрел на это мрачное осеннее небо.

Но вот и все. Выйдя на улицу, я решил побродить по городу. Косой мелкий дождь хлестал меня по лицу. Так же шумно, как в Токио, громыхали трамваи, проносились автомашины. По мокрому тротуару шли девушки в разноцветных дождевиках: красных, зеленых... Из кафе доносилась надрывная, щекочущая нервы музыка. Со стены кинотеатра улыбалась во весь рот Тиэми Эри*.

---

* Известная японская киноактриса.

— Господин, купите лотерейный билет! — крикнула мне из подъезда какая-то женщина в переднике.

Я чувствовал себя вконец опустошенным. Зайдя в кафе, я выпил чашку кофе и съел пирожное. В распахнутую дверь входили родители с детьми, парни со своими подругами. У одних были острые, лисьи лица, как у хозяина бензоколонки, у других — широкоскулые, крестьянские, с квадратными подбородками, как у портного. Сейчас, наверно, хозяин бензоколонки, в белом комбинезоне, накачивает бензин в грузовик, а портной нажимает на педаль своей швейной машины за пыльной витриной. Эти двое, если поразмыслить, тоже имели известный опыт уничтожения людей. Только в одном Нисимацубара, куда я не так давно переселился, я знал уже двух, кто преспокойно убивал людей. Теперь к ним прибавился Сугуро.

Я растерялся. Как же до сих пор я не задумывался над этим? И вон тот человек, что вошел сейчас в кафе с ребенком, верно, убил одного-двух, а может, и больше... Но разве его лицо — как спокойно он пьет кофе и, кажется, выговаривает за шалость сынишке! — лицо убийцы? Да, лица людей покрывает непроницаемый слой, словно витрины — пыль.

Я вышел из кафе и сел в трамвай. Институтская клиника находилась на конечной остановке. Дождь все лил на поредевшие кроны деревьев.

Я сразу нашел хирургический корпус, где анатомировали живых людей. Сделав вид, что иду навестить больного, я поднялся на третий этаж. По коридорам из общих палат несся резкий запах дезинфекции, смешанный с затхлостью. Пахло точно так же, как в приемной Сугуро.

В операционной было пусто. У окна стояли два кожаных дивана. Я присел. Что, собственно, привело меня сюда? Несколько лет назад над одним из столов здесь склонялось землистое, отечное лицо Сугуро... У меня вдруг появилось острое желание увидеть его.

Внезапно разболелась голова, и я поднялся на плоскую крышу. Внизу, как огромный серый зверь, притаился город. А за ним начиналось море. Очень далекое, пронзительно синее...

Когда я вернулся в Токио, здесь уже чувствовалась глубокая осень. Жене, разумеется, я ничего не рассказал, но сразу же по приезде отправился к Сугуро.

Когда он вставил иглу в резиновую трубку, я безучастно бросил:

— Я только что из города Ф.

На мгновение глаза Сугуро загорелись и впились в мое лицо, но тут же погасли. Пальцы его начали привычно ощупывать мои ребра. На его белом халате алело маленькое пятнышко крови.

— Сделайте, пожалуйста, замораживание.

Обычно таким больным, как я, анестезию не делают. У меня вырвалось это потому, что я испугался прикосновения холодных пальцев Сугуро и пятнышка крови на его халате. Только потом я сообразил, что о том же самом, верно, молили его пленные перед «операцией».

В кабинете, казалось, с каждой минутой становилось все темнее, то ли оттого, что занавески были задернуты, то ли потому, что зашло солнце. В баллоне гудел воздух, нагнетаемый в мои легкие. На лбу у меня выступил пот.

Когда игла была вынута, я с облегчением подумал: «Кажется, пронесло!» Сугуро, стоя ко мне спиной, записывал что-то в карточку. Но вот он обернулся и, часто замигав глазами, пробормотал каким-то не своим, надтреснутым голосом:

— Ничего нельзя было поделать. Вот что... И на будущее не зарекаюсь. Окажись снова такая ситуация, может, опять так же поступлю... Так же...

Я вышел из лечебницы и медленно побрел по шоссе. Прямое и длин-

ное, оно казалось бесконечным. Навстречу мне, подымая клубы пыли, мчался грузовик. Я прислонился к витрине ателье, выжидая, пока он пронесется. Манекен, уставившись голубыми глазами в одну точку, окаменело улыбался.

Интересно, буду ли я еще ходить к Сугуро?

I

— На который час перенесли обход?

— На половину четвертого.

— Что, опять совещание?

— Угу.

— Ну и смешон же этот мир! Почему все рвутся в деканы?

За разбитым оконным стеклом шумел февральский ветер. Бумажная наклейка, предохранявшая стекло от взрывной волны, слегка отстала и шуршала. Третья лаборатория помещалась в северном крыле больницы. Здесь даже днем было холодно и сумрачно.

Расстелив на столе газету, Тода скальпелем скреб на ней кусок сухой глюкозы, измельчая в порошок. Время от времени он собирал крупинки белого порошка на палец и с удовольствием слизывал их. В палатах стояла тишина. Был «мертвый час».

Размазав на стеклянной пластинке платиновой иглой комок желтой мокроты, Сугуро подсушил ее над голубым пламенем газа. Противный запах ударил в нос.

— Вот, черт, опять не хватает раствора Габетта *...

— Чего?

— Раствора Габетта.

Сугуро всегда говорил с Тода на кансайском наречии. Эта привычка родилась еще в студенческие годы и сблизила их.

— Чья мокрота-то?

— Бабушки,— ответил Сугуро и покраснел.

Тода иронически усмехнулся белыми от глюкозы губами.

— Опять ты за свое.— Он укоризненно покачал головой.— Неужели не лень возиться с этой безнадежной старухой?

— Да я не вожусь, просто...

— Она же обречена. Только зря тратишь раствор.

Но Сугуро, часто мигая толстыми веками, начал окрашивать мокроту. Зажатая двумя стеклянными пластинками, она стала коричневой, как край яичницы. Сугуро вдруг представил себе такие же коричневые, тонкие, как палочки, морщинистые руки старушки. Тода прав: она не протянет и года. Заходя каждое утро в вонючую от спертого воздуха общую палату, он видел, как у старухи, укутанной в грязное одеяло, глаза тускнеют все больше и больше.

Когда родной город старухи, Модзи, сгорел от бомбежки, она решила приехать в Ф. к сестре, но та вместе с семьей пропала где-то без вести. Полиция определила старуху в клинику, как больную, которая нуждается в постоянном уходе. С тех пор она и лежит в общей палате третьего корпуса. От ее легких остались одни ошметки, так что помочь ей ничем нельзя. Шеф — профессор Хасимото — давно уже махнул на старуху рукой.

— А вдруг возьмет, да и поправится...

— Еще чего! — фыркнул Тода.— Брось ты эти нелепые сентименты. Все палаты забиты такими же безнадежными, а ты, неизвестно почему, носишься с одной этой старухой!

---

* Окрашивающий раствор.

— Да не ношусь я совсем...

— Может, она напоминает тебе мамашу?

— Не говори глупостей...

— Ну и хлюпик ты! Прямо барышня из старинного романа.

Сугуро густо покраснел, словно кто-то подглядел его тайну, и бросил стеклянные пластинки в дальний угол полки.

Он не знал, как объяснить Тода свое отношение к старухе. Ему было стыдно сказать: «Эту больную я считаю своим первым пациентом. Мне нестерпимо больно видеть каждое утро в общей палате ее седую голову, я не могу смотреть на ее руки, тонкие, как куриные лапки...» Признайся он в этом, Тода засмеет его. Скажет, что с такими взглядами медику в современном мире не прожить.

— Такое уж сейчас время, все мрут,— сказал Тода, убирая глюкозу в ящик стола.— Одни мрут в больнице, другие мрут под бомбами. Сердобольность к старухе делу не поможет. Лучше разрабатывать новые методы, полностью излечивающие легочный туберкулез.

Тода снял со стены халат, просунул руки в рукава и с назидательной улыбкой старшего вышел из лаборатории.

Три часа. Послышалась торопливая беготня медсестер по коридорам. Больные потянулись на кухню с чайниками. К хирургическому корпусу подкатил бежевый автомобиль. В него уселся маленький толстый человек в униформе и военврач. Дверца с шумом захлопнулась, и машина плавно покатила по отливающему свинцом асфальту. Казалось, эти два импозантных человека принадлежат к совершенно иному миру, бесконечно далекому от сумрачных лабораторий и вонючих палат, забитых больными.

В машине сидели профессор Кэндо и его ассистент Кобори. Видимо, совещание закончилось. Сугуро совсем приуныл. Дай бог, чтобы оно на этот раз прошло удачно, не то шеф опять будет ходить мрачнее тучи!

В институте месяц назад скончался от инсульта декан лечебного факультета Осуги. Случилось это во время совещания, на котором присутствовали командующий Западным военным округом, военврачи и чиновники из министерства просвещения. Неожиданно старик поднялся и, шатаясь, пошел в уборную. Когда, услышав глухой звук падающего тела, туда прибежали люди, он хрипел, вцепившись в цепочку смывного бачка.

Через неделю в институтском дворе состоялись похороны. День был пасмурный, холодный. Ветер, дувший с моря, крутил по двору черную пыль и клочья газет. Под парусиновым тентом, положив руки в белых перчатках на эфесы сабель, сидели, широко расставив ноги, высшие чины Западного военного округа. Тощие профессора в униформе, с усталыми лицами рядом с ними имели жалкий вид. Один из офицеров, прочитав длинную речь перед портретом покойного, призвал присутствующих деятельно проявлять верноподданнические чувства.

Даже Сугуро, всего лишь скромный практикант клиники, мог догадаться о тех страстях, которые разгорелись между профессорами из-за кресла декана лечебного факультета. Недовольное лицо профессора Хасимото говорило об этом достаточно красноречиво. Последние дни шеф во время обхода все чаще придирался по пустякам к персоналу, выговаривал больным.

Тода считал, что большинство профессоров были просто «окручены» заведующим вторым хирургическим отделением Кэндо. Несмотря на то, что преимущества — возраст, стаж — были, казалось, на стороне Хасимото, шефа Сугуро и Тода, он не имел всех шансов на успех. Группа Кэндо заблаговременно укрепила свои позиции, установив тесный контакт с командованием Западного военного округа. Тода утверждал, что

профессор Кэндо негласно пообещал командованию, в случае его избрания деканом, целиком предоставить раненым второй корпус клиники. Постоянная связь между Кэндо и командованием поддерживалась, по словам Тода, при посредничестве бывшего доцента второго хирургического факультета, а ныне военврача Кобори.

Молодому практиканту Сугуро все эти хитроумные интриги казались темным лесом. К тому же они никак не могли повлиять на его будущее. «Я не чета Асаи или Тода, разве мне удержаться в клинике! — рассуждал он.— С меня хватит, если устроюсь фтизиатром в какой-нибудь горный санаторий. А потом эта действительная служба — все равно скоро придется распрощаться с институтом».

С наступлением сумерек у парадного подъезда второго хирургического факультета все чаще останавливаются машины защитного цвета. Неуклюже стуча саблями о сапоги, дверцы открывают военврачи — практиканты с зелеными петлицами. Толстый профессор Кэндо величественно садится в машину. Опять шеф будет ко всем придираться. Да, последние дни он не в духе.

В половине четвертого — это время обхода — Сугуро вместе с Асаи и Тода ждали профессора у его кабинета.

— Ну, как там совещание? — часто моргая, шепотом спросил он у Асаи, который перебирал карточки больных.

— Не знаю.

И Асаи многозначительно посмотрел на Сугуро: какое, мол, тебе, несчастному лаборантишке, до этого дело!

— Вы бы лучше... Где, кстати, анализ желудочного сока Мицу Абэ? На всякий случай, вдруг его шеф потребует.

Этот Асаи, в недавнем прошлом военврач, изо всех сил старался закрепиться в хирургическом отделении. Ассистентов не хватало, вся молодежь была призвана в армию на краткосрочную службу, и Асаи не терял времени зря. По слухам, он обручился с племянницей шефа.

Сугуро, заикаясь, пытался что-то сказать, но Асаи отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и снова углубился в картотеку.

В четыре часа зимнее солнце скрылось за тучами. Стало быстро темнеть. Наконец-то из кабинета вышел шеф в сопровождении старшей сестры Оба, которая была также и его секретарем. Они казались очень уставшими.

Зеленый галстук шефа съехал набок. Всегда аккуратно причесанные серебряные волосы прядями спадали сейчас на потный лоб. Таким его еще никогда не видели.

Со студенческих лет Сугуро, наблюдая издали за профессором Хасимото, лучшим хирургом лечебного факультета, испытывал какой-то непонятный страх и вместе с тем восхищение. Точеное, скульптурное лицо профессора, несомненно красивое в молодости, с годами приобрело высокомерное выражение. Вспомнив почему-то жену шефа, белокурую немку, с которой тот познакомился, когда учился за границей, Сугуро с тоской подумал, что ему, деревенщине, нечего мечтать о такой судьбе.

— Быть сегодня буре,— шепнул, подойдя, Тода.— Ты что, действительно не взял сок у этой Мицу?

— Я пытался,— нехотя ответил Сугуро, отводя глаза,— но бедняжка никак не могла проглотить трубку. Она так измучилась, и я ее пожалел.

Среди больных туберкулезом встречаются люди, которые упрямо утверждают, что у них нет мокроты. Мицу Абэ именно такая. Мокрота у Абэ, конечно, была, только она проглатывала ее со слюной, и поэтому мокроту у нее приходилось извлекать с желудочным соком. Но сколько Сугуро ни пытался заставить женщину проглотить резиновую трубку, она, давясь слезами, выталкивала ее.

— Ну что с тобой делать! — подняв плечи, воскликнул Тода.— Если уж старик поинтересуется, скажи, что результат положительный.

Обход начался с общей палаты. Короткий февральский день ушел, оставив бледный свет только у окон. Когда профессор Хасимото, ассистент Асаи, старшая сестра Оба, Тода и Сугуро впятером появились в палате, сиделка поспешила зажечь лампочки, затененные маскировочными колпачками. Несколько больных торопливо уселись на койках, высунув руки из-под одеял.

Воздух в палате был тяжелый. С каждым днем становилось все больше больных, готовящих себе пищу прямо в палатах, едкий запах древесины, перемешанный с запахом пота и нечистот, заполнял коридоры клиники.

И Сугуро, хотя это повторялось изо дня в день, снова заметил, как переменились больные, когда в палату вошел профессор. Да, на него, Сугуро, они смотрели совсем иначе. Когда он по утрам приходил в палату, они, свесившись с коек, с хитрой улыбкой умоляли его:

— Сугуро-сан, дайте что-нибудь от кашля, замучил, проклятый!

— Доктор, вы мне обещали кальций...

Сугуро отлично знал, что больные просят лекарства не для себя. Они обменивали порошки и таблетки на соевые бобы или жалкий паек батата. Были и такие, что жевали лекарства от голода.

Но когда раз в неделю в палату приходил профессор в сопровождении ассистентов, больные сразу делались смиренными. Когда Асаи протягивал профессору температурный листок, висевший у изголовья больного, тот, словно в ожидании приговора, преисполненный сознания собственного ничтожества, смотрел тусклыми глазами на «больших людей» и всеми силами пытался скрыть жар и душивший его кашель. Больные сидели сгорбившись, безвольно опустив руки на колени, и думали только об одном — как бы скорее освободиться от томительного допроса докторов.

— Снимите халат,— подойдя к одному из больных, приказал Асаи.— Повернитесь спиной. Да, сыпь побледнела, но из ушей по-прежнему выделения.

Профессор, держа в руках температурный листок, думал о чем-то своем. В темной палате без очков он, конечно, не мог разглядеть цифры.

— А температура? — рассеянно спросил он.

— Как начались боли в ушах, все время больше тридцати восьми,— сказал Асаи.

— Теперь уже совсем не болят,— чуть не плача, поспешно пролепетал больной с впалой грудью, проглядывавшей из залатанного халата.— Совсем уже не болят.

У него были явные признаки ушного туберкулеза. Под правым ухом распухли лимфатические железы, образовав маленькие шишки. Когда длинные белые пальцы профессора, с зажатой между ними сигаретой, с силой надавили на опухоль, больной, закусив губы, еле сдержался, чтобы не закричать.

— Да ничего особенного, сэнсэй *.

— Не говори глупостей!

— Сэнсэй, я поправлюсь?

Профессор молча направился к соседней койке. Шагая за старшей сестрой и Тода, Сугуро услышал, как Асаи, склонившись над температурным листом, слащаво шепнул больному:

— Не волнуйся, папаша. Боль успокою.

Против ожидания сегодня шеф был не так раздражителен. Видимо, его целиком поглотили собственные мысли. Он даже не замечал, как на

---

* Учитель.

одеяла больных сыплется пепел от его сигареты, зажатой между красивыми пальцами. Встав у следующей койки, он только молча кивал на слова Асаи и, не давая никаких указаний, переходил к следующей. Сугуро облегченно вздохнул, решив, что сегодня, пожалуй, ему не попадет из-за злосчастного анализа.

Окна начал затягивать молочно-белый вечерний туман. Из собачьих конур послышался лай подопытных собак, требующих кормежки. Лампочки тускло светили из-под темных колпачков. Далеко, под покровом тумана, чернело море.

Прошедшие осмотр больные по-прежнему сидели на койках, настороженно посматривая на врачей. Каждый раз, когда лампочки покачивались, их жалкие, сгорбленные тени колыхались на стене. Женщина, лежавшая в углу, не выдержала и, закрыв рукой рот, зашлась в кашле.

— Пожалуй, хватит на сегодня.— Профессор вяло отстранил очередную карточку, протянутую Асаи.— Кажется, резкого ухудшения нет ни у кого.

— Да, вы правы, конечно, хватит, вы очень утомлены...

Заглядывая профессору в лицо, Асаи подобострастно улыбался.

Тода стоял молча, засунув руки в карманы халата.

— Еще минуту, с вашего позволения.— Асаи повернул голову в сторону Сугуро.— Только два слова о пациентке, порученной Сугуро.

— О ком это?

— О старухе, которая поступила на бесплатное лечение, помните?

Услышав, что говорят о ней, старуха приподнялась на своей койке, стоявшей у самого выхода, и укуталась в рваное одеяло.

— Лежите, лежите! — подойдя к ней, сказал Асаи и носком ботинка тихонько задвинул под койку зеленый тазик.

— Она знает, что обречена, надо бы ее оперировать.

— Гм...

Шеф рассеянно посмотрел на больную. Его лицо продолжало оставаться безучастным.

— Редкий случай. На левом легком две каверны, на правом очаг. Удобно для одновременной операции обоих легких.

Старуха испуганно посмотрела на застывшее лицо Сугуро и, как бы защищая грудь, натянула одеяло повыше. Свет лампочки не доходил до ее койки. И она, словно желая спрятаться в темный угол, сжалась в комок. Но поняв, что важные доктора говорят о ней, она несколько раз виновато поклонилась.

— Доцент Сибата просит разрешить оперировать ему.

— Так. Пусть Сугуро сделает все анализы, а потом — как вы решите...

Асаи обернулся к Сугуро.

— Приготовишь анализы.

Словно ища спасения, Сугуро посмотрел на старшую сестру Оба и на Тода, но лицо сестры было непроницаемым, а Тода отвернулся к стене.

— Надеюсь, Сугуро, все будет в порядке?

— Постараюсь,— чуть слышно ответил Сугуро.

Когда профессор, тяжело ступая, вышел в коридор, Сугуро, прислонившись к двери, тяжело вздохнул. А старуха из своего уголка продолжала смотреть на него. Словно пристыженный, он опустил глаза: только бы не увидеть этого взгляда загнанного зверька! Если ее вообще оперировать, пятьдесят шансов из ста — верная смерть. Если же оперировать сразу оба легких, что делалось здесь всего лишь дважды,— это значит просто убить ее. Но ведь все равно старухе не протянуть и шести месяцев — она так истощена.

«Сейчас такое время — все мрут: одни мрут в больнице, другие гибнут под бомбами»,— вспомнил Сугуро слова Тода.

После обхода палата наполнилась надрывным кашлем, больные то забивались под одеяла, словно летучие мыши, то вновь сползали с коек. И Сугуро рассеянно подумал, что если у смерти есть запах, то он именно такой, как в этой вонючей палате.

II

Тода говорил правду — люди умирали. Одни умирали в больнице, другие — во время бомбежек.

Институтская клиника находилась в восьми километрах от города, и пока ей везло — вражеские самолеты ее не замечали. Но бомбы можно было ожидать каждую ночь. Старые деревянные корпуса клиники не стали маскировать, но главное здание и железобетонный корпус факультета патологии покрыли черной краской.

С крыши главного корпуса можно было видеть, как с каждым днем уменьшается город Ф. А коричневая пустыня, возникающая на месте сгоревших домов, наоборот, все разрастается. Белые столбы пыли кружились над этой пустошью и в ветреные дни и в тихие, заволакивая густой пеленой здание универмага «Счастье», когда-то приводившего в восторг деревенского паренька Сугуро,— теперь от универмага остался лишь обгоревший черный остов.

Кажется, больше уже не завывали сигналы воздушной тревоги, но в низких свинцовых облаках все время что-то тупо гудело, и иногда, словно наверстывая упущенное, оттуда раздавалось короткое, сухое стрекотание. До прошлой зимы и студенты и больные оживленно обсуждали каждый налет, как горел тот или иной район города, теперь же это никого не удивляло, люди молчали. Чужая смерть больше не волновала. Многие студенты были отправлены на заводские медпункты, на пункты первой помощи, беспорядочно рассыпанные по городу. Скоро и его, практиканта Сугуро, пошлют в армию, куда-нибудь к черту на кулички, для краткосрочного прохождения действительной службы.

К западу от города темнело море. Каждый раз, забираясь на крышу, Сугуро видел его то сверкающим и до удивления синим, то затянутым серой пеленой тумана. Всматриваясь в море, он иногда вдруг забывал и войну, и общую палату, и постоянное недоедание. Ласковая синева далеких волн навевала мечтательность. Он фантазировал: вот кончится война, и он, подобно шефу, поедет учиться в Германию и полюбит там девушку. Или думал о более реальном — как будет работать в небольшой больнице какого-нибудь захолустного городка и лечить его жителей. Может, удастся жениться на дочери влиятельного человека; тогда еще лучше — он поддержит своих стариков, которые сейчас живут в Итодзима. И Сугуро снова приходил к выводу, что обычное, скромное счастье — самое большое счастье.

В отличие от Тода, Сугуро ничего не смыслил в литературе, особенно в поэзии. Он помнил одно-единственное стихотворение, которое как-то прочел ему Тода. И когда море ослепляло своею синевой, всякий раз, как ни странно, ему вспоминались эти стихи:

Когда плывут барашки облаков,
Когда клубится легкий пар на небе,
Ты, небо, тихо сыплешь хлопья белой ваты,
Тихо сыплешь хлопья белой ваты...

И Сугуро чувствовал, как к его горлу подступает комок. Особенно это бывало в последние дни, когда он начал готовить свою «бабушку»

к операции. Эти строки всплывали в памяти, стоило ему только подняться на крышу и взглянуть на лежавшее внизу море.

Он начал делать старухе предоперационные анализы. Почти ежедневно он таскал ее из палаты в лабораторию, чтобы сделать электрокардиограмму или взять кровь из ее сухой, превратившейся в палку руки. Каждый раз, когда он вводил ей в вену иглу, она вздрагивала всем телом. Пока еще кровь горлом у нее не шла, но как только началась подготовка к операции, у старухи поднялась температура, чего раньше не было. Она старательно исполняла все, что приказывал ей Сугуро, в надежде выздороветь, а он не мог смотреть ей в глаза.

— Скажи, почему ты согласилась на операцию? — спросил он у нее как-то.

Старуха пробормотала что-то невнятное. Она и сама, видимо, толком не знала.

— Почему, спрашиваю, согласилась?

— Да вот Сибата-сэнсэй сказал: «Иначе умрешь, лучше соглашайся».

Примерно через неделю все анализы были получены. Емкость легких старухи против ожидания оказалась большой, но лейкоцитов было мало, а сердце — очень слабое. Сугуро был почти уверен, что старуха обречена на верную смерть.

— Сэнсэй, а после операции я выздоровлю?

Когда она спрашивала Сугуро вот так, напрямик, он уклонялся от ответа; но и Сибата он тоже понимал — ведь все равно она не протянет и шести месяцев. И все же толкать несчастную на мучительную операцию было жестоко.

— Сердце у нее очень слабое,— сказал он, входя к Асаи, который вместе с доцентом Сибата тайком пили больничный спирт.— Вряд ли операция сойдет благополучно.

— Чего ты боишься? — ответил багровый от спирта доцент, небрежно листая анализы, принесенные Сугуро.— Ведь резать-то буду я. Нашел о ком беспокоиться! Старуха, нищенка...

— Это его пациентка, вот он и беспокоится,— как всегда, слащаво улыбнувшись, проговорил Асаи.— Я тоже когда-то был таким.

— На этой старухе я хочу кое-что попробовать.— Сибата подошел, шатаясь, к грифельной доске и вытащил из кармана халата огрызок мела.— Оперировать по методу Шмидта я не буду. Ты работу Коллироса читал?

— Да.

— Так вот, я хочу пойти дальше. Коллирос делал широкий разрез под верхним ребром, затем срезал четвертое, второе, третье и первое ребро. А я попробую — в соответствии с формой каверн и расположением бронхов...

Сугуро откланялся и вышел из комнаты. Несколько минут он постоял в коридоре, прислонившись лицом к холодному оконному стеклу. Неожиданно он почувствовал страшную усталость. На него будто навалилась гранитная глыба. Старик сторож что-то копал во дворе. Над ним качались голые ветки акаций. Землю он отбрасывал лопатой в сторону. Размеренные, однообразные движения... Во двор въехал грузовик. Поднимая клубы пыли, он пронесся мимо институтского корпуса. В кузове сидели люди в серо-зеленых комбинезонах.

Когда машина остановилась у второго хирургического отделения, из кабины выскочили два солдата с револьверами на поясе, подтянутые, энергичные. Люди же в комбинезонах еле вылезли из кузова и скрылись в подъезде. Рядом с солдатами-японцами они казались очень рослыми и широкоплечими. Сугуро сразу понял: американские военнопленные.

— К нам пленных привезли,— сказал он, войдя в лабораторию.

— Ну и что? — равнодушно протянул Тода, не подымая лица от стола.— На днях их тоже привозили. Делали прививку против тифа.

Шумно хлопая ящиками стола, что означало: «Мне некогда интересоваться подобной ерундой», Тода спросил:

— Ты не видел моего стетоскопа? Как на беду, пропал куда-то! Дай-ка мне твой на минутку...

— А что случилось?

— Да одну больную готовят к операции. Нам с Асаи поручили обследование. Что?.. Да нет, успокойся, не твою старуху.

Тода загадочно улыбнулся.

— Угадай кого?

— Откуда мне знать,— хмуро ответил Сугуро.

— Госпожу Табэ из отдельной палаты. Говорят, она родственница покойного Осуги. Ты же ее знаешь.

Еще бы! Кто в клинике не знал эту молодую, красивую женщину. Начиная обход с общей палаты, профессор Хасимото заходил в отдельные под конец. Там он задерживался куда дольше, сам выслушивал больных и расспрашивал их о самочувствии. А к госпоже Табэ он был особенно внимателен. Сугуро видел на ее карточке надпись, сделанную Асаи: «Родственница декана лечебного факультета Осуги».

Заболела эта женщина недавно. В верхушке правого легкого у нее была обнаружена каверна величиной с горошину и несколько крохотных очагов. Но у нее образовалась спайка, поэтому делать поддувание было нельзя. Больная обычно спокойно лежала на спине, разметав на белой подушке длинные, густые волосы. Она, по-видимому, любила читать — под большим светлым окном стояло на полочке много романов, большинство которых Сугуро даже не знал.

Какая у нее была кожа! Белая, нежная, будто атласная. Казалось невероятным, что эта женщина больна туберкулезом. У нее были маленькие тугие груди с розовыми сосками. Говорили, что муж госпожи Табэ — морской офицер и служит где-то очень далеко. Раз в день ей приносили из дому еду, мать или прислуга — госпожа Табэ во всем отличалась от пациентов общей палаты.

— Скоро поправитесь, мадам,— неизменно подбадривал ее профессор Хасимото.— Я обязательно вас вылечу. Это будет моей благодарностью господину Осуги за все, что он сделал для меня.

Ее собирались оперировать осенью, и Сугуро не понимал, почему операцию вдруг перенесли на февраль. Во время последнего обхода старик об этом ни словом не обмолвился, правда, выглядел он озабоченным.

— Почему вдруг решили оперировать ее сейчас?

— А ты не догадываешься? Разве не заметил, как старик рассеян последнее время? Эта операция...

Тода поднялся со стула и выглянул из окна. Возле второго хирургического отделения, как звери в клетке, ходили взад-вперед солдаты, скрестив руки за спиной, а у акаций старик сторож по-прежнему орудовал лопатой.

— Каждому ясно, что эта операция имеет прямое отношение к выборам декана.

Снова усевшись, Тода вырвал лист из потрепанного немецко-японского словаря, взял щепотку табаку из жестянки на столе и скрутил папиросу.

— Я уверен, что старик не хочет упустить случая заполучить лишний шанс. Ведь в апреле выборы, а пациентка — родственница Осуги. Болезнь не запущена, да и организм больной не ослаблен. Вот он и спешит с операцией. В случае успеха привлечет на свою сторону коллег покойного Осуги, и группа Кэндо останется с носом.

Тода произнес все это многозначительным тоном и с довольной ухмылкой выпустил струю дыма.

Тода вырос в семье состоятельного врача и еще в студенческие годы охотно посвящал Сугуро в сложные интриги врачебного мира. «Медику сентименты противопоказаны,— любил повторять он и, высокомерно поглядывая на растерянного однокашника, добавлял: — Ведь врачи не святые. И карьеру хочется сделать, и профессором стать. На одних собаках и обезьянах далеко не уедешь. Чтобы совершить переворот в науке, надо быть безжалостным. Так что, брат, смотри и учись».

— Значит, поэтому тебе и поручили подготовку к операции? — медленно проговорил Сугуро и закрыл глаза. Усталость, которую он почувствовал только что в коридоре, снова навалилась на него.— Одного вот в толк не возьму...

— Чего?

— Что же получается: моя «бабушка» — подопытная свинка для доцента Сибаты, а госпожа Табэ — трамплин для карьеры старика?

— Именно! А что тут плохого? И чего далась тебе твоя «бабушка»? — Тода издевательски улыбнулся.

— Вряд ли я сумею тебе объяснить...

— Зачем делать из всего трагедию? Таков уж наш мир. Без подобных экспериментов медицина застряла бы на мертвой точке. Твое нытье особенно комично сейчас, когда, что ни день, под бомбами гибнут сотни людей. Теперь человеческая смерть никого уже не удивляет, и гораздо больше смысла погубить старуху на операционном столе, чем позволить ей умереть от бомбы.

— Какой же все-таки в этом смысл? — глухо спросил Сугуро.

— Понятно какой. Погибни старуха от бомбежки — ее останки выбросят в Накагаву. А если она умрет во время операции, то послужит науке. Я уверен: знай она, что умирает ради спасения многих других таких же больных, сама охотно легла бы под нож.

— Ты, Тода, не человек, а камень.— Сугуро тяжело вздохнул.— Твои доводы убедительны, но я не могу быть таким, не могу...

— Не будешь камнем, не проживешь! — Тода истерично захохотал.— Ты, Сугуро, тюфяк. Разве сейчас можно жить иначе?

— По-твоему, нет?

— Я даже не задумываюсь над этим. Дай-ка мне лучше твой стетоскоп.

— Он в моем пакете первой помощи.

Сугуро вышел во двор. Старик сторож все копался в земле.

— Бомбоубежище роешь?

— Да нет. Велят акации валить. Вон они как разрослись! Начальство срубить приказало, но зачем, не понимаю...

Солдат перед хирургическим отделением уже не было. Грузовик, доставивший военнопленных, куда-то исчез. Сугуро стал подниматься на крышу, его ботинки гулко стучали по ступеням лестницы.

Внизу притаились больничные корпуса. Справа виднелась лаборатория инфекционных заболеваний и терапевтическое отделение. В центре чернели библиотека и покрытый дегтем железобетонный корпус факультета патологии. Из трубы дезинфекционной камеры подымался серый дым. «Сколько сотен больных, сколько врачей и медсестер сосредоточено здесь!» — подумал Сугуро. И ему показалось, что между этими зданиями вращаются невидимые шестерни гигантского механизма. Но лучше не думать. Все равно это ни к чему не приведет.

Море почернело и будто сжалось. Желтая пыль вздымалась над городом, застилая ватные облака и тусклое зимнее солнце. Сугуро внезапно почувствовал, что ему абсолютно все равно, победит Япония в этой войне или проиграет ее. Думать еще и об этом у него не хватало сил.

III

— «Будет пять миллиардов шестьсот семьдесят миллионов лет бодисатве Амида *, и тогда обладающим истинной верой откроется свет...»

— Не беспокойтесь, лежите, лежите.

— Хорошо, сэнсэй.

Пока Сугуро выслушивал впалую грудь старухи, она с закрытыми глазами слушала священные тексты, которые нараспев читала соседка по койке, Мицу Абэ. Мицу и «бабушка» были ровесницами, их койки стояли рядом, поэтому они часто беседовали.

— Стихи Будды?

— Нет, что вы, это поучения святого Синрана **.

Мицу кивнула в сторону своей соседки:

— Все просит почитать ей буддийские книги, вот я...

— А вы читайте, не стесняйтесь.

— Хорошо, сэнсэй.

Мицу опять надела очки, которые убрала уже было в футляр, уселась поудобнее на койке и, снова бережно взяв книгу в порванном переплете, продолжала читать:

— «Однажды Сакья *** навестил своего больного ученика. Ученик этот был так слаб, что даже не мог убрать за собой. Сакья...» Сэнсэй, что этот иероглиф обозначает?

— «Заботливо». Ведь это книга для детей!

— Да. Мне ее дала почитать больная вон с той койки. «...заботливо обтерев его, спросил, ухаживал ли он хоть раз за своим больным другом, когда был здоров. «Ты так мучаешься сейчас потому, что никогда не ухаживал за больным,— сказал Сакья.— Тебя сейчас терзают болезни телесные... Но есть еще болезни души, которые могут длиться и в трех жизнях...»

Мицу читала низким, невнятным голосом. «Бабушка» слушала ее с закрытыми глазами. На полу, рядом с койкой, стояла алюминиевая чашка с приставшей к ней желтой кожурой батата. Больные, лежавшие поблизости, тоже молчали и внимательно слушали.

— Верно, святой хотел сказать, что, прежде чем думать о телесном излечении, нужно преобразиться душой.

Услышав этот комментарий Мицу, «бабушка» едва заметно кивнула. А Сугуро думал, как сообщить ей о том, что ему поручили.

— Знаете, сэнсэй,— сказала Мицу, повернувшись к Сугуро,— как она узнала об операции, так сдавать стала. Очень уж ей с сыном свидеться хочется, поэтому и согласилась.

— А у нее есть сын?

— Да. На войне он.

Мицу сползла с койки и, покопавшись в корзинке, стоявшей на полу, вытащила аккуратно сложенный национальный флажок. На его дешевой ткани были желтые пятна, как от дождевых капель.

— Все в нашей палате уже сделали на нем надписи. Сэнсэй, вы тоже напишите что-нибудь на флажке для ее сына.

— Хорошо.

Взяв в руки флажок, Сугуро совсем растерялся. Он понял, что не сможет сказать своей пациентке, что день операции уже назначен.

Это стало известно сегодня утром. В следующую пятницу профессор намерен оперировать госпожу Табэ, а еще через неделю доцент Сибата

---

* Один из буддийских святых.

** Синран — основатель буддийской секты Синсю.

*** Сакья или Сакья-Муни — одно из имен Будды.

займется его «бабушкой». Сугуро и Тода назначили ассистировать при обеих операциях.

Как только пациент узнает дату операции, он начинает нервничать. Дрожит от воображаемого прикосновения скальпеля и подпиливания ребер. У Сугуро не хватило смелости обречь эту старуху, которая почти наверняка умрет, еще и на мучительную неделю ожидания.

Вернувшись в холодную лабораторию и сдвинув со стола пробирки и пинцеты, Сугуро расстелил флажок. Он не знал, что написать. На грубой ткани пестрело несколько надписей пациентов общей палаты. Когда этот флаг попадет в руки сына — если он вообще к нему попадет,— старуха, скорее всего, уже будет в могиле. От этой мысли на душе стало тоскливо. Он вытащил из стола Тода сигареты. Обычно он их не мог курить, а теперь закурил. После долгих раздумий, с чувством отвращения написал банальное пожелание: «Только с победой!»

Как и предполагал Тода, госпожу Табэ готовили к операции долго и тщательно. Особенно лез из кожи ассистент Асаи — еще бы, от успеха этой операции зависела и его карьера! Ведь не пройдет и года, как вернутся с действительной службы его одногодки, и до этого времени необходимо укрепиться и завоевать расположение шефа. Место доцента, на которое он метил, непосредственно зависело от личного покровительства декана факультета.

Один лишь Сибата, как уверял Тода, был против выдвижения старика. Сибата был питомцем прежнего заведующего хирургическим отделением.

Обычно шеф обходил больных два раза в неделю, но в последнее время старик почти ежедневно заглядывал в палату к госпоже Табэ.

— Осенью выпишетесь,— с улыбкой говорил профессор Хасимото, разглядывая на свет поперечный снимок грудной клетки.— Потом отдохнете с полгодика в деревне, и все будет хорошо. К Новому году совсем поправитесь.

Очевидно, у профессора появилась уверенность в результатах выборов — в последнее время он переменился, от его рассеянности и раздражения не осталось и следа. Засунув руки в карманы белоснежного халата, он величественно шел сейчас по коридору. Его чуть наклоненная вперед грузноватая фигура гипнотизировала провинциала Сугуро. Именно таким, по его понятиям, и должен быть профессор. Тяжело ступая в солдатских ботинках, Сугуро шел следом за Тода и за сестрой Оба и вновь испытывал к шефу чувство юношеского обожания.

Последнее время из палаты госпожи Табэ не выходила ее мать, пожилая дама с благородными манерами, в черных шароварах. При появлении врачей молодая женщина, сидевшая на кровати, подняла упавшие на лицо волосы и улыбнулась.

— Сэнсэй, как вы думаете, все будет хорошо? — спросила профессора мать.

— Вы о чем?.. А-а, она еще будет спать, а операция уже кончится. Правда, ночь-другую самочувствие будет неважное. Жажда, небольшой озноб, но это очень быстро пройдет.

— Но все же опасность какая-нибудь остается...

— Для вас, видимо, и искусство профессора и наше усердие ничего не значат...— угодливо улыбнулся Асаи.

Казалось, что действительно опасного исхода ничто не предвещало. Госпожа Табэ была не истощена, сердце работало без перебоев, состав крови был хороший, да и каверна находилась в удобном для операции месте. Даже Сугуро, который лишь один раз ассистировал при такой операции, считал, что успешно справился бы с ней самостоятельно.

Когда шеф выслушивал сердце госпожи Табэ, приставив стетоскоп к ее упругой груди, Сугуро почувствовал какую-то странную досаду. Он

не знал, что это такое,— не то ревность к мужу красавицы и зависть к счастью, какого он никогда в жизни не обретет, не то обида за больных, лежащих в общей грязной палате.

Наступил четверг. В предоперационную ночь медсестра протирает тело больного спиртом и сбривает волосы. Сугуро допоздна оставался в лаборатории вместе со старшей сестрой и Тода, комплектуя необходимые для операции снимки и инструменты. Когда он вышел в темноту и направился в свой пансион, до которого от клиники было всего десять минут ходу, то услышал шум автомашины. Автомобиль поравнялся с ним, и он увидел через запотевшее стекло профессора Кэндо. Рядом с ним, положив руки на эфес сабли, сидел генерал с двойным подбородком.

В этот дождливый вечер профессор Кэндо показался Сугуро каким-то одиноким и несчастным, таким он его еще никогда не видел.

«Кажется, наш старик победит»,— подумал он, решив, что завтра закулисная борьба двух профессоров достигнет высшей точки. Он даже почувствовал легкое волнение от этой мысли.

На следующий день в десять часов утра Асаи, Тода и Сугуро, надев поверх халатов резиновые передники, в сандалиях ждали у операционной, когда привезут больную.

Небо было пасмурным. Операционная находилась в самом конце коридора — сюда больные не заходили. Натертый паркет холодно блестел.

Но вот издалека донесся мягкий шум колес. По коридору медленно катилась тележка с госпожой Табэ, подталкиваемая медсестрой и матерью больной. От страха перед операцией лицо больной было очень бледным, черные волосы разметались по плечам.

— Ну, держись молодцом,— сказала мать вслед удалявшейся тележке.— Я буду тут. Сейчас и сестра подойдет. Ведь операция быстро кончится.

Совсем ослабевшая больная открыла помутневшие, как у подбитой птицы, глаза и что-то пробормотала, но слов разобрать было невозможно.

— Не беспокойся,— сказала мать.— Профессор все сделает как надо.

В это время старшая сестра Оба завязывала профессору халат, он уже вымыл руки спиртом. Потом она, словно мать сыну, который уже перерос ее, надела на голову старика белую шапочку, похожую на феску. Другая сестра протянула ему металлический ящичек с двумя парами резиновых и матерчатых перчаток. Профессор стал похож на белую куклу с театральной маской вместо лица.

В операционной было душно. На пол из шланга с тихим шумом лилась вода, которая пока смывала пыль, а потом будет смывать кровь. В водяной струе отражалась свисавшая с потолка большая бестеневая лампа. В этом неестественно ярком свете и ассистент Асаи и медсестры двигались, как колышущиеся в воде водоросли.

Две медсестры подняли госпожу Табэ с тележки и положили на операционный стол. Профессор привычными движениями начал извлекать из никелированного ящика и класть на стеклянный столик хирургические инструменты. Элеватор, которым загибают легочную плевру, реберная пила и пинцеты, соприкасаясь друг с другом, неприятно позвякивали. Услышав этот звон, госпожа Табэ вздрогнула, но тут же ее тело расслабилось, и она закрыла глаза.

— Не беспокойтесь, сударыня,— тихо сказал Асаи,— мы все время будем давать наркоз...

— Все готово? — глухо спросил профессор, но его голос в наступившей тишине показался резким.

— Все.

— Тогда приступим.

Все склонились над операционным столом. Старшая сестра тампоном, пропитанным йодом, протерла спину больной.

— Скальпель!

Взяв протянутый электрический скальпель, профессор чуть наклонился вперед. Сугуро уловил шипящий звук. Это горели мышцы.

Какое-то мгновение казалось, что жировой покров сейчас вывалится из-под кожи, но уже в следующую минуту все покрыла кровь. Щелкнув зажимами, ассистент Асаи мгновенно зажал кровеносные сосуды. Сугуро перевязал каждый из них шелковой ниткой.

— Элеватор,— бросил профессор.— Вливание?

В белой ноге госпожи Табэ торчала игла внутривенного вливания. Взглянув, как по резиновой трубке в организм больной бегут глюкоза и адреналин, Сугуро ответил:

— Все в порядке.

— Давление?

— Нормальное.

Прошло несколько томительных минут.

Внезапно госпожа Табэ застонала. По-видимому, она еще не полностью потеряла сознание.

— Тяжело, мама... Ой, как трудно дышать!..

На лбу профессора выступил пот. Старшая сестра, встав на цыпочки, отерла ему лоб марлей.

— Тяжело дышать, мама... дышать...

— Реберный нож,— потребовал профессор.

Когда отвернули края раны, обнажились несколько ослепительно-белых ребер. Профессор крепко зажал одно похожим на садовые ножницы реберным ножом.

— Ум-м,— послышался из-под маски его напряженный голос.

Раздался тупой звук, и кусок ребра, напоминающий рог оленя, с сухим стуком упал в таз.

На лбу старика снова и снова выступал пот, и старшая сестра, становясь на цыпочки, тут же вытирала его.

— Вливание?

— В порядке.

— Пульс? Давление?

— В порядке.

— Приступаем к последнему ребру,— пробормотал профессор.

Так дошли до самого опасного участка.

Сугуро вдруг заметил, что кровь больной потемнела. На мгновение его грудь сдавило недоброе предчувствие. Но профессор уверенно продолжал операцию. И сестра, следившая за кровяным давлением, ничего не говорила. Асаи тоже молчал.

— Ножницы! — крикнул старик, и всем показалось, что он вздрогнул.— Вливание в порядке?

Значит, заметил. Потемнение крови говорит об ухудшении состояния оперируемого. Сугуро увидел, что лицо Хасимото блестит, словно покрытое воском.

— Изменения?

— Давление...— растерянно пролепетала молоденькая медсестра,— давление падает...

— Кислородную подушку!..— истерически крикнул Асаи.— Скорее!

— Пот в глаза... Пот в глаза льется,— прошептал профессор, чуть пошатнувшись.

Старшая сестра дрожащей рукой приложила к его лбу платок.

— Марлю, быстро!

Профессор стер кровь, закрыл разрез, но кровотечение не останавливалось. Руки Хасимото заработали быстрее.

— Марлю... Марлю... Давление?

— Падает.

Профессор с исказившимся от муки лицом обернулся в сторону Сугуро. Казалось, он вот-вот расплачется.

— Давление?

— Безнадежно,— ответил Асаи. Он уже снял маску.

— Пульса нет...— пробормотала старшая сестра, снимая руку с запястья больной.

Рука Табэ ударилась о край операционного стола и безжизненно повисла. Профессор замер. Все молчали. Только тихо журчала стекавшая на пол вода, отражая свет лампы.

— Сэнсэй,— хрипло проговорил Асаи,— сэнсэй...

Профессор поднял на него пустые глаза.

— Надо привести тело в порядок, да?

— Привести в порядок?.. Ах... да... Конечно...

— Я зашью сечения...

Остекленевшие глаза покойной уставились на них, как бы говоря: «Зачем вы подвергли меня таким мучениям?..»

Сугуро, у которого подкашивались ноги, уселся на корточки. В ушах все раздавались назойливые, глухие звуки, будто на лист жести падали гвозди. Он почувствовал внезапную тошноту и с силой стал тереть кулаками глаза.

Асаи, встав на место профессора, зашил разрезы; старшая сестра обтерла мертвое тело спиртом.

— Перевязать бинтом! — высоким голосом приказал Асаи.— Все туловище.

Усевшись на стул, профессор бездумно уставился в одну точку. Казалось, он ничего не слышал.

— Перенести тело в палату. Родным пока ничего не сообщать,— охрипшим голосом приказал Асаи и оглядел своих коллег — они, напуганные, стояли, отвернувшись к стене.

— Когда перенесете в палату, тут же введите физиологический раствор. И вообще делайте все, что полагается после операции. Больная не умерла. Она умрет завтра утром.

У Асаи был уже не тот вкрадчивый, сладкий голос, каким он обычно разговаривал в лаборатории. Его очки без ободков сползли на кончик вспотевшего носа.

Когда тело положили на тележку и закрыли простыней, молодая медсестра, пошатываясь, пошла к дверям. Видимо, у нее не осталось сил даже подталкивать тележку.

В коридоре к ним подбежали побледневшая мать и сестра Табэ.

— Операция прошла благополучно,— с деланным спокойствием проговорил Асаи, пытаясь выдавить улыбку.

Старшая сестра Оба, оттесняя женщин от тележки, встала между ними.

— Но кризис будет сегодня вечером. Состояние больной требует абсолютного покоя, так что до послезавтра свидания запрещаются,— сказал Асаи.

— Даже нам? — удивленно спросила мать.

— Да, к сожалению. Сегодня я и старшая сестра будем всю ночь дежурить у ее постели. Можете не беспокоиться.

Дверь палаты оставили открытой. Молоденькая медсестра, следившая во время операции за кровяным давлением, вбежала в палату с таким лицом, словно вот-вот собирается заплакать. Девушка явно не справлялась с той ролью, которую ей приказал играть Асаи.

Оба взяла у нее коробку со шприцем и иглами. Лишь у старшей сестры хватало самообладания держаться как ни в чем не бывало — ей помогал в этом многолетний опыт.

Асаи уже был в палате.

Сугуро, прижавшись лбом к оконному стеклу, растерянно стоял в коридоре — ассистент приказал ему следить за тем, чтобы тайна не раскрылась. У выхода на лестницу Тода удерживал мать и сестру, пытавшихся пройти в палату.

— Пожалуйста, пропустите...

— Но поймите: нельзя! — мягко, но настойчиво отстранял их Тода.

— Ну как?

Сугуро обернулся. Рядом с ним, засунув руки в карманы халата, стоял Сибата.

— Операция прошла удачно?

Сугуро отрицательно покачал головой. По тонким губам доцента пробежала ехидная усмешка.

— Дали умереть, значит? Что ж, всякое бывает... Когда случилось?

— Во время последнего ребра,— опуская глаза, ответил Сугуро.

— Гм... Сдает наш старик!

Он прошел в палату и, рассеянно кивнув обернувшемуся Асаи, дотронулся до иглы, воткнутой в ногу трупа.

«Что же происходит, что происходит?» Этот навязчивый вопрос не выходил из головы Сугуро.

К нему подошел Тода и молча протянул пластмассовый портсигар с самокрутками, но Сугуро отказался, вяло махнув рукой.

— Комедия, да и только! — затягиваясь, сказал Тода и искоса посмотрел на раскрытую дверь палаты. Сугуро видел, как дрожит его рука.— Ловко сыграно, ничего не скажешь!

— Что ты имеешь в виду?

— Вот это. Что же еще. Только Асаи мог до этого додуматься. Ведь если пациент умрет во время операции, будут винить старика. А если после — это уже не вина хирурга. Так вот в предвыборной кампании можно оправдаться.

Сугуро повернулся спиной к Тода и медленно зашагал по коридору.

— Скажите, пожалуйста, что с ней?

Мать Табэ робко дотронулась до его локтя. Сугуро не ответил. Он торопливо вышел на лестницу и спустился во двор.

По асфальтированной дорожке в вечерних сумерках проехала на велосипеде медсестра. Кто-то из окна окликнул ее: «Саката»,— подруга, наверно. Из трубы дезинфекционной камеры медленно подымался молочный дым. Сторож под акацией продолжал копать землю. Глядя на эту обычную картину, Сугуро почувствовал, что сейчас расхохочется.

Но что здесь было смешного, он и сам не понимал...

IV

Несмотря на все предосторожности, слух о неудачной операции молниеносно распространился по клинике. Зерно упало на благодатную почву. Несколько дней только и судачили об этом. Семья Табэ, по этическим соображениям, не выразила открытого протеста — ведь покойная была родственницей Осуги,— но профессора-терапевты резко осуждали Хасимото, настоявшего на скорейшей операции вопреки их возражениям. Теперь уже не осталось никаких надежд на выдвижение кандидатуры старика в деканы.

Но Сугуро это мало трогало. Состояние подавленности не прошло, он был измотан до предела. От его прежней энергии не осталось и сле-

да — она уступила место апатии. Даже интерес к больным погас. Он стал относиться к ним безучастно.

На третий день после смерти госпожи Табэ доцент Сибата заявил, что решил отложить операцию его «бабушки» на несколько месяцев. «Если дважды допустить смерть на операционном столе, первое хирургическое отделение будет выглядеть неважно»,— криво усмехнувшись, сказал Сибата, но и к этому Сугуро отнесся с полным безразличием. Ни желания сообщить больной об отсрочке, ни удовлетворения по этому поводу у него не появилось.

Глядя на старика сторожа, под лучами бледного зимнего солнца орудовавшего во дворе лопатой, Сугуро размышлял, когда же прекратится его бесполезная работа. Ведь старик уже две недели копает на одном месте. Казалось, он мстит тем, кто приказал срубить акации,— копает и засыпает, засыпает и опять копает.

«Как же дальше жить? — невесело думал Сугуро.— Неужели врач не может быть иным и медицина тоже?» Но что толку от того, что в голову приходят подобные вопросы, разве на них можно ответить? Со дня на день его отправят в армию, а тогда ему будет и подавно все равно.

Но иногда нервы Сугуро не выдерживали. В одну из таких минут он ударил свою «бабушку».

Как-то во время обхода он украдкой положил у ее изголовья кусок глюкозы. Мицу Абэ, искоса следившая за ним, сделала вид, что ничего не заметила. Ведь Сугуро и раньше давал глюкозу этой старухе, лечившейся бесплатно. На следующий день зайдя случайно в общую палату, Сугуро увидел, что его пациентка спит, закрыв лицо ладонью. Кусок глюкозы валялся на полу нетронутый. «Еще привередничает,— обозлился он,— думает, всегда будет получать, стоит только попросить». Сугуро знал, что старуха выменивает глюкозу у других больных на еду, поэтому особенно возмутился.

После обеда у всех больных общей палаты брали кровь на роэ. Мицу пришла в лабораторию, а ее соседка не явилась.

— Где же моя «бабушка»?

— Говорит, плохо себя чувствует.

Сугуро отправился в палату. Там никого не было, на койках валялись в беспорядке одеяла, а «бабушка», усевшись спиной к двери, как крыса, грызла кусок глюкозы, зажав его скрюченными пальцами. Увидев ее жалкую фигуру и растрепанные волосы, он почувствовал невыразимое отвращение.

— Почему не пришла?

Старуха, прижимая обе руки ко рту, пролепетала что-то невнятное.

— Пошли!

Сугуро резко рванул ее за руку, но она упала на кровать, тогда Сугуро ударил ее по щеке...

Последние дни профессор почти не появлялся в лаборатории. На обходах его заменял Сибата. В отдельной палате, где раньше лежала госпожа Табэ, с кровати сняли матрац. Там еще валялись на полу рваные газеты со следами грязных ботинок.

Причиной всему была неудачная операция. В лаборатории, в комнате медсестер и в палатах отсутствие Хасимото сказалось отрицательно — везде чувствовался беспорядок. Оконные стекла запылились — их никто не протирал, сестры работали спустя рукава, больные не соблюдали «мертвого часа».

— И Япония трещит по швам, и наше отделение тоже,— с кривой усмешкой говорил Тода, переминаясь с ноги на ногу в нетопленой лаборатории.

— Все летит к черту,— тяжело вздохнув, подтвердил Сугуро.— Все! А ты сам почему на военную службу не просишься?

Лаборанты лечебного факультета, шедшие в армию добровольцами, после недолгой муштры становились военврачами-практикантами.

— Кто? Я? — Тода, как всегда, насмешливо скривил рот.— Не хочу.

— Ну, тогда тебя ждет форма солдата второго разряда.

— А мне все равно! Могу и солдатом подохнуть.

— Это почему же?

— Один конец! Такое уж время, все дохнут.

В эти дни Сугуро снова увидел у подъезда второго хирургического отделения грузовик с военнопленными. Как и в прошлый раз, двое солдат с револьверами стояли у кузова. Когда Сугуро проходил мимо, пленные, грызя бататы, забирались на грузовик. Холщовая одежда защитного цвета висела на их рослых фигурах мешком. Один из пленных был на костылях.

На этот раз они не вызвали у Сугуро ни интереса, ни любопытства. Среди пленных были и бледные, со светло-русой щетиной, и смуглые, с матовой кожей. Сугуро не почувствовал к ним ни жалости, ни сочувствия, ни ненависти. Он прошел мимо них равнодушно, как при встрече с прохожими на улице, лица которых тут же забываются. Он совершенно не воспринимал этих пленных американцев как врагов. Кажется, и в самом деле, все на свете стало для него безразлично.

Примерно через неделю после этого город подвергся такому налету, каких не было уже давно. Бомбили настолько сильно и долго, что всех больных, кто мог ходить — пешком, а лежачих — на носилках отправили в подвал. Хотя клиника находилась в нескольких километрах от города, грохот стоял такой, что дрожали стекла. То и дело слышалась отдаленная пальба зениток. В серых вечерних облаках с тупым, сонным жужжанием проносились бомбардировщики Б-29.

Только через несколько часов вражеские самолеты ушли в сторону моря. С крыши больницы было видно, как над городом клубился белый дым. Горел и универмаг «Счастье». Когда дым рассеивался, отчетливо проступало оранжевое пламя.

Совсем стемнело, над городом нависла огромная черная туча. Всю ночь шел дождь, дождевые капли были смешаны с пеплом. Больным выдали особый паек — по пять штук маленьких сухариков. Это был подарок армии. В эту ночь Сугуро дежурил. В пансион после дежурства он не пошел, а заснул прямо на лабораторном столе, укутав одеялом ноги в солдатских обмотках.

Под утро его разбудила сестра. Умерла его «бабушка». Когда он прибежал в общую палату, у ее изголовья тускло горела свеча, а возле койки понуро стояла Мицу. Остальные больные или спали, или их это не тронуло — все они лежали, укутавшись одеялами с головой.

Сугуро посветил карманным фонариком. Старуха скончалась, лежа на боку. Левая рука ее была сжата в кулак. Когда он с силой разнял пальцы, на пол упали выданные накануне сухари. Тут Сугуро со стыдом вспомнил, как он недавно ударил ее по щеке.

— А флаг, наверно, уже попал к ее сыну...— пробормотала Мицу.

Когда он написал на том лоскутке: «Только с победой!» — он уже предвидел ее конец. Но он думал, что она умрет во время операции, а не так вот — естественно. Шок от бомбежки и холодный дождь, ливший всю ночь, доконали ее.

Дождь шел и весь следующий день. У Сугуро страшно болела голова: видимо, от простуды. Старик сторож уложил «бабушку» в деревянный ящик. Прижавшись лицом к окну в лаборатории, Сугуро видел, как он и санитар тащили этот ящик под дождем.

— Как думаешь, где ее захоронят?

— Понятия не имею! Но с твоей глупостью теперь покончено,— сказал за его спиной Тода.— Ведь всякая привязанность — глупость.

Сугуро задумался. Почему он так долго заботился только об этой старухе? Кажется, теперь он понял почему. Она была его первым пациентом. Сейчас, когда, как говорит Тода, умирали все, эта старуха была единственным существом, которое он оберегал от смерти. И вот ее уносят, под дождем, в ящике из-под мандаринов. И только сейчас Сугуро ясно почувствовал, что с сегодняшнего дня ему абсолютно наплевать, что будет с Японией, с ним самим и со всем на свете.

V

В ночь, когда умерла «бабушка», Сугуро простудился — наверно, потому, что он спал в лаборатории. Он сразу как-то сник, у него поднялась температура. Работая за соседним с Тода столом, он чувствовал тошноту и головную боль.

— Смотри, может, заразился от своей старухи? — Тода пристально посмотрел на него.— Да у тебя все лицо посинело!

Сугуро увидел в запотевшем зеркале свое посеревшее лицо с красными, воспаленными глазами.

— Вас просит к себе Сибата-сэнсэй,— обратилась к Сугуро медсестра, просунув голову в дверь.

Это была та самая сестра, которая во время операции следила за кровяным давлением у Табэ.

— Сейчас?

— Да, просил немедленно.

— У меня голова разламывается...

Когда он, еле волоча ноги, вошел вместе с Тода во вторую лабораторию, рядом с Сибата и Асаи сидел военврач с багровым лицом. Мельком посмотрев на вошедших, он бросил отрывисто:

— Итак...

И тут же вышел.

В жаровне голубым пламенем горели серебристые угольки, на столе стояли чашечки с недопитым разбавленным спиртом.

— Садитесь,— Сибата посмотрел на пачку сигарет «Хомарэ», лежащую на столе.— Хотите? — Он поболтал ногой, вертящееся кресло заскрипело.— Курите,— предложил он еще раз.

Встав со стула, Асаи подошел к окну. Тода и Сугуро поняли, что Сибата хочет им что-то сказать, но не знает, с чего начать.

— Тода, тема твоей диссертации, кажется, «Индуктивный метод лечения каверн»? — На впалых щеках Сибата заиграла деланная улыбка.— Как подвигается работа? Ведь это сейчас насущная проблема, можно сказать, первостепенная. Удалось ли достать какие-нибудь новые материалы? Или только статьи Монарди?

Не ответив, Тода вытащил из пачки сигарету и закурил. По комнате пополз едкий запах горелой бумаги. Сугуро начало мутить.

— Я тоже хотел было кое-что изучить, но не удалось.

— Почему?

— Да вот, больная из общей палаты взяла да и умерла. А я надеялся на интересный эксперимент...

— И чувствуете себя, как охотник, вернувшийся с пустыми руками? — съязвил Тода.

— Скорее уж как отвергнутый влюбленный...— отозвался из своего угла Асаи.

«Быстрее бы уж к делу переходили!» — досадливо подумал Сугуро, с трудом превозмогая тошноту.

Но Сибата, поставив на ладонь чашку, начал крутить ее.

— Так вот... Наверно, старик вам завтра сам скажет...— начал он.— Мы долго думали, привлечь ли вас?..

Сибата замолчал и снова уставился на чашку. Сугуро отер пот со лба. Бледное голубое пламя углей попахивало гнилью.

— Такую возможность упускать нельзя. Ученый, всякий медик... мечтает об этом...

Вертя на ладони чашку, Сибата начал раскачиваться в кресле.

— Вы не слепые, сами видите, как приуныл старик после этой злосчастной операции. Заклевать его теперь ничего не стоит. Профессор Кэндо, тот не теряет времени зря... Чего же нам зевать? Как раз сейчас время сотрудничать с военными... Мы не должны им отказывать, это только повредит нам. Конечно, мы не собираемся вас принуждать, но учтите, профессор Кэндо привлекает пять человек, нас тоже будет пятеро — шеф, я, Асаи и вы двое, так что...

— В чем вы предлагаете нам принять участие? — спросил Тода.— В операции?

— Повторяю, мы вас не принуждаем. Но если вы согласитесь, то должны хранить все в тайне.

— Да что же это, наконец?

— Опыты. Над живыми военнопленными.

Лежа с открытыми глазами в темноте, он слышит отдаленный шум прибоя. Это море наваливается черной стеной на каменистый берег и, бурля, откатывается.

«Почему меня уговорили участвовать в этом деле? — подумал Сугуро.— Нет, неправда, меня не уговаривали. Тогда, в кабинете Сибата, я мог отказаться, мог! Почему же я согласился? Пошел за Тода? Или, из-за тошноты и головной боли, просто не дал себе во всем отчета? В комнате было душно от жаровни, противно воняло табачным дымом».

— Ну, на чем же порешили, Сугуро-кун*? — приблизив к нему свое лицо, спросил Асаи.— Ты волен не соглашаться.

Вернувшийся в кабинет толстый военврач засмеялся:

— Ведь эти типы весь город разбомбили! Пленных уже давно решили расстрелять, но передумали — не все ли равно, где и как их уничтожить! А тут им дадут эфир, так что умрут во сне...

«Э-э, не все ли равно!.. Может, я согласился просто потому, что задыхался в душной комнате. Может, из-за сигарет Тода. Не все ли равно!.. Не думать, вот что главное! Спать! Теперь думай не думай, все решено. Да и что я могу сделать один?..»

Он засыпал, и опять открывал глаза, и снова забывался... Во сне он видел, как море несет его, словно щепку, по своим черным волнам...

С того дня Тода и Сугуро в лаборатории старались не смотреть друг на друга. И когда невольно они начинали разговор об «опытах», один из них тотчас же менял тему. Ни Сугуро, ни Тода не признавались друг другу, почему они согласились на предложения Сибата. И вообще в эти дни они говорили мало, работали с каменными, напряженными лицами.

Вскоре Асаи передал им тайком план предстоящих «опытов». В первый день намечали использовать трех пленных. Их должны были подвергнуть операции в первом хирургическом отделении.

Порядок «опытов» намечался следующий:

1. В кровь первого пленного вводить физиологический раствор, с тем чтобы установить, какая предельная доза может быть влита до наступления смерти.

2. В кровеносные сосуды второго военнопленного вводится воздух, с тем чтобы установить, после какой дозы наступит смерть.

---

* Форма дружеского, фамильярного обращения.

3. У третьего пленного постепенно удаляются легкие, с тем чтобы установить, какую их часть можно удалить до наступления смерти.

Оперируют: профессор Хасимото и доцент Сибата.

Первый ассистент: Х. Асаи.

Второй ассистент: Г. Тода.

Третий ассистент: Д. Сугуро.

Эксперимент, который собирались поставить на первом военнопленном, был важен для военной медицины. Обычно заменяющий кровь физиологический раствор состоит на восемьдесят пять процентов из поваренной соли. Медицине еще не было известно, до каких пределов можно вводить этот раствор раненым, которым грозит смерть от потери крови. Считалось, что можно влить два-три литра, но эта норма была предположительной.

Цель второго эксперимента — определить, какое количество введенного в кровь воздуха приводит человека к смерти. Известно, что обезьяна мгновенно умирает от пяти кубических сантиметров воздуха.

Эксперимент, который ставили на третьем военнопленном, был очень важен для легочной хирургии. Частичное удаление легких, казавшееся более перспективным, чем структурная операция, хоть и производилось доктором Сэкигути в Северо-Восточном государственном университете и профессором Кодзава в Осака, являлось новшеством, и необходимо было установить, до каких пределов можно удалять легкие.

Читая план опытов, Сугуро догадался, что первый и второй эксперименты предложены не стариком, а доцентом Сибата. И он на секунду представил себе его сухое заостренное лицо.

Итак, завтра должна состояться «операция». Сугуро без всяких на то причин прибрал стол и все ящики. Покуривая, Тода молча наблюдал за ним.

— Ну, пойду, пожалуй,— сказал наконец Сугуро.

Тода неопределенно хмыкнул.

— До свидания.

— Погоди...— Тода внезапно остановил Сугуро.

— Что?

— Садись.

Сугуро сел, но говорить ему ни о чем не хотелось. Казалось, скажи он слово, Тода не преминет съязвить.

— Си-га-ре-ту.

Тода протянул ему пластмассовый портсигар с неуклюжими самокрутками. Сугуро чиркнул спичкой и посмотрел на затухающий огонек.

— Ну и дурак же ты!..— пробормотал Тода.

— Вероятно.

— Ведь еще не поздно отказаться.

— Гм...

— Откажешься?

— Гм...

— А интересно, есть все-таки бог?

— Бог?

— Да. Я, может быть, несу чушь, но вот, понимаешь, человек никак не может плыть против течения, избежать — ну, как это называется? — судьбы, что ли. Вот я и думаю: есть ли он, этот самый бог?.. Тогда...

— Что тебе на это ответить? — Сугуро положил на стол погасшую сигарету.— По мне, все равно один конец, есть он или нет...

— Оно, конечно, так, но ведь та старуха была для тебя чем-то вроде бога...

— М-да...

Резко поднявшись, Сугуро вышел в коридор. Тода его не окликнул.

ТЕ, КОТОРЫХ СУДИЛИ

I. Медсестра

По семейным обстоятельствам я только в двадцать пять лет, и то с трудом, окончила городскую школу медсестер и стала работать в институтской клинике. Летом того же года я познакомилась с Уэда, которого положили туда с аппендицитом.

Об Уэда я теперь стараюсь не вспоминать, да и наша супружеская жизнь, за одним исключением, к моим запискам не имеет никакого отношения, так что не стоит описывать ее подробно. Единственное, что врезалось мне в память,— это залитая предзакатным солнцем палата на втором этаже больницы, и на койке его тучное тело в рубашке из жатого ситца и набрюшнике чуть ли не до колен. Этот коренастый, не по годам расплывшийся человек был страшно потлив и всегда задыхался от жары. Я, как медсестра, обязана была вытирать ему пот. Слонообразный, с маленькими, бесцветными глазами, он тогда не вызывал во мне ни интереса, ни любопытства.

Однажды Уэда вдруг прижался к моему животу и сжал мне руку.

Я и теперь не знаю, почему я тогда согласилась. Наверное, подумала, что мне уже двадцать пять лет, а у Уэда хорошее место на Южно-Маньчжурской железной дороге. И еще, как ни стыдно в этом признаться, мне страшно хотелось ребенка. Не то чтобы от любого мужчины, но, на худой конец, можно было и от Уэда.

В больничном дворе до одурения трещали цикады. Руки Уэда были липкими от пота...

Его родители жили в Осака, и потому свадьбу сыграли в доме моего старшего брата на улице Якуинтё. Я и сейчас помню, как Уэда сидит на свадебном ужине в короткой визитке, взятой напрокат, и все время вытирает потную шею. Сразу же после свадьбы мы на пароходе отправились из Симоносеки в Дайрен* — Уэда отозвали из местного отделения компании в главную контору.

Этот пароход назывался «Мидори-мару», весь третий класс был забит колонистами; там воняло рыбьим жиром и соленой редькой.

Для меня, никогда не ездившей дальше Симоносеки, пересечь море и отправиться в незнакомое место, именуемое Квантунским краем, было настоящим событием. Вглядываясь в лица колонистов и их домочадцев, лежавших как попало между корзинок и чемоданов на палубе, застеленной тонкой кошмой, я начинала чувствовать себя одной из тех, кто, оставив родину, едет в далекие края на заработок. Эти люди, как только темнело, принимались во весь голос горланить военные песни. Я изнемогала от качки, а Уэда все приставал ко мне.

— Перестань, стыдно! — говорила я ему шепотом, стесняясь чужих глаз, и незаметно отталкивала его большие, волосатые руки.— Почему мы едем третьим классом? Ведь компания, наверно, оплачивает проезд?

— В Дайрене будут разные расходы, так что лучше приберечь деньги.

Потом он сузил свои крохотные, слоновьи глазки и оглядел меня всю, словно облизывая.

— Тошнит, говоришь? Но ведь не может быть, чтобы уже... Рано еще...

Целый день черное зыбкое море в иллюминаторе то вздымалось, то снова опадало. Наблюдая за ленивыми волнами, я с горечью думала: «Вот она, супружеская жизнь!..»

---

* Дайрен — город Дальний.

На четвертый день утром мы прибыли в Дайрен. Дождь стучал по крышам портовых складов. На пароход, под грубые окрики солдат, широко ступая, подымались тощие китайские кули с огромными мешками сои на плечах.

— Такие и рояль перетащат вдвоем,— смеясь сказал над моим ухом Уэда, когда я прижалась лицом к иллюминатору.

Повозки, запряженные длинноухими мулами, поджидали пассажиров на пристани.

— Это не мулы, а маньчжурские лошади,— самодовольно разъяснял мне по дороге Уэда, прослуживший в Дайрене четыре года.— Вот проспект Ямагата, а это проспект Ояма. Тут все главные улицы названы в честь наших генералов, воевавших с русскими.

— А с китайцами тут приходится общаться? — спросила я, тревожно сжимая потные пальцы Уэда и убеждая себя, что здесь у меня нет никого, на кого бы я могла положиться, никого, кроме этого человека.

Казенная квартира находилась рядом с храмом Дайрен-дзиндзя *. В этих краях зимы стоят холодные, и все дома строятся из камня. Наш одноэтажный дом, как и другие, был из серого кирпича. Обычная двухкомнатная квартира, печь вмонтирована в стену, что поначалу удивило меня.

Да и все в этом колониальном городе первое время казалось мне необычным: и ухоженные аллеи, и здания, построенные в русском стиле, отличали его от грязных японских городов. Военные и штатские, если только они были японцы, держались здесь уверенно и высокомерно.

— А где же живут китайцы? — спросила я как-то Уэда.

— На окраине,— засмеялся он.— Там такая грязища!.. А чесноком воняет так, что ты и двух шагов не пройдешь.

В отличие от Японии, где почти все продукты распределялись по карточкам, здесь их было много, и стоили они поразительно дешево. Каждое утро под окна приходили китайцы. «Госпожа,— кричали они,— есть свежая рыба, есть овощи!» Стоило только поторговаться, и они уступали, соглашаясь с той ценой, которую я называла. Помню, всего за десять сенов ** можно было купать пару омаров. Каждое утро, заглядывая в тетрадь домашних расходов, Уэда не забывал напомнить: «Смотри торгуйся, старайся купить подешевле».

Уже через два месяца я признала правоту мужа и поняла, что мне, как японке, прежде всего необходимо научиться соответствующим образом держать себя с китайцами. У нашего соседа-галантерейщика служил мальчик на побегушках, и я частенько слышала, как хозяин с женой ругают и бьют его. Первое время я пугалась, слыша их перебранки, но потом привыкла. Уэда говорил, что если китайца не лупить, так он сразу же обленится. И когда к нам три раза в неделю начала ходить прислуга-китаянка, я и сама стала бить ее по щекам по всякому поводу и без повода.

Красивый город, дешевизна продуктов, сравнительная обеспеченность радовали меня, и я уже думала, что люблю Уэда. И вот наступила зима. Благодаря печке в нашей квартире было тепло — не то что в японских домах, но на дворе, когда пришли декабрьские морозы, любая вещь, будь то мандарин или намокшие сандалии, превращалась в ледышку. Я и сейчас помню, как зимними вечерами ждала возвращения мужа, ссылавшегося на дела и часто запаздывавшего. А за окном — заснеженная улица и извозчик, щелкая кнутом, погоняет лошадь. Я была беременна, поэтому вечера проводила за шитьем детских вещей или заставляла китаянку массировать себя.

---

* Синтоистский храм в городе Дальнем.

** Мелкая денежная единица в Японии, равна 0,01 иены.

Я, глупая, и не подозревала, что Уэда ходит к официантке из японского ресторана «Ироха», находившегося на улице Наниватё. Первой мне сообщила об этом жена соседа-галантерейщика, но я поначалу возмутилась: «Не может этого быть!» Когда я об этом спросила мужа, он только улыбнулся, сузив глаза. Он улыбался, и мне не хотелось верить в его измену. А когда в постели Уэда ласкал меня, тело и подавно забывало обо всем, и я уже совсем не верила слухам.

В апреле, когда в Японии была уже весна, а в Дайрене все еще стояли холода и почерневший от копоти снег толстым слоем покрывал землю, я лежала в железнодорожной больнице и ждала ребенка. Я поверила мужу, который сказал мне, что родные японских служащих лечатся в этой больнице бесплатно, а потому лучше лечь туда пораньше. Тогда я думала только о ребенке и даже представить себе не могла, что, положив меня в больницу, Уэда тотчас приведет в дом другую женщину.

Даже сейчас, спустя много времени, я не могу без горечи вспоминать свои роды. Тот, кто прочтет эти записки, думаю, поймет, какая глубокая рана образовалась у меня в душе, когда я узнала, что никогда больше не смогу иметь детей. Младенец почему-то умер еще в утробе.

Я страстно хотела сына, и я уже придумала ему имя — Масуо. Мне не пришлось даже его увидеть. Я медсестра, я представляла, хотя и смутно, к чему могут привести роды мертвого ребенка. Я со слезами на глазах умоляла врача, но... чтобы спасти меня, пришлось удалить матку.

— Ничего страшного,— сказал Уэда, улыбаясь узкими слоновьими глазками.

Теперь я думаю, что он, должно быть, был рад, что ребенок родился мертвым,— со мной стало проще разделаться.

— Я спрашивал доктора, он говорит, что в остальном все в порядке. Ну, в этом самом... Да и лечение почти даром. Так что убытки небольшие.

Слушая Уэда, я поняла, что у него есть другая женщина. Жена галантерейщика говорила правду. Но, как это ни странно, ни гнева, ни ревности я не испытывала. Чувство собственной ущербности, какой-то опустошенности совершенно подавило меня. Когда до моего сознания дошло, что я никогда не смогу стать матерью и, значит, как женщина всю жизнь буду неполноценной, я словно окаменела.

Через месяц я выписалась из больницы. В Дайрене была уже весна. С ветки молодой ивы слетел легкий, как пушинка, цветок. Коснувшись потной шеи Уэда, он плавно опустился на чемодан, который несла прислуга-китаянка. Я кусала губы при мысли, что никому теперь мои пеленки и распашонки не пригодятся.

Через два года я рассталась с Уэда. Когда произошел разрыв, я, как все женщины, кричала и плакала, но об этих омерзительных днях моей жизни писать я здесь не буду. Это никому не интересно. Как ни странно, из тех двух лет почти нечего вспомнить. И сейчас, когда я стараюсь воскресить в памяти хоть что-нибудь, перед моими глазами всплывает толстое, потное тело Уэда, и я вижу, как он, беспокоясь о своем кровяном давлении, пьет коричневую микстуру под названием «Бергер». И это все... Внушив мне, что супружеская жизнь вредна для его здоровья, Уэда, возвращаясь домой за полночь, тут же заваливался в постель и начинал громко храпеть. Я, конечно, знала, что на самом деле из него силы выжимает официантка из ресторана «Ироха». В темноте его тяжелое горячее тело подкатывалось ко мне, но я отталкивала его... Что говорить о чувствах! Я и физического влечения к этому человеку уже не испытывала. И все же, несмотря на это, я прожила с ним целых два года. Думаю — из-за моей слабости да еще из-за стыда перед людьми. Очень уж не хотелось стать одной из многих несчастных, которых в

этом колониальном городе мужчины бросали на каждом шагу. И не было желания тащиться в Японию...

Расставшись с Уэда, я на палубе того же парохода «Мидори-мару» уехала из Дайрена. Так же, как и в день моего приезда, дождь лил на крыши портовых складов, и жандармы орали на кули, тащивших огромные мешки сои. Я подумала, что теперь никогда больше не увижу этого города, не услышу противных окриков, и почувствовала облегчение.

Когда я вернулась в город Ф., война уже была в разгаре, и, хотя город был переполнен военными и рабочими, здешняя жизнь отличалась от дайренской как небо от земли. Старший брат и его жена встретили меня неприветливо, да и у меня характер был неуживчивый. Вскоре я поселилась отдельно от семьи брата, решив снова поступить медсестрой в больницу. Я сняла за скромную цену комнату недалеко от институтской клиники.

За четыре года в больнице произошли большие перемены — врачи и средний медперсонал полностью сменились. Вся молодежь была мобилизована на фронт. В Дайрене я и представить себе не могла, что война вдруг так преобразит больницу. Поступив на работу, я узнала, что бывший заведующий первым хирургическим отделением Иноуэ умер и его место занял профессор Хасимото.

Расставшись с Уэда, я заранее готовила себя к худшему. Должна сказать прямо, мое вторичное поступление в клинику было для меня не очень-то приятным. Бывшие младшекурсницы теперь командовали мной. Я, конечно, знала, что за моей спиной обо мне сплетничают: как же, ее ведь муж бросил! С разрешения хозяина меблированных комнат я притащила к себе дворняжку, которую случайно подобрала на улице. Конечно, держать собаку в такое трудное время была недопустимая роскошь — мы сами ходили полуголодные,— но меня слишком угнетало одиночество, пустота жизни. Теперь ее заполнило хоть какое-то живое существо. Я назвала дворняжку Масу, в память о моем ребенке. Эта жалкая сука, пугливо забивавшаяся в угол, когда я ее ругала, и всегда напускавшая со страху лужу, стала для меня единственной привязанностью. Но часто, внезапно просыпаясь по ночам и слушая шум прибоя, я чувствовала невыносимую, леденящую тоску. Машинально я высовывала руку из-под одеяла и шарила по кровати. И поймав себя на том, что мне хотелось, чтобы рядом оказался Уэда, которого я должна была уже совсем забыть, я испытывала жгучий стыд. В такие минуты я очень хотела найти человека, который избавил бы меня от одиночества.

Мне противно писать что-либо похожее на оправдание, но вначале профессор Хасимото, этот молчаливый старик, не вызывал у меня никакого интереса, он был просто моим начальником — и только. Мне, медсестре, казалось, что эти большие люди — профессора, доценты — не только выше меня по своему положению, но что они и родились от людей иного сорта. И вот меня, простую сестру, своего рода прислугу при этих господах, привязала к профессору, как ни странно, его жена Гильда.

Когда профессор учился в Германии, Гильда тоже работала медсестрой. Помнится, в свое время мне даже рассказывали историю их любви.

Впервые я увидела Гильду недели через две после того, как поступила в больницу. У первого хирургического отделения внезапно появилась хорошо сложенная немка; она толкала велосипед, на котором висела огромная сетка. Сестры, сидевшие в дежурной комнате, сразу поднялись и засуетились. Я оглянулась и увидела коротко подстриженную иностранку в брюках. Она походила скорее на юношу, чем на женщину.

— Кто это? — озадаченная, спросила я молоденькую сестру Коно.

— А вы не знаете? — Она укоризненно посмотрела на меня.— Это же Гильда-сан, супруга профессора Хасимото.

Тем временем Гильда, вытащив из огромной сетки целлофановый пакет, протянула его ассистенту Асаи. Лицо Асаи растянулось в притворной улыбке. Крепким телосложением и ростом Гильда как-то подавляла его. Помахав рукой сестрам, она широким, мужским шагом направилась к двери.

В целлофановом пакете, оставленном Гильдой, оказалось печенье, что по тем временам было неслыханной роскошью, поэтому все наперебой протянули руки к пакету. Я тоже взяла одно.

Я жевала печенье и молча слушала, что говорят сестры о Гильде. Их возмущала слишком яркая помада на ее губах. Японка никогда бы такого себе не позволила.

— И вечно сияет,— сказал кто-то.— Печеньем угостит или трусы у больного из общей палаты постирает — и довольна страшно, гордится!

Сестры посмеивались над Гильдой из-за того, что всякий раз, приходя в больницу, она навещала больных общей палаты. Она аккуратно приходила три раза в месяц с большой сеткой и шла прямо туда. Собирала у самых бедных больных грязное белье, а в следующий приход приносила его выстиранным. Это был ее «жертвенный труд».

По правде говоря, ее милосердие нас, сестер, не трогало. Да и больных общей палаты, думаю, оно стесняло. Эта палата была забита стариками и старухами, у которых после бомбежки никого не осталось в живых; они терялись и робели только от одного того, что европейская дама заговаривала с ними. А когда Гильда вытаскивала из их ветхих корзинок и старых мешков грязное белье, несчастные стыдливо забивались в угол.

— Пожалуйста, не надо. Оставьте, как есть...

Самым нелепым было то, что Гильда, кажется, не подозревала, что больным стыдно и неловко. Широким, мужским шагом она расхаживала по больнице, раздавая печенье и набивая сетку грязным бельем.

Конечно, сейчас я пишу об этом не без ехидства, но тогда я еще не испытывала личной неприязни к Гильде. Как тут не растрогаться? Вот и сегодня Гильда вымыла горшок больной, находившейся на бесплатном лечении. «Подумать только — это делает европейская дама!» — умилялся ассистент Асаи. Мы, медсестры, ухмылялись: пусть себе тешится, раз ей делать нечего!.. Но не любить ее у нас, конечно, поводов не было.

Я обиделась на эту иностранку совершенно по другой причине. Однажды в сумерки я, закрыв лицо руками, сидела на ступеньках лесенки, выходившей во двор. Вспоминала железнодорожную больницу в Дайрене, свои неудачные роды...

Тут ко мне подбежал мальчик лет четырех. Лицо у него было японское, но волосы каштановые, и я догадалась, что это сынишка Гильды и Хасимото. Как свинцом, мою грудь сдавила мысль, что если бы мой ребенок не умер, ему сейчас было бы тоже четыре. Я невольно протянула руки к мальчику.

— Не прикасайтесь к нему,— внезапно раздался над моей головой строгий женский голос.

Прямая, как струна, возле меня вытянулась Гильда с ярко накрашенными губами. Словно собаке, она свистнула ребенку, подзывая его к себе.

Но мальчик не послушался и, посматривая на мать, колебался. А мы с Гильдой неприязненно уставились друг на друга. Почему мне тогда стало так тяжело? Вероятно, нахлынули воспоминания о злосчастных родах, отнявших у меня счастье материнства. И я, брошенная женщина, не способная рожать, почувствовала жгучую зависть к этой счастливой жене и матери.

— Простите, пожалуйста,— сказала Гильда на чистом японском языке, беря ребенка на руки.— Вы же знаете, как легко дети заража-

ются туберкулезом. Я и то, уходя из больницы, всегда мою спиртом руки.

В этот вечер, запершись в своей комнатке, я почувствовала себя еще более одинокой, чем прежде. Кормя Масу, я увидела у нее на брюхе кровь и, выйдя из себя, замахнулась. Собака, сжавшись в комок, покорно глядела на меня, но я не выдержала и несколько раз ударила ее по голове. Потом разрыдалась.

Я внезапно почувствовала интерес к профессору Хасимото, но уже не как к начальнику, а как к мужу Гильды. Когда этот старик, засунув руки в карманы, проходил мимо сестер, выстроившихся у палат, я видела даже едва заметное желтое пятнышко от табака на его халате. Волосы профессора уже побелели. Морщинистое, усталое лицо, дряблые щеки. Любит ли его молодая, здоровая Гильда-сан? Когда его пальцы касались груди больного, я представляла себе, как они ласкают Гильду. И я испытывала даже радость, обнаружив, что на манжете профессора не хватает пуговицы,— ведь я замечала то, что упустила его жена, Гильда.

Война становилась все ожесточеннее, но я жила в нескольких километрах от города, поэтому пока уберегласъ от бомбежки. А город уже наполовину сгорел. Брат, живший раньше на улице Якуинтё, с полгода назад эвакуировался в Итодзима, но мне и в голову не приходило съездить к нему. Да и он не приезжал ко мне. Я узнала, что Уэда из Дайрена переведен в Харбин, но и от него тоже не было никаких вестей. Настало такое время, когда связи между людьми ничего уже не значили. Я, всеми забытая, одинокая, не интересовалась ходом войны, не читала газет, потому что, сказать по правде, мне было совершенно безразлично, выиграет или проиграет войну моя страна. Шум моря, который я слышала, просыпаясь по ночам, в последнее время еще больше действовал на меня. Когда я в темноте напрягала слух, мне казалось, что вчера этот шум был сильнее, чем позавчера, а сегодня сильнее, чем вчера. Только в эти минуты я думала о войне. Мрачный, похожий на барабанный бой, рокот с каждой минутой нарастал, и мне казалось, что мы вместе со всеми нашими островами летим в какую-то черную, бездонную пропасть.

Ну и пусть летим, наплевать! В больнице смертность возросла, особенно среди туберкулезников. В общей палате не проходило и двух недель, чтобы кто-нибудь не умер. Ведь главное при туберкулезе — питание, а у этих бедняг не было денег, чтобы на черном рынке раздобыть еду. Люди умирали, а их койки занимали другие — больных поступало куда больше, чем имелось свободных мест.

Меня, как новенькую, приставили к общей палате, но я вовсе не жаждала уподобляться Гильде и помогать лежавшим там людям. Я только исполняла свои обязанности. По-видимому, это проистекало из моего убеждения: помогай не помогай — всех поглотит угрюмое, черное море. Наверно, и стычка с Гильдой произошла по той же причине.

В тот день должны были делать операцию молодой даме, лежавшей в отдельной палате. В дежурной комнате осталась только я одна. Так что, когда пришла Гильда, ее, вопреки обыкновению, даже никто не встретил. Я сидела и разбирала анализы.

— Пожалуйста, сестра, можно вас на минуточку,— сказал, просовывая голову в дверь, старик из общей палаты.— Маэбаси очень плохо.

— А что такое?

— Уж очень она мучается.

Когда я пришла в общую палату, женщина, которую звали Маэбаси, металась по постели, широко раскрыв глаза и царапая грудь. Даже мне, медсестре, было ясно, что у больной спонтанный пневмоторакс. Ей нужна была немедленная помощь.

Я вошла в лабораторию, но и ассистент Асаи, и Тода, и Сугуро — все находились на операции. Свободен был только Сибата. Но его я не нашла. А если быстро не удалить воздух, Маэбаси задохнется. И я тут же позвонила в операционную.

— Асаи-сэнсэй у вас? — скороговоркой спросила я у сестры Коно, подошедшей к телефону.— У больной Маэбаси спонтанный пневмоторакс.

В трубке послышался звук чьих-то шагов. Мне это показалось странным — ведь обычно во время операции стоит гробовая тишина.

— Что это там у вас приключилось? — раздался наконец недовольный голос Асаи.

— У Маэбаси из общей палаты спонтанный пневмоторакс.

— Я ничего не могу поделать, нам некогда. Оставьте, пусть...

— Но больная очень мучается.

— Ведь она все равно безнадежная. Дайте ей наркоз...

Что еще сказал Асаи, я не расслышала. Потом он бросил трубку. «Сделать наркоз, сделать наркоз»,— мысленно повторяла я.

«Ведь она все равно безнадежная»,— так он сказал... Лучи заходящего солнца проникали через оконные стекла в лабораторию, на столе лежал толстый слой белой пыли. Взяв прокаин и шприц, я направилась в общую палату. Там я увидела Гильду. Она стояла, схватившись за перекладину кровати Маэбаси.

— Сестра, принесите скорей аппарат для поддувания! — крикнула она мне.

Гильда с одного взгляда поняла, что у больной,— ведь когда-то у себя, в Германии, она работала медсестрой. Внезапно она увидала пузырек с прокаином и шприц. Гильда изменилась в лице, резко оттолкнула меня, словно хотела ударить, и побежала за аппаратом.

Чувствуя косые взгляды больных, я собрала осколки вдребезги разбитого пузырька и вернулась в дежурную комнату. За окном пылало заходящее солнце; оно было таким же большим и багровым, как тогда, над больницей в Дайрене.

— Почему вы хотели сделать ей укол? — пристала ко мне Гильда, заслонив вход в дежурную комнату и по-мужски скрестив руки на груди.— Решили убить, да?

— Но...— не подымая глаз от пола, растерянно пробормотала я,— ведь она все равно обречена. Такая смерть более милосердна.

— Если даже точно известно, что человек умрет, убивать его никто не имеет права. Бога вы не боитесь, вот что! Не верите в его кару...

И Гильда крепко стукнула кулаком по столу. От ее блузки шел аромат душистого мыла, которого и в помине не было у нас, японцев. Таким мылом Гильда стирала белье больных из общей палаты. Мне почему-то стало смешно. Может, из-за стирки рука Гильды, которой она ударила по столу, казалась жесткой, как деревяшка? Наверное, из-за стирки. Я никогда не думала, что у белых такая некрасивая кожа. Один этот бледный золотистый пушок чего стоит! Сначала мне было смешно, а потом просто надоело ее слушать. Грозный, как бой барабана, рокот ночного моря снова послышался мне.

В эту ночь было мое дежурство. Когда на рассвете я вышла из больницы и направилась домой, мне неожиданно встретился Асаи, разгуливавший по двору.

— Ну как операция, сэнсэй?

— Кто это? Кто?.. А, это ты?.. — запинаясь, протянул он.

Как же упился этот щеголь! Даже очки сползли с носа.

— Убили.

— Убили?

— От родных пока скрываем. Да, руки у старика уже не те! Теперь профессор Кэндо запросто его побьет. И на моей карьере, кажется, надо поставить крест...

Асаи пошатнулся, оперся на мое плечо и дохнул на меня винным перегаром.

— Где живешь-то? Пойдем, провожу.

— Тут, рядом.

— А к тебе можно?

Асаи заночевал у меня. Мне было все равно.

— Ты, оказывается, держишь собаку. Гильда тоже держит. Н-да, Гильда... Что, она и сегодня тут командовала?

— Сэнсэй, вы же ее так уважаете...

— Какое там! Просто думаю разок переспать с белой бабой.

— Интересно, как профессор с ней держится?

— Н-да, она, верно, бешеная. Все эти святые блондиночки такие... А бедрами как виляет, обрати внимание. Послушай, а что ты не соблазнишь нашего старика? Наставила бы рога этой Гильде...

Ни радости, ни волнения не испытывала я от ласк Асаи. Когда он обнимал меня, я, закрыв глаза, думала о том, как профессор рассказывает Гильде о смерти больной на операционном столе. Я вспоминала белые руки, покрытые пушком, запах мыла и испытывала злорадство.

Встретившись на следующий день в лаборатории с Асаи, я удивилась той холодной невозмутимости, с какой он окликнул меня.

— Что ты хотела сделать больной из общей палаты?

— Из общей палаты?

— Да, у которой возник спонтанный пневмоторакс. Сейчас звонила Гильда, требует, чтобы тебя уволили.

— Я только... как вы сказали.

— Я ничего тебе не говорил!

Я посмотрела на него в упор, и он, блеснув очками, отвел глаза. А ведь минувшей ночью этот мужчина мучил меня своими настойчивыми ласками!

— Значит, меня уволят?

— Никто тебе этого не говорит.— Лицо Асаи растянулось в обычной для него притворной улыбке.— Но фрау Гильда может поднять скандал. Не лучше ли тебе с месяц отдохнуть от работы? Как ты думаешь? Я за это время все улажу.

Вернувшись вечером домой, я не нашла Масу. Спросила хозяина, он лишь покачал головой. В последние месяцы все так изголодались, что даже собак стали есть. Видно, кто-то без меня и увел Масу... Устроившись на пороге, я с полчаса сидела молча. «А, будь что будет! Наплевать!» — подумала я. Асаи, конечно, тоже хорош, но сейчас я люто ненавидела Гильду, посмевшую позвонить и потребовать моего увольнения. Эта немка даже не замечает, насколько тяготят больных ее посещения. Кривляется, святоша! Ну и пусть, пусть она и мать, и святая, а я урод, калека, уличная девка! Мне все равно, даже Масу бросила меня и убежала куда-то.

Тягостно было целый месяц не ходить в больницу и сидеть дома. За работой забывался Дайрен, неудачные роды... Но когда, томясь от безделья, валяешься в постели, память возвращает тебя в тот город, к Уэда, к мертвому ребенку... Хоть бы Уэда разок увидеть, и то не так тяжело было бы!

В один из таких вечеров пришел Асаи.

— Поговорить надо.

— Что, увольняют?

— Да нет,— каким-то сухим голосом ответил он, усаживаясь на циновку.— Дело куда более серьезное...

— Какое еще там серьезное, раз уволили.

— В том-то и штука, что тебе надо вернуться в больницу.

— Разве это уже возможно?

Тогда он мне и рассказал о намеченных «опытах» над военнопленными.

— Все участники уже подобраны,— сказал он,— это старик и Сибата, Тода и Сугуро, только вот сестры нет...

— Поэтому вы ко мне и пришли? — Я истерически захохотала.

— Ты понимаешь, во имя родины! Их все равно приговорили к смертной казни, а тут они послужат науке.— И Асаи смущенно усмехнулся: видно, он сам не верил этим доводам.— Ты ведь не откажешься?

— Хорошо. Только я соглашаюсь не ради родины и не ради вашей науки.

Мне было абсолютно все равно, победит Япония или потерпит поражение. Прогресс медицинской науки меня тоже мало волновал.

— А интересно, Хасимото-сан рассказал об этом Гильде?

— Ты в своем уме? Брось шутить! Смотри, никому ни слова.

Вспомнив, как тогда Гильда кричала на меня, говоря о божьей каре, я улыбнулась. Это была улыбка победителя. Гильда не знает, что собирается делать ее муж. А я знаю...

— Да, профессор, конечно, не может рассказать об этом Гильде, ведь она вроде бы святая...

Лежа с открытыми глазами в объятиях Асаи, я слушала похожий на барабанный бой рокот моря. В памяти опять ожили: аромат ее мыла, ее руки с белесым пушком. Я со злорадством представила, как в такое же белое тело вонзается скальпель.

— Интересно, трудно резать тело белых?

— Глупости, какая разница, белый или японец? — пробормотал Асаи, поворачиваясь на другой бок.

А я с грустью подумала: не роди я тогда в Дайрене мертвого ребенка, никогда бы не рассталась с Уэда, да и вся моя жизнь сложилась бы по-другому...

II. Студент-медик

В 1935 году в начальной школе на восточной окраине города Кобэ я, пожалуй, был единственным учеником с длинными волосами.

Теперь эта окраина сплошь застроена, но тогда у школы тянулись грядки с луком и стояли крестьянские дома, а под окнами со свистом проносилась электричка. Большинство школьников были детьми крестьян, и среди них не встречалось ни одного с длинными волосами, как у меня. Среди этих наголо стриженных ребят с искусственными плешами величиной с медяк, попадались и такие, что ходили в школу с младенцем за спиной. Когда во время урока младенцы просились по малой нужде или просто начинали реветь, молодой учитель растерянно говорил: «Иди успокой» — и показывал ученику на дверь.

В отличие от токийских школ здесь учитель называл учеников просто по имени: Масару, Цутому без добавления приставки «кун». Лишь меня одного он звал всегда Тода-кун. И мои одноклассники не видели в этом ничего странного. Приставка просто говорила о том, что я не крестьянский сын. Мой отец был врачом-терапевтом, практиковавшим в том же районе. По-видимому, у молодого учителя, только что окончившего педагогическое училище и ходившего в своем неизменном сюртуке, профессия отца вызывала уважение. К тому же в моем дневнике с первого класса стояли одни пятерки. Я хоть и не отличался крепким здо-

ровьем, но был единственным учеником в школе, которого в будущем ждал университет.

Каждый год мне давали главную роль в школьном спектакле, на выставках рисунков учащихся мои неизменно отмечались грамотой; может быть, поэтому я и начал бессознательно надувать взрослых. Взрослыми были учителя, а также отец и мать. Я быстро научился читать по их взглядам, как нужно поступать, чтобы их обрадовать и заслужить похвалу, и, смотря по обстоятельствам, прикидывался наивным или изображал умницу — и то и другое я делал без малейших усилий. Инстинктивно я чувствовал, что взрослые ценят во мне две вещи: душевную чистоту и способности. Быть слишком уж хорошим тоже нельзя, так же как и слишком умным,— это может показаться подозрительным. Но если и то и другое проявлять в меру, успех обеспечен.

Сейчас, вспоминая все это, я не считаю, что отличался в детстве особым умом. Но припомните свое детство. Все дети, хоть сколько-нибудь способные, обладают известной долей хитрости. Снискав благодаря этому любовь и внимание взрослых, они начинают искренне верить, что они очень хорошие.

В пятом классе в первый день учебного года учитель представил нам нового ученика. Это был щуплый, низкорослый мальчик в очках, с забинтованной шеей. Боязливо, как девочка, он стоял перед учителем, потупив глаза и глядя в одну точку.

— Ну, ребята,— весело сказал молодой учитель в пожелтевших спортивных брюках,— это ваш новый товарищ, его перевели к нам из токийской школы. Думаю, вы с ним подружитесь.— Учитель написал на доске: «Минору Вакабаяси».— Это его имя.

По классу прошел шумок. Кое-кто украдкой покосился на меня. Ведь этот мальчик, по имени Минору, носил такие же длинные волосы, как и я. Я наблюдал за ним с чувством недоброжелательства и даже враждебности. Поправляя спускающиеся на нос очки, он исподлобья посматривал на нас и тут же опять опускал глаза.

— Все, надеюсь, написали сочинение о том, как провели лето? — спросил учитель. — Вакабаяси-кун, садись вон за ту парту и слушай. Первым будешь читать ты, Тода-кун.

То, что учитель назвал новичка Вакабаяси-кун, задело мое самолюбие. До сих пор в нашем классе только я один пользовался этой привилегией.

Я поднялся и начал читать. Обычно такое чтение было моим коньком. Мои сочинения считались образцовыми, тут я мог вовсю потешить мое тщеславие, но на сей раз на душе было тревожно. Я, не отрываясь, смотрел на новичка, усевшегося наискосок от меня. Он пришел из токийской школы, носит длинные волосы и одет в щеголеватый костюм с белым воротничком. «Ничего, не поддамся»,— пробормотал я про себя.

В моих сочинениях всегда были одно-два «трогательных» места. Они специально предназначались для преподавателя. Он неизменно умилялся моей добротой, юношеской чистотой и другими похвальными качествами, которые так и выпирали из моих сочинений. Недаром настольной книгой преподавателя был сборник нравоучительных рассказов Судзуки Миэкити «Красная птица», которые он нам с превеликой охотой читал.

— «Как-то в середине лета я узнал, что Кимура болел, и тут же решил пойти его проведать»,— проникновенно стал я читать, стоя перед всем классом.

Это было правдой. Но дальше я присочинил то, чего не было,— описал, как несу больному Кимура коллекцию бабочек, которую с таким трудом собрал:

— «И вот, когда я зашагал через луковые грядки, мне вдруг стало жаль отдавать эту коллекцию. Меня несколько раз подмывало вернуться

домой, но я все же пошел к товарищу и облегченно вздохнул, увидев его довольное лицо».

— Прекрасно,— удовлетворенно улыбаясь, сказал учитель, когда я кончил читать, и оглядел учеников.— Понимаете, что хорошо в сочинении Тода-куна? Кто понял, поднимите руки.

Несколько ребят неуверенно подняли руки. А я уже догадывался, что́ они ответят и что́ скажет учитель. Я действительно отнес Кимура коллекцию бабочек. Но вовсе не из сочувствия. Правдой было и то, что я шел по огороду, где трещали цикады. Но мне совершенно не жаль было коллекцию. Отец мне купил целых три, их все равно некуда было ставить. Нечего и говорить, Кимура, конечно, обрадовался. Но это отнюдь не умилило меня. Я только подумал, как бедно живет Кимура, и мысленно сравнил его жалкую лачугу с нашим благоустроенным домом.

— Акира, попробуй ты ответить.

— Хорошо, что Тода-кун подарил коллекцию... дорогую для него коллекцию подарил Кимура. Это хороший поступок.

— Это, конечно, похвально. Но главное здесь — другое,— сказал учитель и, повернувшись к доске, крупно написал мелом: «ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ».— Помните, ребята, Тода-кун честно пишет о том, что ему стало жалко отдавать коллекцию. Обычно вы кривите душой в сочинениях. А вот Тода-кун чистосердечно описывает свои чувства. Это очень приятно.

Я смотрел на крупно начертанные на доске иероглифы «ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ». Из соседнего класса доносились сиплые звуки фисгармонии. Девочки пели хором что-то заунывное. Я не чувствовал, что обманул и ребят и учителя. Ведь я привык к этому, так было всегда и дома и в школе, недаром я считался первым учеником и пай-мальчиком.

Я украдкой взглянул на новичка. Он напряженно смотрел на доску, но, почувствовав мой взгляд, повернулся и тоже уставился на меня. Несколько секунд мы пытливо разглядывали друг друга. Вдруг его лицо порозовело, а по губам пробежала тонкая усмешка. «Всех ты провел, но я-то не дурак,— говорила эта усмешка.— И коллекция твоя и все твои нюни гроша ломаного не стоят. Вранье все это. Взрослых ты еще можешь одурачить, но меня не проведешь».

Я отвел глаза и почувствовал, как у меня краснеют уши. Сиплые звуки фисгармонии смолкли, и голоса девочек стихли. Мне показалось, что иероглифы на доске дрожат и прыгают.

С этого дня бастион моей самоуверенности начал понемногу рушиться. И в классе и на школьном дворе, если только Минору был поблизости, я чувствовал себя стесненно, словно он знал обо мне что-то нехорошее, постыдное. Я не стал учиться хуже, но теперь, когда учитель хвалил меня при всем классе, когда мои рисунки вывешивали на стену или когда ребята выбирали меня старостой, я невольно украдкой поглядывал на Минору.

Я боялся его проницательных глаз, но сейчас, оценивая все издалека, должен признать, что они ни в коем случае не были осуждающими глазами или глазами совести. Просто мы были молчаливыми сообщниками, знающими одну и ту же тайну и видящими друг друга насквозь. И я чувствовал не укоры совести, а стыд, что меня разоблачили.

Этот мальчик ни с кем не играл. На переменах, когда ребята носились по двору, он, прислонившись к качелям, молча наблюдал за происходящим. На уроках гимнастики он тоже стоял в сторонке, так как получил освобождение от занятий. И даже когда ребята заговаривали с ним, он отвечал односложно: «Нет, не хочу» или: «Угу». Когда же все убедились, что этот бледнолицый, похожий на девчонку мальчик в городском костюме с длинными, как у меня, волосами в общем-то тюфяк, да

и учится не ахти как, начали открыто помыкать им. И я перестал его бояться и робеть перед ним.

Мои одноклассники — сыновья крестьян — начали потешаться над Минору. Однажды, убрав класс после уроков, я вышел во двор, собираясь идти домой, как вдруг увидел, что на спортивной площадке Масару и Сусуму тащат Вакабаяси по песку за волосы. Сначала он пытался сопротивляться, на минуту даже поднялся, но очень быстро отказался от борьбы, и его тут же опять повалили. Я с удовольствием наблюдал за этой сценой. Мне и в голову не пришло заступиться за Вакабаяси. Напротив, я со злорадством думал: «Ну и поделом! Тебя еще не так стоит проучить».

Так бы, наверно, я и стоял, посмеиваясь, если бы не заметил в окно учителя, шедшего по коридору. Мгновенно сообразив, что он направляется на спортплощадку, я опрометью бросился разнимать дерущихся.

— А ну, прекратите это безобразие! — во весь голос крикнул я, отлично сознавая, что учитель видит эту сцену.— Масару, не обижай новичка! Смотри, нарвешься на учителя!

Мальчишки обернулись и, увидев учителя, смущенно покраснели, но их жертва продолжала лежать на песке.

— Вакабаяси-кун, что с тобой? — спросил я, подойдя к нему.

Мальчик поднял глаза, в лучах заходящего солнца на лице его засверкали песчинки. Поодаль валялись очки с погнувшейся оправой. Когда я хотел стереть с его лица песок, Вакабаяси резко отстранил мою руку и брезгливо поморщился.

— Отстань, я же к тебе не пристаю...

Моя правая рука сама сжалась в кулак, но я знал, что учитель стоит рядом.

— Опять ты, Масару,— укоризненно проговорил учитель.

— Да вот Масару пристал к Вакабаяси-куну...— Я запнулся, словно мне было очень трудно говорить.— Я сразу подбежал разнять их, но...

Пока я вел обычную игру, Вакабаяси, залитый лучами заходящего солнца, смотрел не на учителя и не на меня, а куда-то в сторону. Я впервые увидел его глаза без очков и поразился — они словно читали все мои мысли.

— И не стыдно вам? — покачал головой учитель.— Масару, Сусуму, вы хоть бы с вашего старосты брали пример.

Старостой был я. Пока учитель корил ребят, Вакабаяси, стряхнув с лица песок и подобрав кирзовый портфель, ушел, словно все случившееся нисколько его не касалось.

Весной следующего года Вакабаяси перевели в другую школу. Так же, как в первый день, наш учитель поставил его у своего стола. И так же, как в тот день, взяв в руки мел, написал на доске: «ЕСИМАСА».

— Е-СИ-МА-СА. Ну-ка, Томио, чем примечателен этот город?

— Там добывают медь.

— Правильно, медь. Вот не успели вы подружиться, а Вакабаяси-кун уже переезжает по семейным обстоятельствам в Есимаса. Сегодня он с нами последний день.

В таких случаях учитель внезапно добреет. Я представил себе город, куда едет Вакабаяси. Я знал, что город этот окружают голые холмы, а небо там покрыто черной копотью от труб. Вакабаяси стоял неподвижно, потупив глаза. И сегодня, как в первый день, его шея была обмотана бинтом.

— Тода-кун, попрощайся от имени класса,— сказал учитель.

— До свиданья, Вакабаяси-кун!

Он молчал. И лишь, выходя из класса, на мгновение обернулся — по его губам пробежала едва заметная усмешка.

С этого дня я забыл про него. Во всяком случае, старался забыть. Теперь парта Вакабаяси пустовала. Вскоре сторож куда-то убрал ее. У меня словно гора с плеч свалилась, исчезли страх, настороженность. Я снова блаженствовал в звании первого ученика, читал во весь голос свои сочинения и получал похвальные грамоты.

Снова наступило лето. Однажды в жаркий полдень я один шагал по луковым огородам. В траве оглушительно трещали цикады, по пыльной дороге торговец эскимо тащил свою тележку.

И вдруг я вспомнил сочинение, которое написал в прошлые летние каникулы. Сочинение, в котором рассказывалось о том, как я навестил Кимура и подарил ему коллекцию бабочек. Оно было написано специально, чтобы растрогать учителя, с явным подражанием «Красной птице». И эту тайну знал только мальчик, которого звали Вакабаяси.

Я бегом помчался домой. Отыскал авторучку, которой дорожил больше всего. Отец купил ее в Германии и подарил мне. Сунув авторучку в карман, я опрометью побежал к Кимура.

— На. Я дарю ее тебе.

— Зачем? — Кимура стоял у коровника, растерянно поглядывая то на мое вспотевшее лицо, то на авторучку.

— Просто так.

— Гм... Ну, тогда давай.

— Только смотри, никому ни слова, что тебе подарил эту ручку я. Ни родителям, ни учителю, понял?

Возвращаясь домой, я с облегчением почувствовал, что наконец-то освободился от гнетущего стыда, который вот уже полгода мучил меня, освободился от презрительной усмешки бледнолицего Вакабаяси. А в траве по-прежнему до одури трещали цикады, торговец эскимо, остановившись на краю дороги, неторопливо мочился... Но я не избавился от опустошенности. Не было ни радости от того, что я совершил добрый поступок, ни даже крохотного удовлетворения.

Воспоминания детства сохранились, наверное, не только у меня. У вас ведь тоже есть что-нибудь подобное. А в памяти встают дальнейшие события.

Я поступил в гимназию Н. в районе Асия. Тут все было подчинено тому, чтобы как можно большее число учеников поступало в высшие учебные заведения. Поэтому все пять лет нас, нарядив в форму цвета хаки, ежедневно свирепо натаскивали к приемным экзаменам и гоняли на военных занятиях. Гимназисты, в зависимости от успеваемости, были разбиты на классы: «А», «Б» и «В». Мы, как заключенные, носили на груди нашивку с классной буквой.

В этой гимназии я стал обыкновенным и незаметным учеником класса «Б». Не моя леность была тому причиной. Я очень скоро понял, что это не начальная школа, здесь все учащиеся были из той же среды, что и я, и не хуже меня наловчились надувать преподавателей. Мой отец был врачом, и я тоже решил посвятить себя этой профессии. Но не потому, что испытывал к ней влечение или мечтал стать ученым. Просто я с детства уверовал, что профессия врача — одна из самых выгодных. Тут уж никогда без куска хлеба не останешься. К тому же отец говорил, что студенты-медики пользуются льготами при прохождении военной службы.

В гимназии больше всего я любил уроки естествознания. Еще в начальной школе я стал коллекционировать бабочек, а в гимназии продолжал ловить и собирать насекомых; поймав бабочку, я клал ее в пахнущую нафталином коробку и любовался своей добычей.

Учителя естествознания мы прозвали Окодзэ*, очень уж он был

* Небольшая морская рыба с крупной головой, из семейства остроплавниковых.

широкоскулый и пучеглазый, совсем как эта рыба. Он являлся на занятия в пузырящихся на коленях брюках и жеваном пиджаке и, моргая своими круглыми навыкате глазами, рассказывал ученикам, как он всю жизнь собирает насекомых, обитающих на горе Рокугодзан. Впервые он пришел к нам, когда я был в четвертом классе. Как-то, рассказав о разновидностях бабочек, встречающихся в районе Хансин, он притащил маленькую стеклянную коробку, обернутую в фуросики *.

— А эту я поймал прошлым летом в верховьях реки Асиягава,— сказал он и, довольно оглядев всех, высоко поднял стеклянную коробку.

Никогда еще я не видел такой удивительной бабочки. И ее большие крылья, похожие на натянутый лук, и мягкое пухлое брюшко были совершенно серебряными. И только тонкие шелковистые усики — белыми. Я почему-то сразу представил прекрасную, юную танцовщицу с белой короной на голове, всю в серебряной пудре, готовую взлететь в грациозном прыжке.

— Наверно, гибрид. Но и для гибрида редкий экземпляр. Доктор Ямагути из Киото просит уступить эту красавицу ему, но мне жалко с ней расставаться.

Окодзэ улыбнулся и любовно погладил крышку стеклянной коробочки.

Эта бабочка настолько завладела моим воображением, что я весь день не мог думать ни о чем другом. Замирая от наслаждения, я представлял себе, как вонзаю иглу в ее мягкое серебряное брюшко.

После занятий я, как обычно, вышел вместе с товарищами из гимназии и, когда уже был на улице, внезапно вспомнил, что забыл в классе коробку из-под завтрака. Когда я вернулся в опустевший класс, лучи заходящего солнца желтыми струями текли по партам и полу. В коридоре тоже не было никого. Неожиданно ноги привели меня к кабинету естествознания. Я толкнул дверь — не заперта. До чего же удачно все складывается! В маленькой комнате, пропахшей нафталином, на застекленных полках освещенные лучами заходящего солнца лежали различные минералы и коробки с листьями растений.

На одной из полок я нашел черный фуросики Окодзэ. Я развернул платок, бросил его на пол и мигом сунул маленькую коробочку в брезентовый ранец. Я осторожно открыл дверь и вышел в коридор. Меня никто не видел.

Войдя на следующий день в класс, я заметил, что ребята о чем-то перешептываются.

— У Окодзэ бабочку стащили.

— Да? Кто?

Почувствовав, как мое лицо заливается краской, я отвел глаза.

— Вор уже пойман: стащил Ямагути из класса «В». Сторож видел, как вчера после уроков он выходил из кабинета естествознания.

Я вспомнил обезьянье лицо этого Ямагути. Он учился в отстающей группе. Среди гимназистов всегда объявляется какой-нибудь фигляр, скоморох, и в нашей гимназии Ямагути взял эту роль на себя.

— А он вернул бабочку?

— Нет. Говорит, потерял. Вот олух!

— И вправду дурак!

Целый день жалкая фигура Ямагути маячила на спортплощадке: он был наказан и стоял там по команде «смирно». Я не мог смотреть на него, настолько мне было не по себе! Еще бы! Ведь это я должен был там стоять. Непонятно одно: почему Ямагути взял вину на себя? Уже после полудня посеревший от усталости Ямагути понуро опустил плечи: видно, ему уже было невмоготу.

---

* Специальный платок, в котором носят в Японии мелкие вещи.

«Ну и пусть стоит! Поделом! Раз совался в кабинет — значит, хотел что-нибудь стащить,— убеждал я себя, чтобы заглушить угрызения совести.— Дурак, вот и мучается! Был бы поумнее, выкрутился бы».

Вернувшись домой, я вынул бабочку из коробки и сжег ее во дворе. Крылья мгновенно вспыхнули, словно бумажные, и с них осыпалась серебряная пыльца. Ветер тут же развеял прах. Ночью у меня внезапно разболелся зуб, а во сне часто являлась сгорбленная фигура Ямагути.

На следующий день я пошел в гимназию, прижимая руку к опухшей щеке. Увидев впереди Ямагути, разговаривающего с приятелями, я невольно замедлил шаг.

— Ну и отличился ты! — донесся до меня голос одного из гимназистов.

За один день Ямагути превратился в героя. Размахивая руками, он самодовольно говорил:

— Вот потеха! Этот Окодзэ чуть не разревелся...

— А куда ты дел бабочку?

— Бабочку! Да ну ее! В канаву выкинул...

Услышав этот разговор, я сразу успокоился. От моей тревоги и мучительных угрызений совести не осталось и следа. Даже зубная боль почти прошла. Знай я, что так получится, никогда бы не сжег бабочки. Все стало на свои места. Я старательно записывал за учителем его слова, а на уроке гимнастики очень переживал, что забыл дома трусы.

Какой толк продолжать перечислять аналогичные случаи? Стоит только копнуть поглубже мое детство и юность, эти случаи предстанут в великом множестве, отличаясь лишь степенью подлости. Поэтому я вспомнил только о двух.

И все же очень долго я не склонен был считать себя человеком бессовестным. Угрызения совести? Нет, я их не испытывал с детства, я боялся лишь наказания. Разумеется, я не кичился своим благородством и был убежден, что окружающие, на поверку, ничем не лучше меня. Мне просто везло — ведь за мои проступки меня никогда не наказывали и не осуждали.

Например, существует преступление, именуемое прелюбодеянием. Я совершил его пять лет назад, когда учился на естественном факультете в Нанива. И вот живу же я, не мучаясь угрызениями совести, и никто меня за это не презирает. Или другое — ежедневно я хожу по палатам и осматриваю больных. Никогда я не испытываю к ним ни жалости, ни сочувствия, но, несмотря на это, принимаю как должное их доверие и почтительное обращение «сэнсэй».

Совершив прелюбодеяние, я не почувствовал, что поступил бесчестно. Правда, мне было не по себе, как-то неловко и противно... Но все это сразу исчезло, как только я понял, что посторонние не разнюхали мою тайну. И угрызения совести мучали меня недолго — самое большее месяц. В недозволенную связь вступил я с кузиной. Теперь она мать двоих детей, так что не стоит упоминать ее имя. Да и останавливаться на этом особенно подробно тоже ни к чему. Кузина была лет на пять старше меня и в гимназические годы находилась на попечении нашей семьи. Она часто вспоминала те годы, но для меня они бесследно исчезли, словно никогда ничего и не было. Я помню только, что тогда у кузины за спиной болтались две тугие косы, а когда она улыбалась, обнажались белые зубы и на правой щеке появлялась ямочка. Сразу по окончании гимназии она вышла замуж, и мы долго не виделись. Муж ее окончил частную школу в Осака и служил в торговой фирме.

Как-то в студенческие годы, во время летних каникул, я, не знаю даже почему, захотел вдруг съездить к ней в Оцу. Увидев кузину, я был разочарован. За несколько лет она превратилась в замученную домашними делами, поблекшую женщину. Ведь совсем недавно она вышла

замуж, а у нее на лице уже лежала печать усталости от житейских невзгод. В тесном, сумрачном доме, возможно из-за близости озера, было сыро и вечно несло из уборной. Муж кузины оказался бесцветным, апатичным служащим с запавшими глазами. От нечего делать я днем купался, а вечерами, изнемогая от противокомариных курений, почитывал прошлогодние журналы да еще изредка заглядывал в учебник математики, который прихватил с собой. Через фусума * до меня доносились ежевечерние перебранки супругов. Кузина вечно нападала на неудачливого мужа.

— Куда это годится? Уволиться-то просто, а попробуй потом устройся...

— Потише, попридержи язык,— увещевал ее муж.— Ведь услышать может...

Они могли браниться часами, потом, поостыв, не спеша пили чай.

— Господи, до чего тошно!..— тяжело вздыхая, говорила кузина на следующий день, когда муж уходил на службу. Она усаживалась на циновку и, вытянув ноги, принималась поправлять волосы на затылке.— Женщина должна выходить замуж за мужчину, который окончил государственный университет.

— Но он, кажется, неплохой человек,— проговорил я, притворяясь непонимающим.

Произошло это накануне моего отъезда. В ту ночь муж кузины, кажется, дежурил. После ужина делать было нечего, и я почти до десяти часов выслушивал ее жалобы. Среди ночи я услышал, как она плачет... В озере тихо плескалась вода. В доме было до удушья жарко.

— Можно я к тебе приду? — раздался через фусума сдавленный голос.— У меня что-то голова разболелась.

Я никогда не думал, что близость с женщиной, близость, которая так волновала мое воображение, такая бесконечно унылая вещь.

— Только смотри никому не говори... Если обещаешь молчать, можешь делать все, что хочешь,— прошептала кузина.

И я без всякой радости лишился невинности.

Утром ее муж вернулся с испитым лицом. Когда я подошел к колодцу, он качал воду насосом, а потом шумно полоскал рот.

— А вам, кажется, уже пора на автобус,— торопила меня кузина, как-то странно улыбаясь.— Смотрите, опоздаете.

Взяв чемодан, я вышел из дому. Озеро было черным от тины, в нем плавали размокшие щепки. Идя вдоль берега, я не чувствовал ни волнения, ни стыда. Я знал, что кузина будет молчать. Она слишком презирает мужа, чтобы признаться ему в своей измене. Тайна никогда не раскроется — сознание этого совершенно успокоило меня.

«Заставили жить в таком коровнике, так и пеняйте на себя». Я даже испытывал некоторое удовлетворение. Мне и в голову не пришло, что я низкий, бессовестный человек, злоупотребивший чужим гостеприимством. Я презирал жалкого клерка с запавшими глазами.

Я уже говорил, что сейчас кузина мать двоих детей. Право, не знаю, терзалась ли она своей изменой. Скорее всего, нет. Ясно одно: муж и по сей день ничего не знает. Ведь он ничего не заметил, а жена ему не призналась. И вот получается, что кузина, мать и жена, и я, студент-медик, продолжаем пользоваться уважением общества, в котором живем.

Да дело вовсе и не в этом поступке. У меня не только отсутствует совесть, я вообще, по-моему, бесчувственный человек. Зачем скрывать это от самого себя? По правде говоря, я совершенно равнодушен к боли и к смерти других. Как студент-медик, я быстро свыкся со страданиями

---

* Внутренняя раздвижная перегородка в доме.

больных; слишком часто я видел их смерть. Не могу же я всякий раз хвататься за голову.

— Сэнсэй, пожалуйста, дайте наркоз,— со слезами просили родственники, не выдерживая стонов оперируемого, но я только холодно качал головой.

— Опасно, еще рано,— отвечал я, а про себя думаю: «До чего же они надоели со своими капризами!»

Кто-то умирает в палате. Плачут родственники. Я стою перед ними с сочувствующим видом. Но как только выхожу в коридор, чужое страдание начисто забывается.

Наверное, это все же профессиональное. Работа медика незаметно притупляет сочувствие к чужой боли.

Потому-то даже за Сано меня не мучила совесть. Сано была моей прислугой. Она приехала из префектуры Сага, когда я перешел на третий курс и снял маленькую квартирку в Якуинтё. Ее родители рано умерли, из родных остался только старший брат да еще маленькая сестра. Когда я однажды увидел, что Сано тошнит, я растерялся и испугался. Но первое, что пришло мне в голову, было вовсе не раскаяние, что я испортил ей жизнь, а страх при мысли, что может родиться ребенок.

Я еще и теперь помню ту ночь. Это был опасный шаг — ведь чуть что не так, и девушка могла бы умереть. Орудуя кюреткой, которую я обманом выпросил у приятелей из гинекологического отделения, я выскреб плод. Я весь вспотел, условия были неподходящие, но в ту минуту я был озабочен одним: как бы выпутаться из этой истории, ведь мне вовсе не улыбалось испортить себе жизнь из-за какой-то деревенской девчонки. Муки Сано, которая, повернув обескровленное лицо к стене, тихо стонала, стиснув зубы, мало меня трогали. И даже теперь, вспоминая все это, я думаю об одном: как ей удалось избежать воспаления брюшины?

Через месяц после аборта я отправил Сано на родину под предлогом, что переезжаю в пансионат, где мне не понадобятся ее услуги. На самом деле я больше не хотел ее видеть. Когда вагон третьего класса заскользил по рельсам, Сано прижалась лицом к окну. Моросил мелкий дождик. Но вот поезд исчез за серой завесой, и я с облегчением вздохнул. Конечно, я знал, что она страдает, мысленно видел ее лицо, прижавшееся к стеклу... Я знал, что поступил непорядочно, но все же не испытывал угрызений совести.

Хватит, не буду больше об этом писать. Ведь и сейчас я вспоминаю все это не потому, что меня мучает совесть. Правда, мне стыдно и того сочинения, и кражи бабочки, и прелюбодеяния с кузиной, и поступка с Сано. Но стыдиться и мучиться — это разные вещи.

А если так, то почему же я все-таки пишу? Потому что мне жутко — я боюсь себя, человека без совести, который страшится лишь открытого общественного осуждения.

Жутко — это, конечно, преувеличение. Просто мне не по себе. И я хочу спросить вас всех — вы, с виду такие жалостливые и добрые, вы тоже, если вас копнуть поглубже, бесчувственны к страданиям других? Вы тоже не чувствуете ни раскаяния, ни стыда, потому что общество вас до сих пор не наказало? Неужели вам никогда не кажется странным, что вы такие?

Однажды, в начале этой зимы, я с крыши больницы рассеянно смотрел, как самолеты Б-29 бомбили город. Нам с Сугуро поручили наблюдение за воздухом, поэтому каждый раз при налете мы подымались на крышу.

В этот день бомбили очень сильно. Над городом клубился дым, кое-где его прорезали языки пламени. Звено бомбардировщиков, покружив

с полчаса над городом, улетело в сторону моря, и тут же с запада прилетело второе, потом третье... С крыши больницы город был виден как на ладони, горели префектура, мэрия, универмаг...

Налет закончился лишь под вечер. Наступила зловещая тишина. Над городом нависло черное небо. И если прислушаться, время от времени раздавался странный звук, похожий на стон. Сначала я его почти не слышал, но постепенно он становился все отчетливее.

— Что это? — спросил я Сугуро.

— Наверно, дома рушатся, а может, взрывная волна.— Сугуро прислушался.

Но если бы рушились здания, шум был бы гораздо сильнее, а взрывных волн после бомбежки не бывает. Этот странный звук походил на стон множества людей. Я врач, и мне знаком такой стон. Казалось, люди вложили в этот предсмертный плач всю свою тоску, все проклятья...

— Может, это стонут те, кто умирает под развалинами? — пробормотал я.

Сугуро молча заморгал глазами. Потом я забыл эти звуки. Но ночью, в постели, я снова услышал страшный, тоскливый вой. Сначала я подумал, что слышу шум моря, но оно рокотало по другую сторону пансиона.

И тут во мне ожили картины прошлого: начальная школа, кабинет естествознания, залитая заходящим солнце понурая фигура Ямагути на спортплощадке, утренний путь по берегу озера, душная ночь в объятиях кузины, глаза Сано, прижавшейся к окну вагона третьего класса... Не знаю почему, но вдруг я ясно почувствовал, что буду наказан, что скоро сполна расплачусь за содеянное. «Сейчас, когда в дыму и пламени обрываются сотни жизней, как-то странно, что я живу без единой царапины, словно никому не причинил зла». Но и эта мысль не вызвала во мне боли. «Что же тут странного,— подумал я,— ведь кто-то должен выжить».

Все очень просто, не надо мудрить. Но позавчера, когда Сибата рассказал нам об этом деле, я, глядя на голубоватое пламя в жаровне, призадумался.

«Будет меня потом мучить совесть? Буду я содрогаться, вспоминая совершенное убийство? Ведь я должен умертвить живого человека. Как я буду жить после такого чудовищного преступления? Жить без угрызений совести?..»

Я поднял голову. Сибата и Асаи улыбались. «Эти люди ничем не отличаются от меня. Они тоже боятся лишь разоблачения, а не суда собственной совести».

Внезапно я почувствовал такую усталость, от которой невозможно было избавиться. Смяв и погасив сигарету, которую дал мне Сибата, я поднялся со стула.

— Ну так как — будешь участвовать? — спросил Сибата.

— Хорошо,— ответил я.

Вернее, не ответил, а промычал.

III. Три часа пополудни

Двадцать пятого февраля с утра было так пасмурно, что казалось, вот-вот пойдет снег. Орудуя зубной щеткой в умывальной, Сугуро смотрел на свое отражение в зеркале. Глаза у него воспалились от простуды и хронической бессонницы, лицо посерело и отекло, но он к этому уже привык и не удивлялся.

«Это случится сегодня, сегодня...» — мысленно повторял Сугуро. Но, странное дело, он был совершенно спокоен.

— Доброе утро,— сказал, входя в умывальню, студент в рабочей одежде и обмотках — сосед Сугуро по пансиону.— Как вам кажется, пойдет сегодня снег?

— Трудно сказать.— Сугуро энергично заработал зубной щеткой.— Ты что, сегодня трудовую повинность отбываешь?

— Да, заступаю в ночную смену. А вы?

— Я ухожу сейчас.

Сугуро завтракал обычно в больничной столовой. Опаздывать было нельзя, и он быстро зашагал по улице, густо запорошенной снегом. Втаптывая снег в землю, Сугуро иногда внезапно останавливался. Из головы не выходили слова Тода, произнесенные им накануне сквозь зубы: «Еще не поздно, ты можешь отказаться».

Если он сейчас вернется в пансион... просто повернет обратно, все будет решено. Но перед глазами неумолимо блестела прямая единственная дорожка. Она вела к воротам больницы...

У ограды он столкнулся с шедшей навстречу старшей сестрой Оба. Она, кажется, тоже собиралась принять участие в сегодняшнем деле. Оба была в шароварах, строгая, непроницаемая, как маска Но *. Мельком взглянув на Сугуро, старшая сестра тут же отвела глаза и, опустив плечи, прошла мимо.

Когда Сугуро вошел в лабораторию, Тода уже сидел за столом спиной к нему. Он не обернулся и даже не поздоровался. Склонившись над тетрадью, он что-то сосредоточенно записывал. Будильник на столе показывал половину десятого. А «операция» должна была начаться в три часа пополудни.

До трех часов они почти не разговаривали. Пока Тода совершал обход больных, Сугуро понуро сидел за столом. В лаборатории у него обычно находилось множество мелких дел, но сегодня почему-то не нашлось ни одного, и единственное, что его ожидало, было только ТО, назначенное на три часа. Когда Тода вернулся в лабораторию, Сугуро, словно что-то вспомнив, поднялся и вышел в коридор. Когда он возвратился, куда-то ушел Тода, бросив свою тетрадь в ящик стола. Они избегали не только говорить, но и смотреть друг на друга.

Но когда до трех часов оставалось полчаса, Тода, заметив, что Сугуро собирается выйти, встал у двери, загородив выход.

— Ты что, избегаешь меня?

— Нет, почему же...

— Давай поговорим.

Тода посмотрел на Сугуро в упор, но тут же понял несуразность своего вопроса и криво усмехнулся. Несколько мгновений они неподвижно стояли у двери. В палатах было до ужаса тихо. Больные ждали конца «мертвого часа», совершенно не ведая, что́ должно совершиться в клинике всего через каких-то тридцать минут. Из дежурной комнаты медсестер тоже не доносилось ни звука.

Но эта гнетущая атмосфера неожиданно рассеялась, когда они поднялись на второй этаж, в операционную. В коридоре раздавался звонкий веселый смех. Четверо офицеров, которых ни Тода, ни Сугуро до сих пор ни разу не видели, стояли у окна, курили и непринужденно болтали. Казалось, они ждут начала банкета в офицерском собрании.

— Уже почти три, а пленного еще нет.— Толстый военврач прищелкнул языком, доставая из футляра фотоаппарат.

— Полчаса назад звонили из тюрьмы, сказали, что отправили. Вероятно, скоро будет,— посмотрев на часы, ответил офицер с маленькими усиками.

---

* Традиционный жанр японского театрального искусства, одноактная музыкальная драма. Актеры Но играют в масках с прорезями для глаз и рта.

— Снимочки получатся что надо! — Военврач сплюнул и растер плевок сапогом.

— О, имея такой превосходный аппарат!..— заискивающим тоном проговорил офицер с усиками.

— Не жалуюсь, немецкий,— осклабился военврач.— А как насчет прощального банкета лейтенанту Комори? Здесь решили устроить?

— Да, думаю, к пяти процедура окончится, так что в половине шестого начнем.

— С закуской все в порядке?

— На худой конец отведаем свежей печенки пленного!

Офицеры громко рассмеялись, Сугуро и Тода они даже не заметили. Дверь операционной была раскрыта, но ни старик, ни Сибата, ни Асаи еще не показывались.

— Я слышал, в Центральном Китае...— военврач почесал толстой пятерней зад,— некоторые пробовали печенку китаез.

— Говорят, неплохая закуска,— самодовольно улыбаясь, сказал офицер с усиками.

— В таком случае, может, действительно попробуем?

В это время в противоположном конце коридора показался, поблескивая очками, ассистент Асаи. Подойдя к офицерам, он, по своему обыкновению, выжал из себя улыбку.

— Господа, военнопленных только что доставили.

— А где же Сибата-сан?

— Скоро будет. Потерпите немного.

Он подозвал Тода и Сугуро, растерянно стоявших у стены.

Когда они вошли в операционную, Асаи прикрыл дверь.

— Ну куда это годится! Столько офицеров! Ведь больные могут обратить внимание... А главное — пленные встревожатся. Ведь их привезли якобы для осмотра перед отправкой в лагерь Оита.

Асаи открыл дверцу стенного шкафчика и достал бутылку с эфиром.

— Вы займетесь наркозом. Пленному можно объяснить, что наркоз необходим для лечебной процедуры. А я сделаю вид, что собираюсь его тщательно осматривать. Потом скажу, что хочу выслушать сердце, и мы положим его на операционный стол...

— Ремнями затянем? — спросил Тода.— Ведь при эфирном наркозе пациент сначала мечется...

— Ну, разумеется; ты ведь знаешь действие этого наркоза?

— Да.

— До полной анестезии эфирный наркоз проходит, как вы знаете, три стадии. На первой еще легко очнуться, поэтому надо внимательно следить за действием эфира. Это поручается вам.

— А где старик и Сибата?

— Внизу, переодеваются. Когда наркоз подействует, я пойду за ними. Не то пленный может испугаться такого сборища людей.

Во время разговора Сугуро вдруг показалось, что идет подготовка к обычной операции. И лишь слово «пленные» положило конец иллюзиям. Только сейчас он впервые отчетливо понял, что здесь будет происходить. «Ведь мы собираемся совершить преднамеренное убийство!» И какое-то гнетущее чувство овладело им. Он нажал на дверную ручку. В эту минуту опять послышался смех офицеров за дверью. Будто стена навалилась на Сугуро, отрезав ему путь к отступлению.

Но вот в операционной с тихим журчанием потекла вода для смывания крови. Асаи и Тода, скинув туфли и пиджаки, стали надевать операционные халаты и сандалии.

Открылась дверь, и будто в маске Но вошли старшая сестра Оба и сестра Уэда. Даже не улыбнувшись, они открыли стенной шкаф и деловито начали раскладывать на стеклянном столике скальпели, ножницы,

пергаментную бумагу, вату. Никто не промолвил ни слова. Слышались только голоса офицеров в коридоре и тихое журчание воды.

Старшая сестра Оба — понятно. Но почему пригласили сестру Уэда участвовать в сегодняшнем деле — этого Сугуро никак не мог взять в толк. Уэда совсем недавно поступила в клинику. Сугуро несколько раз видел ее во время обхода в общей палате; она всегда стояла, уставившись в одну точку — это как-то настораживало и удручало.

Вдруг голоса офицеров смолкли. Сугуро испуганно посмотрел на Тода, стоявшего рядом. Лицо Тода на мгновение болезненно сморщилось, но, словно отогнав от себя мрачные мысли, он тут же овладел собой и даже выдавил улыбку.

В приоткрытую дверь просунулась бритая голова офицера с усиками. Он посмотрел на часы.

— У вас все готово?

— Да. Пусть войдет, — сдавленным голосом сказал Асаи.

Прислонившись к стене, Сугуро смотрел на рослого, худощавого военнопленного, которого словно кто-то втолкнул сюда. Как и все пленные, которых Сугуро не раз видел в больничном дворе, этот был одет в просторную холщовую одежду зеленого цвета.

Увидев людей в операционных халатах, пленный смущенно улыбнулся.

— Sit down here *,— приветливо сказал Асаи, показав на кресло.

Неловко вытянув длинные ноги, пленный покорно уселся. Когда-то, еще до войны, Сугуро видел фильм с участием Гарри Купера. Этот худой американец чем-то был похож на знаменитого киноактера.

Старшая сестра сняла с пленного куртку; под ней оказалась рваная трикотажная рубашка японского производства. Сквозь дыры виднелась волосатая грудь. Когда Асаи приставил к груди пленного стетоскоп, тот смущенно закрыл глаза, но вдруг, почуяв резкий запах, воскликнул:

— Ah! Ether, isn't it? **

— Right, it's for your cure ***.

Сугуро заметил, как дрогнул голос Асаи, дрогнула и рука, державшая стетоскоп...

Когда Асаи, объяснив, что хочет выслушать сердце, указал на операционный стол, пленный беспрекословно улегся.

— Ремни затянуть? — скороговоркой спросил Тода.

— Потом, потом, — шепотом остановил его Асаи. — Если сейчас связать, может заподозрить недоброе. Сделаем это на второй стадии, когда начнутся судороги.

— Господа военврачи спрашивают, можно ли им войти? — спросила старшая сестра Оба, просунув голову в дверь.

— Нет еще. Я скажу, когда будет можно. Сугуро-кун, приготовьте маску.

— Я не могу, — жалобным голосом пробормотал Сугуро. — Выпустите меня!

Асаи глянул на Сугуро поверх очков, но ничего не сказал.

— Я приготовлю, — сказал Тода и, вложив в железный каркасик вату с пергаментной бумагой, подал маску ассистенту.

Увидев эти приготовления, пленный что-то спросил, но Асаи, широко улыбнувшись, отрицательно покачал головой. Маска легла на лицо. Закапал эфир. Пленный, завертев головой, попытался освободиться от маски.

— Затянуть ремни! — скомандовал Асаи.

---

* Садитесь сюда *(англ.)*.

** О, эфир, кажется? *(Англ.)*

*** Да, это для вашего лечения *(англ.)*.

Уэда и Оба, чуть ли не ложась на стол, стянули тело пленного ремнями.

— Первая стадия, — пробормотал Тода, уставившись на стрелку секундомера.

В первой стадии наркоза больной инстинктивно борется с потерей сознания.

— Не прекращайте подавать эфир,— предупредил Асаи.

Из-под маски послышался низкий, нечеловеческий стон. Наступила вторая стадия. В это время больные нередко начинают кричать и даже петь. Но пленный только натужно стонал низким, хриплым голосом.

— Уэда-кун, подайте стетоскоп.

Вырвав из рук сестры стетоскоп, Асаи быстро приставил его к волосатой груди пленного.

— Тода-кун, продолжайте давать наркоз.

— Все в порядке.

— Пульс замедляется.

Когда Асаи опустил руки пленного, они бессильно повисли по обе стороны операционного стола. Тода осветил зрачки карманным фонариком.

— Рефлекс роговой оболочки исчез.

— Значит, все в порядке. Пойду позову старика и Сибата, — сказал Асаи и засунул стетоскоп в карман халата.— Эфир больше не капайте, не то перестараетесь. Оба-сан, приготовьте, пожалуйста, инструменты.— Голубоватый свет бестеневой лампы падал на стены. В сандалии Сугуро, безучастно стоявшего в углу, натекла вода. Возле пленного остался только Тода.

— Может, все-таки подойдешь и поможешь? — тихо спросил он.

— Нет, я совершенно не гожусь, — пробормотал Сугуро. — Мне надо было отказаться...

— Олух! — Тода в упор посмотрел на Сугуро. — Ты мог отказаться и вчера и сегодня утром. А если уж вошел сюда, то считай, что половину прошел...

— Какую половину?

— Половину нашей судьбы, — невозмутимо бросил Тода. — Теперь уже ничего изменить нельзя...

— «Однажды Сакья навестил своего больного ученика. Ученик этот был так слаб, что даже не мог убрать за собой. Сакья, заботливо обтерев его, спросил, ухаживал ли он хоть раз за своим больным другом, когда был здоров. «Ты так мучаешься сейчас потому, что никогда не ухаживал за больным,— сказал Сакья.— Тебя сейчас терзают болезни телесные. Но есть еще болезни души, которые могут длиться и в трех жизнях», — читала Мицу Абэ, уставившись в растрепанную книжку, старику соседу по койке, положенному на бесплатное лечение.

Он лежал на той самой койке, где умерла неделю назад «бабушка» Сугуро. Еще не было пяти, но темнеть стало рано, и Мицу с трудом разбирала иероглифы при тусклом свете, сочившемся из окна.

— Почему это сегодня Сугуро-сэнсэй не идет с обходом? Или у него операция? — спросила она, кладя книгу на постель старика. — Советую вам обязательно поговорить с этим доктором. Той, что лежала на вашем месте, он очень помогал...

Старик, искавший чашку на столе, покорно, словно ребенок, кивнул.

— Но она перед операцией начала сдавать и умерла после той страшной бомбежки. А жила только надеждой свидеться с сыном.

— А мне все равно, когда помирать, — рассеянно проговорил старик, держа обеими руками чашку.

Мицу слезла с койки и подошла к окну. Во дворе сторож вскапывал лопатой черную землю.

— Когда же эта проклятая война кончится? — ни к кому не обращаясь, с глубоким вздохом протянула Мицу.

ДО ТОГО, КАК НАСТУПИЛО УТРО

1

Ровно в три часа в окружении офицеров появились Хасимото и Сибата в белых операционных халатах; их лица были наполовину скрыты масками. У порога старик на мгновение задержался и посмотрел на бессильно прислонившегося к стене Сугуро, но тут же отвел взгляд. Ввалившиеся вслед за ним офицеры, увидев лежавшего на операционном столе пленного, остановились.

— Еще немного вперед, пожалуйста, — с насмешливой улыбкой сказал за их спинами Асаи.— К трупам вы небось привыкли, военные ведь...

К нему обернулся офицер с усиками и заискивающе спросил:

— Скажите, а фотографировать во время операции можно?

— Сколько угодно. Во втором отделении даже приготовили узкопленочную кинокамеру. Ведь эксперименты ценнейшие.

— Что, и тут будете вскрывать? — спросил толстяк военврач, постукивая себя пальцем по темени.

— Нет. Мозг извлекать не будем. Этим займутся профессора Кэндо и Ниидзима на другом пленном.

— Значит, сегодня — только легкие?

— Да. Вам, господин военврач, конечно, нечего разъяснять, но господам офицерам я бы хотел сказать несколько слов. Цель эксперимента, который мы сегодня проводим, — установить, до каких пределов возможно удаление легких у человека. Это важная и давняя задача, стоящая перед хирургами-туберкулезниками и военной медициной. Мы хотим попробовать одно легкое удалить целиком, а у другого — верхушку. То есть...

Пока слащавый голос Асаи звенел, отражаясь от стен, старик, ссутулившись, глядел на текущую по полу воду. Его опущенные угловатые плечи нагоняли тоску.

Лишь одна старшая сестра с каменным лицом мазала тело пленного меркурохромом *. Жидкость постепенно окрасила в красный цвет короткую шею, широкую грудь, густо поросшую каштановыми волосами, соски, и тогда белизна чуть впалого, еще не окрашенного живота стала особенно заметной. Только сейчас до Тода дошло, что этот человек с золотистым пушком на коже — попавший в плен американский солдат.

— Смотрите, как сладко спит этот тип, — чтобы разрядить напряженную атмосферу, «сострил» один из стоявших сзади офицеров, — даже не подозревает, что его прирежут через полчасика...

Это «прирежут» совершенно не тронуло Тода. Он еще реально не ощутил готовящегося убийства. Раздеть донага человека, положить на операционный стол, анестезировать — это он делал десятки раз, начиная со студенческой скамьи. И сегодня было то же самое. Сейчас старик глухо пробормочет обычное приветствие и начнет... Звякнут ножницы, пинцеты, и электрический скальпель с сухим треском врежется в эту густо поросшую волосами грудь чуть пониже соска. Чем же тогда все это отличается от обычной операции? И яркий голубоватый свет бестеневой лампы и фигуры людей в белых операционных халатах, чуть покачиваю-

* Патентованное асептическое средство, распространенное в США и в Японии

щиеся, словно морские водоросли, за долгие годы вошли в его плоть и кровь. Да и пленный, лежащий на спине, лицом к потолку, ничем не отличается от обычного больного. Сердце Тода еще не билось тревожной дрожью убийцы, не хотелось думать, что все это кончится как-то иначе, чем обычно. Он неловко засунул тонкую трубку катетера в ноздри военнопленного, в большой нос белого человека. Остается только присоединить к катетеру кислородную подушку, и приготовления будут закончены. Эфир, по-видимому, полностью подействовал: пленный спал, мерно похрапывая. Он лежал лицом вверх, крепко связанный толстыми ремнями, приковывая к себе взоры всех присутствующих. Он спал с таким блаженным видом, что казалось, на его губах вот-вот заиграет тихая, счастливая улыбка.

— Что же, приступим, — сказал старику Сибата, проверив кровяное давление.

Уставившийся в пол профессор вдруг качнулся и кивнул головой.

— Начинаем! — крикнул Асаи.

Воцарилась такая тишина, что слышно было, как кто-то проглотил слюну.

— Начало препарации — три часа восемь минут пополудни. Тода-кун, пожалуйста, зарегистрируйте.

Сжав в руке электроскальпель, Хасимото приблизился к распростертому телу. Тода слышал за спиной тупое жужжание киноаппарата. Это начал съемку ассистент второго хирургического отделения Ниидзима. И тут офицеры стали кашлять и сморкаться.

Тода, глядя на измеритель кровяного давления, был охвачен странным чувством. «Меня ведь сейчас тоже снимают. Вот я заглянул в прибор, вот повернул голову. Это я — участник убийства. Каждое мое движение во всей последовательности запечатлевается на кинопленке. Так по частям составляется образ убийцы. Интересно, когда потом передо мной прокрутят этот фильм, шевельнется во мне что-нибудь? Скорее всего, нет!»

Вдруг Тода почувствовал страшную пустоту в груди, он едва держался на ногах. Целые сутки он был во власти гнетущего страха, ждал душевной пытки, угрызений совести. Но журчание воды, текущей по полу, треск электроскальпеля были монотонные и до ужаса привычные. Только одно совершенно отсутствовало — присущее операции напряжение, страх за больного, беспокойство о его пульсе и дыхании. Пациент был заранее приговорен, и никто не собирался бороться за его жизнь. Поэтому в движениях Хасимото, в действиях Асаи, Сибата и старшей сестры Оба, готовившей марлю и инструменты, сквозила странная медлительность.

Жужжание киноаппарата сливалось с треском скальпеля, смешивалось с другими звуками, наполнявшими операционную. И Тода подумал: «С каким настроением этот Ниидзима снимает? А ведь я такой шум уже где-то слышал. Ах, да! Треск цикад под окном у кузины в Оцу... И почему я сейчас думаю о таких глупостях!..»

Повернув голову, он украдкой посмотрел на скучившихся военных и увидел, что молоденький офицер в очках, стоявший слева, отвернул свое побледневшее лицо. Видно, ему стало не по себе при виде человеческих внутренностей, но как только он заметил, что Тода смотрит на него, сейчас же встал по стойке «смирно» и решительно сдвинул брови.

Лицо лейтенанта с маленькими усиками, стоявшего рядом, блестело от пота, рот его был широко раскрыт, как у слабоумного. То и дело приподымаясь на цыпочки за спиной толстого военврача, он все время облизывал губы, стараясь ничего не упустить из происходящего.

«Ну и кретины! — со злостью подумал Тода. — Форменные идиоты... Но почему я так их обзываю? Сам-то я кто?»

Тода старался не думать об этом. Он знал: лучше не думать. Так будет легче.

В операционной было жарко, воздуха не хватало, так что голова и в самом деле плохо соображала. На мгновение Тода даже забыл о своих обязанностях ассистента.

Пленный на операционном столе сильно закашлялся. Асаи спросил Хасимото:

— Дать кокаин?

— Не надо! — выпрямившись над столом, с внезапным бешенством заорал старик. — Это не больной!

От гневного окрика профессора все сразу притихли. И только кинокамера продолжала тупо жужжать.

Перед глазами прислонившегося к стене Сугуро маячили спины военных. Офицеры переминались с ноги на ногу. Время от времени между их фигурами мелькали белые халаты старика, Сибаты и зеленые штаны пленного, привязанного ремнями к операционному столу.

— Скальпель!

— Марлю!

— Скальпель! — командовал доцент низким, сдавленным голосом.

«Теперь удаляют ребра». Слыша реплики Сибата, Сугуро ясно представлял, какую часть тела пленного старик сейчас режет и что будет затем.

Сугуро закрыл глаза. Он пытался внушить себе, что присутствует на обычной операции.

«Больной, конечно, будет жить. Сейчас я введу ему камфору и сделаю вливание крови,— мысленно говорил он самому себе.— А вот шаги старшей сестры Оба, она дает больному кислород».

В этот момент раздался тупой хруст отпиленного ребра и звон упавшей в таз кости. Вероятно, действие эфира прекратилось — пленный внезапно глухо застонал.

«Будет жить. Будет жить... — Сердце учащенно забилось в груди Сугуро. — Будет жить. Будет жить».

Но перед его закрытыми глазами вдруг ожила картина операции госпожи Табэ. Он вспомнил, как все окружили труп и с каменными лицами молча стояли в надвигающихся сумерках. Воцарилась гробовая тишина, только вода с тихим журчанием текла на пол, отражая свет бестеневой лампы. Потом старшая сестра Оба перевезла тело в палату, будто живое. А в потемневшем коридоре ассистент Асаи с деланной улыбкой говорил родственникам: «Все хорошо. Операция прошла благополучно».

«Нет, не будет жить». И внезапно грудь Сугуро стиснуло мучительное чувство собственного бессилия, стиснуло с такой силой, что казалось, он сейчас задохнется. Сугуро неудержимо захотелось броситься вперед, растолкать офицеров и отнять у Хасимото реберный нож... Он открыл глаза, перед ним стеной выросли крепкие офицерские плечи. Пристегнутые к портупеям сабли отливали тусклым свинцовым блеском.

Молодой офицер, внезапно обернувшись, недоуменно посмотрел на Сугуро, стоявшего за их спинами. Его глаза возмущенно блеснули.

«Трусишь? — укоряюще говорили они. — Как же после этого ты можешь считать себя верноподданным японцем?»

Почти физически ощущая этот взгляд, Сугуро понял, что все присутствующие здесь считают его слюнтяем, никудышным медиком, который помочь ассистентам и то не может.

— Я ничего не делал, — задыхаясь, пробормотал он, обращая взор к операционному столу, — и ничего не сделаю...

В это время раздался визгливый фальцет Асаи:

— Левое легкое полностью удалено, сейчас удаляется верхушка пра-

вого. До сих пор считалось, что одновременное удаление половины у обоих легких приводит к мгновенной смерти.

Сапоги офицеров неприятно заскрипели. Треск кинокамеры сразу оборвался, и только вода продолжала журчать, стекая на пол.

— Сорок... тридцать пять... тридцать,— отмерял кровяное давление Тода.

— Тридцать... двадцать пять... двадцать... пятнадцать... десять... Конец,— обернувшись к присутствующим, деловито доложил Тода и медленно поднялся.

Какое-то время все молчали, но потом, словно вода пошла через плотину, офицеры закашляли, заскрипели сапогами.

— Конец, говорите? — спросил толстый военврач, вытирая лоб платком.— Который час?

— Четыре часа двадцать восемь минут,— ответил Асаи.— Операцию начали в три часа восемь минут. Так что все продолжалось час двадцать минут.

Хасимото молча смотрел на труп. Рука профессора в окровавленной перчатке все еще сжимала сверкающий нож. Слегка отодвинув старика, старшая сестра Оба подошла к столу и накрыла труп простыней. Старик, пошатнувшись, сделал два шага в сторону и замер на месте.

Офицеры вышли из операционной в коридор, тусклые лучи послеполуденного солнца осветили окно.

Офицеры то смотрели в окно, то переглядывались между собой, то хлопали друг друга по плечу и деланно зевали.

— Подумаешь! Ну что тут особенного? — громко сказал один. Его зычный голос гулко прозвучал в комнате.— Мураи-сан, а у тебя такое лицо, словно ты с бабой переспал,— удивленно сказал он, показывая на одного из коллег.— Глаза покраснели, опухли...

Но воспаленные глаза были не только у того офицера, на которого он указал. И у остальных они маслянисто блестели. Такие воспаленные глаза и жирные, потные лица бывают после плотских утех.

— Да, верно, и голова что-то болит...

— Проводы лейтенанта Комори назначены на пять, правильно? Пойдемте пока на улицу, воздухом подышим.

И офицеры застучали сапогами по лестнице.

Когда шаги стихли, из операционной осторожно выглянула старшая сестра Оба. Убедившись, что в коридоре никого нет, она вместе с Уэда выкатила коляску, на которой лежало покрытое простыней тело. Вышедший вслед за ними Сугуро, прислонившись к стене, слушал, как поскрипывает коляска. Постепенно скрип в пустоте длинного серого коридора затих.

Сугуро не знал, куда пойти, не знал, что делать. В операционной еще оставались Хасимото, Сибата, Асаи и Тода, но туда Сугуро вернуться не мог.

«Убил, убил, убил...» — не переставало стучать в голове. «Но я же ничего не делал». Сугуро изо всех сил старался отделаться от настойчивого голоса, повторявшего: «Убил, убил...» «Но я же ничего не делал». Однако и это оправдание, возникая, тут же исчезало. «Разумеется, ты ничего не делал. И тогда, когда умирала твоя «бабушка», и сейчас. Но ты всегда был рядом. Был рядом и ничего не делал». Прислушиваясь к своим одиноким шагам, он спускался с лестницы и думал о том, что всего два часа назад пленный тоже поднимался по этим ступеням, ничего не подозревая. И в памяти Сугуро отчетливо всплыл этот слегка угловатый, растерянный человек. Потом он вспомнил, как старшая сестра Оба торопливо покрывала простыней изрезанное тело. Мучительная тошнота подступила к горлу. Прислонившись к окну, он пытался убедить себя, что это не от вида крови: ведь еще со студенческих лет он привык ко всему

этому. Но нет, эта кровь и это тело отличаются от тех, что он видел раньше. А может, все-таки его затошнило потому, что он вспомнил отвратительную торопливость, с какой старшая сестра закрыла носилки белой простыней?

За окном в ранних сумерках ветер гудел в проводах подстанции. В пасмурном небе пролетели птицы, из трубы дезинфекционной камеры медленно подымался дым. Через ворота заднего двора с корзинами и лопатами шли медсестры. Все было, как обычно, как было вчера и позавчера.

Прислонившись к перилам, он ждал, когда пройдет головокружение. Потом шаг за шагом медленно спустился по лестнице.

Когда он вышел во двор, офицеров уже не было. Сестры, положив на газон лопаты и корзины, отирали лица полотенцами. Завидев их, Сугуро отвернулся и побрел в другую сторону.

— Сэнсэй! — окликнула его одна из девушек, усаживаясь на камень.— Сегодня опять профессора на обходе не будет?

Сугуро молчал. «В чем дело? Ведь сестры не знают, почему же я прячу от них лицо?»

— Сэнсэй, а вы будете?

— Да, буду.

Он совсем забыл, что надо обойти больных общей палаты. Но разве может он теперь туда пойти? Как ни в чем не бывало разговаривать с больными, делать им рентген, выписывать лекарства. С завтрашнего дня опять начнется привычная жизнь практиканта. Неужели и старик, и Сибата, и Асаи, и Тода по-прежнему смогут обходить больных? Неужели смогут? Разве может стереться в их памяти добродушное лицо пленного с каштановыми волосами? «Я не смогу...»

На земле, показывая свежий срез, торчал обрубок акации. Одной из тех акаций, которые много дней подряд окапывал старый сторож. Рассеянно глядя на черный обрубок, Сугуро подумал о старухе, которую унесли дождливым днем, запихав в ящик из-под мандаринов. Вот и акации нет. И старуха умерла.

— Уйду-ка я из клиники,— пробормотал Сугуро.— Сам разбил свою жизнь, сам...— сказал он, ни к кому не обращаясь, да и к кому он мог обратиться...

II

Тода вышел из операционной последним. В коридоре к нему с улыбкой подошел Асаи, держа в руках покрытый марлей тазик.

— Тода-кун, пожалуйста, отнеси это в конференц-зал.

— Хорошо.

— Там офицеры устраивают проводы.

— А что здесь?

— То, что заказал военврач Танака. Печенка пленного.

Тода отчетливо вспомнил белый живот пленного, лежавшего на операционном столе. Живот солдата, который казался ослепительно-белым, когда старшая сестра покрывала его тело меркурохромом. Пленного уже нет. Вот только в тазике... Неужели все это правда? Тода показалось, что он видит чудовищный сон.

— Странно, правда? — понизив вдруг голос, прошептал Асаи.— Кажется, сколько трупов на своем веку перевидели, а вот не можем до конца изжить сентименты...

Осторожно подняв глаза, Тода искоса посмотрел на Асаи. Обычное, спокойное лицо. Очки, как всегда, немного съехали вниз.

Асаи появился в палатах во время обхода с невозмутимым выражением лица, деланно улыбаясь. Он как ни в чем не бывало разговаривал

с больными, насвистывал и прищелкивал языком, проверяя анализы в лаборатории. Трудно было даже предположить, что этот человек только что совершил убийство.

«Да и мое лицо, верно, такое же,— огорченно подумал Тода.— Ничего не переменилось. Я абсолютно спокоен, совесть не мучает меня. Напрасно я ждал, что она во мне проснется. Даже не ужасаюсь, что отнял у человека жизнь. Почему? Почему у меня такое каменное сердце?»

— Слушай, Тода,— загадочно улыбнувшись, опять заговорил Асаи, положив свою руку на руку Тода, державшую тазик.— Я все собирался поговорить с тобой. Ты и дальше думаешь оставаться в институте?

— Да.

— А что ты скажешь, если тебя сделают ассистентом? Сибата-сан давно уже на это намекает.

— Но... видимо, есть более достойные люди, чем я,— не подымая глаз, ответил Тода, отлично понимая, что скрывается за словами Асаи.— Например, Сугуро.

— Сугуро — не та кандидатура. Он человек без будущего. Как он вел себя сегодня! Где он был?

— Как где? В операционной. Должно быть, стоял сзади и смотрел.

— Ты понимаешь, о чем я говорю! Надеюсь, он хоть болтать не будет.— Асаи приблизился вплотную к Тода, на его лице вдруг мелькнула тень озабоченности.— Если только пойдет слух...

— Думаю, опасаться нечего. Он человек малодушный.

— Действительно, можно не беспокоиться. А о моем предложении подумай. Слышишь? Ведь старик, сам понимаешь, выходит в тираж. Сибата и мы — вот кто поддержит престиж первого хирургического отделения. Так что, если будешь с нами заодно,— пара пустяков рекомендовать тебя ассистентом. После сегодняшнего нам надо действовать сообща, понял?

Асаи ушел. Тода остался в коридоре с тазиком в руках. Он ощутил странную, глубокую усталость. Ему было ясно: слова Асаи «надо действовать сообща» означали круговую поруку соучастников преступления. Таким путем Асаи хотел избежать огласки, а заодно и укрепить свое положение в первом хирургическом отделении.

«Что, интересно, думает Асаи об этом куске в тазике? Неужели он уже забыл о пленном с пугливыми карими глазами, который всего два часа назад был еще жив, забыл о том, что умертвил его? Наверняка забыл — не успев выйти из операционной, он уже думает о своей карьере... Достойная восхищения расчетливость! Ну, а я сам? Разве не ужасно, что я, почти не терзаясь, могу спокойно взирать на печень человека, которого сам убил...»

Тода изо всей силы толкнул тяжелую дверь конференц-зала. Несколько офицеров обернулись на шум. Они сидели за длинным столом, уставленным блюдами и рюмками, и, сняв кители, грели руки над жаровней.

— Военврач Танака здесь?

— Скоро будет. А в чем дело?

— Вот то, что он просил.

И Тода, испытывая злорадство, поставил на стол тазик, прикрытый марлей...

Дверь конференц-зала захлопнулась. Перед ним опять вытянулся пустынный, серый коридор. «Если пойти назад, снова выйдешь к операционной,— подумал Тода, и его охватило непреодолимое желание зайти туда. — Одним глазом только взгляну, как там после этого... и уйду».

Гасли последние лучи солнца. Было тихо. Лишь иногда из конференц-зала доносились приглушенные голоса.

Спускаясь по лестнице, он вдруг остановился, повернулся и, прислу-

шиваясь к своим шагам, гулко отдававшимся в пустом коридоре, направился к операционной.

Дверь приемной была приоткрыта. Он толкнул ее, и она тихо скрипнула. В нос ударил запах эфира. На столике белела пустая бутылка.

С минуту Тода постоял посреди комнаты. Вспомнилось восклицание пленного: «Это эфир!» В ушах еще звенел этот возглас, похожий на вскрик ребенка. На Тода неожиданно напал страх, он передохнул, волна страха отхлынула. Он успокоился и даже удивился этому.

Ему больше не хотелось переживать, не хотелось мучительных раздумий и раскаяния. Да, хватит! Он частенько бывал в этой комнате. И сейчас зашел сюда как врач. И разницы нет никакой.

«Здесь мы попросили его снять куртку,— мысленно воскрешал он в памяти одну картину за другой.— Он, как женщина, стыдливо закрывал руками грудь, поросшую каштановыми волосами. Сняв рубашку, он покорно пошел за Асаи в операционную».

Тода бесшумно открыл дверь в операционную. Повернул выключатель. На стены и потолок упал голубоватый свет бестеневой лампы. На потрескавшемся операционном столе лежал маленький кусок марли с темными следами крови. Но сейчас уже ничто не шевельнулось у Тода в душе.

«Неужели и впрямь у меня совершенно отсутствует совесть? Неужели не только я, но и все остальные так бесчувственны к своим преступлениям?»

Да, его-то, кажется, теперь уже ничто не проймет... Погасив свет, Тода снова вышел в коридор. Здесь было совсем темно. Он хотел уже уйти, как вдруг услышал тяжелые шаги по лестнице. Они медленно приближались к операционной.

Прижавшись к окну, Тода рассеянно смотрел, как в густых сумерках по коридору медленно идет человек в белом халате. Это был Хасимото.

Не замечая притаившегося Тода, он остановился перед операционной и, не вынимая рук из карманов халата, ссутулившись, тихо встал у двери. Его лица в темноте не было видно, но опущенные плечи, сгорбленная спина, тускло блестевшие серебристые волосы — все говорило о том, что он страшно подавлен. Профессор как-то сразу постарел. Он долго стоял, уставившись на дверь, потом повернулся и тяжело зашагал в сторону лестницы.

— Сэнсэй, зайдите, пожалуйста, в общую палату. Один больной с утра температурит,— сказала медсестра за спиной Сугуро.

Сугуро молча кивнул.

— Сегодня в палату никто не приходил: ни Асаи-сан, ни Тода-сан. Наверное, операция была?

— Нет.

— Но как же, ведь и старшей сестры не было, а нас почему-то, ни с того ни с сего, отправили копать бомбоубежище...

Сугуро исподлобья посмотрел на сестру, но она, простодушно глядя на него, ждала ответа.

— Хорошо, сейчас приду. Принесите, пожалуйста, стетоскоп..

Когда он вошел в общую палату и на него с белевших в полутьме коек уставились больные, он вздрогнул. Опустив глаза, он побрел между койками. «Не могу я больше смотреть на больных,— с мукой подумал Сугуро,— ведь они ничего не знают».

Температура поднялась у старика, лежавшего на койке «бабушки». Увидев доктора, он пролепетал что-то, и губы его искривились, обнажив фиолетовые беззубые десны.

— Он говорит, мокрота его душит,— сказала с соседней койки Мицу Абэ и, посмотрев на старика, добавила: — Видишь, сэнсэй все-таки пришел...

Сугуро осторожно взял больного за руку. Рука была настолько тонкой, что он легко обхватил кисть двумя пальцами. Ощущая сморщенную, словно запыленную кожу, Сугуро невольно вспомнил руки «бабушки».

— Сэнсэй, помогите ему,— пробормотала Мицу.

Лифт с тяжелым скрипом спускался в темный подвал.

— Как противно он скрипит! Может, смазка кончилась,— сказала Уэда, глядя на облупившийся потолок кабины.

Но старшая сестра Оба не ответила. Она стояла с закрытыми глазами, прислонившись к стене. Уэда показалось, что у старшей сестры более осунувшееся лицо, чем обычно. Она впервые видела лицо Оба так близко и, глядя на ее волосы, выбившиеся из-под белой шапочки, поразилась, что та совсем седая.

«Оказывается, она уже старуха»,— подумала Уэда и неприязненно окинула взглядом старшую сестру. Давно, когда Уэда, еще до замужества, начала работать в этой больнице, Оба, поступившая на четыре года раньше ее, была простой медсестрой.

Врачи ценили Оба, державшуюся обособленно, не заводившую подруг и всегда ходившую с непроницаемым лицом, но сестры сплетничали за ее спиной, что Оба выслуживается перед начальством.

Оба никогда не пудрилась и не красила губы, как это делали другие сестры. Немыслимо было представить, что ее скуластое мрачное лицо может нравиться мужчинам.

«Потому-то и вылезла в старшие»,— с завистью и ненавистью подумала Уэда.

Когда лифт остановился в подвале, Уэда выкатила коляску с носилками в холодный коридор. Голые лампочки тускло освещали запотевшие трубы на потолке. Когда-то здесь помещались ларек и кафетерий. Теперь этот заброшенный, пропыленный подвал использовался как бомбоубежище.

Когда Уэда покатила было коляску к моргу, помещавшемуся в конце коридора, Оба, до сих пор молча наблюдавшая за ней, отрывисто бросила:

— В другую сторону, Уэда-сан.

— Как, разве не в морг?

— В противоположную сторону! — резко повторила Оба, и лицо ее стало еще жестче.

— Но почему?

— Вас не касается. Делайте, что приказывают!

И покрытая белой материей тележка покатилась по пропахшему сыростью подвалу в другую сторону. Следуя за старшей сестрой, Уэда смотрела на ее угловатые мужские плечи и думала: «Она же сущий камень! Разве в ней есть что-нибудь человеческое?»

И вдруг ее охватило сумасшедшее желание расцарапать в кровь это непроницаемое, каменное лицо.

Свет тусклой лампочки падал на отсыревшие мешки с цементом, на сломанные лабораторные столы и стулья. Колеса тележки тоскливо скрипели.

— Госпожа старшая сестра,— спросила Уэда, нарочно назвав ее старшей сестрой, а не Оба-сан,— кто вам предложил участвовать в сегодняшнем?..

Но тощая спина Оба даже не дрогнула. Вцепившись в ручку тележ-

ки, Оба молча продолжала идти в темноте. Ее невозмутимое спокойствие рассмешило Уэда.

— Не Асаи-сэнсэй? Мне он предложил. До чего же странный этот Асаи! Представляете, три дня назад поздно-поздно приходит ко мне домой. Я, конечно, очень удивилась. Пьяный... И вдруг стал ко мне приставать...

— Перестаньте,— резко оборвала ее Оба, отняв руки от тележки.— Поставим здесь.

— Здесь?.. Разве можно?

— ...

— Кто-нибудь придет за трупом?

— Уэда-сан, все, что требуется от сестры,— это молча исполнять распоряжения начальства.

Простыня, покрывавшая тележку, белела в полутьме. С минуту обе женщины молча сверлили друг друга глазами.

— Уэда-сан,— нарушив наконец молчание, сказала Оба,— можете идти домой. Думаю, что нет надобности вам объяснять, что вы должны молчать. Если ваш язык окажется длинным...

— Что тогда?

— Надеюсь, вы понимаете, что это может повредить профессору Хасимото!

— Да, но...— Уэда скривила губы.— Почему я должна беспокоиться о профессоре? — С минуту помолчав, она добавила: — Я вот, в отличие от некоторых, вовсе не ради профессора участвовала в сегодняшней операции...

Лицо Оба исказилось от ярости, губы дрогнули, она, видимо, хотела сказать что-то резкое. За все время работы в больнице Уэда впервые видела ее в таком состоянии.

«Ну ясно, так я и знала! — со злорадством подумала Уэда, наконец-то отыскав слабое место у этого идола.— Оказывается, дуреха влюблена в Хасимото!»

И, повернувшись спиной к старшей сестре, Уэда через запасную лестницу вышла во двор.

Совсем стемнело. Когда-то с наступлением сумерек все больничные окна ярко вспыхивали. Корпуса напоминали корабли, входящие в порт при полном освещении. Сразу вспоминались веселые портовые праздники в Хаката, соседнем городе.

Но сейчас тусклый свет падал только из канцелярии и приемного покоя. Со второго этажа, где находился конференц-зал, доносились громкие мужские голоса, там пели хором военные песни. Окна в зале были затянуты черными портьерами, но сквозь щели все-таки пробивался электрический свет.

«Это те офицеры, что приходили на операцию,— подумала Уэда.— Ну и хамы! И жрут и пьют вволю, а у нас соевых бобов и тех не хватает».

Медсестра Уэда привыкла видеть человеческую кровь, так что сегодня она не испытала особого страха. Она не задумывалась над тем, что на операционном столе умертвили человека. Когда профессор Хасимото провел скальпелем по его коже, она лишь представила себе белое тело Гильды и ее возмущенную руку, когда она стучала по столу, узнав, что Уэда хочет ввести прокаин больной из общей палаты. Руки пленного тоже были покрыты золотистым пушком...

«Интересно, профессор расскажет своей Гильде об этой «операции»? Конечно нет.— Уэда наслаждалась сознанием своего превосходства над этой немкой.— Какой бы доброй, даже святой, ни была Гильда-сан, она никогда не узнает, что сегодня сделал ее муж. А вот я знаю, знаю!..»

Когда Уэда вернулась домой, в комнате было темно. Она уселась у порога и внезапно почувствовала страшную усталость. Она сама не знала, сколько просидела так, обхватив колени и не сняв даже туфель.

— Уэда-сан, полкуска мыла, что выдали по карточке, я положил на ваше окно. Потом заплатите,— глухо прозвучал из глубины коридора голос хозяина.

С шумом хлопнула дверь. В темноте комнаты белели неприбранная постель и обеденный стол. Радиоприемник соседей, словно царапая по листу железа, передавал сигнал воздушной тревоги.

«Что будет дальше?» Как только Уэда возвращалась из больницы в свою пустую, холодную комнату, грудь сдавливала страшная тоска и одиночество. И так изо дня в день. «Вот и еще один день кончился...»

Да, кончился. Это было единственное, о чем она сейчас подумала. Уэда давно не была в больнице и с непривычки устала и физически и душевно. С завтрашнего дня опять придется брать кровь у больных, убирать мокроту. Гильда будет приходить по-прежнему в больницу, ничего не подозревая. «Так ей и надо! А старшая сестра Оба... Одна я знаю, что эта дура влюблена в Хасимото».

Сбросив туфли, Уэда включила лампу, затененную платком. Не хотелось разжигать огонь, не хотелось варить в воде соевые бобы и в одиночестве ужинать. По привычке она достала распашонки из стенного шкафа, сшитые для Масуо, и разложила их на коленях...

В темноте краснел огонек сигареты.

— Это ты, Сугуро? — тихо спросил Тода, поднявшись на крышу.

— Угу.

— Ты что, куришь?

Сугуро не ответил. Положив на перила руки и упершись в них подбородком, он смотрел куда-то вдаль. И сегодня город, погасив огни, приготовился к воздушному налету. С наступлением темноты свет во всех домах гас, и казалось, что город вымер.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего. Просто так.

Но Тода заметил, что Сугуро, не отрываясь, смотрит на единственное белое пятно в этом мраке — на тускло блестевшее море. Глухой стон набегающих и откатывающихся волн тоскливо звенел в ушах.

— Завтра опять обход,— сонно пробурчал Тода, громко зевая.— Ну и устал же я сегодня! Совсем измотался.

Погасив сигарету, Сугуро обернулся к нему. Он сел прямо на бетонную крышу и, обхватив руками колени, опустил голову.

— Что будет? — глухо сказал он.— Что будет с нами?

— А ничего. Как было, так все и будет. Как прежде...

— Но разве ты не казнишь себя за сегодняшнее?

— С чего это вдруг? — усмехнулся Тода.— Ведь ничего такого не случилось, за что же казниться?

Сугуро умолк. Но немного погодя, словно убеждая себя в чем-то, проговорил:

— До чего же ты сильный! А я вот... в операционной не мог даже смотреть. И сейчас не знаю, что обо всем этом думать!

— Что тебя мучает? — спросил Тода, чувствуя, как к горлу подступил какой-то комок.— Что убили пленного? Но если благодаря этому можно будет излечить тысячи больных туберкулезом? Разве тогда можно приравнивать сегодняшнее к убийству? Выходит, мы дали новую жизнь этому пленному. Совесть — вещь очень условная. Все здесь зависит от точки зрения.

Широко раскрыв глаза, Тода смотрел на черное вечернее небо. В его памяти вдруг возникла понурая фигура Ямагути, которого заставили весь день простоять во дворе гимназии, душная ночь в доме над озером, маленький кровавый комочек, выпавший из Сано в квартире на улице Якуинтё. Да, ничего не изменилось, как было, так оно и будет.

— Но возмездие когда-нибудь придет,— вдруг, приблизившись к нему, зашептал Сугуро.— Иначе быть не может.

— Понимаю, ты говоришь о возмездии общества. Но ведь оно ничего не изменит. Во всем виновато стечение обстоятельств.— Тода громко зевнул.— И ты и я только потому пошли на такое, что именно в это время очутились именно в этой больнице. И неизвестно, что бы сделали те, кто должен нас наказать, будь они в нашем положении. Вот так. А ты говоришь о возмездии.

Тода замолчал и почувствовал себя вновь опустошенным. Объясняй не объясняй — все равно ничего не изменишь.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал он Сугуро.

— Неужели? Неужели мы всегда будем такими?..

Оставшись один на крыше, Сугуро смотрел на белевшее во мраке море. Он что-то искал в его волнах.

«Когда плывут барашки... Когда плывут барашки...» — заставлял он себя вслух. произнести полюбившиеся строки.

«Когда клубится... на небе...»
Но он не мог произнести их. Во рту пересохло.
«Ты, небо, тихо сыплешь хлопья белой ваты...»
Нет, он не мог, не мог...

ПОВЕСТЬ СЮСАКУ ЭНДО «МОРЕ И ЯД»

«Море и яд» — самое известное произведение популярного японского писателя Сюсаку Эндо. Выйдя в свет в 1958 году, повесть «Море и яд» сразу же поставила автора в ряд крупнейших писателей современной Японин. За нее Сюсаку Эндо были присуждены две литературные премин.

Общественное внимание к этой небольшой повести надо объяснять не только несомненной талантливостью автора. Военное крушение и последовавшая за ним американская оккупация оставили в жизни Японии глубокий след; Хиросима и Нагасаки никогда не изгладятся нз памяти японского народа. Тяга к миру и подлинной национальной независимости охватывает сегодня все более широкие слои населення этой страны. То, как Сюсаку Эндо ставит вопрос об ответственностн за преступлення японской военщины и за соучастне в этих преступлениях, не могло не привлечь внимания японской общественности.

Бросается в глаза, что в изображении военных лет в этой повести иет и следа того воинственного духа, которым, как утверждала официальная японская пропаганда, были проникнуты все слои японского населения. Кроме зловещей группы офицеров, никому из героев повести война не нужна. Никто из них не рвется на фронт. Сугуро думает о предстоящей военной службе с тоской. «Мне совершенно безразличио, выиграет или проиграет войну моя страна»,— говорнт медсестра Уэда. «Когда же кончится эта проклятая война!» — восклнцает старуха Мицу Абэ, и это — уже голос простых людей Японии, голос ее трудового народа.

Повесть «Море н яд» не привлекла бы к себе такого внимания, еслн бы ее проблематика была обращена только в безвозвратно ушедшее прошлое.

Многие страницы книги говорят о том, что дух японской империалистической военщины, дух японских самураев, авантюристических и жестоких, жив и ныне — он только притаился за покровами мирной жнзни, словно за пыльным стеклом парадной витрины. Онн мыслят так, словно не было ни сокрушительного поражения, ни военной оккупации:

они ждут, когда им можно будет снова выйти на поверхность жизни, командовать малодушными и убивать инакомыслящих.

Повесть Сюсаку Эндо звучит сегодня не менее актуально, чем шесть лет назад, когда она впервые вышла в свет. Она не только протестует и изобличает — она призывает людей к бдительности. Она как бы говорит: вас окружают мирные, безобидные на вид люди — владелец бензоколонки, обыкновенный портной, скромный врач в белом халате. Но присмотритесь к ним поближе, в недавнем прошлом они совершили страшные преступления. Они живут среди вас, эти люди, и по-прежнему действуют те силы, чьим орудием они были.

Для этих людей нет ничего святого, и не случайно на страницах повести ни слова не говорится о том, во имя чего ведется война. Война с США для военщины — прежде всего попытка вырвать кусок у более сильного соперника. Все народы для них, как и для их вчерашних врагов, а ныне союзников,— только объекты для авантюр.

Ненависть автора к этим силам определила характер центральной сцены повести, в которой появляются мрачные фигуры офицеров, сладострастно наблюдающих варварские опыты. Эти люди представляют ту силу, которая десятки лет направляла Японию по гибельному пути шовинизма и военных авантюр. Это они сжигали в паровозных топках русских революционеров, уничтожали китайское население, превращали живых людей в мишени для упражнения в штыковом бое. Все самое темное и реакционное, что есть в истории феодальной Японии, соединяется в них с самым новейшим «научно оснащенным» империалистическим варварством двадцатого века.

В повести эта мысль предстает в заостренной форме — странно читать о каннибальских самурайских обычаях среди описаний современной больницы, использующей последние достижения цивилизации. Но это не экзотическая выдумка автора; это парадоксы жизни современной Японии, где реакционные империалистические силы, пытаясь задушить все прогрессивное, стремящееся к обновлению страны, не гнушаются воскрешать самые дикие обычаи феодального прошлого.

В повести многое привычно для японской литературы, даже традиционно — внимание к вещному миру, подробное описание предметов, обстановки, неторопливое изложение любых ситуаций как обыденных. При всем том действие повести, несмотря на ее «мозаичное», фрагментарное построение, развивается стремительно и динамично. Писатель избрал своеобразную композицию не ради погони за оригинальной конструкцией; она рассчитана на то, чтобы сообщить повествованию особую эмоциональную напряженность и приковать внимание читателей к острым волнующим проблемам. Спокойный тон повествования скрывает за собой осознанную авторскую позицию, его ненависть к японской военщине.

Те страницы, где рассказывается об опытах над военнопленными, читать страшно. Но повесть Эндо не имеет ничего общего с литературой ужасов. При всей отвратительности описываемых фактов, в повести нет демонстрации уродств и извращений. Главное у Эндо то, что анализ характеров аморальных людей и описание преступлений — не самоцель, диктуемая желанием поразить воображение читателей и таким образом отвлечь их внимание от социальных корней преступления и отвести удар от главных виновников. «Море и яд» — это один из правдивых эпизодов жизни Японии периода второй мировой войны. Персонажи повести Сюсаку Эндо — это не просто индивидуумы с больной, ущербной психикой, а социальные типы — носители пороков того общественного строя, который их взрастил и который они представляют.

Одна из главных проблем повести — ответственность «простых исполнителей» за преступления военщины. Центральный ее персонаж, молодой врач Сугуро — не стяжатель, не карьерист, в душе мирный и скромный человек. Он питает отвращение к тем врачам, для которых неимущие больные — только подопытные кролики. Он, казалось бы, никому не делает зла. Но его душевные качества искажены его мещанской, обывательской сущностью. Его девиз: «Обычное, скромное счастье — самое большое счастье». Характерно, что это «маленькое счастье» может спокойно уживаться с «большим злом». Стремление замкнуться в своем обывательском мирке, привычка к повиновению, страх перед власть имущими приводят к тому, что он становится соучастником одного из самых мерзких преступлений японской военщины. У него не хватает душевных сил для того, чтобы воспротивиться казуистическим рассуждениям тех, кто оправдывает опыты

на живых людях словами о прогрессе науки. Тем более у него нет сил для того, чтобы отказаться от участия в опытах и таким образом погубить начинающуюся карьеру. Преступные силы формируют Сугуро по образу своему и подобию — без всякого протеста с его стороны, без всякой попытки к сопротивлению. Сугуро — мещанин, благонамеренный, покорный, малодушный и трусливый, чувствительный и в то же время жестокий. Такие люди, как Сугуро, считающие, что «человек никак не может плыть против течения», составляют ту обывательскую стихию, которая при известных исторических обстоятельствах может становиться опорой самой оголтелой реакции.

Сугуро не чужды муки совести. Он даже неоднократно пытается оправдываться перед самим собой. Но ни военная катастрофа, потрясшая Японию больше, чем любое другое событие в ее прошлой истории, ни понесенное наказание (правда, далеко не такое, какое он заслужил) не вытравили из Сугуро мещанина и раба. И после всего, что произошло, спустя много лет он заявляет: «Ничего нельзя было поделать... И на будущее не зарекаюсь. Окажись снова такая ситуация, может, опять так же поступлю... Так же...»

Для понимания повести Сюсаку Эндо большое значение имеет пролог к ней, хотя рассказчик, от лица которого этот пролог написан, не принимает участия в дальнейшем повествовании. Этот рассказчик — мелкий служащий, и в характеристике, которую ему дает автор, многое чуть ли не дословно совпадает с характеристикой Сугуро. Его единственное стремленне — быть обыкновенным человеком, жить тихо, размеренно, без треволнений. И вот этот, на первый взгляд, законченный обыватель неожиданно для самого себя, даже против своей воли начинает выяснять прошлое заинтересовавшего его человека. Забота о собственном здоровье на время заслоняется интересами более важными, общими. В словах его слышится обеспокоенность возможностью повторения преступлений. Этой тревоги, разумеется, еще недостаточно, чтобы предотвратить новую беду. Но она симптоматична и важна, эта тревога, она может и должна принести свои плоды.

Сюсаку Эндо родился в 1923 году. Начав печататься после второй мировой войны, молодой писатель привлек внимание своими рассказами, осуждающими расовые предрассудки, пресмыкательство перед Западом и потерю национального достоинства. Чуткая совесть талантливого писателя-реалиста не позволяет ему мириться с уродливой буржуазной действительностью, с миром насилия и зла, и он резко, порой беспощадно критикует этот мир. В своих произведениях, проникнутых болью за человека, униженного и страдающего, он ищет правдивые ответы на вопросы современной японской жизни.

Сам факт выступления с такой книгой, как «Море и яд», в условиях возрождения и активизации в Японии милитаристских, фашиствующих элементов — свидетельство не только высокого личного мужества писателя, но и готовности прогрессивной части японской интеллигенции покончить с прошлым и вместе с передовыми силами страны бороться за лучшее будущее и мир.

РЕНЕ ДЕПЕСТР

Пусть солнце снова улицы зальет!

Перевод с французского
Л. ЛОЗИНСКОЙ

К Гаити

Дождь родины, сильней, сильней стучи
в пылающее сердце!
Утишь струей прохладной
незатухающий пожар воспоминаний.

Гаити...
Долгие века
я это слово на песке пишу.
И море каждый день его смывает...
И горе каждый день его смывает...
И утром снова на песке его пишу,
песке тысячелетнего терпенья.

Гаити...
Проходят годы.
Молчаливо море.
Не иссякает мужество в крови,
и красоту сотрет не скоро время,
но от случайности любой зависит тело,
и разум мой не вечен...

Гаити...
Мы смотрим друг на друга
сквозь моря бесконечное стекло.
Дрожит слезой единое желанье:
да утолит твой дождь томительную жажду —
мою неутолимую тоску!

Река

Итак, свершилось — я теперь река.
Огромный путь мне предстоит до моря!
Как буду называться я на карте?
Откуда — спросят — новоявленный поток?
Какие в нем застыли небеса?
Чья боль? Чей голод? Чей покой?

Простите, господа географы,
я, право, не нарочно...
Я любил смотреть,
как устремляется струя навстречу жажде.
Так много жаждущих еще на свете!
Чтоб напоить их, я и стал рекой.

Я не любил смотреть, как льются слезы,—
пусть я теку рекою вместо них!
Я не любил смотреть, как льется кровь,—
пусть вместо крови я прольюсь рекою!

Быть может, такова моя судьба —
все горести людей увлечь с собою в море!
Надеюсь, господа географы, теперь
местечко вы найдете мне
на карте?..

Поэзии

Ты позвонила дважды в дверь мою:
посланницей любви, любви, упавшей
росой рассветной на мои стихи,
и революции посланницей, той самой,
что учит негров мужеству стихий.

Теперь ты — соль, ты — свет,
ты — стол, кровать и кров,
ты — кровь бунтарская, струящаяся в жилах,
ночь летняя, переносящая меня
под звезды родины, к ее жасминам и напевам.

Дай легкость мне ладьи
и дай мне цепкость корня.
Дай мне зажечься губ твоих огнем.
Дай мне найти спасенье — дай последний остров,
где остудить смогу пылающую грудь.

Да, я освобожден твоим потоком бурным...
Пусть солнце снова улицы зальет!
Разбужены стихи. Идут за ярым плугом —
в одном строю, как друг идет за другом,—
чтоб сеять Нежность, Красоту, Любовь.

ЖОРЖ СИМЕНОН

Бедняков не убивают

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского П. ГЛАЗОВОЙ

I. Убийство человека в нижнем белье

«Бедняков не убивают...»

На протяжении двух часов эта дурацкая фраза приходила Мегрэ на память раз десять или двадцать, она преследовала его, словно назойливый припев случайно услышанной песенки, она вертелась и вертелась у него в голове — и невозможно было от нее отделаться, он даже несколько раз произнес ее вслух. Потом у нее появился вариант:

«Людей в нижнем белье не убивают...»

Августовский, по-отпускному пустоватый Париж изнывал от зноя. Жарко было уже в девять утра. В обезлюдевшей префектуре царила тишина. Все окна, обращенные к набережным, были распахнуты настежь. Войдя к себе в кабинет, Мегрэ первым долгом скинул пиджак. В эту минуту и раздался звонок от судьи Комельо.

— Загляните-ка, пожалуйста, на улицу Де-Дам. Этой ночью там произошло убийство. Комиссар полицейского участка рассказал мне какую-то длинную, путаную историю. Он сейчас на месте происшествия. Из прокуратуры туда раньше одиннадцати никто прибыть не сможет.

Уж это всегда так: только ты собрался провести спокойный денек в тишине, в прохладе — бац! — сваливается на тебя какая-то дрянь, и все к черту!..

— Идем, Люка?

Конечно, легковушку оперативной группы успели куда-то услать, и надо было добираться на метро, где пахло хлорной известью и где Мегрэ вдобавок пришлось загасить трубку.

...Нижний конец улицы Де-Дам у выхода на улицу Батиньоль. Солнце печет. Сутолока. Пестрота. На тележках вдоль тротуаров — горы овощей, фруктов, рыбы. Перед тележкой плотной стеной — хозяйки, осаждающие всю эту снедь. Разумеется, у дома, где произошло убийство, толпится народ; мальчишки, пользуясь случаем, носятся взад-вперед, визжат, орут.

Обыкновенный семиэтажный дом. Для съемщиков с более чем скромным достатком. В нижнем этаже — прачечная и лавка угольщика.

У подъезда стоит полицейский.

— Комиссар ожидает вас наверху, мосье Мегрэ... Это на четвертом... Проходите, господа, проходите!.. Ну что тут смотреть... На дорогето хоть не стойте, посторонитесь!

Какое преступление могло совершиться здесь, в этом доме, где живут маленькие, незаметные люди — народ, как правило, честный? Какая-нибудь драма любви и ревности? Но фон даже для этого неподходящий.

Четвертый этаж. Широко распахнутая дверь, за ней кухня. Там шумная ребячья возня. Их трое или четверо — подростки лет по двенадцати-шестнадцати. И женский голос из другой комнаты:

— Жерар, оставь сестру в покое, слышишь!..

Голос визгливый и в то же время усталый; такой иногда бывает у женщин, потративших всю жизнь на мелочную борьбу с повседневными невзгодами.

Входная дверь отворилась, и Мегрэ увидел жену убитого. Это она кричала сейчас на Жерара. Рядом с ней стоял участковый полицейский комиссар. Мегрэ пожал ему руку.

Женщина взглянула на Мегрэ и вздохнула, точно говоря: «Еще один!»

— Это комиссар Мегрэ,— объяснил участковый,— он будет вести следствие.

— Значит, рассказывать все сначала?

Комната, которая одновременно служит и гостиной и столовой; в одном углу — радиоприемник, в другом — швейная машина. В открытое окно врывается уличный шум; дверь на кухню тоже открыта, и оттуда несутся крики и визг детей. Но вот женщина прикрыла дверь, и голоса смолкли, точно внезапно выключенное радио.

— Такое могло случиться только со мной,— проговорила она со вздохом.— Садитесь, мосье... Может быть, выпьете чего-нибудь? Я подам... Прямо не знаю...

— Расскажите мне, но только ясно и просто, как это произошло.

— Так ведь я ничего не видела, что же я буду рассказывать?.. Мне все кажется, будто и не было ничего... Вернулся он домой, как всегда, в половине седьмого... Он никогда не опаздывал... Мне даже приходится всякий раз давать ребятам шлепка, потому что он любил садиться за стол сразу, лишь только придет...

Она говорила о своем муже, чей портрет — увеличенная фотография, где они сняты вместе,— висел на стене. И не потому, что трагически погиб ее муж, эта женщина выглядела такой подавленной и несчастной. С портрета она тоже смотрела пришибленно и покорно, будто на ее плечи были взвалены все тяготы мира.

Что касается мужа, то фотография запечатлела усы, крахмальный стоячий воротничок и лицо, выражавшее самую безоблачную невозмутимость; в этом человеке все было так заурядно, так ординарно, что, встретив его даже в сотый раз, вы бы не обратили на него внимания.

— Он вернулся в половине седьмого, снял пиджак и повесил его в шкаф — со своими вещами он всегда обращался аккуратно, это надо правду сказать... В восемь пришла Франсина — она работает; я еще оставила ей обед на столе...

Вероятно, она уже рассказывала все это полицейскому комиссару, но чувствовалось, что, если бы от нее потребовали, она могла бы повторять свой рассказ снова и снова, все тем же плаксивым голосом, и взгляд у нее был бы при этом все такой же тревожный, как будто она боялась что-нибудь забыть.

Ей было лет сорок пять, и в молодости она, вероятно, была хорошенькой, но с тех пор прошли долгие годы, а ее каждый день с утра до вечера одолевали домашние заботы...

— Морис уселся на свое любимое место, у окна... как раз там, где теперь сидите вы. Это его кресло... Он читал книгу, но иногда вставал, чтобы отрегулировать радио...

В этот вечерний час в домах на улице Де-Дам нашлось бы, наверное, не меньше сотни мужчин, занятых тем же самым,— мужчин, которые, отработав целый день в конторе или в магазине, отдыхали теперь у раскрытого окна за чтением книги или вечерней газеты.

— Надо вам сказать, что он по вечерам никогда не гулял. То есть один, без нас. Раз в неделю мы ходили в кино, все вместе. ...А в воскресенье...

По временам она теряла нить рассказа, прислушиваясь к тому, что делается на кухне, тревожась, не дерутся ли дети, не подгорело ли что-нибудь на плите...

— Так о чем это я?.. Ах, да... Франсина — ей уже семнадцать. Франсина вышла погулять и вернулась в половине одиннадцатого. Остальные спали... Я готовила обед на сегодня, заранее, потому что утром мне надо было ехать к портнихе... Господи! Я и забыла предупредить ее, что не приеду... А она меня ждет...

Это для нее тоже было трагедией.

— Мы легли... Вернее сказать, мы вошли в спальню, и я легла в кровать... Морис раздевался всегда медленнее, чем я. Окно было открыто... Жалюзи мы тоже не опускали, из-за духоты... В доме напротив никто на нас не смотрел... Там отель... Люди приходят и сразу ложатся спать... Их редко увидишь у окна...

Мегрэ сидел так неподвижно, вид у него был такой осоловелый, что Люка показалось, будто начальник сейчас уснет. Однако из губ Мегрэ, плотно зажавших мундштук трубки, вырывался время от времени легкий дымок.

— Мне и рассказывать-то нечего... Нет, такое могло случиться только со мной... Мы с ним разговаривали... О чем именно, я не помню, но пока он снимал брюки и складывал их, он все время говорил... Он остался в нижнем белье... Потом снял носки и стал чесать себе подошвы, они всегда у него болели... Я услышала с улицы такой звук... знаете, такой... ну, когда у машины мотор стреляет... нет, не такой даже, а вот какой: ф-р-р-ф-р-р... Вот-вот, именно: ф-р-р-ф-р-р... Вроде водопроводного крана, когда в нем воздух соберется... Тут я подумала, что это вдруг Морис на полуслове замолк?.. Видите ли, я уже начала дремать, потому что за день сильно устала... Ну так вот, замолчал он, а потом говорит тихонько и странным таким голосом: «Сволочь!». Я очень удивилась, потому что он почти никогда не ругался... Он был не такой... Я его спрашиваю: «Что это ты?» Тут я открыла глаза — я ведь все время лежала с закрытыми глазами — и вижу, он валится на пол. Я закричала: «Морис!»

Понимаете, человек ни разу в жизни не падал в обморок... Он хоть и не был здоровяком, но болеть никогда не болел...

Я встала... зову его, говорю... А он лежит на коврике ничком и не шевелится... Я хотела его поднять, смотрю: у него на рубашке — кровь...

Я позвала Франсину, это наша старшая. И как вы думаете, что она мне сказала, когда увидела отца? «Мама,— говорит,— что ты наделала!»— и кинулась вниз, звонить... Ей пришлось разбудить угольщика...

— А где Франсина? — спросил Мегрэ.

— У себя в комнате... Она одевается... Ночью нам было не до того, вот мы и остались неодетые... Уж вы извините, что у меня такой вид... Сначала приходил доктор, потом полицейские, потом господин комиссар...

— Не могли бы вы нас оставить одних?

Она поняла не сразу, переспросила:

— Оставить одних?

Она ушла на кухню, и слышно было, как она бранит детей — все тем же нудным, монотонным голосом.

— Еще четверть часа, и я сошел бы с ума,— со вздохом проговорил Мегрэ, подходя к окошку глотнуть свежего воздуха.

Трудно объяснить почему, но только во всем существе этой женщины, возможно совсем не плохой, было что-то удручающе унылое, что-то такое, отчего меркнул, становился угрюмым и серым даже солнечный свет, лившийся в окно. Сама жизнь делалась в ее присутствии такой тусклой, такой никчемной и монотонной, что невольно хотелось спросить себя, неужели улица со всем своим движением, солнцем, красками, звуками и запахами была еще здесь, рядом, как говорится — только руку протянуть.

— Бедняга!..

Не потому, что он умер, но потому, что жил!

— Кстати, как его звали?

— Трамбле... Морис Трамбле... Сорок восемь лет... Жена сказала, что он служил кассиром в какой-то торговой фирме на улице Сантье... Вот... Я записал: «Куврэр и Бельшас, басонная торговля...»

И ко всему еще басонная торговля — шнуры, позумент и прочее для гробов и катафалков!

— Знаете ли,— рассказывал полицейский комиссар,— сначала я подумал, что это она его убила... Не разобрался спросонок, меня ведь с постели подняли, я только-только уснул... А тут такое творилось... Дети говорят все разом, она на них кричит, чтобы замолчали, повторяет мне по двадцать раз одно и то же — примерно то самое, что и вам рассказывала,— я и решил, что она либо придурковатая, либо и вовсе сумасшедшая. А тут еще мой бригадир вздумал ее допрашивать, «на пушку» взять хотел. Он ей: «Я вас не об этом спрашиваю, я вас спрашиваю, почему вы его убили?» А она ему: «Почему?.. Да чем же это было мне его убивать?»

На лестнице соседи собрались... Здешний врач скоро принесет мне свое заключение. Он меня надоумил: утверждает, что выстрел был произведен на расстоянии и что стреляли, несомненно, из какого-то окна напротив... Я и послал своих ребят в отель «Эксельсиор».

Коротенький припев все вертится и вертится в голове у Мегрэ:

«Бедняков не убивают...»

Тем более бедняков, которые сидят в нижнем белье на краю супружеской кровати и скребут свои натруженные подошвы!

— И вы что-нибудь обнаружили там, в доме напротив?

Мегрэ внимательно осматривал окна отеля «Эксельсиор»; впрочем, вернее было бы назвать его не отелем, а меблированными комнатами. Черная под мрамор табличка оповещала: «Номера на месяц, на неделю и на сутки. Горячая и холодная вода».

Бедность была и здесь. Но точно так же, как в доме, где жили Трамбле, как и в их квартире, это была не та бедность, которая может служить подходящим фоном для драмы. Бедность была здесь благопристойная, прилично и чистенько причесанная под скромный достаток.

— Я начал осмотр с четвертого этажа; все постояльцы уже лежали в постелях. Пришлось моим ребятам их побеспокоить. Представляете, какой поднялся шум. Хозяин разбушевался, грозил, что будет жаловаться. Тут мне пришла мысль заглянуть на пятый. И там, как раз напротив нашего с вами заветного, так сказать, окошечка, я обнаружил комнату, в которой никого не было, хотя она вот уже целую неделю числится за неким Жозефом Дамбуа. Я допросил швейцара, дежурив-

шего ночью, и он вспомнил, что незадолго до полуночи выпустил из отеля какого-то человека, но кто это был, он не знает...

Мегрэ наконец решился открыть дверь в спальню, где у изножия кровати, головой на коврике, ногами на голом полу все еще лежало тело убитого.

— Пуля, видимо, попала в сердце, и смерть наступила почти мгновенно... Я полагаю, лучше будет дождаться нашего судебного врача: надо, чтобы пулю извлек он. С минуты на минуту он должен прибыть вместе с господами из прокуратуры...

— В одиннадцать часов...— рассеянно проговорил Мегрэ.

Было четверть одиннадцатого. На улице, как и прежде, торговались у тележек хозяйки; в знойном воздухе стоял нежный аромат фруктов и зелени...

«Бедняков...»

— Карманы вы у него обыскали?

Обыскал, ясно и так — на столе беспорядочной грудой лежала мужская одежда, между тем как, по словам жены, Трамбле аккуратно сложил на ночь все свои вещи.

— Здесь все... Кошелек... Сигареты... Зажигалка... Ключи... Бумажник — в нем сотня франков и фотографии детей...

— Что соседи?

— Мои ребята опросили всех в доме... Трамбле живут в этой квартире двадцать шесть лет... Когда появились дети, они заняли еще две комнаты... Собственно, о них и сказать нечего... Обыкновенная, размеренная жизнь... Никаких особенных событий... Каждый год, в отпуск, ездят на две недели в Канталь, к Трамбле на родину... У них никто не бывает, если не считать редких визитов сестры мадам Трамбле. Обе женщины — урожденные Лапуант и тоже родом из Канталя... Трамбле выходил из дому каждый день в одно и то же время. На работу ездил в метро, со станции Вильер... В половине первого возвращался, через час уезжал обратно и приезжал вечером, в половине седьмого...

— Чушь какая-то! — проговорил Мегрэ. Восклицание вырвалось у него почти безотчетно. Действительно чушь. Преступление, в котором не было никакого видимого смысла.

Ничего не украли... Даже не пытались украсть... И все же это не было случайное убийство. Отнюдь. Его тщательно подготовили: пришлось снять комнату в отеле напротив, раздобыть пистолет, возможно, даже пневматическое ружье...

Тут действовал кто-то не случайный. И не ради какого-то там бедняги идут на такое дело... Да, но ведь Трамбле был именно из тех бедняг, о которых говорят: какой-то там...

— Вы не подождете людей из прокуратуры?

— Я непременно вернусь до того, как они уедут. Останьтесь, пожалуйста, чтобы ознакомить их с делом...

За стеной снова шумно завозились; догадаться было нетрудно: мадам Трамбле, урожденная Лапуант, воевала со своими детьми.

— Кстати, сколько их у нее?

— Пятеро... Три сына и две дочки... Один сынишка этой зимой заболел плевритом, и сейчас он в деревне у родителей Трамбле... Ему скоро четырнадцать...

— Идем, Люка?

Мегрэ сейчас отнюдь не улыбалась перспектива увидеть снова мадам Трамбле и услышать унылое: «Такое могло случиться только со мной».

Он тяжело спустился по лестнице мимо открывавшихся одна за другой дверей, позади которых слышался быстрый шепот. Он хотел зайти к угольщику выпить вина, но в лавчонке было полно любопытных, ожи-

давших прибытия чиновников прокуратуры, и Мегрэ предпочел дойти до улицы Батиньоль, где о ночной драме ничего не знали.

— Что ты будешь пить?

— Займись-ка этим типом из отеля «Эксельсиор»... Ты, разумеется, найдешь там не очень-то много, потому что обделать такое дельце, как он его обделал, это... Эй, такси!..

Тем хуже для бухгалтерии. Было слишком жарко, чтобы париться в метро или стоять на углу в ожидании автобуса.

— Встретимся на улице Де-Дам... А нет, так после обеда на набережной...

Бедняков не убивают, черт побери! А если уж убивают, так не по одиночке, а целыми партиями, устраивают войну или мятеж. Если же бедняку случается кончить жизнь самоубийством, то вряд ли он станет добывать для этого пневматическое ружье и уж конечно не застрелится в ту минуту, когда сидит на постели и чешет пятки.

Будь Трамбле не уроженцем какого-то там Канталя, носи он звучное иностранное имя, можно было бы еще заподозрить его в принадлежности к некой неведомой тайной организации его соотечественников...

Да и не был он похож на тех, кого убивают. Лицо не такое, вот в чем загвоздка! Это-то и озадачивало... А вся обстановка? Эта квартира, жена, пятеро детей, муж в нижнем белье, «ф-р-р-ф-р-р», с каким пролетела пуля...

Верх такси был откинут, и Мегрэ курил свою трубку, время от времени пожимая плечами. В какое-то мгновение мысли его обратились к мадам Мегрэ. «Бедняжка!» — скажет она и при этом непременно вздохнет. Когда умирает мужчина, женщина всегда сочувствует женщине.

— Нет, номера я не знаю... Да, улица Сантье... «Куврэр и Бельшас»... Наверно, что-нибудь солидное. Этакий почтенный торговый дом, рождения тысяча восемьсот какого-нибудь года...

Он не понимал, и это злило его. Злило потому, что он не терпел непонятного... Улица Сантье была забита людьми и машинами. Притормозив, шофер заговорил с прохожим, чтобы узнать об адресе, и в эту минуту Мегрэ увидел на фасаде одного из домов выведенные красивыми золотыми буквами слова: «Куврэр и Бельшас».

— Подождите меня... Я недолго.

Собственно, он не знал, надолго ли, но жара совсем разморила его. Да и как было не разморить, когда почти все его товарищи по работе и даже все инспектора были в отпуске и когда сегодня с утра он рассчитывал поблаженствовать на досуге у себя в кабинете!

Второй этаж. Анфилада темных комнат, чем-то напоминающих ризницу.

— Могу я видеть мосье Куврэра?

— По личному делу?

— По сугубо личному.

— Весьма сожалею. Мосье Куврэр умер пять лет назад.

— А мосье Бельшас?

— Мосье Бельшас уехал в Нормандию. Если угодно, вы можете поговорить с мосье Мовром.

— Кто это?

— Доверенное лицо фирмы. Он сейчас в банке, но скоро вернется...

— Скажите, а мосье Трамбле здесь?

Недоумение:

— Простите, как вы сказали?

— Мосье Трамбле... Морис Трамбле...

— Я такого не знаю.

— Ваш кассир...

— Нашего кассира зовут Мажин, Гастон Мажин...

«Вот так история с географией!» — подумал Мегрэ. Положительно, его так и преследовали сегодня трафаретные фразы.

— Вы будете ожидать мосье Мовра?

— Да, придется.

Сидеть и нюхать приторный запах галантереи и картонных коробок.

К счастью, это продолжалось не слишком долго. Мосье Мовр оказался шестидесятилетним господином, одетым с головы до ног во все черное.

— Вы хотели поговорить со мной?

— Мегрэ, комиссар сыскной полиции...

Если слова эти имели целью произвести впечатление, то Мегрэ ошибся.

— Чему я обязан честью...

— Если не ошибаюсь, у вас работает кассиром некий Трамбле?

— Работал... Довольно давно... Погодите... Это было в тот год, когда мы модернизировали наше отделение в Камбре. Да... Семь лет назад... Даже немного больше, потому что он ушел от нас в середине весны...— Мосье Мовр поправил пенсне:— Словом, мосье Трамбле не служит у нас уже семь лет.

— С тех пор вы его больше не видели?

— Лично я — нет.

— Вы были им довольны как служащим?

— Безусловно... Я знал его очень хорошо, потому что он поступил сюда всего лишь на несколько лет позже меня... Это был человек в высшей степени добросовестный и пунктуальный... Ушел он от нас, насколько мне помнится, по какой-то очень уважительной причине, с соблюдением всех формальностей... Ну да, по семейным обстоятельствам. Он написал в заявлении, что собирается обосноваться у себя на родине: в Оверни, кажется, или в Кантале, сейчас уже не помню...

— Касса у него всегда была в порядке?

Мосье Мовр даже слегка подался назад, точно ему нанесли личное оскорбление.

— Простите, у нас таких вещей не бывает.

— А вам никогда не приходилось слышать, будто у мосье Трамбле есть любовница или что он предается какому-нибудь пороку?

— Нет, мосье. Никогда. И я убежден, что с ним этого не могло быть.

Коротко и ясно. И если Мегрэ не желает понимать, что он заходит слишком далеко даже для комиссара сыскной полиции...

Однако Мегрэ не сдавался:

— Странно... Дело в том, что в течение семи лет, до вчерашнего дня включительно, мосье Трамбле каждое утро уходил из дому и отправлялся на работу к вам в контору и каждый месяц приносил жене жалованье.

— Прошу прощения, но этого не может быть.

Ему недвусмысленно указывали на дверь.

— Значит, это был образцовый служащий?

— Отличный служащий.

— И в его поведении не было ничего...

— Нет, мосье, ничего. Прошу извинить, но меня ожидают два оптовых покупателя из провинции, и...

Уф! Ну и духотища! Почти как в комнатках на улице Де-Дам. Приятно было очутиться снова на воздухе, снова увидеть свое такси, шофера, уже успевшего выпить в соседнем бистро стаканчик минеральной воды и теперь вытиравшего усы.

— Куда прикажете, мосье Мегрэ? — Все шоферы знали его, и это как-никак тоже было приятно.

— На улицу Де-Дам, старина...

Так-так, значит, семь лет подряд этот самый Морис Трамбле уходил в положенное время из дому и отправлялся к себе на работу, и семь лет подряд...

— Остановишься где-нибудь по дороге, я заскочу выпить у стойки...

Перед встречей с мадам Трамбле и господами из прокуратуры, которые, должно быть, уже толкутся в квартирке на улице Де-Дам.

«Бедняков...»

Только таким ли уж он был бедняком, вот в чем вопрос.

II. Убийца с больной печенью и любитель канареек

Что с тобой, Мегрэ? Ты не спишь?

Было, наверно, около трех часов ночи, а Мегрэ все еще продолжал ворочаться с боку на бок в своей постели, весь в испарине, хотя открыты были оба окна спальни, выходивших на бульвар Ришар-Ленуар. Несколько раз он уже начинал засыпать, но едва только дыхание жены рядом с ним становилось глубоким и ровным, как он снова, против собственной воли, принимался думать опять и опять об этом Трамбле, о своем бедняке, как он теперь про себя называл его.

Тут что-то было не так, ускользало, как в несообразном сне. И Мегрэ опять возвращался к исходному пункту. Половина девятого утра. В квартирке на улице Де-Дам Морис Трамбле кончает одеваться. Тут же рядом унылая мадам Трамбле — теперь Мегрэ уже знал, что ее зовут Жюльеттой, то есть самым неподходящим для нее именем, — итак, тут же рядом унылая Жюльетта в бигуди, со взглядом великомученицы, пытается утихомирить расшумевшихся детей, но в результате гвалт становится еще громче.

«Он не выносил шума, господин комиссар...»

Почему именно эта деталь поразила Мегрэ сильней всего остального, что он там услышал? Почему в полусонном забытьи память его возвращалась к ней снова и снова? Не выносить шума — и жить на улице Де-Дам, многолюдной, бойкой и тесной, да еще с пятью детьми, которые только и делают, что задирают друг друга, и с этой Жюльеттой, которая не знает, как их унять...

«Он одевается... Хорошо, дальше... Бреется — через день, по словам Жюльетты. Выпивает чашку кофе с молоком и съедает два рогалика... Выходит на улицу, идет к бульвару Батиньоль и на станции Вильер садится в метро...»

Всю вторую половину дня после посещения фирмы «Куврэр и Бельшас» Мегрэ просидел у себя в кабинете, занимаясь текущими делами. В это время вечерние газеты по просьбе полиции уже печатали на первых полосах портреты Мориса Трамбле.

А бригадир Люка тем временем отправился в отель «Эксельсиор», захватив с собой фотографии всех рецидивистов и уголовников, чья внешность хоть сколько-нибудь подходила под описание примет мнимого Жозефа Дамбуа, точнее говоря — убийцы.

Рассматривая фотографии, хозяин отеля, выходец из Оверни, отрицательно качал головой:

— Я, правда, мало видел его, но, по-моему, он не из таких.

Бригадиру пришлось проявить немало терпения, прежде чем он наконец выяснил: хозяин хотел сказать, что постоялец с пневматическим ружьем отнюдь не был похож на преступника, внешность у него была самая безобидная.

— Когда он пришел и спросил номер на неделю, я подумал, что это какой-нибудь ночной сторож...

Человек неприметной внешности. Средних лет. Да и мало кто его видел, потому что он возвращался к себе только на ночь, а утром уходил.

— Были у него с собой какие-нибудь вещи?

— Маленький чемоданчик, знаете, как у футболистов.

И еще усы. По словам хозяина — рыжие. По словам ночного швейцара — седоватые. Правда, он видел их при другом освещении.

— Одет он был плохо. Нет, не то чтобы грязно, но весь он был какой-то потертый. Я с него потребовал плату за всю неделю вперед. Бумажник у него тоже был потрепанный, а денег и вовсе мало...

Показания горничной пятого этажа:

— Я его ни разу не видела, потому что убирала его номер поздно утром, после 42-го и 43-го, но, уж можете мне поверить, издали видать было, что живет холостяк...

Люка перетряхнул в этом номере каждую вещь, тщательно, метр за метром, обследовал всю комнату. На подушке он обнаружил три волоска: два с головы и один из усов. Нашел на эмалированном туалете почти пустой флакончик из-под одеколона, а на камине — старую расческу, в которой не хватало половины зубьев.

Вот и все. Небогатый улов. И тем не менее в лаборатории сумели кое-что выяснить. По мнению экспертов, в течение нескольких часов исследовавших расческу и волосы, преступнику было от сорока шести до сорока восьми лет. Он был рыжеволос, но уже начинал седеть и лысеть. Имел флегматический характер и страдал болезнью печени.

Однако не об этом думал Мегрэ, ворочаясь в своей постели.

«Он одевается, завтракает, берет шляпу и выходит на улицу... Он идет к метро на бульваре Батиньоль...»

Но, разумеется, вовсе не для того, чтобы ехать на улицу Сантье, в контору фирмы «Куврэр и Бельшас», где уже семь лет ни одна живая душа его не видела, а куда-то совсем в другое место...

Почему Мегрэ полагал, что в то время, когда Трамбле еще служил у «Куврэра и Бельшаса», ему удобно было ездить в метро? Очень просто. Линия Порт-де-Шампре — Пре-Сен-Жерве прямая, без пересадок. Трамбле выходил непосредственно на улице Сантье.

И тут Мегрэ вдруг вспомнил, что дочка Трамбле, Франсина, которую он видел сегодня мельком и не успел как следует разглядеть, уже около года работает в магазине стандартных цен на улице Реомюр. Улица Реомюр идет под прямым углом к улице Сантье. Это на той же линии метро.

— Ты не спишь? — спросила мадам Мегрэ.

— Мне нужно выяснить одну вещь, — ответил он, — может быть, ты знаешь... Очевидно, все магазины стандартных цен принадлежат одному и тому же тресту и работают по единому расписанию. Ты ведь как-то ходила в такой магазин на авеню Республики...

— Что же тебя интересует?

— В котором часу они открываются?

— В девять...

— Ты это точно знаешь?

Ответ доставил ему, по-видимому, такое удовольствие, что, прежде чем наконец уснуть, он замурлыкал себе под нос какую-то песенку.

■

— А мать ничего не сказала?

Было четверть десятого утра, и Мегрэ сидел у себя в кабинете, слушая только что вернувшегося Люка, еще не успевшего снять соломенной шляпы.

— Я объяснил ей, что вам нужны какие-то дополнительные сведения, но что вы не хотите докучать ей в такую тяжелую минуту и поэтому сочли более уместным побеспокоить дочь.

— А что дочка?

— Мы приехали на автобусе, как вы велели. Мне кажется, она немножко нервничает. Все пыталась узнать, зачем вы ее вызываете.

— Скажи, пусть войдет.

— Там с вами хочет поговорить еще какой-то пожилой господин.

— После... Вели подождать... А кто он?

— Какой-то торговец с Луврской набережной... Он хочет вам что-то сообщить, и притом непременно лично...

Парило так же, как и накануне. Над Сеной серебрилось лучистое марево, окутывая легкой дымкой вереницы плывущих судов.

Франсина вошла, одетая в строгий темно-синий костюм и белую полотняную блузку. Очень миловидная, очень молоденькая девушка. Белокурые локоны, красиво оттененные кокетливой красной шляпкой, высокая, четко обрисованная грудь. Со вчерашнего дня у Франсины, должно быть, еще не было времени купить себе траурное платье.

— Садитесь, мадемуазель... Если вам жарко, я охотно разрешаю вам снять жакет...

Над верхней губкой у нее выступили бисеринки пота.

— Вчера ваша матушка сказала мне, что вы работаете продавщицей в магазине стандартных цен на улице Реомюр... Если не ошибаюсь, это тот магазин, что у Севастопольского бульвара, налево, не так ли?

— Да, мосье...

Губы у нее задрожали, и Мегрэ показалось, что она хочет ему что-то сказать, но не может решиться.

— Магазин открывается в девять часов утра, не правда ли? И он расположен неподалеку от улицы Сантье, куда ваш отец — как это считалось — ездил каждое утро на работу. Вы, наверно, нередко проделывали этот путь вместе...

— Всего несколько раз...

— Вы уверены в этом?

— Иногда случалось, конечно...

— И вы расставались с отцом у места его службы?

— Да, неподалеку... На углу...

— Так что у вас никогда не возникало никаких подозрений?

Он тихонько попыхивал своей трубкой и с самым невинным видом смотрел в это юное личико, на котором теперь отражалось такое смятение и тревога.

— Я уверен, что столь молодая особа, как вы, не позволит себе говорить неправду полиции... Вы хорошо понимаете, что это могло бы кончиться для вас неприятностями, тем более в такую минуту, когда мы делаем все от нас зависящее, чтобы разыскать убийцу вашего отца.

— Да, мосье.

Она достала из сумочки носовой платок, приложила его к глазам и тихо всхлипнула, вот-вот готовая расплакаться по-настоящему.

— У вас красивые серьги...

— Ах, мосье...

— Нет, действительно, очень красивые. Разрешите? Право, можно подумать, что у вас уже есть поклонник.

— О, что вы, мосье!

— Они золотые, и эти два граната в них — настоящие.

— Нет, мосье... Мама тоже думала, что настоящие, но...

— Но?

— Я ей сказала, что нет...

— Потому что вы купили эти серьги сами?

— Да, мосье.

— Значит, вы не отдавали жалованья родителям?

— Отдавала, мосье. Но было решено, что деньги за сверхурочные я буду оставлять себе...

— И сумочку вы себе тоже купили сами?

— Да, мосье.

— Скажите-ка мне, голубушка...

Она удивленно подняла голову, и Мегрэ рассмеялся.

— Ну, хватит.

— Что хватит, мосье?

— Морочить мне голову!

— Честное слово...

— Простите, минутку... Алло! Коммутатор? Дайте мне магазин стандартных цен на улице Реомюр... Да...

— Погодите, мосье...

Он сделал ей знак замолчать, и она залилась слезами.

— Алло... Магазин? Не могли бы вы соединить меня с директором?.. Ах, это вы сами?... Говорят из сыскной полиции... Мы хотели бы получить у вас сведения об одной вашей продавщице... Мадемуазель Франсине Трамбле... Да, будьте любезны... Как? Уже три месяца? Благодарю вас... Возможно, я днем к вам заеду...

Он обернулся к девушке:

— Ну вот, мадемуазель!

— Я бы и так вам призналась...

— Когда?

— Я хотела набраться храбрости...

— Как это произошло?

— А вы маме не скажете?.. Ведь это я из-за нее не хотела говорить... Опять пойдут слезы и причитания... Если бы вы знали маму!.. Я вам уже говорила, что иногда мы ездили в метро вместе с отцом... Он с самого начала был против того, чтобы я поступила на работу, и особенно в этот магазин... Понимаете? Но мама настояла: она говорила, что мы не настолько богаты, что она и так еле концы с концами сводит, а это такой удачный случай... Она меня сама повела к директору... Ну, вот... А месяца три назад я утром ушла из дому без денег и спохватилась только на углу улицы Сантье, когда попрощалась с отцом... В тот день мама поручила мне зайти в несколько магазинов... Я побежала за папой... Но он прошел мимо дома «Куврэр и Бельшас» и затерялся в толпе...

Я подумала, что ему нужно купить сигарет или еще что-нибудь... Я очень торопилась... И я пошла к себе в магазин... Днем я улучила свободную минутку и решила сбегать к отцу на работу... Там мне сказали, что он уже давно у них не служит...

— И вечером вы все ему рассказали?

— Нет... На следующий день я пошла за ним... Он направился в сторону Сены. По дороге получилось так, что он оглянулся и увидел меня... Тогда он сказал: «Тем лучше»...

— Что значит: «Тем лучше»?

— Ему не нравилось, что я работаю в магазине. Он объяснил мне, что ему уже давно хотелось забрать меня оттуда... Он сказал, что устроился на другое место и оно гораздо лучше, чем прежнее, потому что теперь ему не надо сидеть целый день в четырех стенах... Тогда он и повел меня в магазин и купил мне эти сережки... «Если мать станет спрашивать, откуда они у тебя, скажи, что это поддельные»...

— Ну, а потом?

— Я ушла с работы, но маме я ничего не сказала. В дни получки отец давал мне деньги, которые я раньше получала в магазине. Иногда

мы с ним встречались в городе и ходили вместе в кино или в ботанический сад...

— А чем ваш отец занимался в течение дня, вы не знаете?

— Нет... Но я хорошо понимала, почему он ничего не говорит матери... Если бы он стал ей давать больше денег, ничего бы не изменилось... В доме был бы все тот же беспорядок... Это трудно объяснить, но если бы вы у нас пожили, вы поняли бы... Мама неплохой человек, но...

— Благодарю вас, мадемуазель.

— Вы с ней будете об этом говорить?..

— Пока еще не знаю... Скажите, пожалуйста, вам не случалось видеть отца в обществе какого-нибудь другого человека?

— Никогда.

— Он никогда не давал вам никакого адреса?

— Мы всегда встречались где-нибудь около Сены, у Нового моста или у моста Искусств.

— Последний вопрос: во время этих встреч он бывал одет так же, как обычно, то есть в ту же одежду, которую носил у вас дома, на улице Де-Дам?

— Однажды, это было только один раз, недели две назад, он пришел в сером костюме, которого раньше я на нем не видела, потому что дома он никогда в нем не появлялся.

— Благодарю вас... Вы, разумеется, ни с кем об этом не говорили?

— Ни с кем.

— А нет у вас дружка где-нибудь по соседству?

— Клянусь вам...

Он был доволен, хотя причин для этого не было: дело не только не прояснялось, но, наоборот, запутывалось. Возможно, он был рад, что интуиция не подвела его и ночная догадка подтвердилась? А может быть, причина была в том, что он уже «заболел» своим беднягой Трамбле, который столько лет умудрялся водить за нос эту зловеще унылую Жюльетту и скрывать от нее свою вторую жизнь?

— Люка, вели войти этому господину...

Теодор Жюсьом, продавец птиц с Луврской набережной в Париже.

— Я пришел в связи с фотографией...

— Вы узнали убитого?

— Еще бы, мосье. Он был одним из моих лучших клиентов...

И вот приоткрылась еще одна сторона жизни Мориса Трамбле. Не реже раза в неделю он заходил в лавку Теодора Жюсьома и просиживал там целые часы, слушая пение птиц. Его страстью были канарейки. Он покупал их во множестве.

— Я продал ему не меньше трех больших вольеров.

— Вы отвезли их к нему на дом?

— Нет, мосье. Он увозил их сам, в такси.

— А его адреса вы не знали?

— Я не знал даже его фамилии. Он просил называть его мосье Шарлем. Так все его и звали, не только мы с женой, но и наши продавцы. О, это был ценитель, истинный ценитель. Я никогда не мог понять, почему он не показывает своих канареек на конкурсах. Некоторые из них отлично пели и могли бы завоевать не один приз, уверяю вас, это были бы первые призы...

— Как, по-вашему, он был человеком богатым?

— Богатым? Нет, мосье... Обеспеченным... В нем не было заметно скупости, но счет деньгам он знал...

— В общем, человек вполне положительный?

— Превосходный человек, и клиент, каких у меня не много...

— Он никогда не приходил к вам еще с кем-нибудь?

— Никогда...

— Благодарю вас, мосье Жюсьом...

Но мосье Жюсьом не уходил.

— Есть одно обстоятельство, которое меня занимает и несколько даже беспокоит... Если верить газетам, то в квартире на улице Де-Дам нет никаких птиц. Если бы канарейки, которых он покупал у меня, находились там, об этом, разумеется, не преминули бы написать, не правда ли? Их было у него никак не меньше двух сотен, а ведь это не каждый день...

— Иначе говоря, вы опасаетесь, что они...

— ...Да, находятся в таком месте, где теперь, когда нет мосье Шарля, о них некому позаботиться...

— Хорошо, мосье Жюсьом, я обещаю: если нам удастся разыскать их, мы вас об этом тотчас поставим в известность, и вы сможете позаботиться о них должным образом, если, конечно, не будет поздно.

— Благодарю вас... Это, главным образом, моя жена тревожится...

— До свидания, мосье Жюсьом...

Дверь закрылась.

— Ну-с, дружище Люка, что ты обо всем этом думаешь? Заключения экспертов получил?

— Только что принесли...

Прежде всего заключение судебно-медицинского эксперта. Из объяснений доктора Поля следовало, что смерть Трамбле была делом чистой случайности.

Сорок строк медицинских терминов и рассуждений, в которых комиссар ничего не смыслил.

— Алло, доктор Поль?.. Не будете ли вы любезны объяснить мне, что вы хотели сказать в своем заключении?

— Что, собственно, пуля не должна была проникнуть в грудную клетку убитого, потому что обладала для этого недостаточной пробивной силой, и что, не угоди она каким-то чудом в тонкую мышечную ткань между ребрами, она никогда не достигла бы сердца и не могла бы причинить ранения, опасного для жизни. Ему просто не повезло, вот и все! — заключил доктор Поль.— Нужен был известный угол прицела... И чтобы он сидел именно в такой позе...

— Вы полагаете, что убийца учел все это, когда целился?

— Я полагаю, что убийца — болван... Болван, который, быть может, стреляет и не совсем уж плохо, раз он сумел застрелить вашего Трамбле, но который никогда не сумел бы прицелиться так, чтобы пуля попала именно в сердце... По-моему, он вообще слабо разбирается в огнестрельном оружии...

Это подтвердил также и Гастин-Ренетт, эксперт по оружию. Согласно его заключению, пуля была от пневматического ружья, какими пользуются в ярмарочных тирах, свинцовая, трехмиллиметровая.

Любопытная деталь: убийца тщательно отточил пулю, чтобы сделать ее более острой.

Когда Мегрэ обратился за разъяснениями, эксперт ответил:

— Да нет, ее убойная сила от этого нисколько не увеличилась. Наоборот. Проникая в тело, закругленная пуля причиняет больше вреда, чем остроконечная. Человек, сделавший это, несомненно, воображал, будто он придумал что-то очень умное, в действительности же он в огнестрельном оружии ничего не смыслит.

— В общем, дилетант. Где-нибудь, наверно в детективном романе, вычитал что-то такое и понял как раз наоборот.

Вот и все, что удалось установить к одиннадцати часам утра на другой день после убийства Мориса Трамбле.

На улице Де-Дам Жюльетта металась между своими повседневными делами и новыми заботами, которые принесла с собою смерть главы

семьи, к тому же еще смерть насильственная. В довершение всех бед с утра до вечера ее осаждали газетчики, а на лестнице подкарауливали сидевшие в засаде фоторепортеры.

— Что нужно было от тебя этому комиссару?

— Ничего, мама...

— Ты говоришь неправду... Все и всегда говорят мне неправду... Даже твой отец и то лгал мне, обманывал меня целые годы...

Слезы текли у нее ручьем, она всхлипывала, шмыгала носом и продолжала говорить, суетиться по хозяйству, раздавать тычки детям, которых нужно было успеть к завтрашнему дню, для похорон, одеть во все черное.

Где-то двести голодных канареек ждали, когда их накормят.

И, обращаясь к Люка, Мегрэ со вздохом сказал:

— Остается только ждать...

Ждать результатов от опубликования фотографий, ждать, что люди узнают Мориса Трамбле, или мосье Шарля.

Бывал же он где-нибудь в течение этих семи лет. Если он переодевался вне дома, покупал певчих птиц и клетки для них, значит, где-то у него было пристанище: комната, квартира, возможно, целый дом? И, стало быть, он имел дело с хозяином либо с консьержкой или прислугой? Быть может, у него были друзья? Возможно, даже любовница?

Смешно сказать, но Мегрэ вел это дело не без некоторого волнения, в чем, пожалуй, не решился бы признаться и самому себе.

«Бедняков не убивают...»

И вот уже человек, которого Мегрэ никогда в своей жизни не видел, о чьем существовании он даже не подозревал, такой вначале серенький и неинтересный, человек, который умер нелепейшей смертью, сидя на кровати, где дремала унылая Жюльетта,— и к тому же от пули, которая вовсе не должна была его убить,— человек этот стал близок Мегрэ.

Ружье из ярмарочного тира... Из таких ружей сбивают курительные трубки или шарики, прыгающие на струе воды...

Да и сам убийца, старательно отточивший свинцовую пулю в надежде сделать ее более вредоносной... Судя по всему, он тоже был всего лишь несчастным бедняком, этот человек, после которого в номере отеля «Эксельсиор» не нашли ничего, кроме старой расчески с выломанными зубьями.

У него больная печень. Вот почти и все, что было о нем известно.

Люка снова отправился на охоту. Скучная работенка — ни радости, ни славы. Побывать во всех магазинах и лавках Парижа, где продается оружие. Потом во всех тирах, потому что этот субъект мог купить ружье именно там. Инспектор Жанвье опрашивал торговцев с Луврской набережной и с набережной Мессажери, а также хозяев бистро у Нового моста и моста Искусств, куда Трамбле, возможно, заходил выпить стаканчик вина в ожидании дочери, с которой обычно здесь встречался.

Наконец, толстяк Торанс занимался шоферами такси, потому что далеко не каждый день приходится перевозить пассажиров с большими птичьими вольерами.

Что касается Мегрэ, то он в это время сидел в ресторанчике на площади Дофина и благодушествовал, потягивая пиво на открытой террасе, затененной красно-желтым полосатым тентом. Кружка была уже наполовину пуста, и теперь, в ожидании часа, когда можно будет отправиться домой завтракать, Мегрэ наслаждался своей трубкой; однако брови его беспрестанно хмурились.

Что-то смутно беспокоило его, но он никак не мог понять, откуда у него это беспокойство. Кажется, ему что-то сказали, не то вчера, не то сегодня утром; его это сильно поразило, что-то очень важное, но вот что именно — он забыл.

Какая-то коротенькая, ничего не значащая фраза. И все же — он хорошо помнит — тогда он ее сразу про себя отметил. И еще подумал, не в ней ли скрывается ключ ко всей этой загадочной истории.

Итак, от кого же он ее слышал?.. Может быть, на допросе, от этой высокогрудой девушки в красненькой шляпке?.. Он перебирал в уме все, что она ему говорила... Возвращался вновь к сцене на углу улицы Сантье, когда она побежала за отцом и увидела, что он прошел мимо места своей работы...

Сережки?.. Нет... Иногда отец с дочерью тайком ходили в кино... В общем, Франсина была любимицей Трамбле... Он испытывал, должно быть, немалую гордость, когда шел с ней гулять или покупал ей потихоньку от матери ценные вещи...

Нет, не то... Коротенькая фраза была связана с чем-то совсем другим... С чем же?.. Сверху откуда-то падал на него косой луч солнечного света, и в этом луче кружились нескончаемым хороводом тончайшие золотые пылинки, как бывает в комнате, где только что перестилали постель...

На улице Де-Дам, вот где он ее слышал... Открыта была дверь на кухню... и говорила Жюльетта... О чем же это она тогда говорила, что ему вдруг показалось — еще немного, и он все поймет?

— Жозеф, сколько с меня?

Совсем коротенькая фраза. Всю дорогу он пытался ее вспомнить. И дома, когда он, скинув пиджак и положив локти на стол, сидел за завтраком, он все еще продолжал думать о ней. И мадам Мегрэ, видя, что муж чем-то озабочен, под конец вовсе умолкла.

Но, подавая фрукты, она все же не выдержала и проговорила:

— Скажи, разве, по-твоему, это не отвратительно, когда человек...

Еще бы! Но ведь мадам Мегрэ не знала Жюльетту. Она не видела квартиры на улице Де-Дам.

Коротенькая фраза была у него уже на кончике языка, где-то рядом со словами жены.

«Скажи, разве это не отвратительно...»

Еще усилие. Одно небольшое усилие. Но озаряющая молния так и не вспыхнула. Он бросил салфетку на стол, набил трубку, налил себе рюмку кальвадоса и присел у окна — отдохнуть перед тем, как отправится снова на набережную Орфевр.

III. След рыболова с удочкой

В тот же день в шесть часов вечера Мегрэ и Люка выходили из такси далеко за Аустерлицким мостом на Привокзальной набережной. С ними был какой-то похожий на бродягу, обтрепанный, хромой человечек.

И тут наконец Мегрэ осенило, и коротенькая фраза, которую он так долго и тщетно пытался припомнить, неожиданно всплыла в его памяти: «Он не выносил шума».

Трамбле, этот бедняк, убитый в ту минуту, когда он в нижнем белье сидел на краю постели и скреб свои больные подошвы, Трамбле, живший на улице Де-Дам с пятью детьми, озорниками и неслухами, и с женой, которая только и знала, что ныть да жаловаться,— этот Трамбле не выносил шума.

Есть люди, которые не выносят определенных запахов, другие боятся холода или жары. Мегрэ запомнился один бракоразводный процесс: разводились супруги, прожившие вместе не то двадцать шесть, не то двадцать семь лет. Требуя расторжения брака, муж заявил суду:

— Я не могу привыкнуть к запаху моей жены.

А Трамбле не выносил шума. И потому, когда он в силу каких-то пока еще неясных обстоятельств получил возможность оставить работу в фирме «Куврэр и Бельшас» на шумной улице Сантье, он устроил себе пристанище здесь, на одной из самых пустынных набережных Парижа.

Это была тихая, широкая набережная. У причалов лениво покачивались на воде ряды сонных барж. Вокруг все дышало провинциальным покоем — и стоящие вдоль Сены маленькие двухэтажные домики, среди которых случайно затесалось несколько многоэтажных домов; и бистро, где, казалось, никогда не бывает посетителей; и дворы, где прохожий с удивлением замечал копающихся в навозе кур.

Открытие принадлежало папаше Ла Сериз, хромому оборванцу, квартировавшему под ближайшим мостом, как сам он не без высокопарности заявил, когда раньше других пришел со своим сообщением в префектуру.

Пока он ожидал приема, их явилось еще трое — разношерстная публика, но все такие же оборванцы, как и папаша Ла Сериз, типы, которых не встретишь нигде, кроме как на парижских набережных.

— Я первый пришел, правда ведь, комиссар?.. Полчаса тут сижу... Их еще и не было... Так что награда мне причитается...

— Что еще за награда?

— А что, разве не дают награды?

Где же справедливость? Папаша Ла Сериз был искренне возмущен.

— Как же так? За сбежавшую собачонку и то награду дают. А тут человек хочет показать, где жил этот несчастный, которого убили...

— Ладно, сообразим для тебя что-нибудь, если дело будет того стоить.

И они начали спорить и торговаться: сто франков... пятьдесят... Сошлись на двадцати. Его взяли с собой. И вот они стоят перед побеленным известью двухэтажным домиком с закрытыми ставнями.

— Я его здесь почти что каждое утро видел. Придет и сядет с удочкой вон там, как раз где буксир... Тут и завязалось наше знакомство... Поначалу дела шли у него неважно. Но я ему помог: объяснял, давал советы. И славных же брал он потом плотичек, и можно сказать — на голый крючок! С моей помощью, конечно... В одиннадцать часов смотает, бывало, лески, свяжет удочки и отправляется домой... Так я и узнал, где он живет...

Мегрэ позвонил — на всякий случай,— и внутри дома гулко отозвался дребезжащий старенький звонок. Люка взялся за отмычки, и через минуту дверь была открыта.

— Я тут буду, неподалеку,— сказал папаша Ла Сериз,— в случае чего, вы меня позовите.

В первый момент им стало даже как-то не по себе: из дома на них пахнуло запустением, а между тем там слышался какой-то странный шорох. Не сразу можно было сообразить, что это летают в своих вольерах канарейки.

Вольеры стояли в двух комнатах нижнего этажа, сами же комнаты казались голыми, нежилыми, потому что, кроме клеток для птиц, ничего другого в них почти не было.

Голоса громко звучали в пустом помещении. Мегрэ и Люка ходили по комнатам, открывали двери, создавая неожиданные сквозняки, от которых в комнате, выходившей окнами на улицу, вздувались единственные во всем доме оконные занавески.

Сколько лет эти стены не оклеивались заново? Бумажные обои совершенно выцвели, и на них темными пятнами обозначались силуэты всевозможной мебели, стоявшей здесь в разное время,— следы, оставленные всеми, кто прежде жил в этих комнатах.

Люка с удивлением смотрел на комиссара, который раньше, чем приняться за дело, налил канарейкам свежей воды и насыпал в кормушки мелкого и блестящего желтого семени.

— Понимаешь, старина, здесь он по крайней мере мог побыть в тишине...

У одного из окон стояло плетеное ивовое кресло старинного фасона, был также стол, два-три разномастных стула и на полках — целая коллекция исторических и приключенческих романов.

В нижнем этаже помещалась металлическая кровать, застланная роскошным пуховым одеялом красного атласа, отливавшего на свету всеми цветами радуги — мечта какой-нибудь богатой крестьянки.

— Он здесь, пожалуй, не очень-то веселился, как по-вашему, начальник?

Кухня. Тарелки, стаканы, сковородка. Мегрэ принюхался: от сковородки пахло рыбой. В мусорном ящике, который не опорожнялся, наверно, несколько дней, лежали рыбьи кости и чешуя. В нише был аккуратно расставлен набор удочек.

— Вы не находите, что это забавно придумано, а?

Как видно, Трамбле понимал счастье по-своему. Тихие комнаты, куда кроме него никто не входил. Рыбная ловля на набережных Сены. У него было два складных стула, из которых один усовершенствованного образца, видимо, очень дорогой. В красивых клетках — певчие птицы. И книги, уйма книг в пестрых обложках: книги, которыми он мог наслаждаться в тишине и покое.

Но самым любопытным был контраст между бедностью всей обстановки и отдельными дорогими вещами. Среди удочек одна была импортная, английская, стоившая, по меньшей мере, несколько тысяч франков. В одном из ящиков единственного в доме комода лежала золотая зажигалка с выгравированными инициалами «М. Т.» и дорогой портсигар.

— Вы хоть что-нибудь здесь понимаете, начальник?

Да, Мегрэ, кажется, начал понимать. Особенно после того, как нашел несколько совершенно бесполезных вещей, вроде великолепного игрушечного электропоезда.

— Видишь ли, ему столько лет хотелось иметь такие вот вещи...

— Вы думаете, он этим поездом играл?

— Я бы не поручился, что нет... А тебе разве никогда не случалось покупать вещи, о которых ты мечтал в детстве?

Итак, Трамбле приходил сюда утром, как другие приходят на работу, и садился с удочкой напротив своего дома. Потом он возвращался на улицу Де-Дам ко второму завтраку, иногда, быть может, после того, как поел рыбы собственного улова.

Он ухаживал за своими канарейками. Читал. Читал, вероятно, целыми часами, сидя в плетеном кресле у окна. И кругом было тихо, никто не тормошил его, никто не кричал. Время от времени он ходил в кино, иногда вместе с дочерью. И однажды он купил ей золотые сережки.

— Как вы думаете, эти деньги, на которые он жил, он получил их в наследство или украл?

Мегрэ ничего не ответил. Он все ходил из комнаты в комнату и смотрел; а перед домом стоял на часах папаша Ла Сериз.

— Поезжай обратно на набережную Орфевр. Вели разослать запросы во все парижские банки: надо выяснить, не открывал ли у них Трамбле текущего счета; необходимо запросить также нотариальные и адвокатские конторы...

Однако он мало на это рассчитывал. Слишком уж осмотрителен был Трамбле, слишком крепко сидела в нем исконная крестьянская осторожность, чтобы он решился держать свои деньги в таком месте, где их могли обнаружить.

— Вы останетесь здесь?

— Да, я здесь пробуду, наверно, всю ночь... Послушай... Принеси мне бутербродов и две-три бутылки пива... И позвони жене, предупреди, что, возможно, я сегодня домой не приеду... Позаботься, чтобы газеты об этом доме пока ничего не писали.

— Если хотите, я вернусь составить вам компанию или пришлю кого-нибудь из инспекторов.

— Не стоит.

У него даже не было с собою оружия. К чему?

И потекли часы, очень похожие, должно быть, на те, что проводил в этом доме его хозяин. Мегрэ даже перелистал несколько книг из его своеобразной библиотеки. Почти все они были перечитаны по нескольку раз.

Потом он долго копался в удочках; ему казалось, что такому человеку, как Трамбле, удочки должны были представляться идеальным тайником.

— Две тысячи франков в месяц в течение семи лет...

Солидный капиталец. Не говоря уже о деньгах, которые он тратил лично на себя... Но где-нибудь да была же она запрятана, эта кубышка!

В восемь вечера, когда Мегрэ в поисках тайника принялся обследовать вольеры, у подъезда остановилось такси.

Это приехал Люка в сопровождении какой-то девицы, у которой было, видимо, очень неважное настроение.

— Я не знал, что делать; телефона здесь нет,— бригадир был несколько смущен.— В конце концов я решил, что лучше всего привезти ее к вам сюда. Это — любовница...

Рослая, крупная брюнетка с грубоватым, мучнистого цвета лицом. Настороженно глядя на комиссара, она процедила:

— Надеюсь, меня не собираются обвинить в том, что это я убила его?

— Входите, входите... — тихо сказал Мегрэ,— в этом доме вы, наверно, ориентируетесь лучше меня...

— Я?.. Впервые эту грязную дыру в глаза вижу... Пять минут назад я даже не знала, что она на свете существует... Да, воздух здесь не то чтобы очень.

У нее чувствительностью отличался нос, а не барабанные перепонки. И, садясь, она прежде всего смахнула пыль с предложенного ей стула.

IV. Четвертая жизнь Мориса Трамбле

Ольга-Жанна-Мари Пауссонно, 29 лет; родом из Сен-Жорис-сюр-Изер; без определенных занятий; адрес: отель «Бо Сежур», улица Лепик, Париж, 18-й округ.

И тут же эта громадина с круглой, наподобие луны, физиономией затараторила:

— Прошу отметить, господин комиссар, что я к вам явилась добровольно. Как только я в газете увидела его фотографию, я себе сказала: я не должна бояться неприятностей, я...

— Трамбле приходил к вам в отель?

— Да, два раза в неделю...

— Так что хозяин и персонал знали его в лицо?

— Еще бы! Очень хорошо знали. Последние пять лет, с тех пор как это началось...

— Они тоже видели фотографию...

— Что вы хотите сказать?

Она закусила губу — сообразила наконец.

— Да, хозяин действительно спросил у меня, не фотография ли это мосье Шарля... Но я и так пришла бы...

— Не сомневаюсь. Стало быть, вы знали его под именем мосье Шарля?

— Я познакомилась с ним случайно, на бульваре Рошешуар, выходя из кино... Я служила тогда буфетчицей в ресторане самообслуживания на площади Клиши... Он за мной увязался... Он сказал мне, что бывает в Париже только наездом...

— Два раза в неделю...

— Да... Когда мы встретились во второй или в третий раз, он проводил меня до отеля и зашел ко мне... Так это и началось... Это он настоял, чтобы я бросила работу...

Почему она понравилась Трамбле? Очевидно, потому, что Жюльетта была маленькая, щуплая и белобрысая, а эта — высокого роста, черноволосая и сдобная. Сдобная — это, конечно, основное. И, видимо, ее круглое, лунообразное лицо связывалось в представлении Трамбле не только с округлостью форм, но и с мягкостью характера, быть может, даже с чувствительностью?

— Я скоро поняла, что он немного того...

— Что значит «того»?

— Ну, во всяком случае, с фантазиями... Он вечно твердил, что увезет меня в деревню... Только об этом и мечтал... Не успеет, бывало, прийти и уже тащит меня куда-нибудь в парк посидеть на скамеечке... Он приставал ко мне с этой своей идиотской деревней несколько месяцев, все просил, чтоб я с ним поехала туда хоть на пару деньков, и уговорил-таки в конце концов... Вы, может, думаете, мне там было очень весело? Как бы не так!..

— Он содержал вас?

— Он давал мне только на самое необходимое... Приходилось уверять его, будто я шью себе все сама... Ему, видите ли, хотелось, чтобы я все дни просиживала за шитьем и за штопкой... Комедия, да и только!.. Я его сто раз выставляла и говорила ему... Чего только я ему не говорила! А он хоть бы что, прицепился — не оторвать, является потом с подарками; письма пишет длиннющие... Что вы смеетесь?

— Да нет, ничего...

Бедный Трамбле! Он хотел отдохнуть от Жюльетты и нарвался на Ольгу!

— В общем, когда вы встречались, у вас немало времени уходило на ссоры...

— Это да, немало уходило времени...

— И вы ни разу не поинтересовались и не пошли за ним, чтобы узнать, где он живет?

— Он мне сказал, что где-то в районе Орлеанского вокзала, я и поверила... А в общем, мне это было все равно...

— У вас был, вероятно, еще друг?

— Да, у меня, конечно, были друзья... Но серьезного — ничего...

— А вы им рассказывали о своих отношениях с мосье Шарлем?

— Уж не думаете ли вы, что я им очень гордилась? Он был похож на пономаря из бедного прихода...

— Вы никогда не видели его в обществе других лиц?

— Никогда... Я же вам говорю, что для него вся радость была посидеть со мной где-нибудь в парке на скамеечке... Это правда, будто он был очень богатый?

— Кто вам сказал?

— Я читала в газете, что, по всей вероятности, он получил большое наследство... А я осталась без гроша в кармане... Такая уж, видно, моя судьба...

Смотрите-ка, совсем как Жюльетта!

— Скажите, у меня могут быть неприятности?

— Ну, что вы! Просто проверим ваши показания. Ясно, Люка?

И показания подтвердились полностью, вплоть до скандалов, которые Ольга закатывала бедняге Трамбле всякий раз, когда он приходил к ней, потому что характер был у нее собачий.

■

В течение ночи и части следующего дня Мегрэ обыскал в доме на Привокзальной набережной все уголки и закоулки, но так ничего и не нашел.

Не без сожаления покинул он этот дом, где провел столько часов как бы наедине со своим «беднягой» и близко заглянул в его жизнь. Мегрэ приказал установить за домом круглосуточное тайное наблюдение, для чего поблизости должны были дежурить несколько полицейских инспекторов.

— Что-нибудь это нам все-таки даст,— сказал он начальнику сыскной полиции.— Возможно, потребуется какое-то время, но я думаю, что в конце концов результат будет положительный.

Проверили, нет ли какого-нибудь подозрительного дружка у Франсины. Была организована слежка за Ольгой. Велось наблюдение за оборванцами с Привокзальной набережной.

Из банков на запросы пришли отрицательные ответы, точно так же, как и от нотариусов. Отправили телеграмму в Канталь, и можно было, видимо, считать установленным, что никакого наследства Трамбле не получал.

По-прежнему стояла жара. Трамбле похоронили. Его жена и дети готовились к отъезду в провинцию, потому что теперь средства не позволяли им жить в Париже.

Известна была жизнь Трамбле с улицы Де-Дам, известна была жизнь Трамбле с Привокзальной набережной и его жизнь с Ольгой... Был известен любитель рыбной ловли, канареек и приключенческих романов...

О том, что можно было бы назвать четвертой жизнью Трамбле, рассказал официант одного из парижских кафе. Человек этот явился однажды утром на набережную Орфевр и попросил, чтобы Мегрэ его принял.

— Извините, что я не пришел к вам раньше, но я все лето работал в Сабль-д'Олонн... Когда я увидел в газете эту фотографию, я собрался было написать вам, но потом как-то вылетело из головы. Я почти уверен, что это тот самый господин, который приходил играть на бильярде к нам в кафе: это на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сены.

— Но у него, разумеется, был партнер?

— Да, конечно... С ним приходил еще один, такой худой, длинный, с рыжими волосами, с усиками. Трамбле звал его Теодором, они были на «ты». Приходили они ежедневно и всегда в одно время, часов около четырех, уходили около шести... Теодор пил аперитивы. В отличие от него Трамбле к спиртному не притрагивался.

В большом городе человек пришел, ушел — и нет его; однако через некоторое время здесь ли, в другом ли месте, но след его непременно обнаруживается. Следы Трамбле отыскались у продавца птиц с Лувр-ской набережной и в подозрительном отеле на улице Лепик.

А теперь еще оказывалось, что он вместе с каким-то рыжеволосым верзилой много лет подряд ходил в скромное кафе на бульваре Сен-Жермен.

— Когда вы его видели в последний раз?

— Я уже больше года, как ушел с того места...

Торанс, Жанвье, Люка и другие инспекторы отправились в поход по всем парижским кафе и ресторанчикам, где есть бильярды, и недалеко от Нового моста им удалось напасть на след обоих приятелей — в течение нескольких месяцев они ходили сюда играть в бильярд.

Однако все сведения о Теодоре ограничивались тем, что он сильно пьет и каждый раз, приложившись к стаканчику, машинально вытирает усы тыльной стороною ладони.

— Человек скромного достатка, одет скорей даже бедно... Платил всегда Трамбле.

Полиция разыскивала Теодора в течение нескольких недель, но он оставался неуловим. И вот однажды Мегрэ пришла в голову мысль заглянуть в контору фирмы «Куврэр и Бельшас».

Принял его мосье Мовр.

— Теодор? Да, один Теодор у нас действительно служил, только очень давно... Погодите... Он ушел от нас лет двенадцать назад... Я уверен, что он был знаком с мосье Трамбле... Этот Теодор — я могу выяснить его фамилию по картотеке — служил у нас рассыльным, и мы уволили его за постоянное пьянство и за то, что, напившись, он держал себя с недопустимой развязностью...

Фамилию выяснили — Балар. Теодор Балар. Однако в меблированных комнатах Парижа и предместий никакого Балара обнаружить не удалось.

Еще один туманный след: лет пять назад некий Теодор Балар несколько недель работал при карусели в балаганах на Монмартре. В один из вечеров, напившись пьяным, он сломал себе руку, с тех пор его там больше не видели.

Этот человек и субъект с пневматическим ружьем из отеля «Эксельсиор», несомненно, одно и то же лицо...

Какой случай свел его снова с кассиром фирмы, где сам он служил всего-навсего рассыльным?.. Как бы то ни было, эти два человека регулярно встречались и играли в бильярд.

Быть может, Теодор проник в тайну своего приятеля? Или догадался, что в доме на Привокзальной набережной спрятаны деньги? А может быть, друзья поссорились?

— Продолжайте наблюдение за набережной...

И наблюдение продолжалось. Вскоре в сыскной полиции появилась дежурная шуточка:

— Что ты сегодня вечером делаешь?

— Стерегу канареек...

Но именно это и привело к успеху. Однажды ночью в дом забрался долговязый худой человек с рыжеватыми усами и висевшей, как плеть, рукой. Он был похож на нищего калеку.

Толстяк Торанс бросился на него сзади, и тот стал умолять, чтобы его не трогали.

Беднягой был Трамбле, беднягой оказался и его убийца. На Теодора жалко было смотреть. Он, видимо, уже несколько дней ничего не ел и, не имея приюта, скитался по улицам и набережным.

Он догадывался, конечно, что за домом следят, поэтому он так долго и не решался в него проникнуть, однако под конец не выдержал.

— Тем хуже! — проговорил он со вздохом.— Ну да уж лучше так... Есть хочется, больше не мог...

В два часа ночи он все еще сидел у Мегрэ в кабинете, поглощая стоявшие перед ним бутерброды и пиво, и с готовностью отвечал на все вопросы, какие ему задавали.

— Я, конечно, сволочь, сам знаю. А вот вы не знаете, как этот Морис скрытничал и юлил... Ведь ни разу не проговорился, что у него здесь на набережной дом есть... Не доверял... Играть со мной в бильярд — это пожалуйста, а насчет остального, тут он признавал только свои «козыри»... Это вам как покажется?.. Случалось, брал я у него денег взаймы, по мелочи, конечно, так вы бы видели, как из него приходилось вытягивать...

Может, я и погорячился, это верно... Я сидел без гроша... Надо было платить хозяйке за комнату... Тут он мне и сказал, что это в последний раз, что дураков, мол, нету и, кроме того, бильярд ему уже надоел...

В общем, выставил меня, точно лакея какого-нибудь...

Вот тогда я его и выследил, понял, какую он жизнь ведет, и догадался, что здесь в доме непременно припрятаны деньги...

— И для начала вы решили его убить... — буркнул Мегрэ, затягиваясь трубкой.

— Это только показывает, что я не из корысти так поступил, а потому, что он меня обидел... Иначе я просто пошел бы на набережную, когда его там не было...

■

Не меньше десяти раз обыскивали пресловутый дом самые опытные эксперты, и лишь когда год спустя его продали и никто не вспоминал уже об убийстве Трамбле, деньги, наконец, нашлись.

И спрятаны они были не где-нибудь в стене или под паркетом, а просто-напросто лежали укромно в заброшенном чуланчике на втором этаже.

... Это был клеенчатый, туго набитый ассигнациями пакет, в котором оказалось больше двух с половиной миллионов франков.

Услышав эту цифру, Мегрэ сделал быстрый подсчет — и все понял. Он сел в такси и вышел у павильона Флоры.

— У вас имеется список лиц, получавших выигрыши Национальной лотереи?

— Полного списка нет, некоторые желают сохранить свой выигрыш в тайне — закон предоставляет им такое право... Вот, например, семь лет назад...

Это был Трамбле. Он выиграл три миллиона. Он унес их с собой, крепко зажав под мышкой пакет с ассигнациями. И он никогда и никому не сболтнул о них ни словечка, этот не выносивший шума Трамбле, которому выигрыш открыл доступ к маленьким, но прежде недоступным для него радостям.

«Бедняков не убивают...»

И все же он был всего лишь бедняк. бедняк, убитый у себя на постели, где он сидел в нижнем белье и чесал на сон грядущий свои больные подошвы.

С. МАРШАК

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЕРЕВОДОВ

Самуил Яковлевич Маршак начал переводить английских авторов и народную поэзию более пятидесяти лет назад и продолжал эту работу до самых последних дней своей жизни. В его архиве хранится немало не опубликованных им при жизни переводов. Особое место в переводах С. Я. Маршака занимают детские песенки, которые он рассматривал как один из важнейших источников развития богатой английской поэзии. Публикуемые ниже переводы, выполненные им незадолго до смерти, являются **новым** *вкладом С. Я. Маршака в сокровищницу произведений английского народного творчества, обретших теперь новое звучание на русском языке.*

Колыбельная

Качайся, мой мальчик,
То вправо, то влево.
Отец твой — король,
А мать — королева.
Сестра твоя — леди
В мехах и в шелку.
А ты — барабанщик
В гвардейском полку.

Так ли это?

У женщин в нашем городке
По двадцать пальцев на руке,
На каждой ножке двадцать пять,
Как сам ты можешь сосчитать.

Загадка

Элизабет, Лиззи,
Бэтси и Бэсс
Весною с корзинкой
Отправились в лес.
В гнезде на березе,
Где не было птиц,
Нашли они пять
Розоватых яиц.
Им всем четверым
По яичку досталось,
И все же четыре
На месте осталось.

Разгадка

Хоть разные
Названы здесь имена
(Элизабет, Лиззи,
Бэтси и Бэсс),
Но так называлась
Девчонка одна —
Она и ходила
С корзинкою в лес.

Чудеса в решете

Играет кот на скрипке,
На блюде пляшут рыбки,
Корова взобралась на небеса.
Сбежали чашки, блюдца,
А лошади смеются.
Вот — говорят — какие чудеса!

■ ■ ■

На ворота без двора
Села птица без пера
Не малиновка, не чиж,
не скворец.
Лорд бездомный проходил,
Птицу в шляпу посадил
И поехал с ней пешком
во дворец.

Не шути с огнем

Полли местечко
Нашла перед печкой
И пальчики в туфельках грела.
Но вот она теткой
Наказана плеткой
За то, что чуть-чуть не сгорела.

Ослик

Ослик, ослик дорогой,
Рот, пожалуйста, открой,
Затруби и загуди,
Всех лентяев разбуди.

■ ■ ■

Король с королевой послали слугу
Сорвать с небосвода цветную дугу.
Слуга отвечал: — Я за ней бы полез,
Да лестницы нет от земли до небес!

Жил да был король

Жил да был король.
У него три дочки.
Дочек он велел
Посадить в три бочки.

Бочки
Воду зачерпнули,
Дочки
В море утонули.

Горько плакал их отец.
Вот и сказочке конец!

И. ТЕРТЕРЯН

ИСПАНСКИЙ РОМАН СЕГОДНЯ

Лет десять назад могло показаться, что в Испании не существует настоящей литературы, что мысль народа безнадежно сдавлена «испанским воротником» франкистской идеологической инквизиции. А в это время уже вышли «Семья Паскуаля Дуарте» Камило Хосе Селы и «Ничто» Кармен Лафорет, уже писали свои первые романы Хуан Гойтисоло, Ана Марня Матуте, Рафаэль Санчес Ферлосио и другие. Искусство почувствовало скрытое до времени под оболочкой трескучей пропаганды внутреннее разложение режима.

Кармен Лафорет и Камило Хосе Села принадлежали к первому поколению интеллигенции, формировавшемуся в условиях диктатуры, «не помня родства», ибо национальная литературная традиция была прервана: крупнейшие писатели ушли в эмиграцию, классики (например, Гальдос) не издавались и были фактически под запретом. Не прекращавшаяся и в те годы борьба испанских антифашистов за освобождение (о которой мы узнаем из гордых писем расстрелянных коммунистов) была еще скрыта от глаз интеллигенции внутри страны. Режим казался незыблемым.

Весь мир знает о том, что франкистская Испания — страна очень низкого жизненного уровня, страна самого низкого в Европе процента грамотности. Мир знает о переполненных тюрьмах, о зверских пытках в полицейских участках, о тайных казнях на рассвете в тюремных дворах. Но, может быть, мы не всегда представляем себе, какой *духовной* тюрьмой является сегодняшняя Испания, как трудно там думать, писать, быть настоящим интеллигентом. «Влияние церкви — это реальность испанской жизни во всех ее сферах: у семейного очага и в школе, в конторе и на улице, на заводе и в казарме, в университете и в театре, в развлечениях, нравах и даже в интимных отношениях»,— с восторгом пишет о франкистском государстве один из его видных идеологов, Рафаэль Кальво Серер. Государственная пропаганда вбивала и вбнвает в головы испанцев нехитрую концепцию, которая сводится к следующему: вся история Испании есть борьба истинно национального, католнческого духа со всем иностранным, либеральным, антихристианским, начиная от идей французской революции и кончая коммунизмом. Гражданская война 1936—1939 годов и стала-де решающей схваткой, в которой Испания доказала, что она была и пребудет страной традиционного, иерархического порядка, страной воинствующего католицизма.

Краеугольным камнем официальной философии является понятие «Hispanidad», выдвинутое еще в 30-е годы известным писателем-реакционером Рамиро де Маэсту. Оно означает некий особый «испанский дух», в основе которого лежит не рацио-

нальное, но мистическое начало. Франкистские идеологи сумели чудовищно извратить даже образ Дон Кихота, уподобив его изуверу типа Игнатия Лойолы и объявив воплощением испанского национального характера фанатиков слепой веры, готовых радостно умереть за мистический идеал. Великое гуманистическое содержание образа Дон Кихота выброшено, а Санчо Панса, Ласарильо и все земное, здравое и жизнелюбивое, что есть в подлинном испанском национальном характере, предано анафеме. Официальная критика поносит даже плутовской роман, сокровище испанской классики, за «воспевание вульгарности и грубый материализм».

Трудно приобщиться к передовой идеологии в стране, где запрещен не только «Капитал», но и «Критика чистого разума», и «Рассуждение о методе», и «Эмиль». В те годы соперничать с официальной идеологией за влияние на молодежь могла только философия испанского экзистенциализма, во многом определившая художественное мировоззрение К. Лафорет, К. Х. Селы и других писателей их поколения. Направление, начатое романами Селы и Лафорет, получило в критике название «тремендизма» («тремендо» — по-испански «ужасный, страшный»). В «Семье Паскуаля Дуарте» и «Улье» Селы, в «Ничто» Кармен Лафорет жизнь предстает как бесконечный круг взаимных мучений, который могут разорвать лишь безумие или смерть, как нечто бессмысленное и гнетущее, по отношению к чему человек беспомощно-пассивен. Но положительная роль этих романов в развитии послевоенной испанской прозы объясняется тем, что они не были только иллюстрацией к философским тезисам. Экзистенциалистская концепция жизни не полностью заслонила от писателей реальную жизнь испанского города 40-х годов. Эти романы показали, что через несколько лет после победы «Испанского крестового похода» (так церковь и франкистские идеологи называют гражданскую войну 1936—1939 годов) для рядового испанца, якобы спасенного генералом Франко от «ужасов большевизма», жизнь превратилась в тяжелое, бессмысленное бремя. Голод, нужда, душевное опустошение стали постоянными спутниками человека во франкистской Испании. Это и было то подлинно «страшное», что дает смысл названию литературного направления.

В 1954—1956 годах стали появляться первые произведения молодых писателей: Хуана Гойтисоло, Хесуса Фернандеса Сантоса, Рафаэля Ферлосио, Аны Марии Матуте, Долорес Медио, несколько позже — Луиса Гойтисоло-Гая, Хесуса Лопеса Пачеко, Антонио Ферреса, Хуана Гарсиа Ортелано, Армандо Лопеса Салинаса и других.

Молодые писатели освобождаются от философских химер их предшественников. Решительной атаке подверглась доктрина испанского экзистенциализма, и прежде всего его антидемократическая направленность.

Основой творческих поисков нового поколения были те серьезные перемены, которые произошли в стране, показав всему миру, что история испанского народа отнюдь не «прекратила течение свое». К середине пятидесятых годов стал очевиден всеохватывающий кризис государственного организма, подобный злокачественной болезни, которая тянется до сего дня, вызывая гниение и распад. Пришло время народных выступлений, массовых забастовок, отозвавшихся во всем мире. Проводимая коммунистической партией политика национального согласия создала возможность привлечь самые широкие слои интеллигенции к общему фронту борьбы против диктатуры.

Стена, отделявшая испанскую интеллигенцию от мира, не могла существовать вечно, и эпоха проделала в ней бреши. Книги молодых испанских писателей стали известны в Европе и во всем мире. Они переводятся на другие языки, завоевывают премии на международных конкурсах. Произведения, запрещенные франкистской цензурой, получили возможность увидеть свет во Франции или в Латинской Америке. Мировая пресса стала писать об испанской литературе все больше и больше — и нескрываемое, восхищенное удивление звучало в голосах критиков и журналистов: одним из самых неожиданных и бесспорных художественных явлений послевоенных лет оказалось рождение нового испанского романа. По излюбленному западной прессой методу ассоциаций этот роман часто называют «новой волной» испанской литературы. Неосновательность этого механического перенесения термина «новая волна» вскоре была продемонстрирована со всей наглядностью. Молодой испанский роман

открыто провозгласил свою идейную и эстетическую программу, весьма далекую от устремлений и «новой волны» французского кинематографа и «нового» французского романа.

Но предоставим слово самим испанским писателям — они говорят очень решительно и четко о том, к чему стремятся, что любят в литературе.

Антонио Феррес: «Для меня реальность — это единственный источник, питающий литературное произведение».

Армандо Лопес Салинас: «Способствовать в меру своих возможностей изменению общества. Сделать общество объектом нашей критики. Попытаться вскрыть социальные отношения, показывать мир таким, каким я его вижу... Вот чем, как мне кажется, я могу служить людям моей страны».

Луис Гойтисоло: «...по-моему, роман — это еще одно средство переделки общества. Но переделки, поймите меня правильно, не на бумаге, не путем идеализации действительности, а в умах читателей, когда мы заставляем их изменить их концепцию мира».

Хуан Гарсиа Ортелано: «Произведение романиста должно прежде всего свидетельствовать о реальности, в которой он живет... А чтобы суметь свидетельствовать о социальных отношениях, нужно полностью встать на реалистические позиции».

Хосе Кабальеро Бональд: «Я настаиваю на том, что объективное воспроизведение реальности — это единственная формула, помогающая писателю выполнить его социальный долг...»

Хосе Корралес Эхеа: «Если художник не чувствует связи между собой и другими людьми, если корни его не уходят глубоко в нашу общую землю, горизонты его книг будут неуклонно суживаться... Это означает, что нужно стремиться быть не только понятым, но и связанным с обществом, нужно осознать свою ответственность перед ним. Нельзя уклоняться от развертывающейся в обществе каждодневной битвы. Я хочу, чтобы всем стало ясно, что полезным и необходимым для меня является лишь то, что исходит из боевого принципа» *.

И это не просто декларации. Цифры говорят о том, как реализуется программа поколения. Антонио Феррес — три его романа запрещены цензурой. Альфонсо Гроссо — написал шесть книг, из них дозволено опубликовать только две. Армандо Лопес Салинас — последний его роман «Год за годом» был запрещен в Испании и опубликован во Франции. Хосе Корралес Эхеа — его последняя книга «Другое лицо» смогла увидеть свет только во Франции. И так далее.

Мне уже приходилось писать об испанском романе в годы после гражданской войны, об этапах, которые прошла художественная мысль в Испании, углубляя свое познание действительности *. Испанский роман движется, что-то теряя и что-то приобретая, осваивая новые области жизни и новые проблемы. Как этот процесс отразился в последних книгах испанских писателей — такова тема данной статьи.

■

Уже в конце пятидесятых годов сложился художественный облик молодого испанского романа. «Объективная проза» — так называют свой стиль молодые испанцы. Объективный роман, по их мнению, должен быть построен на предельно точном описании предметной среды и поведения человека и на буквальном воспроизведении диалога. Эта общая программа была сформулирована и наиболее развернуто обоснована в книге Х. Гойтисоло «Проблемы романа». В предисловии к этому сборнику своих статей Гойтисоло писал: «Единственное, что их (статьи.— *И. Т.*) объединяет,— это стремление подойти к различным аспектам и проблемам литературного творчества с очень важной, но забытой точки зрения — социальной». Повернуть литературу к непосредственному изображению социального бытия человека — таков пафос Гойтисоло и его друзей. Открывать читателям самые глубокие, самые неожиданные для литературы пласты народной жизни — цель их романов. Крестьяне дальних уголков страны, горняки, строители, беженцы из нищих районов, ютящиеся в бараках на окраинах Барселоны, полуголодные служащие, беспризорники и массы другого, крепко забытого испанской литературой люда загрохотали по страницам книг. Вместе с границами общественными расширялись и географические границы литературы. Молодые писатели отправились в путь — и буквальным образом. Они исходили самые заброшенные, забытые богом и государством углы

* Приводится по статье: Fr. Olmos Garcea. La novela y los novelistas espanoles de hoy "Cuadernos americanos", México, № 4, 1963.

* «Вопросы литературы» № 6, 1962.

своей страны. Они описывали только то, что видели и слышали: дорогу, постоялые дворы, случайных попутчиков и обрывки дорожных разговоров. Их проза приблизилась к документальному кинофильму: так внимательно вглядывается глаз писателя в почерневшие, иссохшие лица крестьянок, в опущенные руки мужчин, для которых нет работы во всей округе, в оголенную и потрескавшуюся землю... Такие книги, как «Земли Нихара» и «Чанка» Х. Гойтисоло, «Пешком по Хурдским горам» А. Ферреса и А. Лопеса Салинаса,— не только потрясающей силы документальные свидетельства о мучительной сегодняшней жизни испанского народа. Это еще и литературные манифесты, самая безусловная и прямая расшифровка — что именно понимают молодые испанские прозаики под словом «реализм». Это утверждение активной социальности их реализма.

«Предметность» стиля испанского романа становилась средством проявления этой социальности. Вещь, всякий признак материального бытия, тщательно описанный, высвеченный, неоднократно подчеркнутый, как бы концентрировал в себе социальное положение человека. Некоторые недальнозоркие критики при первых шагах молодого испанского романа сопоставляли его с экспериментами А. Роб-Грийе. Хуан Гойтисоло в упомянутой книге «Проблемы романа» безоговорочно отмежевался от эстетических установок «нового романа», лишенных социальной «сверхзадачи», которой требовали молодые испанцы от литературного новаторства. Принципиальное отличие испанских романистов от французского шозизма было для сколько-нибудь пристального взгляда ясно уже восемь лет назад. В обильных описаниях испанских романов вещи всегда были настолько включены в социальные связи людей, настолько сосредоточивали в себе эти связи, что, по существу, это не имело ничего общего с мертвой материей шозистов.

В ряде произведений последнего времени (в том числе написанных только начинающими писателями) продолжается эта линия испанского романа — «микротомирование» различных участков испанского социального организма. «Два дня в сентябре» Кабальеро Бональда — срез произведен в маленьком захолустном андалузском местечке, в дни сбора винограда, и перо писателя выхватывает всевозможные социальные характеры этого мирка: винодельческую аристократию и провинциальных авантюристов, крестьян-работяг и бездомных перекати-поле... «Хлеб и родина» Рамона Ньето — срез сделан «вертикально», вдоль судьбы крестьянской семьи, перебравшейся из агонизирующей деревни в трущобы столичного предместья. И в художественном исследовании этого кусочка жизни важную, а пожалуй, и решающую роль играют детальные, минутами кажущиеся читателю назойливыми, описания предметного мира — например, вонючего дворика на мадридской окраине, где поселилась семья Лусиано и Хуаны.

В самые последние годы (1961—1963) появился ряд произведений на новую для молодого испанского романа тему. Совершенно особый круг жизни, раньше, казалось, ничуть не интересовавший молодых писателей, внезапно приковал их взгляд.

Переполненный богатыми бездельниками из всех стран мира курорт Торремолинос, бесконечные кутежи, однообразный разврат, бесстыдство («Остров» Х. Гойтисоло).

Курортный поселок «Белые паруса», роскошные виллы мадридской и барселонской «элиты». Эти благопристойные, семейные люди совсем, казалось бы, не похожи на обезумевшую как перед потопом богему Торремолиноса. Но за беззаботным фасадом каждой виллы то же ежедневное пьянство, взаимное мучительство, только прикрытое светской привычкой разыгрывать свою роль («Летняя гроза» Х. Гарсиа Ортелано).

Мадридские и барселонские студенты, которые проводят ночи в хождении из одного бара в другой, заказывая бесконечное число коктейлей и виски, обмениваясь случайными ласками («Новые друзья» Ортелано и «Все те же слова» Луиса Гойтисоло)...

Откуда неожиданный интерес к этой среде? Трудно поверить, что такие серьезные, чуткие к социальным проблемам современности писатели, как Хуан Гойтисоло, Луис Гойтисоло, Ортелано, стали бы воспроизводить все эти «сумерки» нравственности только из сомнительного удовольствия живописать злачные места и веселое времяпровождение их завсегдатаев.

Испанские критики в рецензиях на романы Ортелано и Гойтисоло предостерегали писателей от опасности, таящейся в преуве-

личенном интересе к «сладкой жизни» богатых людей. С этим предостережением нельзя не согласиться — такая тематическая ограниченность может привести к сужению горизонта писателя. Но в названных выше произведениях испанские писатели сохраняют широкое, исторически и социально, восприятие жизни, даже описывая этот узкий и немногочисленный (по сравнению с народом) слой.

О ком идет речь в этих романах? Один рецензент указывает Гойтисоло, что в его романе отражен образ мыслей лишь очень небольшой части буржуазии. Далеко не вся буржуазия, справедливо пишет критик, столь изверилась, разочаровалась и столь безразлична к своей судьбе. Многие представители буржуазии еще способны к активной и умелой защите своих интересов и убеждений. В принципе, эта мысль, безусловно, верна. Но в отношении книг Гойтисоло и Ортелано она направлена не по адресу. Ибо хотя в числе персонажей этих романов есть и рантье, и дельцы, и американские миллионеры, но героями книг являются не они, не в них суть. Разве интересна нам судьба обожравшихся, никчемных бездельников вроде Грегорио, Лауры, итальянского маркиза и американской миллионерши («Остров») или удачливых дельцов Амедео и Эмилио («Летняя гроза»), разве стали бы мы следить хоть с каким-то волнением за их самоанализом? Нет, Гойтисоло и Ортелано делают героями своих книг людей, которые все же своим трудом покупают себе комфорт и житейские блага. Это люди, еще не потерявшие совсем способности к творчеству, к созданию духовных ценностей. Все остальные: дельцы, помещики, миллионеры — лишь хоровод уродливых и неподвижных масок, воплощающих духовное одичание, распад, одним словом, конец. «Я ведь умею работать»,— заклинает себя и свою любимую герой «Летней грозы» Хавьер, когда думает, как вырваться из этого пошлого и гибельного хоровода.

С первого взгляда кажется, что в романе Гойтисоло смешаны реминисценции и заимствования: отношения Клаудии и Энрике в точности повторяют то, что происходит между Брет и Джейком в «Фиесте», и даже разговоры их кажутся иногда переписанным по-испански хемингуэевским диалогом. Еще многочисленнее сюжетные параллели с фильмом Феллини «Сладкая жизнь». Безудержный чарльстон Долорес Велес напоминает танец Сильвии, а в другой сцене «Острова» в качестве такого же, как Сильвия, «живого идола» выступает под собственным именем актер Раф Валлоне (у Гойтисоло намечено «отчуждение образа» от его создателя: Раф Валлоне, произносящий всего несколько слов в романе,— простой серьезный человек. Исступленные поклонницы, собственно, обращаются не к нему, а к существующему в их сознании, вбитому туда кинематографом, рекламой и прочим образу «мужского секса»).

Очевидно, подступая к совершенно новому для него жизненному материалу, к новым этическим проблемам, Гойтисоло искал помощи у больших мастеров современного искусства. Появляющиеся внезапно отголоски уже ставших общим достоянием мотивов придают миру романа Гойтисоло знакомость, обыденность: все это — пьянство, цинизм, импотенция, кинематографические мифы, разрушающие себя таланты,— все это уже видано, привычно, даже изучено. Но погодите называть это подражанием, эпигонством — у Хуана Гойтисоло есть что сказать. Как будто темный колодец шахты открывается в некоторых сценах романа, шахты, уходящей в очень конкретное, точно названное прошлое. Здесь нас и ждут дополнения и уточнения к уже известным истинам.

То, что произошло между Джейком и Брет в романе Хемингуэя, было трагедией. То, что происходит между Энрике и Клаудией, трагедией мы не назовем. Позади них тоже война, но не военная травма изувечила Энрике. Бессилие Энрике, смерть любви Рафаэля и Клаудии, утрата вкуса жизни, отчетливое сознание своего краха — все это расплата. Это возмездие, неотвратимое и справедливое. Вглядываясь в темный колодец прошлого, Клаудия видит себя молоденькой, полной энтузиазма сестрой милосердия из франкистского госпиталя. Ее родителей, крупных фалангистов, расстреляли республиканцы. Происхождение, воспитание, естественное дочернее чувство — казалось бы, достаточно объективных причин для того, чтобы совсем юная девушка искренне верила в «национальное» дело, истерически защищаемое фалангистскими фанатиками. Теперь-то, в сорок лет, она и Рафаэль знают цену этому делу, этому режиму, этому «вождю». Поздно — жестко и категорично говорит Гойтисоло. Вот оно, неминуемое возмездие за ложный выбор, за защиту неправого дела. Никакая искренность, никакие объективные обстоятельства

не оправдывают человека, не избавляют его от ответственности самому решать, где справедливость. Эти люди, талантливые, человечески значительные, могли бы быть творцами. Связав свою жизнь с антинародным режимом, они обрекли себя на духовную смерть и бесплодие. Они презирают режим, им омерзительна среда «на острове», но из их рук выбито оружие, которое могло бы стать их единственным спасением,— творчество. За годы следования тому, во что они слепо верили, добиваясь успеха именно в этой среде и при этом строе, они незаметно растеряли все. Хорошо знает Рафаэль, что писал и будет писать свои статьи по заказу редактора; Долорес утешает себя тем, что слишком умна, и потому не создаст ничего великого на сцене; и ничем не утешает себя беспощадная к себе и к другим Клаудия. Поздно. Переиграть жизнь заново им не под силу. Остается пустяковое фрондерство — анекдот, крепкие слова по адресу властей, отчаянно-эксцентричные выходки, когда совсем невмоготу, ну и... «сладкая жизнь» — все-таки отвлекает.

Герой романа Ортелано «Летняя гроза» Хавьер лучшие годы потратил на создание «Белых парусов». Курортный поселок у моря воплощает жизненный и эстетический идеал Хавьера и его возлюбленной Элены, идеал, который он — создатель — разделяет со своим обществом. Самая что ни на есть модернизированная красота плюс все материальные возможности современного мира. Овладение этими возможностями, наслаждение ими — ведь это не просто призыв рекламы, это жизненная программа «среднего человека» капиталистического мира, массовая, расхожая форма идеала. И вот поселок построен: изумляющие современными линиями «шале», и лазурное море рядом, и все удобства современной цивилизации — все сведено вместе, чтобы дать ощущение «вкуса жизни», осуществленной неоновой мечты. А жизнь обитателей этого поселка — нестерпима. В другие эпохи человеческий идеал втягивал в себя духовное содержание человека — в современном буржуазном мире то, что принимается за идеал, с духовностью просто не соприкасается. Духовность мстит за себя — люди либо чувствуют себя уютно без всякой этой духовности (как Дора, Эмилио), либо безнадежно страдают от неполноты жизни (как Клодетт), либо пытаются бунтовать.

Для героя «Летней грозы» Хавьера настает момент, когда внезапно становится невыносимым общение с ходячей буржуазной банальностью Доры и Элены, с разглагольствующим о западной демократии доном Антонио, со светской толпой, равнодушной ко всему миру.

Он готов разрушить заработанное благополучие, сложившийся уклад, лишь бы не тянуть привычную и такую удобную для жизни ложь. Его бунт кажется очень «домашним», бытовым — ну, уйдет от семьи, ну, уедет из Испании, станет открыто жить с женщиной самого низкого пошиба, из тех, что не допускаются в порядочные дома. Конечно, презрение к господствующей морали, известная душевная смелость — в этом Хавьеру нельзя отказать. Но есть ли в его бунте социальный смысл, разрыв со своим классом? Нет, даже в самые отчаянные минуты Хавьер не пытается порвать окончательно не просто с колонией «Белые паруса», а со всем миром, к которому он принадлежит. Этот сорокашестилетний человек, талантливый, энергичный, только начинает думать о большом мире — о людях, живущих вокруг колонии и живущих совсем иначе, о гражданской войне, когда он просидел три года в окопах на стороне победившего режима, но и запомнил только окопную грязь. Теперь он начинает осознавать, что все имеет какой-то другой смысл, другое значение, недоступное ему и его друзьям. Почему они пользуются всеми благами мира, а тысячи других людей лишены всего? Хавьер не в силах решить этот вопрос, но он вдруг почувствовал, что и не решит его, пока сам ведет такую же фальшивую, двойную, эгоистическую жизнь, как все люди его круга. Ведь и к Ангус он бросается потому, что она знает, что такое нужда, лишения, потому что у нее никогда не было таких драгоценностей, как у его жены или любовницы. Хавьер цепляется за нее, как за доступную ему нить, связующую его с реальной жизнью. В поведении Хавьера, однако, скрыта червоточина, которая обнаружится, когда от понимания надо будет перейти к решению, к выбору. Можно ужаснуться подлости комфортабельной, сытой жизни немногих среди тысяч нищих, голодных людей — но нужно еще, чтобы на деле хватило воли отказаться от ставшего привычным комфорта. Хавьеру воли не хватает — он хитрит, скрывая это от самого себя. Казалось

бы, цепь случайностей заставила его вернуться в колонию — но в этой цепи проглядывает закономерность, вытекающая из логики характера. Сознание не изменило ему, изменили душевные силы. В последней детали книги есть итог: для человека, сознание которого еще способно открывать новые горизонты жизни, мучительна, невыносима жизнь в этом обществе. А если ты слаб, что же, тогда, как герой Ортелано, поднеси руку к лицу, чтобы загородиться от этого мира, чтобы чувствовать только запах своей кожи.

Конечно, моральный конфликт почти всегда в литературе скрывает конфликт социальный, и в отрицании бытовой, общепринятой морали уже заключено какое-то отрицание общества. Но молодая испанская проза стремится к возможно более (по условиям!) четкой постановке социальных проблем, к докапыванию до сути. И если герой Ортелано не докапывается до сути, то вовсе не потому, что сам автор не может или не хочет этого делать. Просто автор трезво и безжалостно относится к своему герою. Так же поступал Ортелано в своем предыдущем романе «Новые друзья». Он брал самого лучшего из людей этого круга в момент высшего проявления его активности, способности к самозабвению, показывал бессмысленную и бесцельную растрату этого душевного потенциала — и тем судил все поколение.

В «Летней грозе» у Ортелано есть еще особое «государство», именем которого он судит своего героя. Это дети. Маленький, шумливый мирок, открытый всем словам и всем вторжениям. Им так легко начать подражать взрослым и так легко превратиться незаметно в этих взрослых, тем более что находятся всегда жесткие руки какого-нибудь Эмилио, которые не дают им свернуть с утоптанной родителями дорожки. И уже сейчас за их детскими играми в индейцев или гангстеров вдруг проглядывают зловещие приметы общества взрослых, в котором они растут. В одном из ребят — Хоакине — болезненно заострена эта драматическая неопределенность будущего. Его отец безволен и жалок, его мать ежеминутно лжет, а мальчик исступленно ищет вокруг себя что-то надежное: мужскую силу, верность слову, стойкость. Доверие, которое Хоакин отдает Хавьеру,— это, может быть, единственное, что заставляет читателей до последней страницы романа надеяться, что бунт Хавьера — не пустые слова. Хавьер уверяет себя, что он осознает свою ответственность перед детьми, и особенно перед Хоакином: он возвращается домой ради детей, чтобы уберечь их от полицейских допросов, от чужих рук. В действительности, его ответственность гораздо больше и гораздо тяжелее. Он мог бы открыть Хоакину иную меру мужества и терпения, мог бы показать ему иную Испанию. Теперь он этого не сделает.

Не только самого себя, не только обманутую Ангус — детей, будущее предает Хавьер. Круг жизни замыкается не только вокруг Хавьера, но и вокруг детей. Сумеют ли они сами когда-нибудь прорвать его? На помощь Хавьера им теперь рассчитывать нечего. Какой приговор суровее мог бы вынести художник своему герою?

Сходным образом относится к своим героям Луис Гойтисоло в романе «Все те же слова». Не нарушая структуру своего романа, построенного на развертывании параллельных, не соприкасающихся сюжетно-психологических линий, Л. Гойтисоло сумел высказать свое отношение к самой кардинальной проблеме испанской действительности — отношение, которое не осознано и не сформулировано еще его героями. Рядом с драмой молодого ученого Рафаэля, дошедшего после разгрома подпольной студенческой группы, в которой он участвовал, до грани самоубийства, рядом с историей горького разочарования и душевного опустошения чистого юноши Санти, увидевшего в тех, кто казался ему людьми новой мысли и небывалого дела, только тщеславных и истеричных честолюбцев, движется в книге другое, запрятанное в разных сценах, течение. Через весь роман в разговорах «взрослых» (фабриканта — отца Санти и его гостей, великосветских родственников Рафаэля) проходит назойливое, самодовольное повторение: в Испании царит порядок, вот при красных в Барселоне была анархия и смута, а теперь порядок, никаких революций, нигде в Европе нет такого порядка, как в Испании. Бок о бок с этим безостановочно восхваляющим себя порядком — молодежь, ненавидящая жизнь, глубоко несчастная, лишенная всякой ориентировки. Они не знают ничего о Республике, о красной Барселоне, они не могут сами опровергнуть и отвергнуть ядовитую ложь. Но автор заканчивает и эту линию весьма характерной сценой, ясно показывающей его отношение к «порядку». В конце романа в грязной барселонской забегаловке «какой-то иностранец, наверно, анг-

личанин или американец, спрашивал, почему повсюду вывешено столько флагов... «Это что, испанский праздник против революций?» — приставал иностранец, изъясняясь на ломаном испанском языке, близко придвигая к собеседнику пьяные глаза... «Революций? — ответил тот, наконец, и засмеялся.— Никаких революций. Это раньше было. Вам только не надо волноваться. Надо хорошо поесть, как следует выпить, найти себе хорошую подружку и спать спокойно, потому что теперь нет революций».

Книги Хуана и Луиса Гойтисоло, Хуана Гарсиа Ортелано — это книги о «равнодушных», о тех, кого Бруно Ясенский когда-то назвал самым опасным врагом людей, о тех, с чьего молчаливого согласия продолжает существовать в Испании франкизм. Давно политически обанкротившийся режим, растерявший даже былых своих сторонников, заслуживший единодушную ненависть миллионов людей и в Испании и за ее пределами,— разве мог бы он продолжать свою позорную власть, если бы не скрытая поддержка могущественных сил современного капиталистического мира и не «заговор равнодушных» внутри испанского общества?

Это романы об интеллигенции, о тех, кто должен, обязан стать умом и совестью своего народа. Обязан перед народом и перед самим собой. Х. Гойтисоло прямо и четко говорит, когда и как совершено предательство. Ортелано, как кажется поначалу, дает более общий ответ: вина его героя в том, что самую активную, зрелую пору своей жизни он посвятил достижению цели, которую ставит перед человеком буржуазный мир. Книга Ортелано перекликается со многими явлениями европейской культуры последних лет (этим, возможно, и объясняется успех «Летней грозы» на европейском литературном конкурсе Форментор). Пожалуй, самым известным выражением этой темы был фильм Феллини «Сладкая жизнь». Речь не идет о каком-либо совпадении ситуаций — в книге Ортелано нет ни панорамы высшего общества, ни картин его откровенного нравственного падения. Речь идет о главном — об исчерпанности идеала «сладкой жизни», идеала буржуазного мира, о невозможности для полного душевных сил человека жить этим идеалом и жить в обществе, стремящемся к этому идеалу. Но в романе Ортелано универсальность этой проблемы для западной интеллигенции открывается прежде всего вынесенной на суд «национальной» вины хавьеров: недаром именно случайное происшествие — смерть неизвестной девушки — стало отправной точкой его духовного кризиса, ибо вернуло его к гражданской войне — отправной точке его пути в преисподнюю.

Хавьер начинает с того, что вспоминает трупы на поле боя — трупы солдат республиканской армии и своей так называемой «национальной». И именно это воспоминание заставляет его увидеть и в сегодняшней Испании существование тысяч людей, о которых он, как и о солдатах, никогда не задумывался: как они живут и за что умирают? Настойчиво, неоднократно возвращается в книге воспоминание о войне (война превратила Андреса в жалкого алкоголика и т. п.). Ортелано подводит нас к мысли, что начало драмы Хавьера именно там, на войне, когда он, Андрес, их братья и друзья встали на сторону франкистов. Конечно, Ортелано говорит о войне глуше, чем Гойтисоло, но ведь его книга вышла в Испании.

Страшна расплата за защиту антинародного дела. Она обрекает героев жить на «острове» кошмарной жизнью отщепенцев, в изоляции от людей, говорящих на родном языке. Расплата неумолимо убивает любовь, счастье, возможность творчества. «Сладкая жизнь», комфорт, самые современные удовольствия — это вам остается, пожалуйста! Все самое новое, самое дорогое, самое удобное. Ну что, хорошо вам рядом с теми, за кого вы пошли сражаться в 1936 году?

Вот эта глубоко национальная, конкретная трактовка проблемы интеллигенции, ее ответственности и идеала — проблемы, которую каждый по-своему рассматривали десятки серьезных художников Запада,— и составляет новый шаг в движении молодого испанского романа.

Освоение новой территории принесло некоторые перемены в стиле испанской прозы. В первых романах испанских молодых писателей («Харама» Р. Санчеса Ферлосио, «Окраины» Л. Гойтисоло, «Новые друзья» Х. Г. Ортелано) принцип объективного повествования выдерживался последовательно. Авторы не позволяли себе ни внутренних монологов, ни каких-либо заглядываний в психологию героев со своей авторской колокольни, с которой, дескать, все видно. Так, драма поколения юных в «Новых друзьях» Ортелано раскрывалась благодаря контраст-

ному стыку протокольно-подробного описания гомительно-нелепой жизни героев и неожиданных, иногда случайных реплик, открывающих глубокий разлом в их сознании. Но впоследствии это перестало удовлетворять писателей. Они потянулись к большей психологической обоснованности, к анализу, к установлению связей с прошлым и настоящим. Требования «объективного романа» не допускают прямого вмешательства автора-демиурга, который все знает и все поясняет. Поэтому все чаще писатели обращаются к повествованию от первого лица, к исповеди — это позволяет, не отказываясь от принципа объективности, исследовать интеллектуальную жизнь личности. В романе «Остров» Х. Гойтисоло открыто нарушает законы «объективного» романа. Он вводит размышления героини, прошлое, постоянно присутствующее в ее мыслях.

Ортелано в «Летней грозе» не прибегает к развернутым внутренним монологам героя, хотя герой сам рассказывает о себе. И это определено темой. Ведь говорит человек, который в течение многих лет просто не думал — не хотел, не умел, не пытался думать. Да и теперь в его рассказе звучит не столько осмысленная, продуманная решимость, сколько отвращение, отталкивание еще сохранившей какую-то нравственную силу личности от внезапно увиденной фальши. Так же «не думают» герои Луиса Гойтисоло. Они чувствуют — и чувствуют временами очень точно. Но они не думают — не доходят до сути, до основы того, что заставляет их так жить.

«Вещность» в этих последних книгах испанских писателей как бы смягчается, отодвигается на второй план. Место описаний предметного мира занимает точная регистрация жестов, примет внешнего поведения человека. И Ортелано, например, достигает в таких описаниях большой выразительности, передавая смятенное сознание героя. Таково беспокойство Хавьера о судьбе рыбаков, арестованных по подозрению в убийстве девушки. Собственно, нигде не излагаются мотивы, побуждающие Хавьера пытаться вмешаться в их дело, но мы чувствуем в его бесцельном ожидании в местечке, в неловко заведенных разговорах и расспросах что-то новое для Хавьера, впервые увидевшего вокруг себя других людей, целый мир народной жизни.

И если раньше многие критики считали, что некоторыми сторонами литературной техники молодые испанцы сближаются с французскими шозистами, то теперь в прозе испанцев все сильнее выступает родство с прозой Хемингуэя. Растет психологическая насыщенность бытовой детали, реплики, жеста.

В сознательном ли, невольном ли обращении испанских романистов к стилю Хемингуэя есть, конечно, внутренняя закономерность. Если тему почти всех романов молодых писателей конца пятидесятых годов («Прибой», «Здесь внизу» Х. Гойтисоло, «Окраины» Л. Гойтисоло, «Гидроцентраль» Лопеса Пачеко, «Шахта» Лопеса Салинаса и др.) можно определить как «человек внутри франкистского режима», то тему упомянутых выше романов («Остров», «Летняя гроза») можно определить иначе: «франкистский режим внутри человека». А этот поворот художественной мысли, очевидно, с логической неизбежностью привел романистов к Хемингуэю, писателю, быть может наиболее сильно утвердившему принцип: всматриваясь в жизнь одной личности, можно увидеть и понять законы той большой жизни, частью которой является каждый человек.

Так и в людях, живущих на «острове», испанские писатели стараются разглядеть часть гигантского социального материка, часть, по которой мы можем судить о целом. У нас, читателей, возникает ощущение этого материка потому, что и у Ортелано и у Х. Гойтисоло вырисовывается и другой мир — народный, трудовой, настоящий. Не туристы, а настоящие жители Малаги или Каталонии, рабочие, рыбаки, крестьяне. Народный мир не показан так подробно, эпически, как в других книгах молодых испанцев, но он все же присутствует, отражается внутри личности, помогает сохранить реальные пропорции драмы героев, не преувеличивая эту драму до размеров вселенской катастрофы. И, наоборот, там, где герои полностью изолированы от общенародной жизни, замкнуты в своем «внутреннем пространстве» («Все те же слова» Л. Гойтисоло), описание их душевной агонии становится временами утомительно однообразным.

Было бы неверным изображать направление, избранное в недавнее время Х. Гойтисоло, Х. Г. Ортелано, Л. Гойтисоло, как единственное или даже главное направление испанского романа. Именно в последние годы в среде испанских писателей появилось тяготение к широкому, эпическому

охвату национальной жизни трагических десятилетий («Год за годом» А. Лопеса Салинаса, «Другое лицо» Корралеса Эхеа). И именно с этими попытками исторического синтеза связано преодоление ограничений, установленных «объективной прозой». Читая роман Корралеса Эхеа «Другое лицо», начинаешь отчетливо представлять, какой сдвиг в сознании испанцев произошел уже в послевоенные годы, каким рубежом был для них конец второй мировой войны. Как гибли надежды одних, тех, кто верил, что антигитлеровская коалиция покончит и с франкистским режимом, и спесивые иллюзии других, тех, кто рассчитывал, что и Испании перепадет от гитлеровского мирового господства. Видишь очень конкретно быт испанских людей 50-х годов: карточки, спекулянты хлебом и мясом, безработица в деревне и толпы беженцев в бараках на окраинах Мадрида и Барселоны, первая большая забастовка 1951 года, разочарование и отчаяние всех, кто надеялся на перемены, при виде альянса западных держав с Франко, при виде того, как франкистское государство все уютнее устраивается в Атлантическом блоке. Судьбы десятков персонажей прослеживает Эхеа за эти десять лет. Рабочие — сознательные и только делающие первые шаги. Интеллигенты — усталые, и циничные, и обретающие снова мужество и надежду. Мальчишки, выросшие в годы глухие, не знающие идеалов отцов, мальчишки, хулиганящие на улицах Мадрида и готовые записаться в добровольцы и уехать воевать в Корею, куда угодно, лишь бы вырваться из нищеты и затхлости испанской жизни. Готовый материал для Иностранного легиона, для отрядов «пара». Богатеющие на бессовестной спекуляции нувориши, радостно встречающие приезд американского посла: теперь можно будет делать большие дела. Фалангисты и монархисты: и верные слуги режима, и недовольные, сомневающиеся.

Корралес Эхеа не боится быть «всезнающим автором», «демиургом», ибо он стремится быть прежде всего историком-социологом. То взволнованная (как в «Печали в раю» Х. Гойтисоло), то горько-бесстрастная интонация молодой прозы уступает место спокойному, открытому анализу. Позиция автора не спрятана в интонации или в подтексте. Она прямо и незавуалированно открывается в каждой сцене романа, в характеристике каждого персонажа. Ибо каждая характеристика (каких бы черт психологии, сознания, поведения героев автор ни касался) построена на одном общем стержне, одном вопросе — как относится герой к режиму: служит ему, смиряется с ним или отвергает его. Все, что рассказывает нам писатель о своих героях — об их занятиях, быте, личных отношениях,— отвечает на этот вопрос. Конечно, эта недвусмысленность, резкость, открытая тенденциозность связаны с тем, что Корралес Эхеа живет сейчас в Париже и здесь издал свою книгу (написанную еще несколько лет назад). Он может вывести на страницах своего романа отвратительную фигуру агента политической полиции, избивающего рабочего только за то, что его изможденная жена и рахитичный ребенок были сфотографированы на пороге землянки каким-то американским корреспондентом, или цензора, прозванного сослуживцами Торквемадой за костры из книг, куда он отправлял даже «Дон Кихота». Писатели, работающие и издающие свои книги в Испании, вынуждены соблюдать «лояльность» по отношению к официальным представителям власти (корректно-безлики жандармы и полицейский инспектор в «Летней грозе»). И все же, кроме этого важнейшего обстоятельства, бесспорно и другое — книга Эхеа свидетельствует о зрелости мысли молодой испанской литературы, об определенности ее позиции по отношению к политическим проблемам своей страны. Книга Эхеа свидетельствует, что открытое признание республиканского идеала, впервые утвержденное Гойтисоло в «Прибое» и «Здесь внизу», стало теперь позицией многих испанских писателей. В «Прибое» незабываема сцена, когда рабочие в кабачке встают при звуках старой песни, сложенной в концлагере. В книге Эхеа тоже есть сцена, символизирующая возрождение испанского народа: старик запевает старую «коплу», которую уже много лет никто не осмеливался петь: «Национальное знамя выкрашено в два цвета — золотом богачей и кровью бедняков».

С этой высоты надо судить и те произведения, что выходят в самой Испании. Понятно, что безоговорочное отрицание существующего строя не может быть высказано в них с такой же прямотой, но мы увидим его внутри повествования, внутри того мучительно жестокого мира, в котором живут герои.

ВЯЙНЕ ЛИННА

ДВА ПИСАТЕЛЯ

(Письмо из Хельсинки)

Когда мне предложили, во время поездки в Советский Союз, рассказать читателям «Иностранной литературы» о двух наиболее интересных финских писателях младшего поколения, я не сразу смог решить, кого же выбрать. «Молодым поколением» писателей в Финляндии называют тех, кто начал прорываться вперед где-то на рубеже сороковых и пятидесятых годов. В этой группе выделяются несколько очень способных писателей.

И если я в конце концов остановился на Еве-Лийсе Маннер и Вейо Мери, то тут можно усмотреть личное пристрастие. Но надеюсь, что в данном случае я не одинок, потому что и критика и читающая публика ставят эти два имени в первый ряд новой литературы. Правда, их обоих уже нельзя назвать «молодыми писателями», если под этим подразумевать начинающих, потому что каждый из них успел выпустить по нескольку книг и завоевал прочную репутацию. Но они оба принадлежат к тому поколению, с которым у нас обычно связывается понятие о молодой литературе. И действительно, это поколение принесло в литературу совершенно новые формы выражения, новое содержание и новое к нему отношение.

Ева-Лийса Маннер выступила с книжкой стихов «Черное и красное» еще в 1944 году. Но то были первые шаги начинающей поэтессы, и будущее автора в них еще трудно увидеть. Следующий сборник ее стихов «Как ветер и туча», вышедший в 1949 году, показал уже ее незаурядное дарование, хотя местами еще чувствовалась оглядка на классиков финской лирики. Затем вышел маленький роман «Девушка с небесной пристани».

Но, собственно, по-настоящему раскрылась Ева-Лийса Маннер как поэтесса в 1956 году, в сборнике стихов «Этот путь», который резко отличается от всего, что она писала раньше. После этого Маннер опубликовала драму в стихах «Эрос и Психея», книжку рассказов «Марши для маленьких бегемотов» и стихотворный сборник «Орфические песни». И все-таки я хочу сосредоточить внимание именно на сборнике «Этот путь», потому что он впервые показал нам новую Еву-Лийсу Маннер и в нем заложено как бы зерно того характера, который продолжает развиваться и в ее последующих книгах.

Сборник открывается стихотворением «Одиссей». В нем говорится о герое-скитальце, который охотно шел навстречу превратностям судьбы, радуясь опасностям, но в конце пути прибился к берегу, усталый и опустошенный. Это стихотворение напечатано на первой странице, но на самом деле оно представляет собою своеобразное послесловие ко всему сборнику стихотворений, в которых автор проходит свой путь Одиссеевых скитаний. Именно так и представляется читателю этот сборник. Поэтесса стремилась раскрыть до конца ощущение каждого момента, передать все, что она знает о жизни и о человеке.

И сколько же она всего знает! Кажется даже, что она знает слишком много для одного человека. Она знает, что жизнь ставит перед нами сложные проблемы, для которых нет простых и легких решений. Поэтесса страдает от насилия, несправедливости и порождаемого ими отчаяния. Она чувствует себя одинокой в холодном, цепенеющем мире, в котором соседствует высокий разум и мелкая злоба. В стихотворении «Город» она говорит, что здесь, в этом городе, дома растут ввысь, а пропасти водостоков опускаются все ниже в глубину, но черная вода поднимается и струится по улицам, так как подвалы уже полны.

Это не просто рассказ, но и предостережение. Поэтесса показывает, как в людях нарастает страх. Его прячут, скрывают, застегивая на все пуговицы тесное платье благовоспитанности или надевая уродливую маску разнузданности, бросаясь в омут преступлений. Она все видит, но чувствует свое бессилие — от этого подавленность и отрешенность, которые слышны в ее стихах. И самый интеллект человека она воспринимает лишь как пустую рассудочность, губительную для подлинного, естественного вос-

приятия мира. Она говорит об этом в стихотворении «Декарт». «Я мыслила, но не существовала»,— иронически перефразирует она знаменитое изречение.

Такая позиция приводит к тому, что писательница идеализирует мироощущение ребенка, находя его наиболее непосредственным и совершенным. Здесь она видит чистый и цельный мир, прямой контакт с окружающей реальностью, тогда как в мире взрослых царит холодная расчетливость. В конце сборника «Этот путь» есть поэма «Из сумерек детства». Она проникнута большой теплотой и симпатией к богатому и прекрасному миру детских переживаний и щемящей грустью об утрате этого мира. Поэма написана о детстве, но это вовсе не детские стихи — в ней раскрывается отношение к жизни зрелого человека.

Холодом одиночества пронизан цикл стихов «Кембрий». Мысль поэтессы отталкивается от картины геологических эпох, приобретая при этом великолепное образное развитие и масштабность. Воображение, обращаясь к далекому прошлому Земли, рождает богатейшую поэзию. Но и сюда врывается властный голос современности, трагически преломившийся в восприятии поэтессы. И здесь она страдает от зла и жестокости человека, ибо вслед за другими живыми обитателями воды и суши появляются хитрые существа, которые поднимаются на две ноги, для того чтобы освободить себе руки. Это предприимчивые, смышленые, деятельные существа. Они нанизывают себе вокруг пояса маленькие черепа — костяные погремушки, весело побрякивающие на ветру. Они старательны и прилежны. Они уже умеют считать до пяти и натягивать звонкую жилу — нет, это не струна, а тетива на луке: сначала убийство, музыка потом. Они гордятся и украшают себя трофеями — знаками совершенных убийств и добрых надежд на будущее. Они точат и шлифуют камни, делая острые наконечники для стрел.

Автор вопрошает, какой же бог создал это немилосердие? Какой же бог сотворил этих нелюдей? Не сатана ли создал их — великих разумом, а духом ничтожных?

Ева-Лийса Маннер ищет прибежище в поэзии. Она пишет, что жизнь для нее — поэзия, а поэзия — жизнь. Потому что поэзия для нее — это единственная возможность жить, сохраняя до самой смерти увлеченность и оставаясь чуждой страстям. Такова ее позитивная программа. Поэтесса хочет подняться над безобразным и злым, служа прекрасному. Ей хотелось бы позаимствовать у птицы ее порыв и ринуться вниз, сложив овитые ветром крылья, чтобы на миг познать свободу.

Отсюда и ее беззаветная любовь к музыке. Поэтесса посвятила стихи великим музыкантам: Моцарту, Веберу, Баху. Музыка, говорит она, свободно поднимается над уродливостью мира, и это дает силы преодолеть подавленность и отчаяние, увидеть возвышенное и прекрасное.

Так поэтессе удается подняться над своим отрицанием мира, несмотря на решительное осуждение его зла и несправедливости. В стихах ее звучат и утверждающие ноты. Но чего стоит такое утверждение! Все это выстрадано — эта тяга к красоте, к прекрасному в искусстве. Но это лишь еще больше оттеняет общий трагизм мироощущения поэтессы.

Поэтическая форма у Евы-Лийсы Маннер отличается от традиционной. Она отбросила рифму и предоставила большой простор свободным ассоциациям. Но это никоим образом не делает ее стихи темными и непонятными, если, конечно, читатель уяснил себе принципиальную позицию и взгляды поэтессы. Богатство образов у нее поразительно. Но образы не служат для заполнения пустот мысли и не нагромождаются друг на друга ради самих себя, нет — каждый образ имеет разумный смысл. Они свежи и часто окрашены мягким юмором, но прежде всего за ними стоит искренний и глубоко чувствующий жизнь человек. И хотя поэтесса порой признается в своем отчаянии — стихи ее звучат трагично, но не пессимистично. Потому что в ее отчаянии нет цинизма, она страдает за людей, желая людям добра.

■

Первая книжка Вейо Мери, сборник рассказов «Чтобы земля не зеленела», появилась в том же году, когда вышла нашумевшая книга Евы-Лийсы Маннер «Этот путь». После того Вейо Мери выпустил семь книг. Некоторые из них переведены на несколько иностранных языков и вызвали значительный отклик не только на родине, но и за границей. Я и в данном случае остановлюсь на одном произведении — это роман (или, скорее, повесть) «Манильский канат». Так же как «Этот путь» для Евы-Лийсы Маннер, «Манильский канат» для Мери означал выход на широкую читательскую публику. С тех пор его известность росла, успех становился все больше и больше — как на родине, так и за рубежом,— и ныне он считается ведущим финским прозаиком своего поколения.

Мери по характеру своего дарования, пожалуй, скорее всего рассказчик. Все его произведения, не считая последнего романа, были невелики по объему и обычно охватывали небольшой отрезок времени. Большей частью описывает он мелкие, будничные происшествия, которые умело связывает с большими событиями, имеющими всеобщее значение, сопоставляя и проводя параллели между ними. Изображаемые им люди в большинстве тоже будничные, заурядные, лишенные возможности не только отвечать за свою судьбу, но даже не способные толком понять, что с ними происходит. Они плывут по воле волн, бессильные сколько-нибудь влиять на ход событий, и выглядят несколько комично. И все же произведения Мери проникнуты теплым сочувствием к этим его антигероям.

«Манильский канат» это роман о войне, хотя война как таковая в нем и не показана. Вся история вкратце такова. Солдат Йоосе Кеппиля находит на фронтовой дороге

моток нового манильского каната и, припрятав его, решает отвезти домой, когда отпустят на побывку. Собираясь в дорогу, он с помощью товарища наматывает канат на себя, под рубаху, чтобы таким образом тайно провезти его, минуя заставы фронтовой полиции. Воровская затея удается Йоосе. Но намотанный на голое тело жесткий канат делает невыносимо мучительной его долгую поездку в поезде. Он чуть не теряет сознание, но не может никому сказать, что с ним такое. Подъезжая к своей станции, он, уже посинев от сдавившей все тело веревки, не соображает, что ему надо сходить. И только случайно знакомый дежурный по станции высаживает его из вагона. Идя домой, Йоосе шатается, ноги не повинуются ему, и соседи удивляются, что трезвый, положительный Йоосе стал вдруг таким пьяницей. Добравшись, наконец, до дому, Йоосе замертво падает на пол, и перепуганная жена спасает его от злосчастной повязки, разрезав канат на мелкие куски. В конце концов совершенно бесполезные, ни на что не годные обрезки каната они тайком зарывают на свалке.

Но эта история солдата, едущего домой на побывку, обросла в романе Мери множеством других историй. Мери воссоздает характерную атмосферу поезда отпускников и дает широкую картину войны через разговоры солдат, рассказывающих были и небылицы о фронте. Чаще всего это совершенно нелепые бредни, иногда такие, что мороз продирает по коже. Суровая правда причудливо преломляется в них, и это создает тот особый комизм, которым поражает и главная тема романа. В конечном счете мы видим всю нелепость и безумие войны. Выразительно показана затаенная, а порой и явная вражда солдат с фронтовой полицией. Все солдаты в этом отношении солидарны — стараются помочь друг другу провести полицейских. В этом выявляется, по сути, и все их отношение к войне, поскольку фронтовая полиция следит за выполнением приказов командования.

Эпизод с немецким эшелоном, остановившимся на станции, куда приехал Йоосе Кеппиля, представляет и немецкую солдатчину в смешном свете. Гулявший по платформе важный начальник эшелона отстает от своего поезда. И сразу растеряв всю свою важность, он предпринимает безумные попытки догнать эшелон. Наконец, он достает дрезину и мчится на ней, но сталкивается со встречным скорым поездом и попадает в госпиталь. Когда эшелон останавливается на каком-то полустанке, там замечают пропажу начальника. Новый начальник должен прилететь на самолете из самой Германии.

Роман кончается тем, что Йоосе, приехав домой и освободившись, наконец, от каната, должен в течение целого вечера выслушивать рассказы старика соседа о первой мировой войне. Таким образом, он после мучительной дороги не может укрыться от бесконечных солдатских историй даже у себя дома. Так война всюду настигает беднягу Йоосе Кеппиля, чтобы мучить и донимать его, хотя сам-то он ничего так не желает, как отделаться от нее поскорее.

Главная сила Мери — в манере его письма. Повествование его отличается краткостью и необычайной емкостью. Здесь критики находят влияние фильмов Чаплина. И действительно, точек соприкосновения много. Как у Чаплина, в рассказах Мери мы видим беспомощных маленьких людей, они попадают в невероятно смешные, нелепые положения, которые начинают выглядеть еще более нелепыми и смешными. Обстоятельства, с которыми они сталкиваются, сами по себе очень обыкновенны. Но авторская позиция и метод изображения раскрывают в них более широкий смысл, создают как бы второй план.

О манере письма Вейо Мери хочется сказать, что в ней есть много воздуха. Композиция его повести необычайно емкая, она напоминает соты. Из множества мелких и, казалось бы, самостоятельных деталей рождается единая многоплановая картина.

Язык Мери поражает скупостью средств и тем не менее привлекает свежестью и живостью. Автор никогда не сливается со своими героями, а смотрит на них несколько со стороны. Он как бы старается сдерживать свои чувства.

Реализм Мери — не будничный реализм, ему свойственна сильная комическая заостренность, ирония, гротеск, обобщение. Но основу повествования всегда составляют подлинные обстоятельства и люди — а стало быть, подлинная реальность. За маленьким Йоосе Кеппиля стоят миллионы солдат, которые хотели бы взять от войны хоть что-нибудь полезное — хоть моток доброй веревки, но их надежды несбыточны. Война не сулит им никаких выгод. Таким, как они, война не может дать ничего. Она только приносит несчастья, душит человека, как удав, в своих смертельных объятиях, сжимая его все сильней и сильней.

Мери получил в Финляндии признание, несколько почетных наград и денежных премий, и круг его читателей все растет. Минувшей осенью вышел его новый роман «Нарисованная на зеркале», который быстро разошелся большим тиражом.

В небольшом письме трудно дать полное представление о писателе, а тем более о двух писателях, творчество которых богато и самобытно. Чтобы лучше познакомиться с писателем, надо, конечно, читать его произведения. Надеюсь, что и русские читатели смогут прочесть в переводе произведения этих двух авторов. Вообще, желательно было бы, чтобы между нашими двумя соседними странами наладился более оживленный обмен художественными переводами.

И Ева-Лийса Маннер и Вейо Мери дают представление о новой финской литературе и ее главных идейно-художественных устремлениях. Оба они в расцвете творческих сил. Оба относятся к тому типу писателей, которые внимательно и заинтересованно вглядываются в жизнь. Их искусство отличает человечность и тонкое ощущение прекрасного.

ПУБЛИЦИСТИКА

САРВАР АЗИМОВ
Председатель Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки

ДЕЛИ—ТАШКЕНТ—КАИР—ДЖАКАРТА

В 1956 году в Советский Союз приезжал президент Индонезии д-р Сукарно.

«...Ташкент очень похож на города Индонезии,— говорил он на многолюдном митинге в Ташкенте.— Здесь такая же погода, как в Индонезии, такое же чистое небо, как в нашей стране, так же тепло, такие же деревья. Строения Ташкента тоже похожи на строения многих городов Индонезии. Но важнее всего, что народ Индонезии напоминает собой ваш народ. Поэтому, хотя Ташкент расположен за тысячу километров от нашей родины и хотя Ташкент отделен от нашей родины безграничными морями, бескрайними равнинами, горами, несмотря на это, мы чувствуем себя здесь как дома, как в кругу родной семьи».

Д-р Сукарно хорошо сказал о том, что сегодня люди мира как никогда хотят ощущать себя единой семьей, связанной чувством большой дружбы во имя радостной жизни на земле.

Как тут не вспомнить крылатые слова из классической персидской литературы: «Ты родился человеком, будь человеком! Будь человеком! Зачем быть дьяволом?!» Или же слова великого классика узбекской литературы Алишера Навои: «Если ты человек, не называй человеком того, кто не заботится о человеке».

История доказала нелепость попыток расчленить человеческую культуру. Древняя культура была слиянием самобытных культур различных народов, гений которых накапливал и отдавал в общую сокровищницу человечества все лучшее, все бессмертное. Создавая национальные ценности, передовые люди своего времени жадно стремились к общению с другими народами, знакомились с их историей и бытом, обогащаясь их жизненным опытом. Поэтому произвольно дробить общность грандиозного богатства, созданного бесчисленными поколениями в упорном труде, дробить солидарность народов — это абсурдно, дико и негуманно.

Такое разделение было на руку тем, кто, отрицая историческое прошлое, резал на лоскутки колоний целые континенты, бесстыдно применяя пресловутый принцип римских завоевателей «Разделяй и властвуй».

Со временем забывалось, что народы завоеванных территорий имели свою цивилизацию, которая, как и везде, зарождалась, расцветала, но угасала, подавляемая огнем, мечом и невежеством поработителей. Глашатаям империализма пришлись по душе слова Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не явятся солнце с землей на страшный господень суд». Время и жизнь показали, что чванливое противопоставление Запада Востоку не выдерживает никакой критики. Однако страшный суд над империалистами-колонизаторами и расистами наступил, и не господь, а народы, порвавшие цепи колониализма, вершат правосудие.

Писатели двадцати шести стран, собравшиеся в 1956 году в сердце Азии — в Дели на первой литературной ассамблее, имевшей целью организацию широкого общения между писателями Азии, остро почувствовали необходимость встречи со своими собратьями с африканского континента. Тяга к обмену культурными ценностями, к установлению духа солидарности в борьбе за общие идеалы привела к тому, что участники Каирской конференции солидарности стран Азии и Африки (1957) сочли целесообразным, чтобы на писательской конференции 1958 года присутствовали представители не только Азии, но и Африки, причем местом встречи единодушно была избрана столица Узбекской Советской Социалистической Республики — город Ташкент, город, о котором пакистанский поэт Абдул Асар Хафиз писал:

О Ташкент — сегодняшнее сердце Азии,
В тебе стучат тысячи сердец.
И как лучи твоего света тянутся во все края земли,
Так тянутся к тебе отовсюду человеческие души.
Ты — маяк для тех, что в пути,
Ты — ворота для тех, кто у цели.

Незабываема атмосфера, царившая на ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки в октябре 1958 года. Особенно волнующим было ощущение единства писателей в борьбе за мир и демократию. Двести четыре литератора из тридцати семи стран Азии и Африки, по существу, говорили от имени двух великих континентов, то есть примерно двух третей человечества. Неизбежная, в данных исторических условиях, тяга к взаимному общению привела к тому, что на конференции присутствовали гости из тринадцати стран Европы и Америки. Это также придавало ташкентскому форуму всемирный характер. Писатели Востока и Запада дышали одним воздухом, жили одними мыслями.

И сегодня с чувством глубокого удовлетворения мы отмечаем, что «дух Ташкента» проник в ум и сердце литераторов мира как символ единства взглядов участников конференции на свободу человека — созидателя материальных и духовных благ, на сохранение сокровищ мировой культуры, на глубокую взаимосвязь литературного творчества с борьбой народов.

Время, минувшее после Ташкентской конференции, богато событиями. Ярче разгорелось пламя дружбы деятелей культуры многомиллионных народов Азии и Африки. Усилилась борьба против литературы мракобесия, вражды, человеконенавистничества и отчаяния.

Лучшие писатели этих континентов своими произведениями будили в читателях веру в человека, любовь к жизни, звали к борьбе за свободу. Можно себе представить, с каким волнением откликаются советские люди на возрождение и подъем афро-азиатской литературы.

Прогрессивные африканские и азиатские писатели, как верные граждане своих стран и достойные представители своих народов, смело и решительно становятся выразителями их стремления к независимости, прогрессу и гуманизму.

Естественна тяга писателей Азии и Африки к объединению творческих сил не только внутри своих стран, но и с писателями всего мира. И на этом фоне особо дико и мрачно выглядят стремления китайских литераторов, инспирированные их политическими лидерами, разобщить, подорвать то, что особенно дорого и азиатам, и африканцам, и европейцам — всем народам мира,— единение.

К чему, спрашивается, сейчас, когда так дорого сплочение во имя расцвета лучшей жизни на земле, злобно придумывать географические факторы, могущие помешать представителям моей страны, моего народа участвовать в этом прогрессивном движении?

Мне не хочется иронизировать над невежеством тех, кто обязан знать хотя бы части света и расположение стран на континентах. Небольшой экскурс в действительное положение вещей — и они увидели бы тогда местоположение СССР, Советской Азии, наших азиатских народов. Ведь каждому образованному человеку известно, что Советский Союз не только крупнейшая европейская, но и крупнейшая азиатская держава. Ведь не является же секретом то, что на долю Советского Союза приходится примерно 40 процентов территории Азии. Кто не знает, что азиатская часть СССР почти вдвое превышает территорию всего Китая, что на просторах азиатской части СССР могли бы уместиться такие крупные страны Азии, как Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бирма и Япония, вместе взятые.

Мне представляется уместным спросить тех, кто бросил вызов всему прогрессивному человечеству, кто взял курс на расовое чванство и расчищает дорогу расовой дискриминации: можно ли разделять человеческую культуру на различные географические зоны? Не ведет ли это к злокачественному росту недоверия и подозрительности? Ведь Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки и Каирская конференция в своих единодушно принятых решениях сделали свой выбор, призвав писателей всего мира к единению, призвав всех выступать вместе с азиатами и африканцами против расовой дискриминации, за обогащение всемирной сокровищницы культуры достижениями человеческого ума и сердца.

В этой связи нелишне еще раз повторить одно из положений статьи, напечатанной в июньском номере журнала «Навалокая» (1964), который издается в Коломбо. «Только империалистам может прийти в голову мысль об изоляции Советского Союза,— говорится в статье «Является ли Советский Союз азиатской страной?»,— а если это так, то чего же добиваются китайские руководители? Именно Советский Союз пробудил страны Азии и Африки, включая народный Китай, именно от него они почерпнули идеи суверенитета, независимости».

Наша страна и ее многонациональный народ стоял и стоит за братство и единство людей труда всех без исключения наций и народностей, малых и великих, за их прогресс на светлом пути строительства свободной жизни. Это наше неизбленное кредо, силу которого подтвердила сама жизнь более чем ста наций и народностей, населяющих нашу великую Родину.

Мы не делим культуру на культуру великих и малых народов, для нас существует великая культура человечества, из которой мы исключаем все антигуманное, расистское, шовинистическое.

Отсюда и многогранность, многокрасочность многоголосой советской литературы социалистического реализма, скрепленной единством целей и крепкими узами дружбы всех народов советской страны. Советские литературы — это литературы братства, дружбы; взаимно обогащая друг друга, они сохраняют свою самобытность, свою национальную специфику.

Мы не отрицаем большого, исключительно плодотворного влияния, которое оказала и оказывает на развитие и расцвет литературы народов нашей страны мировая литература, литература стран Азии и Африки, и в особенности русская литература, с ее ти-

танической реалистической мощью и опытом. В школах нашей страны детей обучают восточным и западным языкам. Узбекские школьники, например, имеют широкий выбор: от хинди, арабского, китайского, урду, фарси до испанского, французского, английского и немецкого языков. Перед нашей детворой огромный мир литературы всего человечества во всем его многообразии.

Тяга читателей к знакомству с мировой литературой породила невиданный размах переводческой деятельности. За последние пять лет на узбекский язык были переведены с оригиналов свыше 100 произведений писателей Азии и Африки. Читательский спрос вызвал систематическую публикацию многих таких произведений на страницах газет и журналов республики.

Разнообразны формы творческого общения наших писателей со своими собратьями из стран Африки и Азии. Нередко литераторы из этих стран являются гостями советских коллег. Многим из наших друзей надолго запомнится гостеприимство Гафура Гуляма и Зульфии (Узбекистан), Мехти Гуссейна и Мирзо Ибрагимова (Азербайджан), Мирзо Турсун-заде и Сатима Улугзаде (Таджикистан), Чингиза Айтматова (Киргизия), Габита Мусрепова (Казахстан) и других литераторов — инициативных и настойчивых проводников международных связей с писателями Азии и Африки.

У прогрессивной литературы мира в нашей стране есть массовый читатель, умеющий ценить все новое, живое и сильное. По данным Всесоюзной книжной палаты, народы нашей родины за годы Советской власти сумели ознакомиться с произведениями писателей около 20 стран Азии. Были переведены 2 207 книг 382 азиатских писателей.

Литература арабских стран представлена переводами более 250 книг тиражом 11 млн. 300 тыс. экземпляров. После Ташкентской конференции, когда в нашей стране начали более интенсивно переводить книги африканских авторов, мы передали читателям переводы 75 книг писателей 12 африканских стран тиражом свыше 4 млн. экземпляров. Таким образом, советский читатель получил произведения писателей более 32 стран Азии и Африки тиражом около ста миллионов на многих языках народов СССР. Причем в эти данные не входят многочисленные журнальные публикации.

Эти сухие и прозаические данные я привожу для того, чтобы быть более убедительным, показывая кровную заинтересованность массового советского читателя в переводах.

Возросший интерес советского читателя к произведениям авторов, живущих на других континентах, все растущее единство целей, объединяющих советскую культуру с культурой народов Азии и Африки, обусловили переводы и издание многих произведений писателей стран Азии и Африки после Каирской конференции.

Как же после всего этого можно подозревать советских писателей в пренебрежении к литературе стран Азии и Африки, в отсутствии заинтересованности в развитии и расширении движения писателей этих двух континентов?!

Мы не можем пожаловаться на отсутствие интереса к нашей литературе за рубежом. Наши друзья из зарубежных стран Востока перевели и издали для своих народов более 700 произведений 120 советских писателей.

Народы Азии и Африки, освобождаясь от колониальных пут, поднимают голову, расправляют плечи, борются за свою независимость. Близки и понятны советским людям благородные порывы и цели афро-азиатских народов, говорящих устами своих литераторов. Это — жадный интерес к культуре народов, истоки которой щедро питали человечество еще в его колыбели.

Советские писатели, побывав у своих собратьев по перу во многих странах Азии и Африки, создают произведения из жизни народов этих стран, к культуре которых относятся с неизменным интересом, уважением и любовью.

Оглядываясь на путь, пройденный от Дели до Каира, мы видим, что обогатили друг друга, ясно ощущаем новый дух пробудившихся континентов. Движение растет и ширится. Борьба народов стран Азии и Африки за свою независимость вызвала к жизни новую литературу, проникнутую духом современных социальных идей, утверждающую свободу, равенство и достоинство всех людей нашей планеты. В этом — живая диалектика нашего времени, властно врывающаяся в жизнь человечества.

Прошедшие литературные форумы и подготовка новой встречи в Джакарте показывают, что писатели освободившихся стран Азии и Африки почувствовали необходимость лучше знать и понимать культуру и литературу друг друга, и в этом нельзя не видеть залога их дальнейшего бурного расцвета и роста.

В этой связи мне хочется с большой благодарностью отметить инициативу двух советских журналов — «Вопросы литературы» и «Иностранная литература», — созвавших семинар по изучению, переводу и изданию в Советском Союзе литератур Азии и Африки, который был проведен в июне 1964 года.

В работе семинара приняли активное участие советские писатели, в их числе посланцы азиатских республик нашей страны, переводчики, критики, востоковеды, издательские работники. Редакции журналов привлекли к участию в семинаре некоторых писателей из стран Азии и Африки, прибывших в Советский Союз на Шевченковские торжества; другие литераторы приурочили к семинару свое посещение нашей страны, намеченное по плану культурного сотрудничества.

Семинар преследовал две осиовные цели. Первая — помочь писателям лучше узнать друг друга, и вторая — более важиая — служить взаимообогащению культур. Как

САРВАР АЗИМОВ
ДЕЛИ — ТАШКЕНТ — КАИР — ДЖАКАРТА

участник семинара, я вынес много свежих впечатлений, мне было радостно узнать то, что всех моих советских коллег, а также зарубежных друзей из стран Азии и Африки одинаково волнуют такие насущные вопросы литературного развития, как искусство и общественный прогресс, традиция и новаторство, фольклор и литература, роль и место художника в современном мире, в труде и борьбе его народа и т. д.

Хорошие слова одного из своих соратников по борьбе привел участник семинара, известный писатель героического Алжира Мурад Бурбун: «Когда речь идет о культуре, то есть о том, что несет свет тебе и твоему народу, нужно работать, засучив рукава, чтобы поднять свой народ и вырасти самому».

Эти слова как бы суммировали суть работы семинара, его высокий дух гуманизма:

— Когда речь идет о культуре, нужно работать, засучив рукава!

Об этом говорили писатели Индии и Ирана, Ганы и Мали, Индонезии и Японии, Судана и Ирака, Нигерии и Объединенной Арабской Республики, Пакистана и Непала и другие участники семинара.

Да, советским писателям близко и понятно стремление их коллег к расширению сотрудничества писателей стран Азии и Африки. Поддерживая эту идею, мы вновь высказываемся за еще большее развитие, укрепление и расширение наших связей с афро-азиатскими писателями, за улучшение литературных контактов.

Мы призываем своих собратьев по перу преодолеть затрудняющие наши контакты элементы недоверия и совместно обсудить наши писательские проблемы. Главная цель ясна, она диктуется временем. Мы за действенные контакты с широкими слоями афро-азиатской общественности. Но надо идти дальше. В настоящее время мы предполагаем резко увеличить издание на языках, доступных всем странам Азии и Африки, сборников лучших произведений и антологий поэтов этих стран. Мы надеемся, что это найдет добрый отклик у наших друзей на обоих континентах.

Пусть рухнут все барьеры, разделяющие нас. Пусть крепнут творческие связи писателей всех народов. Единство писателей Азии и Африки, братство культур обеспечит афро-азиатской литературе почетное место в мировой литературе и окажет влияние на литературу народов Запада.

Предстоящая писательская конференция в Индонезии вселяет в нас уверенность в том, что ряды собратьев по перу пополнятся, станут теснее, сплоченнее, и это обеспечит дальнейшее развитие новой, гуманистической литературы, одухотворенной идеей мира и дружбы, литературы, еще полнее выражающей надежды народов на свободную счастливую жизнь.

Хочется верить, что очередная конференция писателей стран Азии и Африки в Индонезии будет настоящим форумом братства и единства. И когда речь идет о движении, о замечательном движении писателей двух великих континентов мира — Азии и Африки, мы, литераторы, деятели культуры, должны работать, засучив рукава.

ОЧЕРКИ

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ

РАССКАЗ О СЕРЖАНТЕ ИОНЕ БУЗНЕ

С Сергеем Сергеевичем Влащенко я познакомился в Ялте. Солнечными днями этот спокойный, неразговорчивый человек обычно сидел в клубной библиотеке. И встречаться с ним легче было в пасмурные дни. Узнав, что я люблю штормовое море и что я из Румынии, он как-то раз вызвался показать мне удобное местечко, откуда можно было любоваться прибоем. Я провел несколько приятных часов с Влащенко.

По дороге домой он много говорил. Его словами и хочется начать мой рассказ.

— Во время войны я, в ту пору — капитан, командовал батальоном, с которым прошел почти всю Румынию.

Прислушиваясь к собеседнику, я, однако, не сразу включился в разговор — думал о море, о необычной мощи разбушевавшейся стихии.

— В сентябре 1944 года,— продолжал Влащенко,— я получил задание занять высоту, это было в районе Оршовы. Знаете ли вы те места?

— Да,— рассеянно ответил я.

— И вот, когда мы цепочкой, по одному, пробирались через густой лес вблизи перевала, кто-то из моих солдат заметил валявшиеся пулеметные ленты. Мы немедленно оцепили высоту и приготовились к атаке. Стрелять, однако, не пришлось. Вскоре мы обнаружили оставленный пулемет. Около него распластались тела убитых румынских солдат — несколько человек их было,— а на самом пулемете, словно обнимая его, застыл паренек лет 14—15. Он еще дышал, был в глубоком обмороке, вызванном, как я позже узнал, голодом и усталостью. Придя в себя, он рассказал нам, как солдаты защищали перевал от контратаки окруженных там немецких частей. Сам он, выяснилось, был добровольцем, служил в этой же части, хотя еще носил свою крестьянскую одежду. Позже он попросил взять его с собой. Один из наших солдат дал ему гимнастерку, и паренек остался в нашем батальоне. Он оказался очень подходящим для нас помощником — здешняя местность ему была хорошо знакома, он легко ориентировался в горах. Отличился он в первом же бою под Черны. Получив разрешение командования, мы зачислили его добровольцем в батальон. Вместе с нами он участвовал в боях у Тиссы, потом под Будапештом. Когда мы выбивали врага на одной из улиц венгерской столицы, паренька ранило, он попал в госпиталь. Спустя какое-то время мы встретились с ним уже в Дрездене. Он был сержантом, награжден медалью «За боевые заслуги»... Да, вот мы и пришли,— неожиданно закончил Сергей Сергеевич.— Не жалеете, что гуляли под дождем?

— Что вы, напротив!

Перед отъездом из Ялты я зашел проститься с Влащенко. Он смущенно начал извиняться:

— Еще раз простите за прошлую прогулку, за болтовню. Знаете, от природы я молчалив... А тут... что-то нашло... мне говорили, вы — писатель...

Распрощались мы по-дружески, он проводил меня до машины.

■

Два года спустя дела привели меня в Оршову. Надо было уточнить некоторые детали киносценария о моряках, над которым я тогда работал с писателем Титусом Поповичем. Я вспомнил о Сергее Сергеевиче Влащенко и послал ему телеграмму с просьбой сообщить данные о молодом добровольце, встреченном им в горах Ор-

шовы. В ответе указывалось, что того паренька звали Ион Бузня, родом он был из села Иешельницы. Последний раз Сергей Влащенко встретил его в Берлине, во время уличных боев на Вильгельмштрассе.

Я съездил в Иешельницу, где узнал много интересного об Ионе Бузне. И, вспомнив обещание, данное «Газета литерарэ», решил о нем написать.

■

Иешельница — ничем не примечательное село в гористой части Оршовы: маленькие хатенки, просторные дворы с едва уловимым запахом скошенной травы.

Август 1944 года... Ночью в селе слышался лишь собачий лай и изредка, если ветер дул с мельницы, доносилось журчание воды в желобе. Крестьяне боялись отступающих немцев: накрепко заклинивали засовы конюшен и коровников, сами спали на скамьях.

Вечернюю тишину неожиданно разорвала канонада румынской артиллерии. Сначала послышался далекий непрерывный гул, затем можно было различить каждый выстрел. Знатоки, бывшие фронтовики, по силе разрыва узнавали калибр и даже вид орудия. Огонь вели крупные орудия советского производства.

Командир немецкого батальона, расквартированного в Иешельнице, лейтенант Рёдер стал готовиться к отступлению. Он потребовал, чтобы крестьяне немедленно пригнали к комендатуре подводы, скот, коней. Впрочем, жители Иешельницы уже ожидали подобный приказ, они погнали запряженные телеги через огороды да поля и скрылись в лесах. Лишь Николае Бузня, живший около комендатуры, не успел выехать из деревни. Тогда он взял в руки топор и изрубил колеса своей телеги. Гитлеровцы застали Бузню на месте «преступления» и расстреляли.

Румынские разведчики, утром вошедшие в деревню, нашли тело Бузни, изрешеченное двадцатью пулями. Он лежал, скорчившись, у своего сарая. Тут же неподалеку на пеньке сидел паренек лет 14—15. Это был его сын — Ион Бузня. На односельчан, пришедших проститься с убитым отцом, он смотрел высохшими, воспаленными глазами. У Иона Бузни уже не было слез: он плакал всю ночь. С такими же сухими глазами стоял когда-то его отец, прощаясь с преждевременно умершей женой.

Румынские бойцы расположились около мельницы. Рядом с палаткой они установили антенну, и ребята из села немало удивлялись тому, что по телефону без всяких проводов велся разговор. Ион Бузня подошел к палатке. Ему преградил путь часовой — солдат с усталым, небритым лицом. Однако паренек стоял на своем:

— Пусти меня, дядя. С вашим командиром хочу говорить.

Желая избавиться от надоедливого парнишки, часовой отправил его к повару взвода — усатому ефрейтору.

— Вы командир? — неуверенно спросил Бузня.

— Ну, я. А чего тебе?

— Хочу стать солдатом. Добровольцем.

— Солдатом, говоришь? Да это трудное ремесло, не по тебе.

— Я не боюсь, господин командир.

— Ну ладно, попробуем! Работать любишь?

— Люблю, господин командир.

— Тогда беги тащи дров для котла.

Ион Бузня принес дров, воды, раздобыл соли, мыла. Довольный проворным подростком, повар подверг его последнему испытанию. Он снял свои сапоги, затем собрал обувь спавших солдат и кинул их Иону:

— Ну-ка, еще покажи, как умеешь работать! Только смотри, с блеском — так, чтобы слепило глаза!

Ион Бузня заканчивал чистить последнюю пару, когда вернулся настоящий командир. Удивленно посмотрев на вычищенные сапоги и узнав о случившемся, командир приказал солдатам построиться у реки. Последние лучи осеннего солнца сверкнули на десяти парах сапог. Ион колебался в нерешительности, встать ему в строй или нет. Спросить кого-нибудь он не посмел, заметив хмурые лица командира и солдат. Вдруг раздалась команда:

— К воде, шагом марш!

Когда шеренга солдат тронулась, Ион Бузня вздрогнул. Низкий берег реки был тинистым — еще один-два шага и сапоги увязнут в грязи. Чего смотрит командир? Солдаты с таким же напряжением ждали команды «стой». Но офицер молчал. Под сапогами захлюпала грязь, а еще через шаг ноги погрузились по голенища в жадно засасывавшую тину.

— Кругом! — сердито выкрикнул командир.

Солдаты опять стояли в строю, уткнувшись взглядом в сапоги, с которых стекала жирная грязь.

— Вычистить быстро,— приказал офицер.— Чтоб блестели, как прежде. А ты, доброволец,— обратился он к Бузне,— иди домой!

— Слушаюсь, господин командир, но мне некуда идти. У меня нет дома. Хочу быть солдатом.

Так и остался Ион Бузня у румынских разведчиков.

Через несколько дней взвод получил задание отбить контратаку немцев у перевала.

— Теперь прощай, Ион. Задание нелегкое, придется стрелять.

— Но вы обещали сделать из меня солдата.

Не удалось отговорить Бузню, не подействовали даже угрозы.

Вместе со всеми парень отправился в горы. Очевидцы рассказывали, что Бузня шел позади солдат, отставая шагов на пятьдесят, но все же шагал в ногу. Босиком, в густой пыли, он старался не сбиваться...

Ночью солдаты завязали бой с немецкими подразделениями, пытавшимися прорваться к деревне. Гитлеровцев было много — драться пришлось отчаянно. Первым упал повар, один за другим погибли остальные. Ион Бузня, прижавшись к земле, прячась в кустарнике, следил за схваткой, затем он быстро подполз к оружию, укрылся за телом последнего пулеметчика — того самого усатого часового. Стрелять Ион умел. Пулемет снова зарокотал. Приклад больно бил по худой ключице, но пальцы цепко держали спуск.

Здесь, на пулемете, и нашел его советский капитан Сергей Сергеевич Влащенко.

■

Рассказ об Ионе Бузне не появился на страницах «Газета литерарэ». Рукопись эта перемешалась со страницами сценария. Занятый другими, срочными делами, я совсем забыл о ней. Возможно, эти записи так и не увидели бы света.

Прошлой осенью мне, в составе делегации румынских деятелей культуры, довелось быть в демократическом Берлине. На кладбище советских героев, погибших в минувшей войне, я увидел надпись на бетонной плите: Сержант ИОН БУЗНЯ, 16 лет.

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ

НОВАЯ ЖИЗНЬ НА СТАРЫХ ЗЕМЛЯХ

Одна из книг крупнейшего румынского новеллиста Михаила Садовяну носит название «Место, где ничего не произошло...». В книге этой — чем-то тургеневским веет от ее страниц — автор изобразил унылую, однообразную жизнь провинциального городка, где сегодняшний день как две капли воды похож на вчерашний и завтрашний. Там тоска обыденщины витала над надеждами и разочарованиями, жизнью и смертью людей, как туман над болотом. В годы появления книги любознательный путешественник, пожелавший посетить эти края, мог с одинаковым успехом воспользоваться путеводителем, изданным на двадцать лет раньше или позже этого события. Жизнь тогдашней румынской провинции можно было бы сравнить с огромным натюрмортом.

Но так казалось только внешне — на самом деле, в глубинах провинции пробуждались, действовали, а порой и клокотали те самые народные силы, которым суждено было, как некогда Самсону, потрясти храм оцепенения; там бурлили силы, оказавшие сопротивление фашизму, подготовившие вооруженное восстание и заложившие после освобождения основы социалистического государства.

Теперь самой характерной чертой пейзажа нашей родины стали непрерывные перемены. Где бы мы ни остановились—в Бухаресте, или в Констанце, или Сигишоаре,— повсюду поднимаются новые заводы и университеты, новые кварталы и даже города. Архитектура в какой-то мере стала критерием современности.

ОБ ОДНОМ ПУТЕШЕСТВИИ В ВОСПОМИНАНИЯ

Не без опасения я отправилась в один из окраинных кварталов Бухареста, где во время войны работала учительницей и где палитра моих настроений знала лишь один цвет — цвет надежды. Ехала я туда «не на поиски потерянного времени», а боясь вдруг очутиться среди свидетелей моей юности.

Здесь во время войны пролегало шоссе в деревню: по обеим сторонам—лачуги и домик сторожа у железнодорожного переезда, где проходили когда-то собрания местных коммунистов. Слева простирались пустыри с огромными мусорными ямами, вокруг них постоянно копошились тряпичники и бродяги, штаб-квартирой которых была корчма «У бандита», десятки лет сохранявшая это причудливое название. За корчмой были расположены авторемонтные мастерские, церковь, а также школа, которая тогда казалась мне большой и внушительной. Это было белое двухэтажное здание с барачной пристройкой — у жителей квартала «Защитники родины» детей всегда было больше, чем могло вместить школьное здание.

Я хотела было сойти напротив улицы Панселелор, где когда-то помещалась наша школа, но девушка — водитель такси остановила меня: «Чуть дальше, здесь только маленькая школа». Я подумала, что девушка шутит, но все же решила подождать и сошла в конце улицы. Направо, между железнодорожной линией и полем, тянулись оранжереи. Оказалось, что в «царстве грязи» несколько лет назад построили цветочный центр для всего района. Здесь, где мои бывшие ученики гибли под бомбами среди посаженных ими деревцев, вырастает теперь пятая часть цветов нашей столицы.

По совету прохожих я свернула налево к школе, однако, пройдя метров двести, решила, что ошиблась адресом. Передо мной возвышалось огромное, окруженное садом кирпичное здание с окнами во всю стену. Оно показалось мне настолько величественным, что я, знавшая квартал в военные годы, не сразу осмелилась войти.

Я считала непостижимым, что это здание, словно вышедшее из современной сказки,— школа того самого замызганного квартала, где я жила лет пятнадцать назад.

И все же...

Я обошла его вдоль и поперек: измерила шагами длинные коридоры, поднималась на этажи, заходила в классы, половина стены которых была стеклянной, пока не очутилась на крыше, где, кстати, помещается летняя библиотека для 1500 учащихся. Глядя отсюда, сверху, на квартал, я поняла, почему шофер такси назвала «большую школу» моих воспоминаний «маленькой школой». Истекшие двадцать лет изменили нашу оптику, масштабы нашего прыжка в истории.

Я стою, облокотившись на балюстраду. Внизу квартал. Надо мной небо. Небо и воспоминания, значительно более бледные, чем богатая, многогранная действительность сегодняшнего Бухареста.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Да! Мне кажется, что только теперь я впервые решаю эти задачи, хотя диктовала их детям еще во время войны. Больше того, как и любая другая учительница, я приучала школьников самих составлять задачи. Припоминаю, как один из учеников второго класса изложил «придуманную» им задачу. Придуманную? Сейчас увидите... «В одной комнате стоят три кровати. На одной спят родители с младшим братом, на другой спим мы — трое братьев, а на третьей — две сестры. Сколько людей спят в этой комнате?» Произведем сложение: три плюс три плюс два равно восьми.

— Как ты придумывал задачу? — спросила я мальчика.

— Я ничего не придумывал. Просто сосчитал наши кровати...

Однажды мы с дочерью повторяли пройденное, и на глаза мне попались новые «условия» задачек. Придуманных? Сейчас увидите... Недавно мы соревновались в составлении задач. Совсем как раньше.

— Составь задачу на сложение.

Ответ не заставил себя ждать.

— В нашем квартале три улицы. На одной из них построено 234 новые квартиры, на второй — 350, а на третьей — на 100 квартир больше, чем на второй. Сколько всего построено квартир?

Я не могу сказать, чтобы моя дочь была блестящей математичкой, и не могу утверждать, что результат сложения у нее получился правильным. Что правда, то правда, но текст задачи взят не из головы, а из живой действительности: 15 тысяч квартир построено за двадцатый год после 1944 г.

КЛЕЩИ ДЛЯ ПЫТОК И ОХРАНА ТРУДА

Кто не видел Сигишоары, тот не знает Трансильванию. Когда подъезжаешь к городу, он появляется перед тобой на холме, как крепость из сказки братьев Гримм. Вековые стены, бастионы с зубчатыми башнями — все здесь осталось таким же, как в XII веке. Узкие улочки, старинные дома, готические церкви придают Сигишоаре сказочный вид. Поднимаешься по лестнице Турна, превращенного теперь в исторический музей, и тебе кажется вполне естественным, что в полночь ты можешь столкнуться здесь с Золушкой, убегающей с бала и по пути теряющей свой хрустальный башмачок.

Наверху, на шестом этаже, у механизма огромных часов с молотком и колоколом, веками возвещавших городу время, я застыла в изумлении перед витриной: под стек-

лом лежала какая-то книга вроде Евангелия, напечатанная готическим шрифтом и с рисунками, но отнюдь не религиозного содержания. В книге изображен сидящий на стуле и раздетый до пояса человек; несколько прислужников, окруживших этого человека, показывают пальцами на его колени, бока, глаза и ногти. В руках у каждого какие-то непонятные инструменты, «научное» наименование которых приводилось в специальной сноске. «Ниже указаны способы употребления орудий пытки и наиболее чувствительные части тела...»

Эта огромная и внушительная книга — «Кодекс Терезианум» — руководство по пыткам заключенных. В соответствии с этими «правилами» в 1784 году пытали Хорию, Клошку, Кришана и сотни других безвестных мучеников народного восстания.

Немой крик этой «библии угнетения» вмиг рассеял как дым милый призрак Золушки. Никакая средневековая картина, никакой лунный свет, пробивавшийся сквозь крепостную решетку, не могли развеять впечатление от страшного образа учебника пыток.

Через несколько дней мне довелось побывать на окраине Сигишоары, где простирается когда-то знаменитая равнина, раскинувшаяся между городом и селом Альбешть. Здесь в 1848 году развернулись ожесточенные сражения между революционерами и императорскими войсками. Здесь же в годы народной власти, вырос фарфоровый завод. Современное предприятие, подобное многим другим в нашей стране. Тут работают выпускники профессиональных школ Сигишоары, издревле славившейся мастерами гончарного дела. Инженеры с большим практическим опытом. Пока удивляться нечему. Ни внешний вид завода, ни его размеры, ни огромные окна, заливающие светом просторные цеха, ни столовая — обширнее танцевального зала в сказке о Золушке, ни жилые дома для рабочих, построенные в непосредственной близости от завода, ни больница, ни соседний стекольный завод, оснащенный электронными машинами, не могут удивить очевидца наших повседневных чудес. Разве что контраст между современным оборудованием и древней крепостью, где хранятся документы угнетения, кажется здесь более разительным, чем где-либо. Я вошла на завод, прошла по его цехам, поднималась по ступеням, как в древней башне музея. Я с интересом рассматривала колесо гончара, печи, расфасовку фарфора и десятки экспонатов — от обычных столовых сервизов до самых утонченных безделушек... В конторе управления меня поразила одна сценка: доктор раскладывал перед директором серию почти анатомических плакатов и указывал вытянутым пальцем на самые чувствительные части человеческого организма — веки, уши, суставы,— наиболее уязвимые для высоких температур в некоторых цехах... Разговор шел о правилах охраны труда.

ПРОЛОГ ДЛЯ ИНОГО РОДА ПОЭМ

Первым изгнанником, высадившимся в порту Томы, был Овидий. В тонких одеждах, в римской тоге, поэт навсегда покинул родные края. Какова была действительная причина ссылки, никто в точности не знает. Тайна до сих пор скрывает причины изгнания поэта с италийских берегов, несмотря на его поэмы и сотни последующих исследований. Достаточно того, что гнев Цезаря разлучил Овидия с римским обществом, цивилизацией семи холмов, мягким климатом и утонченностью метрополии. Один — в римской одежде, пригодной скорее для того, чтобы подчеркнуть грацию тела, чем для защиты от холода. Один — под дождем, на ветру (cum frigore cumque sagittis), один — под холодным чужим небом (nemquam sine frigore caelum), один — утешающий себя надеждой на возвращение весны (frigore jam zephiri minuunt), Овидий остался в памяти времен, как первый поэт этих краев. Утонченный, изысканный Рим заставил его написать «Искусство любви»; латинская культура, впитавшая в себя эллинскую мифологию, вдохновила его на «Метаморфозы». Но настоящей школой жизни стала для Овидия ссылка. Я словно вижу этого римлянина здесь, на берегу. Он подносит руку к струнам невидимой лиры, ветер шевелит его седые кудри и уносит далеко в Рим трагические звуки «Скорбей». «Послания с Понта» передавались из рук в руки. Но ничто не могло смягчить гнев Цезаря. Взволнованный и резкий звук лиры постепенно становился элегическим, надежда сменялась покорностью судьбе. И тогда на берегах «гостеприимного моря» пишется шедевр целой жизни, трагедия, которой необходимо с кем-нибудь поделиться. Но с кем? Прежние читатели слишком далеко. Язык окружающих незнаком. Постепенно Овидий изучает этот язык, и сам признается в одном из стихотворений, что пишет на языке местных жителей. Утрата текста непоправима. Единственную поэму, единственный письменный документ унес он с собой в неведомое. И долго еще после того, как умолк последний аккорд лиры поэта, ветер разносил по побережью эхо «Скорбей».

После ухода римлян из Дакии, после византийской эпохи, этим древним эвксинским портом завладели турки, и Томы познали восточное иго. Но где-то высоко, среди облаков, над портом, спящим вековым сном, ветер все еще нашептывал отрывки песен поэта. Только в 1877 году, благодаря щедрости местных жителей и энтузиазму итальянского скульптора Ферарри, память об Овидии воплотилась в камне. И с тех пор, вечный в своем страдании, поэт пристально всматривается в зеленовато-голубую даль: не покажется ли там римский парус. Над поэтом проносятся облака, снег ложится на

складки тоги и застилает написанную им самим эпитафию. Бриз ласкает поэту лицо, вьюга сечет грудь. И стоит он, первый в мире поэт-изгнанник, свидетель людских страстей и революционных бурь, прислушиваясь к жалобам ветра.

Через два тысячелетия город ссылки Овидия стал прибежищем для других изгнанников. Матросы первого «пробудившегося корабля» — потемкинцы, преследуемые охранкой, нашли здесь приют. А через полвека после того, как взвилось знамя восстания, мы стали свидетелями награждения бородатых героев, возвестивших молодость мира.

Позднее беглец из темницы Брусы, вступив на берег Констанцы, упал на колени и поцеловал землю. Берег, ужаснувший Овидия, стал для Назыма Хикмета в годы нашей республики первым прибежищем. А там, вверху, среди облаков, ветер смешал странные восточные напевы с уже знакомыми ему звуками «Скорбей».

В 1934 году на площадь перед статуей, на мраморе которой высечена латинская эпитафия, вышли Мария Тереса Леон и Рафаэль Альберти. Приглашенный Горьким на Первый съезд советских писателей, автор книги «Об ангелах» возвращался в Испанию. Поэт сам напоминал чем-то ангела, заблудившегося среди людей. Неправда! Через несколько лет серафиму суждено было стать «поэтом на улице» и разделить свое сердце «между гвоздикой и шпагой». А его верная муза, прозаик Мария Тереса Леон, разъезжала с фронтовым театром по траншеям Испании. Думали ли они тогда, читая эпитафию баловня Рима, о новой встрече?

Прошли годы, и они вернулись на наш берег как наши друзья, с дочерью, родившейся в изгнании. Те, кто хотел подарить кастильскому языку Эминеску и Аргези, объехали от края до края нашу республику. Так снова встретились лицом к лицу двое изгнанников с первым ссыльным поэтом, который, подперев подбородок ладонью, по-прежнему с грустью глядел вдаль — не мелькает ли на горизонте римский парус с эдиктом о прощении. Теперь они встречали его имя повсюду: теплоцентраль имени Овидия, новый театр в Мамае имени Овидия, самый комфортабельный отель «Овидий». Это латинское имя стало для нас своим. В Добрудже не встретишь ни одного нового города из вереницы черноморских жемчужин, где не было бы улицы или дворца культуры, названного именем, эхо которого до сих пор нашептывают ветер и волны.

СТУПЕНИ ИСТОРИИ

Для полоски песка и раскаленного камня, именуемой Мангалией, время сложилось иначе, чем предполагала история. Когда-то здесь был Каллатис — греческий порт, от которого остались лишь амфоры, идолы и украшения.

Нигде не найдешь столько солнца и нищеты, как на полотнах Штефана Думитреску и Тоницы—этих Кастора и Поллукса румынской палитры. Годами обращали они свои пытливые взоры к теплым тонам забытого богом и миром села, где под землей спит древний порт и свидетелем пролетевших бурь остался лишь квартал турок и татар. Глинобитные лачуги без окон, без кроватей, без воды. Сонная восточная кофейня на фоне вечно подвижного моря. Девушки как нежные цветы и безвременно увядшие степные маки, цветные шаровары, лошадь с водовозной бочкой, кущи деревьев, выделяющиеся оазисами в пустыне, турок, занятый болтовней,— сколь характерные для старой Мангалии образы. Кисть художника вырвала их из безвестности и вдохнула в них жизнь.

Много глинобитных хижин разбито, превращено в прах кирками строителей. Уже давно на скале древнего порта кипит стройка. Стеклянные стены, волнистые крыши, как отражение морских волн. И людей в Мангалии стало столько, сколько не собиралось прежде по всему морскому берегу. Шахтеры из Жиу, опьяненные бризом и солнцем, доменщики из Рушицы, привыкшие к жарким всполохам расплавленного металла, скандинавские туристы, для которых вода тепла даже в октябре.

Прежде побережье относилось к строго географическим понятиям: несколько вилл в нескольких точках, отмеченных на карте. И тяжелая, горькая жизнь докеров в порту Констанцы. И страшная нищета в татарском квартале Мангалии. Сегодня бурное строительство постепенно сближает границы обоих городов. Побережье стало основной реальностью Понта Эвксинского. Перефразируя ленинскую формулу, мы можем со справедливой гордостью сказать: побережье — это народная власть плюс архитектура.

ПРИВЕТСТВИЯ СТАТУЙ

...И пробудились статуи от сна. Сколько времени утекло с тех пор, как в камне они обрели свою первую жизнь? Сколько волн разбило свои белопенные гребни о черноморские скалы после их рождения? Сколько глаз ласкало складки одежд Гекаты с собакой у ног, сколько лет обращал к небу немой взор старый бог Понта Эвксинского? Какую из площадей древнего Томы сторожил он? Какую широкую римскую дорогу украшала эта мозаика? Погребенные под землей, заметенные пыльными бурями, поднятыми копытами варварской конницы, погибли древние красоты римского порта. Никто не представлял себе, какие сокровища таит этот подземный музей. Тем,

кто копался в земле лопатой, она дарила то подсвечник, то саркофаг или капитель. Только теперь, когда мы сами изваяли лик нашей свободной родины, когда мы врезались в землю тысячами лопат, чтобы заложить сотни дворцов, возвести стены на высоту человеческого достоинства, мы обрели щедрость земли. То, что удавалось вырвать ценою долгих ночей под землей таким ученым, как Пырван, находят сегодня строители нового города. Старушка земля раскрыла перед нами свои подземные кладовые. Геката, богиня ночи, старый понтийский бог, змея с головой ягненка — все вернулось к нам после тысячелетнего сна. Руки людей — руки каменщиков, землекопов, извлекли на поверхность статуи спящих красавиц Понта. И статуи проснулись от сна на земле, о которой не грезили даже самые смелые мечтатели веков. В порту, где пролегли новые улицы, выросли новые дома, новая набережная, воплощенная в камне красота будет сверкать во всем блеске на фоне радужной от солнца морской дали.

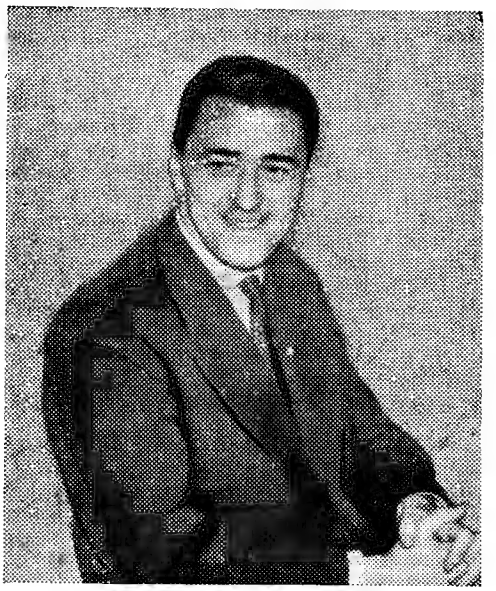
В эти годы мы снова открыли для социализма творения человеческого гения и возьмем их с собой в будущее. Свобода труда, завоеванная нами в борьбе, делает нас законными наследниками античного искусства, которому мы возвращаем после долгой ночи пространство, свет и вечность.

ДОБРУДЖАНСКАЯ БУЛОЧНИЦА

Под поэмой подписывается автор, завод ставит клеймо на машине. Но ни один пекарь не оставляет свою подпись на нашем хлебе насущном. И все же производственный процесс, происходящий в новом здании хлебокомбината «Добруджа»,— это творческий процесс. Даже само здание отличается красотой. Как у любого нового здания Констанцы, элегантность линий говорит о предназначении. Среди жемчужин побережья хлебокомбинат отличается только своим расположением. В остальном красота и даже «местный колорит»—голубой, желтый, зеленый на белом фоне—первого предприятия промышленного комплекса, введенного в эксплуатацию два года назад, приближает его к самым монументальным зданиям Мамайи. Внутри комбината — настоящая лаборатория, где рабочие наблюдают за щитами управления, огромными ситами, котлами и печами — всем процессом, при помощи которого эта привлекательная механическая булочница моет зерно, просеивает муку, месит тесто, формует его и печет, чтобы ежедневно выдавать людям десятки тысяч хлебов, горы ароматного печенья, которые моментально расхватываются с полок булочных и ларьков.

Десятки тысяч хлебов в день — эта цифра говорит сама за себя, если учесть, что прежде Добруджа была самой отсталой провинцией по производству пшеницы. Степь и засуха. Чертополох и маки. Песок и водовозные бочки. Малярия и голод. Такой была Добруджа два десятилетия назад. А в этом году? Обильный урожай. Самая элегантная архитектура. Засаженные розами бульвары. И восемьдесят тонн хлеба в день.

НАШИ ГОСТИ



ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Еще вчера мы держали в руках газету «Юманите» с очередной статьей Андре Стиля — и вот он перед нами, известный французский писатель и публицист, художник, глубоко озабоченный путями, по которым идет и развивается литература. Он делится с нами раздумьями о литературных процессах, высказывает свои соображения по поводу последних новинок и нашумевших книг, говорит о сложной, трудной и вместе с тем благородной миссии художника-коммуниста, живущего в условиях капиталистической действительности.

— Я много пишу,— рассказывает Андре Стиль.— Потому что не писать сейчас — это значит выключить себя из борьбы, которую ведут в наши дни не только коммунисты, но и все люди доброй воли. Вам, наверное, покажется само собой разумеющимся то, что я сейчас скажу, но на моей родине,— где книжные прилавки буквально завалены всякого рода псевдолитературой, отражающей самозабвенные блуждания писателя в своем собственном, сугубо индивидуальном или попросту выдуманном мирке,— это отнюдь не является общепринятой истиной. Я считаю, что писатель должен делиться с читателем тем, что он видит и наблюдает, а также теми чувствами, которые вызывает у него происходящее вокруг. Конечно, одного такого желания еще мало, чтобы иметь право написать книгу. Нужно, чтобы проблемы, занимающие писателя, глубоко волновали миллионы людей, чтобы автор с первых же строк своей новой книги непрерывно ощущал контакт с будущим читателем, ибо этот контакт — единственно верный путь к сердцам широких масс.

Вспоминается хотя бы история с присуждением крупнейшей во Франции Гонкуровской премии за 1963 год. Два произведения реально претендовали на эту премию, и немало копий было сломано в литературной полемике, азартных прогнозах и закулисной возне, так или иначе влиявших на решение жюри. По общественной своей значимости книги эти находились на разных полюсах, и завязавшаяся борьба вокруг присуждения премии носила принципиальный характер. Прогрессивные силы на этот раз добились успеха — под их воздействием жюри отдало предпочтение реалистическому, антифашистскому роману Армана Лану «Когда море отступает», но буржуазная пресса реагировала на это решение почти полным молчанием, если не сказать бойкотом. На страницах газет и журналов всячески превозносились весьма сомнительные достоинства другого претендента — романа Ле Клезио «Протокол», произведения, о котором даже его сторонники пишут, что в подавляющей своей части смысл романа остается недоступным читателю.

Наш гость попутно высказывает свое отрицательное отношение к подобным порождениям зашедшего в тупик «нового романа».

— Очень важно,— продолжал Андре Стиль,— идти в ногу со временем. Но мне кажется, секрет полноценного, я бы сказал, полновесного успеха у думающего и отзывчивого читателя состоит в том, насколько писатель способен из всего многообразия тем современности выбрать и осмыслить именно ту, которая находит наиболее живой отклик как в его собственной душе, так и в душе читателя. Из этого созвучия личных особенностей писателя с насущной темой дня и рождается вдохновение, сообщающее горячую заинтересованность и эмоциональность произведению, и тогда все, что выходит из-под его пера, становится близким читателю, волнует и воодушевляет его.

Я всегда стремился разговаривать с читателем о том, что составляет его повсе-

дневную жизнь. И поскольку для всех французов долгое время самой острой проблемой была война в Алжире, я писал об этой войне. Она стала главной темой моего цикла «Вопрос о счастье поставлен», в котором я стремлюсь раскрыть и показать воздействие этой бесславной войны на человеческие судьбы и становление характеров людей.

Поиски и выявление основных человеческих ценностей — главная задача писателя! — утверждает Андре Стиль.— Новые ценности могут возникать всюду, в любой среде, и в рабочей, и в буржуазной. Весь вопрос в пропорции и в качественных признаках этого нового. Однако прогрессивные начала рождаются преимущественно в рабочей среде, и писателю очень важно своевременно их рассмотреть, осветить и, предав гласности с помощью художественных образов, поддержать новое. Таким образом, я считаю, что писателя, который посвящает свое творчество злободневным проблемам современности, должно прежде всего увлекать все новое и прогрессивное. Конечно, новое может быть не только прогрессивным, но и реакционным, к последнему можно отнести, например, реальную и опасную возможность усиления фашистских настроений во Франции.

Пристальное внимание, с каким Стиль относится к жизни простых людей — героев его романов и рассказов, являет собой разительный контраст с теми идеями «конца света», описаниями ужасов атомной войны и вместе с тем смакованием ее возможных последствий, которыми изобилует буржуазная литература Запада.

Очень важно, чтобы было больше писателей, разумно и конструктивно относящихся к сложным проблемам, перед решением которых стоит мир писателей, способных с научной, марксистской точки зрения разобраться в происходящем и дать читателю правдивую картину событий.

— Нельзя позволить противнику запугать нас и дезориентировать читателя,— продолжает Андре Стиль,— задача прогрессивной литературной общественности Франции состоит и в том, чтобы в противовес таким, скажем, изданиям, как еженедельники «Ар» или «Экспресс», искажающим представление о состоянии французской литературы и замалчивающим произведения прогрессивных писателей, всеми доступными средствами пропагандировать творчество тех, кто отстаивает реалистическое направление в прозе и поэзии; правдиво восстанавливать картину объективную, показывающую реальное соотношение сил и возможностей французской литературы. Надо сказать, что французская прогрессивная литература последнего времени дает к тому все основания.

Прежде всего Андре Стиль называет философскую поэму Луи Арагона «Одержимый Эльзой». Это произведение, посвященное выдающимся поэтом Франции Эльзе Триоле, своей верной спутнице, чью жизнь и литературную деятельность невозможно отделить от его собственной жизни и творчества, представляет собой вдохновенный гимн женщине и любви. В поэме Арагона — не только лирические мотивы: поэт сумел придать ей общественное звучание, ввести читателя в круг больших раздумий, подводящих итог многих лет его борьбы и творчества.

Эльза Триоле после выхода в свет последнего романа «Душа» готовит к печати большую антологию русской поэзии; многие переводы для нее сделаны поэтами Гийевиком и Добжинским. Русским читателям, вероятно, будет интересно узнать, что большой отрывок из пушкинского «Евгения Онегина» идет в этом сборнике в переводе Арагона.

Наш гость называет также книгу Армана Лану «Когда море отступает», «Пиренейскую рапсодию Пьера Гамарра, литературное исследование о Делакруа Пьера Дэкса, книгу Анн Филип о ее муже — выдающемся актере Франции покойном Жераре Филипе.

Как это часто бывает с требовательными к себе писателями, Андре Стиль менее всего склонен подробно рассказывать о своих книгах, особенно о тех, которые еще в работе или только замышляются. В ответ на наш вопрос он называет свой последний роман «Пойдем танцевать, Виолина», в основу которого положена судьба шестнадцатилетней французской текстильщицы. Писатель стремился показать на широком общественном и политическом фоне сложный путь ее становления как человека. Чуть сощурив глаза в лукавой улыбке, Стиль предупреждает, что перевод книги чреват большими сложностями, так как написана она на северном диалекте, своеобразие которого очень трудно передать, «но во что бы то ни стало надо сохранить». А на наш вопрос о замыслах будущего романа по существу ответа не следует — «я не решаюсь заранее говорить о том, что пока является только замыслом».

Но мы убеждены, пройдет год-другой, и читатели узнают эту книгу, о которой пока молчит писатель.

...Между состоявшейся в редакции встречей и той минутой, когда наш читатель получит этот номер журнала, неизбежно пройдет какое-то время. К томикам книг Андре Стиля в библиотеке, к свежей его рукописи на редакторском столе прибавятся новые его публицистические выступления в «Юманите» и других прогрессивных периодических изданиях Франции. Писатель-коммунист Андре Стиль, как и его товарищи по литературному оружию, продолжает борьбу!

Т. Кудрявцева

Люди мира, будьте зорче втрое!

Говорят писатели—солдаты и очевидцы двух войн

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДНИ ГОДОВЩИНЫ

Обращаясь мыслью к знаменательной дате, связанной одновременно с первой и второй мировыми войнами, мы не перестаем удивляться, и для этого у нас достаточно оснований. Если где-нибудь в шахте или при крушении на железной дороге погибает несколько сот человек, люди, несущие за это ответственность, в течение нескольких недель занимаются произошедшей катастрофой. Все общественные организации требуют, чтобы подобные несчастные случаи не повторялись: ведь несколько сот семей лишились кормильцев — как можно допустить, чтобы такое произошло еще раз? Если же дело идет о двух катастрофах, в которых в итоге политических интриг и пограничных споров обратились в прах двадцать или тридцать миллионов молодых мужчин, то хотя эти исторические события и вызвали изумление и негодование, но никогда в истории, до появления Владимира Ульянова-Ленина, эти общечеловеческие чувства не вызывали к жизни решения уничтожить войны во что бы то ни стало! Действуя последовательно в этом направлении, начинают с того, что прекращают вооружаться и созывают конференции. Подобные намерения, если проводить их всерьез, осуществимы, к сожалению, в настоящее время лишь на части нашей планеты; как раз в вопросе о войнах и установлении мира (когда речь идет не о благих пожеланиях, а о практических действиях) наши экономические уклады отличаются столь же резко, сколь голубое—от красного на географической карте. Да, бесспорно, на Рейне, как и на Янцзы, нужно еще многое сделать для достижения настоящего сотрудничества — того «мирного сосуществования», которое стало лозунгом сегодняшнего дня.

Разве не удивительны природа человеческая и структура человеческого общества? Прославление человеческого мужества, связанное с каждой войной, во все времена вдохновляло художников и поэтов, их произведения прочно укоренились в памяти человечества, как оливы на холмах Средиземноморья. Вспоминая наши боевые песни, перлы в нашем духовном богатстве, мы представляем себе это море и его берега. В седьмом столетии до нашей эры Тиртей восторженно славит смерть на поле брани и при этом настолько выражает общеэллинские чувства, что его приписывают сразу и Афинам и Спарте. Однако у истоков нашей средиземноморской культуры звучат также и другие голоса, иначе оценивающие смерть на поле битвы. Филологи утверждают, что «Одиссея» Гомера создана в девятом столетии; читая ее, мы узнаем о том, как Одиссей, спустившись живым в подземный мир, чтобы спросить совета у прорицателя Тиресия, встречается со своими соратниками, павшими в Троянской войне,— Аяксом, Патроклом и с божественным Ахиллом. К нему, мертвому полководцу мертвых, хитроумный Одиссей обращается со льстивою речью:

...живого тебя мы как бога бессмертного чтили;
Здесь же, над мертвыми царствуя, столь же велик ты, как в жизни
Некогда был; не ропщи же на смерть, Ахиллес богоравный.

Но мертвый герой ахейцев отрешился от иллюзий, столь необходимых для поддержания воинственного духа.

О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый.

Мы не собираемся исследовать здесь вопрос о том, объясняется ли различие между этими, как день и ночь, противостоящими воззрениями противоположностью между лирикой и эпосом как жанрами или тем, что в течение двух столетий, разделяющих две эти поэтические концепции, Эллада из-

менилась и это изменение нашло свое выражение в противоположности между Тиртеем и Гомером. Но для нас, современных людей, боевой пафос Тиртея поблек, а приведенные выше строки «Одиссеи» близки к нашему жизнеощущению, на основе которого сложилось великое движение наших современников: мы требуем мира и разоружения повсюду и предоставляем объявлять смерть на поле брани высшим благом певцам феодального прошлого, в котором полководцы и государственные деятели, сражаясь во главе своих войск, гибли в бою. Впрочем, имя юного прусского принца Луи Фердинанда, который пал в 1807 году под Заальфельдом, осталось жить лишь потому, что некий Людвиг ван Бетховен, рассматривая ноты с музыкальными композициями убитого, воскликнул: «Совсем не по-принцевски, а просто хорошо, очень хорошо!»

Если мы начнем перечислять поэтов и художников, погибших в первую мировую войну, которые, останься они в живых, несомненно, восстали бы против развязывания второй мировой войны, у нас на руках не хватит пальцев. И сегодня те самые люди, которые начали первую и вторую мировые войны, уже готовятся разжечь третью. Очевидно, дух реваншa нельзя искоренить, не изгнав окончательно всех его носителей, представителей крупного землевладения и тяжелой индустрии. В написанном около сорока лет назад моем романе «Спор об унтере Грише», в главе «Праздник господ», бравый генерал фон Лихов благодушно болтает:

«Для воинственных народов война не представляет ничего особенного; одну войну выигрывают, другую проигрывают, а затем начинают третью: это значит, нет никакой и вражды, я имею в виду вражду подлинную, не на жизнь, а на смерть».

Ведь в то время война угрожала только нам, массам, а не господам генералам, которые теперь вновь объединились в Федеративной Республике Германии и в так называемом НАТО, невзирая на то, что они носят мундиры различных армий. Они забыли, что эти самые мундиры они носили и тогда, когда четыре союзные великие державы приговорили к смертной казни того, кто претендовал на лавры «Ахиллеса» тысячелетнего рейха,— Геринга и его приспешников.

Советский Союз зажег на нашем небе путеводную звезду социалистической политики, возвещающую разоружение, наступление мира, ликвидацию войн, переговоры вместо поединков холодным оружием или атомными бомбами. Мы смотрим вперед и приходим к согласию: безудержное стремление усиливать технические средства разрушения привело диалектически к тому, что в душах наших современников произошел переворот — силы войны сменились силами мира, жажда убийства и агрессии сменилась стремлением к строительству новой жизни. Вместо того чтобы превращать школы в военные госпитали, мы призываем наших сограждан во второй половине двадцатого века строить кроме больниц также школы, больше и больше школ, жилых домов и детских площадок. Мы создаем поле деятельности для женщины нового типа, активной гражданки социалистического государства, которая не только умеет ткать, как Пенелопа, но умеет управлять диспетчерским узлом метрополитена и планировать аэродромы — с них будут взлетать новые сверхзвуковые самолеты. А наши поэты перестанут петь боевые песни.

«Мир хижинам, война дворцам!» — требовал уже сто лет назад наш соотечественник Георг Бюхнер, и, если считать, что теперешние дворцы — конторы трестов и банков, это означает, что дух Георга Бюхнера снова побуждает к действию подрастающие поколения.

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

ПОМНИТЬ УРОКИ ПРОШЛОГО!

Двадцатый век... Люди прошлого столетия мечтали, что он принесет мир и счастье народам, спрячет оружие в музеи и мечи перекует на орала, что вражеская конница не посмеет топтать плоды человеческого труда и кровь не будет поить поля.

Великие поэты той эпохи слагали оды грядущему веку и также верили, что он спасет человечество от огненного потопа войн, утвердит всемогущество разума и смоет с лица земли позор прошлого...

Выдающиеся художники века, доведенные до отчаяния вырождением «третьего сословия», династическими союзами и торжеством реакции в Европе, искали в образе двадцатого века спасение и опору для своих идеалистических мечтаний, выхода из тупика общественной жизни. Такими мы запомнили Гюго и Байрона, Гейне и Уитмена и многих других.

За старым веком неизбежно следует новый. О том, что мы — дети двадцатого века, мы узнали лишь из календаря, потому что ничего ие изменилось. То же социальное неравенство, эксплуатация, насилие, та же нелепая, душная, безрадостная жизнь, бедствия народа, нищета, невежество. Мания величия политических петухов, воинственные речи...

ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ ЗОРЧЕ ВТРОЕ!

Капитализм как общественная система порождает военных преступников, награждает их орденами, звездами, создает для них привилегии, вокруг них слагаются мистические легенды, в то время как на плечи миллионов жертв преступления ложатся самые тяжкие страдания — их ждет если не безвестная могила, то исковерканная жизнь.

Книги ли так воспитали меня, или это чувство рождено инстинктом, но я помню, что еще в юношеские годы военная музыка и марширующие под нее солдаты меня не восхищали. В ритме маршей и топоте солдатских сапог, казалось мне, слышалось что-то зловещее, потому что эти юноши готовились служить не во имя жизни — их готовили быть орудием смерти.

Может быть, именно поэтому, по злой иронии судьбы, мне довелось как участнику и как жертве пережить четыре войны: две балканские и две мировые; несколько поколений, случайно избежавших пуль, переживших ужас и бедствия этих войн, провели самые лучшие годы своей жизни как бы в темном подвале, лишенные света и радости.

Балканские войны, подготовленные агентом германского империализма царем Фердинандом и его балканской свитой, стоили жизни полмиллиону здоровых людей труда, привели к двум национальным катастрофам, к потере земель, к беспримерной нищете, оставили сотни тысяч сирот.

Во время второй Балканской войны (1913), раненый и больной холерой, я лежал без сознания в кусгарнике Голак-планины вместе с другими неудачниками солдатами, без какой-либо медицинской помощи и ухода. День, второй, третий. Сливались дни и ночи, шел дождь, звезды напоминали гвозди огромного погребальиого ковчега. Небо над нами было нежно-голубым, а смерть — всего в двух шагах. Никогда мне и в голову не приходило, что я буду лежать в этой чужой, неизвестной местности (Голак — от слова голый, пустынный) и буду ждать своей смерти. Вот что делает война с человеком. Ставит его в самое неестественное и глупое, в самое унизительное положение, чтобы в конце концов раздавить как муху или червяка.

В первую мировую войну в качестве военного корреспондента я имел возможность объехать македонский фронт и встречаться с солдатами и офицерами.

Народ вооруженный, но и скованный этим оружием, «привык» к позиционной войне, как к новым условиям жизни. С раздвоенностью в душе, оторванные от родной почвы, от близких, от воспоминаний люди ходили по этим голым скалам, как в муравейнике, выходы из которого закрыты, и в их душе вскипало возмущение...

Здесь ты узнаешь свой народ, объединенный, призванный на войну, в которую он не верит, но против которой не может бороться анархическими методами, пока слово не возьмет подлинная защитница народа — Коммунистическая партия.

Год второй, третий... Ужас растет, вулкан готов к извержению... Но кто начнет?

Над фронтами пронесся выстрел «Авроры» — призыв к свободе и миру, первый шаг новой эпохи, подлинное начало двадцатого века...

«Декрет о мире» Ленина, обращение правительства большевиков блеснули огненной искрой над бескрайними окопами вооруженной Европы, нашли отклик в каждом честном солдатском сердце.

Солдаты подняли головы, и в усталых безразличных глазах затеплилась надежда.

Нужно было победить «короткую память» народов. Победить лживую иллюзию, что «последняя» (первая мировая) война действительно последняя в истории. Империализм — постоянный источник войн. Эта истина должна была улечься в сознании миллионов обыкновенных людей. Одно только зрелище войны учило этой истине, но ее необходимо было раскрывать и эмоционально — посредством речей, воззваний и главным образом словом — художественной литературой.

Классовые противоречия проявляются в среде буржуазной военщины откровенно и цинично. С одной стороны — организаторы преступления, с другой — их жертвы. Но именно эту простую истину солдатские массы, порабощенные самыми мрачными заблуждениями и насилием, не сразу могли понять, они прозревали с трудом.

В «Военных известиях» я писал в то время с долей симпатии о французском военнопленном Ладисласе Ламоте, потому что и ему была омерзительна война. Командир дивизии нашел случай на обеде сделать мне внушение: «Наш корреспондент очень снисходительно относится к военнопленным — не хочет ли он, чтобы мы встречали их хлебом-солью?»

На одной из встреч с Гео Милевым * зашла речь о группе «Кларте» и об обращении Барбюса к интеллигенции, о ее долге объединить свои силы для общественного действия, чтобы помочь руководить массами и воспитывать их. Гео Милев сообщил, что на западном фронте немцы применили удушливые газы, а на Дойранском озере, где стояла его часть, англичане стреляли фугасными снарядами большой разрушительной силы. Об этом разговоре я вспоминаю как о зловещем пророчестве.

Позднее — во время самой войны — я познакомился с обращением Барбюса: оно производило впечатление настоящего шедевра, и деятели культуры действительно прислушивались к нему. Обращение Барбюса к писателям и деятельность Ромена Роллана явились первым сигналом, все еще отдаленным колокольным звоном, призывавшим от имени интеллигенции к пробуждению сознания вооруженных народов, к действию. Барбюс закончил свое воззвание

---

* Гео Милев, поэт огромной культуры и глубокой эмоциональности, был тяжело ранен в голову английской гранатой, при ранении он потерял глаз. «Голова моя — кровавый фонарь с разбитыми стеклами», — написал он в одном из стихотворений. В 1925 году Гео Милев был убит фашистами. *(Прим. автора.)*

словами: «Могучая волна народного движения поднимается все выше и выше».

В своем рассказе «Чайлд Гарольд» я коснулся, как мне кажется, сущности проблемы. Он был написан приблизительно в то же время. Какие чувства может вызвать поэма Байрона, найденная в ранце убитого английского солдата? Командир батареи отдает приказ зарыть убитого в оставленном окопе. Тем не менее в душе этого командира возникают забытые годы юности... Он вспоминает героя байроновской поэмы, его изгнание, борьбу с тиранией, его прощание с родным краем. «Прощай, прощай, край родной...»

Кто убит? Чем он занимался? Механик? Вот фотография его жены и детей. Командир трет лоб. Сколько времени прошло с тех пор? Он поднимается, смотрит на лежащего человека. Он велит сделать для убитого механика дубовый крест, ищет в документах имя англичанина, название города, в котором тот родился, день его смерти. Эти события занимают все время с раннего утра до захода солнца. Первая искра гуманности запала в сердце человека.

Сознание мучительно пробуждается, но молодому поручику трудно изжить предрассудки, ложную романтику, дойти до мысли, что все люди на земле — братья.

Для обеих мировых войн характерно, что они становились все более кровопролитными, что вторая — в сто раз более жестокая, человеконенавистническая и разрушительная, с тысячами гекатомб, война без фронтовой линии, когда целые народы были обречены на «тотальное» истребление.

Вторая мировая война не привела к новому переделу карты колониального мира между капиталистическими империями, она положила начало Великой Отечественной войне Советского Союза и освободительной борьбе за независимость и прогресс порабощенных народов колониальных стран.

В. И. Ленин был человеком, определившим разницу между империалистическими и освободительными войнами, и это соответствовало логике исторического развития, принципам общечеловеческой морали, диалектическому закону жизни, который не терпит несправедливости и дает народу, подвергшемуся нападению, право защищаться. В. И. Ленин писал о переходе империалистической войны в революционную, в гражданскую, в войну, ведущую к разгрому капитализма и империализма.

Как видно, в этих войнах была и «положительная» сторона, подобно тому как яд в организме вызывает условия для возникновения противоядия, но это не уничтожает преступного характера войн, звериной их сущности, враждебность естественному началу жизни, миру и интересам прогресса человечества.

Суровый, хотя и запоздалый урок, полученный поколениями, и их воля не позволят ввергнуть современный мир в новый кровавый катаклизм. Потому что есть еще «доброжелатели», уверяющие нас, что третья — ядерная — мировая война спасет человечество от всех бедствий. До какой степени ослепления надо дойти, чтобы утверждать подобные вещи!

Во второй половине двадцатого века Советский Союз стал оплотом мира и дружбы между народами. Значение социалистического лагеря как противоборствующего фактора по отношению к империализму, сила международного коммунистического движения и интернациональная солидарность трудящихся, пример КПСС как могучей движущей силы — все это, вместе с распадом системы колониализма и укреплением вновь освобождаемых стран, создает огромную уверенность и глубокое убеждение, что наступила эпоха, когда война перестала быть неизбежной, хотя и возможна, пока существует империализм.

Одно событие вошло в историю, отмечая, я бы сказал, новую веху, новое рождение мира. Я имею в виду предложение Советского правительства о всеобщем и полном разоружении, внесенное Н. С. Хрущевым на сессии Генеральной Ассамблеи ООН,— чтобы разоружились армии, закрылись военные академии и генеральные штабы, были уничтожены склады с атомными бомбами! Какое величие мысли, человеческой воли и ясного предвидения во имя всего человечества!

На Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир в июле 1962 года в Москве Н. С. Хрущев сказал: «Мы со всей определенностью заявляем: если агрессоры развяжут ядерную войну, они немедленно и сами сгорят в ее пламени». Это не угроза, не «пророчество», а утверждение вполне реального факта, и в лагере империализма это хорошо понимают.

СТЕФАН ГЕЙМ

ВОЙНА, КОТОРАЯ НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Совершенно очевидно, что если люди могут затевать войны, то люди же могут и предотвращать их.

Обе мировые войны, которые имели место в течение жизни нашего поколения,— и та, которая началась пятьдесят лет назад, и та, которая началась двадцать пять лет назад,— могли быть предотвращены объединенными действиями рабочих основных стран. Обе эти войны были закончены рабочими России: первая — потому, что они перестали воевать, вторая — потому, что они не перестали воевать.

ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ ЗОРЧЕ ВТРОЕ!

Это замечательный исторический пример, который дает пищу для размышлений более глубоких, чем чисто умозрительные спекуляции. Мне кажется, что этот пример несет в себе призыв, начинающийся теми же словами, что и бессмертный декрет Ленина в октябре 1917 г.: «ВСЕМ... ВСЕМ... ВСЕМ...»

Раньше было принято говорить, что крупные войны, мировые войны, приходят регулярно, подобно солнечным затмениям. Примерно каждые двадцать пять лет, гласило правило, когда дети солдат, погибших на полях прошлой войны, достигали призывного возраста, генеральным штабам казалось, что пришло время для очередной попытки доказать необходимость и целесообразность строевых занятий, а военные промышленники ощущали непреодолимое желание организовать массовую продажу своей продукции. Это приводит нас, грубо говоря, к нынешнему году, к 1964, когда урожай убран и скошенные поля жаждут, чтобы по ним прошлось пушечное колесо и гусеница танка, а города, в основном восстановленные, просят, чтобы их разрушило огнем и бомбами; когда люди, отдохнувшие от бед войны, громко требуют, чтобы их повели на бойню.

Но кажется, что-то случилось с древним правилом. Генеральные штабы колеблются, торговцев указанными металлоизделиями вроде бы одолевают сомнения; и хотя брязцание оружием продолжается, звучит оно несколько приглушенно. Что же случилось? Предотвращена ли третья мировая война, которая, по примерным подсчетам теоретиков обреченности, уже должна была обрушиться на нас? Не готовы войска, не в порядке оружие, малодушничали генералы? Или изменился мир?

От ответа на этот вопрос зависит жизнь и смерть, и не только ваша или моя, но жизнь и смерть всех людей во всем мире — от переполненных улиц Шанхая до просторов Миссисипи, от тихих фиордов Норвегии до тротуаров Калькутты, устланных телами спящих, от научных центров раскрепощенного разума в Дубне до задавленных угнетением местечек Южной Африки, от обеих сторон берлинской стены до шлюзов Панамского канала. От ответа на этот вопрос зависит политика, зависит перестройка веками, нет, тысячелетиями, устанавливавшегося мышления, зависят взаимоотношения народов и отдельных людей.

Суждено ли нам, видевшим во время двух ужасных мировых войн превращенные в пепел города, нам, свидетелям того, как люди обрекались на тысячеликую смерть, гораздо более жестокую, чем во времена средневековых пыток, нам, пережившим голод и лагеря, ночи в бомбоубежищах и дни под пулями,— суждено ли нам вступить в тот век, о котором величайшие мыслители человечества могли только мечтать? Действительно ли теряет силу опыт, накопленный со времен размахивавшего палицей пещерного человека, или правы те, кто до сих пор исходит в своих поступках и решениях из убеждения, что подобно тому, как леопард не может избавиться от своих пятен, так и человек не может избавиться от привычки отвечать на определенные стимулы иначе, чем организованным массовым убийством?

Та перемена, первые признаки которой мы пытаемся проследить, не является заурядной переменой, подобной многим другим, пережитым миром с тех пор, как человек перерос каменный век. Эта перемена, которая, по крайней мере до августа 1964 г., не дала нам свалиться в пучину третьей мировой войны, видимо, носит кардинальный характер.

Вспомните прошлое. Возьмите любую границу, любую область конфликта — Суэц, Кубу, Венгрию, Берлин, Тайвань и многие другие. Возьмите любой из бесчисленных инцидентов и провокаций, которые имели место во всех этих районах за последние годы. Если бы это был 1914 или 1939 г., любого из них было бы достаточно, чтобы развязать новую мировую войну.

Более того, довольно часто перестрелка уже начиналась.

Она была прекращена. Большая война, которая при других обстоятельствах уже давно поглотила бы нас, так и не разразилась.

Кто предотвратил ее? Чья воля погасила пламя и успокоила страсти? Кто помешал самолетам сбросить свой смертоносный груз и не дал ракетам поразить давно намеченные цели?

Мои молитвы, или ваши, или, может быть, молитвы его святейшества папы римского?

Может быть, развязыванию третьей мировой войны мешает бо́льшая осторожность ведущих государственных деятелей нашего времени?

Я сомневаюсь в том, что государственные деятели, занимающие ключевые посты в крупных странах, в своем большинстве мудрее тех, кто занимал эти посты двадцать пять и пятьдесят лет назад. Многие до сих пор руководствуются вовсе не чисто гуманными побуждениями; властолюбие и жажда наживы, честолюбие и мелкое тщеславие, шовинистические предрассудки, скверные привычки да и просто старомодная коррупция — во многих государствах все это и поныне связано с министерскими креслами. Правда, средства связи значительно улучшились со времени 1914 или даже 1939 г., и главам государств теперь позволено, пренебрегая протокольными каналами, просто звонить друг другу по телефону в случае недоразумений на низших уровнях; в равной мере справедливо и то, что международное общение, ранее ограниченное личными кабинетами канцлера и посла или еще более интимными будуарами, теперь происходит на открытом форуме ООН, перед глазами заинтересованных свидетелей из стран, которые прежде были всего лишь

объектом чужой политики. Однако любой человек, обладающий достаточной властью и действительным желанием начать большую войну, все же мог бы сделать это, если бы захотел и был бы готов не посчитаться с миролюбивыми призывами стран, слишком небольших или слишком слаборазвитых для того, чтобы играть какую-то роль в последующей катастрофе.

Но если не одни только государственные деятели держат в своих руках ключ к миру, тогда, может быть, это массы — организованные и неорганизованные, принадлежащие к различным партиям и движениям и не принадлежащие к ним, протестующие вслух или выражающие свой протест молчанием?

Как мы знаем, массы были не в состоянии предотвратить первую и вторую мировые войны. Политические партии, в свое время давшие присягу свергнуть свои правительства, если те начнут войну, голосовали вместо этого за военные кредиты, а массы позволили этим правительствам дать себе в руки оружие, сформировать дивизии и на первом этапе осуществить подготовленные генералами планы.

Мы не имеем основания предполагать, что в странах, которые являются потенциальными агрессорами, борющимся массам легче противостоять стремлению правительств к войне, чем 25 лет назад.

Правда, военный энтузиазм, явный в 1914 г. и отчасти в 1939 г., исчез. Провоенные настроения заменило довольно странное сочетание эмоций — от панического ужаса и мрачного отчаяния до ненависти, вдохновляющей на протест и активное мужество. Но в странах — потенциальных агрессорах одного только движения масс, как оно ни широко, все еще недостаточно, для того чтобы помешать человеку или группе, облеченным властью, если они решатся, начать мировую войну.

Но если путь войне преграждают не отдельные государственные деятели и не массы, тогда, может быть, сама война изжила себя, сделала бессмысленным собственное существование? Может быть, сам ужас автоматизированного, ракетно-атомного военного столкновения убедил поджигателей войны в ее абсурдности? Может быть, такая война, которая никому не даст возможности воспользоваться даже ограниченными плодами победы, не имеет смысла для тех, кто хочет ее начать? Может быть, стратеги и мелкие клерки кнопочной войны поняли, что радиоактивные излучения проникнут и в их подземные убежища и что на этот раз умирать придется не кому-то другому, как это было в предыдущих войнах? Появилась же эта новая штука, которую назвали «многократным убийством». Можно воевать с бумажными тиграми или с настоящими хищниками, но какой смысл начинать соперничество, в котором оба противника могут стереть друг друга с лица земли не один раз и не десять раз, а тридцать с лишним раз в том случае, если каждый целиком использует все свои возможности? У человека только одна жизнь, но мы ушли настолько далеко вперед по пути технического прогресса, что можем с уверенностью гарантировать ему смерть, даже если бы он имел тридцать жизней.

Такова правда, и с ней тяжело жить. Но мы должны смотреть ей в глаза. Как бы ни было трудно вообразить невообразимое, мы должны мысленно представлять его себе. Наше поколение, хранящее в памяти последствия двух мировых войн, несет ответственность перед всем земным шаром.

Я думаю, что ответ на вопрос о том, почему еще не началась третья мировая войиа и почему есть шансы избежать ее, имеет не один, а миого аспектов. Некоторые, хотя и не все, государственные деятели в странах — потенциальных агрессорах кое-чему научились; массы, хотя еще и недостаточно хорошо информированные и организованные, чтобы самостоятельно преградить дорогу войне, все же информированы и ведут борьбу лучше, чем двадцать пять или пятьдесят лет тому назад; наконец, люди начинают осознавать, что означала бы новая мировая война, и поэтому ищут путей к сосуществованию. Главное, однако, в том, что призыв, который был передан в октябре 1917 г. тем единственным радиопередатчиком — ВСЕМ... ВСЕМ... ВСЕМ...— получил широкий отклик.

Число стран — потенциальных агрессоров сократилось.

Изменилось соотношение сил в мире.

В противоположность тому, что было в 1914 г. и 1939 г., силы, борющиеся за мир, по-видимому, перевешивают чашу весов в свою пользу.

Эти силы интересны и разнообразны — от организованных правительств могущественных стран до озабоченных домохозяек в заштатных городках. Взгляды их по огромному числу вопросов очень различны; они едины только в одном: надо как-то и впредь не допускать третьей мировой войны. В числе сил, выступающих за мир, есть такие, которые располагают самыми современными ракетами с водородными боеголовками, у других нет ничего в поддержку их точки зрения, кроме бдительности, нежелания воевать и спокойного, настойчивого голоса. Из тех, кто протестует, одни имеют белую кожу, другие — черную; некоторые являются высококвалифицированными учеными с мировым именем, другие еще ходят за деревянной сохой; некоторые заседают в залах ООН, терпеливо выдвигая один за другим планы смягчения застарелой напряженности, другие охраняют деревушки в джунглях, сдерживая постоянные вылазки

потенциальных агрессоров; некоторые даже не сознают, что их слова или действия помогают предотвратить эту последнюю, эту воистину последнюю войну.

Взгляните на карту мира и вы увидите, как она изменилась за годы после первой мировой войны и еще больше — после второй. Карты менялись с тех самых пор, как они вообще появились: возникали и исчезали империи, расцветали и умирали королевства и республики. Однако эти новые изменения носят иной характер. Возьмите вашу карту и карандаш и посчитайте одно за другим старые и новые государства, но особенно новые, которые уже не будут поддерживать потенциального агрессора. Даже кое-кто из тех, кого агрессоры связали священными договорами и союзами, пожалуй, в критический момент предпочтут удерживать своих агрессивных «союзников».

Взгляните на свою карту: потенциальные государства-агрессоры изолированы.

Это уменьшает, но не уничтожает опасности мировой войны: она все еще может разразиться.

Психологические истоки этой опасности двояки.

Первый — недостаточная сила воображения.

Доводы приходят сразу: где доказательство того, что атомная мировая война действительно будет означать конец цивилизации и, возможно, гибель и исчезновение рода человеческого на нашей планете?.. Были Хиросима и Нагасаки — но ведь люди вновь живут в эпицентрах взрывов и поблизости от них, а тени мертвых не могут говорить. Проведено несколько сот ядериых испытаний — но вблизи их видело только сравнительно небольшое число специалистов, а на телевизионном экране грибовидные облака измеряются всего лишь несколькими десятками дюймов. Есть заявлеиия ученых — но язык их сух, а приводимые ими факты столь непомерны, что не укладываются в сознании неспециалиста. Рядовой человек не может, ие рискуя своим душевным здоровьем, постоянно жить рядом с атомной смертью, он должен забыть о ией, чтобы заниматься своими повседневными делами, любить свою жену и без дрожи смотреть на своих детей.

Инстинкт сохранения мозга, врожденная привычка защищать нежную ткань души грубыми рубцами мозолей уменьшают шансы на мир. Есть люди — все мы их знаем,— занимающие и высокие и низкие посты, которые скажут: да ну, все это будет не так уж страшно... Или, все эти страхи распространялись и тогда, когда изобрели мушкет, и танк, и самолет... Или: в конце концов, атомная бомба всего-навсего только бомба больших габаритов... Или: вам просто нужно наиести первый, сокрушающий удар... Или: войны были всегда...

Второй — своего рода «нибелунгов комплекс».

Люди, страдающие им, более или менее прямо скажут: если наш мир — это не тот мир, которого я хочу, то я не хочу никакого мира вообще. Пусть его взорвут ко всем чертям, какое мне дело.

Если бы эта древнегерманская идея ограничивалась лишь безумцами, можно было бы не беспокоиться. Но это не так. Такого мнения часто придерживаются люди, которые видят, что тот мир, в котором они хотят жить, безжалостно ломается и переиначивается социальными силами, какие они не в состоянии держать в узде. Так же считают и те, кто обнаруживает, что намеченные ими планы проваливаются, ибо реальность не соответствует их теориям. Их неуверенность, неуравновешенность, страх превращаются в агрессивность; если они еще не обладают бомбой, то громко требуют ее; их политика все время приводит их и нас на грань войны, а иногда они осмеливаются напасть на ближайшую плохо защищенную границу; они недвусмысленно намекают на то, что если все остальные боятся войны, то они-то не испытывают страха. Это — вид шантажа, основанный на предположении, что другой человек, ощущающий определенную ответственность за будущее рода людского, отступит и отдаст предмет спора, не желая, чтобы весь мир превратился в руины.

Я понимаю американцев, которые опасаются, что генералу, контролирующему атомное оружие, откажут нервы, или сержант в одном из главных центров ракетной обороны нажмет не ту кнопку, или электронная машина в каком-нибудь подземном убежище неправильно расшифрует световое пятнышко на экране радара. Верно! Это страшно! Но сочетание современной техники с людским самодовольством, властолюбием и безответственностью куда страшнее!

И все же ветры благоприятны и предзнаменования хороши; опыт последних лет позволяет надеяться, что эти опасности будут преодолены и что и мы, и грядущие поколения будут жить в условиях постоянного мира, а не постоянной войны.

Это очень непривычная ситуация. К ней надо будет приноровиться в интеллектуальном, психологическом и политическом планах. Войиа сопутствовала нам в течение тысячелетий; теперь вы вдруг лишаете человека одного из его наиболее важных средств самовыражения: возможности взять камень и убить брата своего Авеля. В целом большинство людей за мир, но сколько из них всерьез задумывались над теми проблемами, которые создают вечный мир — мир во всем мире?

Как известно, все современные войны носят двойственный характер: они бывают и справедливыми и иесправедливыми, и прогрессивными и реакционными. Этот двойственный характер войн особенно подчеркивают мыслители-марксисты; ни в коем случае не будучи пацифистами, они видели необходимость войн, ведущихся в целях

национального освобождения или свержения класса угнетателей, и поддерживали ту из сторон, которая с исторической точки зрения олицетворяла собою прогресс.

Каково же положение сейчас, когда даже самая справедливая война могла бы нести в себе возможность атомной катастрофы? Поддерживаем ли мы до сих пор подобные благородные боевые действия, даже ценой такого риска? И в каких пределах мы их поддерживаем? Можно ли запретить крестьянину в дельте Меконга стрелять в американский вертолет, на котором летят его убийцы? И даже если вы запретите это, послушается ли он вас? Можно ли, следует ли запрещать южноафриканскому негру восставать против правительства Фервурда? Можно ли помешать превращению классовой борьбы в вооруженный конфликт, когда этого потребует обстановка?

Конечно нельзя. Это выше чьих-либо сил, да и недопустимо проповедовать политику смирения людям, закованным в цепи и умирающим с голоду. Однако, при нынешнем соотношении сил на мировой арене, *можно* добиться, чтобы эти «войны в зарослях», как их эвфемистически называют американцы, остались локальными, *можно* дать агрессору понять, что вмешательство с его стороны, любое расширение конфликта приведет к его собственному уничтожению; *можно* продемонстрировать даже самому ярому западногерманскому реваншисту, что он заплатит за авантюру третьей мировой войны своей собственной жизнью и жизнями своей жены и детей. При теперешнем соотношении сил в мире можно, по сути дела, избежать по крайней мере некоторых из этих «войн в зарослях». Сколько народов за последние несколько лет завоевали независимость без единого выстрела? Почему это стало возможно? Быть может, колониальные правители испытали прилив великодушия? Или они поняли, что у них не хватит сил и дальше удерживать власть?

Мы живем поистине в новые времена, разбивающие прежние шаблоны; кстати говоря, разбивающие также и догму, будто революции обязательно приходят только после войн. Современным революционерам предстоит продумать пути изменения социальных институтов в условиях, когда вне страны царит мир; мирное сосуществование означает новые и более сложные формы борьбы, означает переоценку старой тактики, новый подход к старым проблемам.

Предотвращение третьей мировой войны — необходимость, если мы хотим выжить, и постепенное ограничение и ликвидация локальных войн переведут великую борьбу нашего времени в иные формы. Эта борьба будет не менее острой, но менее решающей. В ней победят те, кто научится лучше учитывать в своей стратегии обстановку вечного мира.

Это единственный шанс, который мы имеем через пятьдесят лет после начала первой и через двадцать пять лет после нала второй мировой войны. Лучше его не упускать.

Альтернатива — ад.

АРТУР ЛУНДКВИСТ

БУКОВЫЙ ЛЕС

Ты в Веймаре — в городе поэтов и музыкантов. На твой взгляд, он похож на ларец, наполненный отпечатками старинных воспоминаний. Современность как бы отступает перед видением этого резко очерченного и сверкающего девственной чистотой спокойствия прошлых веков.

Словно оберегая покой Культуры, бесшумно скользят грузовики, приглушенно постукивают моторы редких вечерних мотоциклов.

Ты смотришь на мощенные булыжником дворики — так и кажется, что из них только что выехали кареты. Будто доносятся нежные звуки клавесина, и царит тишина в типографиях, где набор текстов производили вручную.

Деревья стоят все там же, повзрослевшие, но без малейших признаков старости. Попрежнему сочится вода из скалы, однако эмалированная дощечка предупреждает: «Kein Trinkwasser» — «Вода не для питья». А разве это не кринолины порхнули сейчас через мостик над ручейком, течение которого задумчиво расчесывает зеленые волосы нимф?

Миновав зеленую лужайку, ты останавливаешься перед домом, где жил молодой Гете. С остроконечной крышей под вязами он похож на охотничий домик или на сторожку лесника. На скамейке в аллее ты можешь увидеть сидящую влюбленную пару — точь-в-точь как и в те времена, когда Вертер поднес пистолетное дуло к виску.

В домике ты обнаружишь покатые, как корабельная палуба, полы с выскобленными половицами, полные затаенных скрипов. Кровать, сопутствовавшая олимпийцу в его путешествиях, не шире носилок — слишком узкая и хрупкая, чтобы поделить ее с любовницей, она скорее всего напоминает походную койку полководца.

А вот и площадь Бетховена. Она поросла травой и производит впечатление запустения и заброшенности. Может быть, мальчишки иногда гоняют на ней футбольный мяч.

Дом Гете на Фрауенплане стоит как почитаемый памятник и музей, со счетами прачек и всем прочим. Небольшой городок — именно в нем Гете слыл монархом европейского литературного двора. Книги и письма

отовсюду поступали сюда и уходили во все уголки мира.

Уставший от бисерного почерка, покосившихся полов и обитых красным плюшем перил, ты останавливаешься, пораженный, перед гипсовыми головами богов. Головы огромные, от пола до потолка, благородные антики, казалось, поседевшие от пыли и паутины, с пустыми глазницами, словно из них вынули драгоценные камни. Они воспринимаются не иначе, как портретные бюсты истинных предков олимпийца.

Тебе рассказывают, что Гете любил гулять в Буковом лесу, на холме за городом. Там, завериувшись в свой плащ, в мокрых от росы полусапожках, он мог следить за плывущими над тюрингской равниной мраморными глыбами облаков и за изменчивостью красок туманных далей.

Больше всего он любил сидеть под одним дубом, прозванным впоследствии *гетевским*. Его не срубили, как остальные деревья, когда здесь, в Буковом лесу, строили лагерь на Эттерсбергском холме. Оттуда открывался великолепный вид на окрестности. Гетевский дуб был пощажен и, отгороженный от узников колючей проволокой, остался в лагере.

Строительство началось в 1937 году. Заключенным пришлось собственными руками создавать для себя этот ад. На своих плечах они перетаскивали срубленные деревья, впрягаясь в телеги, волокли каменные глыбы. Работая, они пели веселые немецкие песни. Их называли певчими лошадьми. Не желающих петь пороли или пристреливали.

Ночами они спали на голой земле. Единственной защитой от дождя и холода был брезент. Иногда по ночам их будили и часами заставляли стоять в строю под дождем. Для освежения.

Поначалу охранники были еще не очень привычными — и для того, чтобы они убивали, приходилось их поощрять. Каждый, убивший заключенного, получал трехдневный отпуск и десять марок. Спустя некоторое время этого поощрения уже не требовалось...

Охранник срывал с узника шапку и бросал ее в кусты. Если заключенный бежал за ней, его пристрелнвали за попытку к бегству. Если он отказывался бежать, его пристреливали за неповиновение.

Об этом рассказывает один из заключенных. Он остался в живых и теперь показывает эти места.

Да... но сначала ты выходишь из автомашины, без труда поднявшей тебя на Эттерсберг, на расчищенное плато в Буковом лесу. Ты входишь через кованые железные ворота, на которых декоративная вязь металлической решетки образует слова «Jedem das Seine» — «Каждому свое». Их можно расценивать по-разному — как слова справедливости, или смертной угрозы, или изощренного издевательства.

Покосившаяся деревяниая сторожевая вышка торчит среди остатков колючей проволоки — теперь уже не под током высокого напряжения. Бараки уничтожены огнем, уцелели лишь каменные постройки. Крематорий — низкое здание под черепичной крышей, с короткой квадратной трубой. Внешне он напоминает деревенскую сыроварню, но текло здесь не молоко.

Цементные печи с круглыми железными дверцами по фасаду. Трупы загружались в них на железных носилках, поставленных иа рельсы. Обугленные, не сгоревшие дотла кости выгребали из печей и выбрасывали. Вдоль стен ряды крюков: на них, словно туши на бойне, подвешивали живых заключенных. Деревянное сооружение, напоминающее трапецию для выколачивания ковров,— виселица незначительной высоты, на ней можно было вешать одновременно трех-четырех человек. Ноги жертвы почти касались пола — это для того, чтобы продлить агонию...

Почва в лагере неровная, с остатками мостовой, с каменными обломками, разбросанными взрывами, с выступающими наружу корневищами срубленных деревьев, с хрустящим под ногами углем и ржавым железным ломом. Земля будто выметена, но не метлами узников, а взрывами, выжегшими и расплавившими все кругом.

Стоит телега, груженная камнем. Длина дышла, судя по всему, рассчитана на шесть пар заключенных. Напарников впрягали лицом друг к другу. Они тяиули телегу в разные стороны. Ту шестерку, что ие выдерживала и пятилась, хлестали бичами, пока она не сдвигала телегу в свою сторону. Тогда наступала очередь истязания другой шестерки... Вот так, медленно, телега двигалась то вперед, то назад.

В выстроенной из железобетона комендатуре ты видишь пистолеты, которые заключенные мастерили себе из тайком добытых частей. Каждая из этих деталей, будь она обнаружена, обошлась бы в одну или несколько жизней. Тут же находятся абажуры, размером не более двух сложеиных куполом ладоней, сделанные из человеческой кожи, татуированной цветными рисунками. А вот высохшая, мумифицированиая голова одного из узников, со сморщенным лицом, щетиной седой бороды и закрытыми, словно зашитыми глазами. Эта голова украшала стол коменданта.

В последние военные годы заключенные работали на оружейном заводе. Оттуда они тайком выносили оружие и организовывали отряды. Во время воздушных тревог, когда охранники прятались в укрытии, узники не упускали случая. Кругом бушевала смерть, а они разрабатывали планы своего освобождения.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда восстали и перебили охрану. Вокруг умолкших пулеметов — горы трупов. Мертвые тела ковром устилали землю.

Двадцать одна тысяча человек, оставшихся в живых, поклялись не знать покоя до тех пор, пока они не истребят своих палачей и не создадут свободный мир.

Но с запада шли спасители палачей. И теперь эти палачи либо сидят на государственных должиостях, либо получают высокие государственные пенсии, этакие добродуш-

ные, ожиревшие субъекты; они спокойно спят по ночам и ждут времени, когда смогут возобновить свое черное дело.

Бухенвальдский обер-палач Зоммер ведет идиллический образ жизни — абсолютно ни в чем не повинный, добрый, счастливый человек, которого не терзают воспоминания.

Никто ни о чем не вспоминает. Ничего не произошло. Двадцать одна тысяча человек выжили в Бухенвальде зря! Истребленные в Бухенвальде погибли напрасно! Только одни деревья протестуют открыто — они отказались расти на Эттерсберге.

Конечно, здесь есть памятник. Дорогой, достойный, патетический. Ты сам видишь, как многие посетители со слезами на глазах в бессильном гневе сжимают кулаки.

На склоне Эттерсберга высится колокольня. Квадратная, тяжелая, из черного камня, с позолоченной балюстрадой вокруг колокола, на котором выдавлен узор — колючая проволока. Под ним в полу, под выпуклой плитой, лежит пропитанная кровью земля восемнадцати разоренных палачами стран. Вокруг барельефа, изображающего отпечатки босых ног, опутанные колючей проволокой, выгравированы названия городов и селений, подвергшихся опустошению.

Лестница, именуемая Лестницей свободы, ведет вниз, к улице Наций, вдоль нее установлены памятные плиты восемнадцати стран, увенчанные факельными чашами. Но восемнадцать стран, пережившие владычество палачей, уже давно не едины. Они разделены на радость палачам.

Ты видишь и черную скульптурную группу, отлитую из чугуна. Здесь и стойкий Борец, и Циник, кривящий в усмешке рот, и извечный Сомневающийся, и обличающий Трибун. Ты узнаешь их всех...

На барельефах, повествующих о жизни лагеря, твое внимание привлечет фигурка мальчика: четырех лет попал он в Бухенвальд и выжил — голый среди волков. Увидишь ты и волкодава, лежащего мертвым рядом с хозяином-палачом, выдрессировавшим собаку пожирать человеческое мясо.

«Jedem das Seine» — это не относится к здравствующим и поныне палачам.

Зеленеющий Буковый лес поднимается вверх по склону холма, манит пройтись, с бутербродами в кармане и томиком Гете в руках...

Бухенвальд по-прежнему остается прекрасным, полным воспоминаний Буковым лесом... Jedem das Seine?

ЛЕВ НИКУЛИН

НЕ МЕЧ, НО МИР

(Фотохроника второй мировой войны)

Этому ценному изданию предшествует эпиграф из стихотворения Фридриха Шиллера «Величие Германии».

В чем же состоит величие Германии?

«Не в том, чтобы побеждать,— отвечает Шиллер,— а в том, чтобы вторгаться в царство духа, уничтожать предрассудки, мужественно сражаться с безумием,— вот что достойно наших усилий».

На суперобложке книги — три солдата гитлеровского вермахта. В лицах, в поникших фигурах — бесконечная усталость и безнадежность. Они прошли долгий, мучительный путь страданий, они пока живы, а что ожидает их завтра?

Книга содержит около 1500 фотодокументов, отобранных составителем Гейнцем Бергшикером из трехсот тысяч; она называется лаконично — «Вторая мировая война»*. Фотодокументы и краткие комментарии к ним воссоздают лицо войны, развязанной Гитлером. Это издание служит делу мира, оно разоблачает преступления нацизма, предупреждает человечество против новых поджигателей войны.

Вступление показывает, как вооружалась нацистская Германия, как этому потворствовали капиталисты всего мира, рассчитывая, что Гитлер направит агрессию на восток, против Советского Союза.

Деятели «Индустриального клуба» в Дюссельдорфе, покровительствующие Гитлеру, престарелый Гинденбург, вручающий власть Гитлеру и Герингу...

Горящий рейхстаг — провокационный фейерверк, возвещающий захват власти нацистами.

«Хрустальная ночь» 1938 года — начало чудовищных еврейских погромов; лицо истерзанного борца за мир, гуманиста Осецкого — жертвы нацистов.

Невиданный рост вооружений нацистской Германии, новобранцы — юноши, примеряющие стальные шлемы.

И всему этому открывает дорогу Мюнхен — предательский сговор английского и французского правительств с Гитлером. Далее следует зловещий снимок — вступление нацистов в беззащитную и преданную мюнхенцами Чехословакию.

Объектив фотоаппарата запечатлевает тончайшие детали; например, презрительный взгляд Гитлера в сторону британского премьера Чемберлена.

Так иллюстрируются первые главы — «Германия под властью Гитлера», «Путь к мировой войне», «Нападение на Польшу»...

* «Der zweite Weltkrieg» — Eine Chronik in Bildern von Heinz Bergschicker. Berlin, Deutscher Militärverlag.

ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ ЗОРЧЕ ВТРОЕ!

Польские солдаты, лицом к стене, с поднятыми кверху руками и их конвоиры, вернее, палачи с винтовками, направленными в спину пленным...

Рушатся дома, пылают города, девочка со спасенной кошкой в руках бежит из горящего дома. Это подробиость, а затем следует трагедия Варшавы, неописуемые страдания мирных жителей, стариков, женщин, детей, ужасы варшавского гетто и так называемая «странная война», когда предатели Франции думали отсидеться за линией Мажино, не теряя надежды как-нибудь договориться с Гитлером. Но наступает час расплаты для коллаборационистов, для мюнхенцев. Нацистские бронированные орды в Бельгии. Приходит черед Франции. Десятки тысяч брошенных солдатских шлемов в Дюнкерке — «блицкриг», который завершился разгромом французской армии и эвакуацией ее остатков и английских войск через Ламанш в Англию.

Развалины городов и селений — это следы войны и поражения Франции, в котором повинны ее бездарные генералы — Петен, Гамелен и предатели Бонне и Лаваль.

Франция капитулировала.

Унтер-офицеры, эсэсовцы пируют в парижском кабаке. Свидание «победителей», Гитлера и Муссолини,— «дуче» в актерской позе стоит перед Гитлером; они видят себя покорителями Европы и не только Европы — война уже пылает в Африке, в Азии, на Тихом океане. Нацистские бомбардировщики громят Лондон, Ковентри. Идет ко дну английский линейный корабль, броненосный гигант «Ройал Арк».

На советской границе, на Буге, ждет сигнала командующий танковой группой Гудериан.

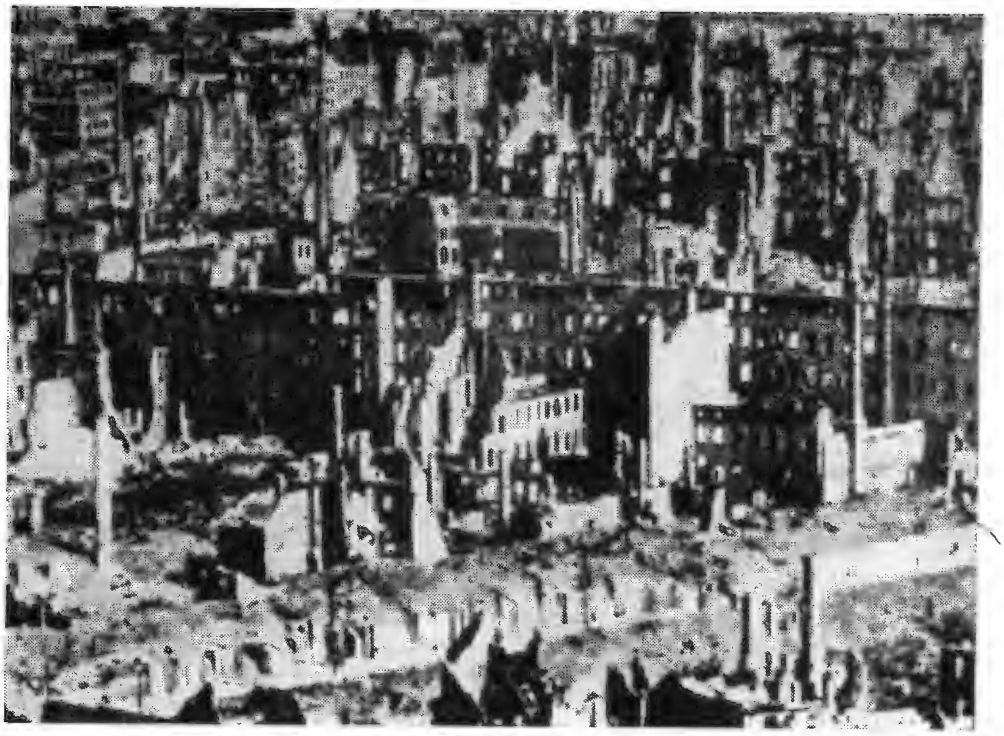
Сигнал дан. План «Барбаросса» в действии. Гитлеровские орды обрушились на Советский Союз. От одного фотодокумента к другому, от страницы к странице на наших глазах выразительно, динамично разворачиваются события мировой истории, раскрывается варварство нацизма: вот генерал Рундштедт в музее Лувра окидывает хозяйским взглядом шедевры античного искусства, нацистские офицеры в Афинах у Акрополя, зал ленинградского Эрмитажа после попадания снаряда.

Война идет на территории Советского Союза. Первые, тяжелые для нас, месяцы войны, советские войска оказывают яростное сопротивление.

Советские военные фотокорреспонденты— многие из них погибли, исполняя свой долг,— запечатлели этап за этапом всю историю Отечественной войны. Их снимки за-

Дюнкерк.

Война отняла все — близких, дом, детство...



Руины Дрездена.

няли свое место в издании «Вторая мировая война».

Видишь, как постепенно набирала силы наша страна, как от героического сопротивления наши армии перешли к сокрушительным ударам, завершившимся взятием Берлина и полным разгромом гитлеровских захватчиков. Даже фотографии, сделанные фашистскими офицерами, говорят о силе и стойкости советских людей. Один из фашистов запечатлел Зою, против своей воли он оставил нам светлый образ героини — ее лицо в последние минуты перед гибелью, олицетворение воли и неустрашимости, веры в победу.

Постепенно открываются в фотоснимках две Германии, одна варварская, империалистическая, нацистская и другая — Германия свободного духа, Германия — родина Гете и Шиллера, Маркса и Энгельса. Вот Тельман, незадолго до гибели, на прогулке в тюрьме. Вальтер Ульбрихт говорит с пленными солдатами-немцами, помогая им понять преступный характер нацизма. Раненые немецкие солдаты на перевязке у советских врачей...

Наступает возмездие. Рушится Восточный фронт, начинается долгожданная высадка союзников во Франции, наконец открывается второй фронт. Победы советских армий на Востоке спасают союзников от поражения в Арденнах.

Так было в Днепропетровске в августе 1941 года.

Освобождение Парижа: тысячи людей на площади Конкорд, их лица, их переживания — все это запечатлел объектив аппарата.

Флаг нашей победы над рейхстагом в Берлине — как бы апофеоз...

Солдат гитлеровского вермахта в глубокой задумчивости на развалинах рейхстага, два человека, два немца на пороге разрушенного дома — один из них, старик, возможно участник первой мировой войны, с горестным недоумением смотрит на другого, военнопленного... Тот, с поникшей головой, угрюмо уставился в землю.

Но это не конец книги.

Одна из последних страниц изображает загородную виллу Круппа в Эссене, нового пушечного короля, так сказать престолонаследника старого Круппа. Вот возрождающийся немецкий империализм, говорит этот снимок, и как бы в подтверждение — фотографии генерала Шпейделя, командующего вооруженными силами стран Средней Европы, и немецкие солдаты на маневрах войск НАТО, расквартированные во Франции. Это — документы нашего времени.

Но есть силы, которые противостоят реваншизму, это многотысячная демонстрация трудящихся Германской Демократической Республики на площади Маркса—Энгельса в большом Берлине.

Этим замечательным снимком завершается книга фотодокументов о второй мировой войне, изданная в ГДР. Книга о войне и в то же время о мире во всем мире — поучительное издание, направленное к тому, чтобы наглядно показать, какой бедой грозят человечеству империализм, возрождение нацизма.

Здесь гитлеровцы наступали на Волгоград.

Последняя «тотальная» мобилизация в Германии.

Советские воины принесли освобождение от фашистского гнета миллионам людей.

Все, что осталось «завоевателю»...

Люди мира, будьте зорче втрое!

Армандо Гонсалес за работой над памятником национальному герою Уругвая — Хосе Артигасу.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом

В ГОСТЯХ У АРМАНДО ГОНСАЛЕСА

Красивы парки в Монтевидео — пальмы, платаны, розы... Один из них, парк Родó, находится поблизости от гостиницы, в которой мы жили, и там я часто искал прохладу от декабрьской жары.

И всякий раз мое внимание привлекала возвышавшаяся в одной из аллей этого парка, среди субтропических растений, скульптурная группа.

Высоко подняв голову, идет молодая женщина, рядом с ней — мальчик и девочка. Молодая женщина ведет их вперед...

Этот монумент был поставлен в честь известной уругвайской учительницы Энрикеты Компте-и-Рикет, посвятившей свою жизнь защите детей от влияния церковной системы образования. Скульптура — одна из запоминающихся среди многочисленных памятников, которые нам пришлось видеть в парках, на улицах и площадях Монтевидео,— отличалась не только выразительностью фигур и их символическим содержанием, но и страстностью, с какой художник создал столь необычное шествие к свету знания.

Вскоре я встретился с автором этого произведения — знаменитым уругвайским скульптором Армандо Гонсалесом. Он живет на окраине столицы, дорога к нему лежит вдоль многокилометрового пляжа. Широкая, окаймленная одноэтажными особняками улица, на которой редко увидишь автомашину, поразила нас

Рабочий момент.

провинциальной безлюдностью. Посреди этой улицы я неожиданно увидел в железном каркасе огромную, еще не законченную фигуру величественного всадника.

— Это последняя работа Гонсалеса,— сказал мой попутчик.— Мы приехали.

Маленький домик, напоминающий сарайчик,— жилье Армандо Гонсалеса. Множество лепных фигурок, статуэток и акварельных рисунков — ими художник увлечен не меньше, чем скульптурой.

Гонсалес показывает нам свои работы: он ходит между скульптурами с ловкостью гимнаста. Искусству лавирования приучила теснота.

— А где же вы живете?— спросил я.

— Тут,— ответил художник и, приоткрыв штору, показал на темный угол, где стояла широкая тахта.

Вышли на улицу. Перед сарайчиком росла слива с раскидистой кроной и зрелыми плодами. Мы уселись под ней на деревянных скамейках и с увлечением стали слушать рассказ человека, отдавшего всю жизнь борьбе за свое творчество. Он не помнит, когда у него родилось желание стать художником. Может быть, в те дни, когда, будучи ребенком, он видел, как на пляже опытные мастера лепили из гипса украшения для улиц, или в тихие вечера, когда тетка, приехавшая из Аргентины, рассказывала об истории культуры этой страны; а может быть, кто знает, мальчика соблазнили шоколадные обертки с изображением скульптурных портретов великих людей Греции. Но факт остается фактом — даже работая разносчиком у знакомого зеленщика, или раздувая мехи в соседней кузнице, или помогая отцу в его сапожном ремесле, юный художник рисовал на стенах, на тротуарах или «баловался гипсом», забытым скульпторами на пляже.

Памятник учительнице Энрикете Компте-и-Рикет в Монтевидео (1956 г.).

Армандо учился в художественном ремесленном училище, посещал кружок искусств. Четырнадцатилетним подростком он начал представлять на конкурсы свои работы по стенной лепке. Армандо занял первые места на нескольких конкурсах, проведенных в связи со столетием независимости Уругвая, и это стало решающим моментом в его биографии. После Гонсалес целиком отдает себя искусству скульптуры и живописи. Но происхождение Гонсалеса, его политические взгляды, его творчество вызывали протест у художников «официального направления», которые верховодили и поныне верховодят уругвайским искусством. Он боролся с ними и... не имел заказов.

В течение почти четверти века Гонсалес жил только на средства, получаемые с закрытых конкурсов, где он представлял свои скульптуры и акварели.

Под чьим влиянием он творил? Армандо на этот

«Исход уругвайского народа» во главе с Хосе Артигасом в 1811 году — один из эпизодов национально-освободительной борьбы. Рисунок Армандо Гонсалеса

«Сьерра-Маэстра» — рисунок Армандо Гонсалеса, посвященный борьбе кубинского народа.

вопрос отвечает после паузы:

— Я восхищен Бурделем, Роденом, Майолем и русским Эрзей... Изучал древнеегипетскую скульптуру.

Наша беседа касается последних работ Гонсалеса, и скульптор кивает на незаконченную фигуру всадника, что высится посреди улицы. Это великий национальный герой Уругвая — Хосе Хервасио Артигас, двухсотлетие со дня рождения которого, по призыву Всемирного Совета Мира, ныне отмечает все человечество. Заказ на эту скульптуру был получен после победы на конкурсе.

— Освободителю не везет,— с иронией замечает Армандо Гонсалес.

В связи с развитием демократического движения в

Барельеф памяти Энрике Аморима, выполненный Армандо Гонсалесом для города Сальто — родины выдающегося уругвайского писателя-коммуниста. Надпись гласит: «Сальто — Энрике Амориму. Здесь он родился. 1900—1960. Быть может, средь теней родного края однажды вечером поднимется и заговорит».

Памятная медаль в честь национального героя Уругвая — Хосе Артигаса.

Уругвае оживились и фашистские группы. Они преследуют прогрессивных деятелей культуры, занимаются провокациями, угрожают.

Уже несколько раз, подкравшись ночью к скульптуре Артигаса, «отца уругвайской нации», фашисты бросали в нее бомбы, наполненные битумом. Черными пятнами покрывался гипсовый круп коня, грудь и лицо национального героя. Скульптуру очищали от фашистской грязи, а в следующую ночь вновь летели в нее черные бомбы. Как-то фашисты подъехали с грузовиком, развинтили каркас, зацепили тросом фигуру Артигаса, хотели сорвать и разбить скульптуру. К счастью, их поймали на месте преступления. Они бежали, как мелкие воришки, прислав на следующий день Гонсалесу письмо с угрозой убить его.

В такой обстановке работает скульптор в Монтевидео. Теперь на улице стоит столб с большой электрической лампой. Она освещает фигуру основоположника уругвайского государства. Освещает и защищает.

— Да будет свет,— улыбаясь говорит художник.

Допоздна мы вели беседу с интересным, умным человеком. Он полон творческих идей и планов.

Темнело. И когда мы собрались уходнть и начали прощаться, на столбе вспыхнула лампа. Она бросила свои желтоватые лучи на фигуру Освободителя Уругвая.

М. Мержанов

«Девочка» — скульптура, удостоенная Большой премии на Национальной выставке изящных искусств (1959 г.).

«СЕРДЦЕ МОЕ НЕОБЪЯТНЕЕ МИРА!»

К 220-летию со дня рождения Томаса Антониу Гонзаги

Эти гордые слова произнес человек, появившийся на литературной и политической сцене в одну из бурных эпох истории, когда во Франции готовился штурм Бастилии, а в Северной Америке уже отгремели бои за независимость. Он был сыном бразильца и португалки и родился в 1744 году в Порто, но вся его блистательная карьера юриста, поэта и политика развернулась в Бразилии, в стране, где так ярко сказались все сложные противоречия колониальной действительности.

Его звали Томас Антониу Гонзага, и он был одной из центральных фигур в литературном обществе «Заокеанская Аркадия», существовавшем с 1785 года в городе Вила-Рика. Группа поэтов, входивших в это общество, писала пастушеские идиллии, и сорокалетний Гонзага прославился тогда идиллическими посланиями к своей восемнадцатилетней невесте Марии Доротее ди Сейшас, воспетой под именем Марилии в его «Лирах», первая часть которых была опубликована в 1792 году под названием «Марилия ди Дирсеу» (Дирсеу — аркадский псевдоним Гонзаги). Эта книга принесла ее автору громкую славу и прозвище «бразильского Петрарки». Но стихи Гонзаги были не просто пастушескими идиллиями. Неистовая жизнь страны в ее становлении, с ее контрастами, взлетами и падениями властно врывалась в его лирику. Город Вила-Рика был главным городом капитании (штата) Минас-Жераис и возник, как возникали, словно по волшебству, многие другие города Бразилии, по мере того как бразильская земля открывала людям свои богатства. После открытия золота капитания Минас-Жераис сперва резко расцвела и обогатилась, а когда в середине XVIII века золотые запасы стали иссякать, так же резко обнищала и пришла в упадок. Жадный португальский двор выжимал все соки из своей колонии, облагая население неслыханными налогами. В столкновении всех этих проблем и событий передовым людям того времени трудно было удержаться в рамках античного спокойствия, даже в поэзии. Поэтому «Аркадия» не стала еще одной «колониальной» поэтической школой, подражающей португальской поэзии, а превратилась в подлинно национальную поэтическую школу. Поэтому природа в стихах Гонзаги — это не кудрявая природа пасторалей, а буйная бразильская природа, и вместо нежных картин из пастушеской жизни он вдруг, как это случилось в знаменитой «Лире № 26», разворачивает удивительную по точности описания и богатству красок картину основных промыслов Бразилии — промывки золота черными рабами, рубки леса под плантации, сбора табака, переработки сахарного тростника.

И все-таки первая книга Гонзаги — пока еще мирная книга, и основные ее темы — любовь и мирная жизнь на лоне природы. Но уже в этой первой книге поставлены, хотя пока в философском плане, проблемы добра и зла, богатства и бедности, тирании и тираноборства. Уже здесь слышится гневное осуждение праздности и стяжательства, и им противопоставлены вечные человеческие ценности — скромный и честный труд, доброе имя...

И лучше грядущие поколенья
пусть твое имя добром вспомянут,
чем все богатства, которые тленья
равно добычею станут.
Героем быть, Марилия, не значит
сжигать империи: идут войною,
наносят людям раны
и грабят — не герои,
а подлые тираны.
А быть героем — значит жить по чести;
и так же может быть героем бедный,
как все владыки вместе.

Эхо французской революции 1789 года, передовая мысль французских энциклопедистов, с одной стороны, и крайнее обострение эксплуатации трудового народа внутри колониальной Бразилии (развитию экономики и культуры которой старалась помешать ее хозяйка — Португалия) — с другой, привели к росту революционных настроений в бразильском обществе. И когда в 1789 году в Вила-Рике вспыхнуло революционное движение «Инконфиденсия Минейра», то участниками заговора оказались все главные поэты «Аркадии». В то время как Тирадентис, знаменитый революционер и национальный герой Бразилии, наиболее близкий к народным массам из всех участников «Инконфиденсии», подымал народ на восстание, Гонзага — тонкий юрист, автор трактата «О естественном праве», яростно боровшийся с насилием и произволом в своих блестящих статьях,— писал законы будущей республики Минас-Жераис, на знамени которой инконфиденты хотели начертать слова: «Libertas quae sera tamen» — «Свобода, хотя бы поздняя». Но заговор был раскрыт, и его участники арестованы.

С этого момента начинается новый этап жизни и творчества Гонзаги. В одиночной камере крепости на Илья дас Кобрас не замолкла его непокорная муза, напротив, она стала его единственным товарищем:

Кто вознесен счастливою судьбой,
тому служить не может вдохновенье,
но я, Марилия,
беседую с тобой
здесь, обреченный на мученье.
...Нет, я не должен здесь терять минут,
родиться новой мысли здесь пристало...

Здесь пишет он вторую часть своих «Лир», совсем не похожую на первую. Строки-лозунги, строки-инвективы, гневные обвинения своим обвинителям — тиранам его родной Бразилии, скорбные песни о былом счастье, описания тюремной жизни, реализма которых не смогли приглушить никакие условности поэтической школы,— вот что представляет собою эта вторая книга. Послания к Марилии из тюрьмы проникнуты верой в правду, что вела его и его товарищей к их цели:

Быть может, я дождусь сияющего дня;
но если даже нет, я все ж
благословляю
святую руку, что ведет меня,—

и надеждой на победу этой правды над всеми силами реакции:

Пусть вихри свирепы и волны обильны,
и вихри и волны бессильны
пред гордою правдой моей.

Сквозь страшные видения близкой казни узник-поэт счастлив наедине со своей, теперь уже несбыточной, любовью и со своим трагическим, но высоким жребием:

Пусть жертвою паду судеб
несправедливых,
нет счастья моего
у тысячи счастливых!

Испуганные революционной бурей во Франции, португальские власти с дикой жестокостью расправились с революцией в своей колонии — три года тянули они чудовищный процесс участников «Инконфиденсии», брошенных в сырые казематы без дневного света. В 1792 году лучшие люди Бразилии XVIII века, закованные в кандалы и железные ошейники, услышали свой смертный приговор, замененный затем пожизненной ссылкой для всех участников движения, кроме Тирадентиса. Гонзага был сослан в Африку, где замолчал, казалось, навсегда. Но после того как потерявший рассудок в далекой ссылке замечательный поэт Бразилии погиб, поэзия его не только продолжала жить в бесконечных изданиях и многочисленных переводах на другие языки, но внезапно, через много лет после его смерти, заявила о себе совсем по-новому. В 1845 году появилась в печати знаменитая бразильская политическая сатира «Чилийские письма», автор которой долгое время оставался неизвестен. Под видом описания бесчинств правителя Чили Фанфарона Минезиу в этой удивительной книге описывались бесчинства и зверства губернатора Куньи Менезеса, управлявшего капитанией Минас-Жераис в 80-х годах XVIII столетия, и вскрывались тайны эксплуататорской политики португальских властей и их бразильских наместников. Тысячи строк строгого, гневного, иногда патетического, иногда почти разговорного стиха, и каждая из них — оружие, отточенное против тирании. Чудовищные эпизоды эксплуатации народа, пыток и надругательств над человеческим достоинством, разнузданного разврата знати...

И хотя многое в этой огромной поэме представляется нам теперь уже далеким, и сложная система социальных и юридических отношений XVIII века трудно воспринимается современным читателем, но главные эпизоды «Писем» кажутся написанными сегодня и обращенными к людям нашего времени.

Таков третий и завершающий этап творчества «бразильского Петрарки», которого за «Чилийские письма» можно бы назвать еще и «бразильским Данте» — с такой силой изобразил он ад колониальной жизни.

Так после смерти Гонзаги продолжалась его история уже в новом, XIX веке, возрождаясь всякий раз, когда в воздухе Бразилии слышалось дыхание свободы: в 1822 году, когда была объявлена независимость Бразилии, за которую боролись участники «Инконфиденсии»; в 60—70-х годах прошлого века, когда революционные романтики во главе с другим замечательным поэтом Кастру Алвесом подняли борьбу против рабства...

На одной из страниц этой истории стоит великое имя Пушкина, переведшего на русский язык одну из «лир» Гонзаги.

Эта история жива и сегодня, через 220 лет со дня рождения замечательного бразильского поэта.

Инна Тынянова

ВЕЛИКИЙ РЕАЛИСТ ЦАО СЮЭ-ЦИНЬ

К 200-летию со дня смерти писателя

Двести лет тому назад на западной окраине Пекина в нищете и безвестности умер великий китайский писатель Цао Сюэ-цинь, один из самых выдающихся представителей реализма в мировой литературе. Лишь несколько друзей проводили его до могилы.

Он родился в 1716 году в одной из аристократических китайских семей, приближенных к императорскому дому. Его прабабка была кормилицей императора Канси, дед его — сановник, стихотворец и драматург — славился своей коллекцией книг и руководил изданием знаменитого «Полного собрания танских стихов».

Богатство рода ушло вместе с должностью, которой был лишен отец Цао Сюэ-циня, и будущий писатель уже в детстве познакомился с тяжелой жизнью низших классов общества. Богатство не вернулось Цао Сюэ-цинь содержал семью на скудные средства от продажи написанных им картин и был увлечен созданием романа, который впоследствии обессмертил его имя.

Может быть, и даже наверное, появлением этого романа мы обязаны несчастной судьбе Цао Сюэ-циня, потому что жизнь впроголодь заставила его по-иному взглянуть на окружающее, по-иному и близкому пережить сочувствие к обиженным и угнетенным и наконец понять неизбежность гибели тех, кто существовал за счет страданий других. Об этом написал он в восьмидесяти главах своей «Истории камня», которая была прервана кончиной писателя, умершего после того, как ко всем его несчастьям прибавилась безвременная смерть любимого сына.

Эти восемьдесят глав расходились в рукописях, пока Гас Э, чиновник и литератор, не взял на себя труд завершить роман, дописав недостающие главы. Роман в ста двадцати главах, уже под названием «Сон в красном тереме», был издан в 1791 и 1792 годах. Он не раз подвергался запрещениям (нетрудно было разглядеть в нем силу, подрывающую господствующий строй) и очень быстро стал самой популярной, самой любимой книгой в Китае.

О «Сне в красном тереме» в Китае написано множество исследований, а в ноябре 1963 года в нескольких залах бывшего императорского дворца, музея «Гугун», была устроена выставка, посвященная истории этого произведения и жизни творца его.

Перед посетителями этой прекрасной выставки вставали китайские города XVIII века с аристократическими владетелями, торговцами и ремесленниками, вставали деревни с крестьянами, тяжко трудившимися и большую часть урожая отдававшими за аренду помещикам и ростовщикам.

На стендах лежали рукописи друзей писателя с упоминаниями о нем. К сожалению, не сохранилось ни одного экземпляра пятикратно переписанного самим Цао Сюэ-цинем романа, но на выставке были представлены списки и издания его, а также переводы на другие языки, и в том числе на русский. России о романе впервые сказал восторженное слово выдающийся наш китаевед В. П. Васильев в вышедшем в свет в 1880 году своем «Очерке истории китайской литературы». В 1958 году роман был издан на русском языке в переводе В. А. Панасюка*.

Выставка показала поистине удивительное влияние этого литературного произведения на многие стороны жизни китайского

* См. журнал «Иностранная литература» № 4, 1959 г.

общества. Поражало обилие характерных для Китая художественных изделий на сюжеты романа, скульптурных портретов самых различных героев романа, фонарей с изображением многих знаменитых в народе сцен из жизни этих героев. Фотография запечатлела великих актеров, в разные годы игравшнх в инсценировках «Сна в красном тереме». Наконец, несколько лет тому назад роман был экранизирован в превосходной постановке Шанхайского театра шаосинской музыкальной драмы

«Сон в красном тереме» явился энциклопедией китайской жизни XVIII века. Можно смело утверждать, что не было ни литературного, ни исторического произведения, которое бы с такой яркостью осветило все особенности, все пороки идущего к своему концу феодального Китая.

Этот роман охватывает самые разные стороны жизни, содержит суждения на самые разные темы. Учеными-исследователями еще очень многое не затронуто в их изысканиях по поводу «Сна в красном тереме». Так, например, еще предстоит изучить интереснейшие взгляды автора на поэзию, высказанные и им самим, и через посредство героев.

Мы читаем «Сон в красном тереме». Перед нами медленно текут воды огромного потока жизни. Им управляет рука автора, убыстряющего нли замедляющего его течение для того, чтобы сосредоточить наше внимание на событиях, которые составляют главную суть жизни того времени.

«Сон в красном тереме» — книга о трагической любвн Цзя Бао-юя, одного из младших представителей аристократического рода Цзя, и Линь Дай-юй — бедной, осиротевшей родственницы этой семьн. Судьба Бао-юя необычна с самого начала. Автор отдал дань буддийско-даосским суевериям, в описание жизни Бао-юя привнесены мистические элементы, которые, впрочем, не могут изменить общий реалистический характер повествования. Бао-юй родился с яшмой во рту. Эта яшма (камень, оказавшийся лишним, когда мифическая Нюй-ва заделывала дыры в небосводе) — спутница юноши и то появляющиеся, то исчезающие буддийский и даосский монахи — вот, собственно, и вся возникающая от случая к случаю фантастнческая канва жизнеописания Бао-юя.

Счастью молодых людей воспрепятствовала главенствующая в доме бабушка Бао-юя, решившая женить его на другой родственнце, Сюэ Бао-чай, которая больше соответствовала нравам дома и по положению, и по характеру своему. Бао-юя обманули. Сказав, что его женят на любимой им Дай-юй, в закрытый паланкин посадили Бао-чай. Дай-юй, давно уже предчувствовавшая подобную развязку, умерла во время свадьбы. Бао-юй оставил ненавистный ему богатый дом и ушел в монахи.

Автор всей своей книгой говорит нам, что счастья не могло быть даже в том случае, если бы полюбившим друг друга молодым людям удалось соединиться. Они оставались бессильными и одинокими в гибнущем мире разврата, корысти и стяжательства — мире, к которому они принадлежали по рождению.

Последние сорок глав, о чем говорилось выше, были после смерти Цао Сюэ-циня дописаны Гао Э, который, конечно, не смог подняться до высот великого своего предшественнпка и, больше того, сделал попытку возродить благополучие разоренного дома Цзя. Но заслуга Гао Э в том, что он довел до конца историю Бао-юя и Дай-юй. У него хватило человеческой глубины понять и выразить трагедию молодых героев романа, хотя и недостало глубины мыслителя, чтобы показать трагедию класса, как это задумано было Цао Сюэ-цинем.

Мы думаем, что гуманизм Цао Сюэ-циня особенно проявился в смелом описании ужасов бесчеловечного обращения с подневольными. Все благополучие дома Цзя построено на крови поставляющих ему продукты и выплачивающих аренду крестьян, на страданиях безропотных слуг. Долго ли может это продолжаться? Дом Цзя — символ гибнущего, изжившего себя феодального строя.

Цао Сюэ-цинь верит в государя. Не его считает автор виновником обличаемых в романе зол. Но атмосфера безнадежности (талант писателя оказался сильнее его убеждений) царит и в императорских дворцах. Ее приносит с собою прибывшая в родной дом государыня, старшая сестра Бао-юя. Спасения иет. Мы ощущаем это с ясностью, которая была неожиданной и пугающей для современников писателя.

Реализм Цао Сюэ циня способствовал появлению нового тнпа китайского романа. При всей стройности композиции «Троецарствия» или «Речных заводей», эти романы XIII—XIV веков представляют собою ряд глав-сюжетов, как бы нанизанных на один стержень основного сюжета. Даже «Цзинь, Пнн, Мэй» — роман, намного более близкий по времени и характеру к «Сну в красном тереме»,— не вполне еще освободился от этой особенности. Роман же «Сон в красном тереме», несмотря на свою многоплановость и даже многосюжетность, производит очень цельное впечатление: все в нем подчинено описанию жизни главных героев — Бао-юя и Дай-юй.

Психологизм не в традициях китайской классической прозы. Характеры персонажей «Сна в красном тереме» даны через их поступки, но характеры эти и речь очень индивидуализированы. Для китайской художественной литературы тогда еще не пришло время индивидуализации портретов героев (автор романа ограничивается лишь трафаретным «терминологическим» описанием красоты, изящества, безобразности и т. д.), и тем больше заслуга писателя в умении наделить каждое из введенных им в действие лиц (при отсутствии детальных внешних различий) присущими ему чертами и дать ряд по-настоящему сложных характеров, проявляющихся в новых для китайской литературы обстоятельствах.

Молодые люди зачитываются такими драмами, как «Западный флигель», «Пионовая беседка». Герои этих драм, как и герои старинной народной драмы «Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай», тоже любили друг друга, и тоже старались преодолеть феодальные установления, и тоже были несчастны. Окру-

жающая действительность мешала их любви, и если бы свершилось невозможное и любовь их сумела победить все препятствия, то они нашли бы свое счастье в подобной прямой победе. Любовь же Бао-юя и Дай-юй отлична от этой: они не просто возлюбленные, они единомышленники, восставшие против феодальной рутины, люди, любовь которых порождена также их духовной близостью, их вызовом обществу. Конфликт заложен уже в самом существовании на свете Бао-юя и Дай-юй с их душевной организацией, с их отвращением к среде, в которой они вынуждены жить.

Бао-юй не хочет вступать на путь чиновничьей карьеры. Он дружит со слугами и негодует на свою судьбу наследника аристократического дома. Он ищет свободы. Этого нежного юношу сделал автор своеобразным выразителем протеста, зреющего в измученном поборами и притеснениями народе.

А несчастная красавица Дай-юй, гордая, независимая, ищущая во всем поэзию, устраивающая похороны опавших персиковых цветов и сама в этом мире похожая на лепесток, подхваченный ветром? Она тоже, как и Бао-юй, задыхается в доме Цзя, но ничего не может изменить. Даже любовь не придает ей силы, потому что бессилен и Бао-юй.

В противовес им писатель создает образ Бао-чай — другой красавицы, на которой женят Бао-юя и которая словно рождена для дома Цзя. Она умеет притвориться, умеет понравиться, она холодна: в ней и слезинки не вызвало самоубийство служанки Цзинь-чуань. Она стоит на страже той феодальной морали, которая подавляет Бао-юя и Дай-юй. И она любит Бао-юя, любит искренне и сильно.

Автор рисует реальные, жизненные характеры, в которых переплетаются достоинства и недостатки. Но слабости Бао-юя и Дай-юй не заслоняют от нас огромной правоты этих героев, но обаяние Бао-чай не скрадывает ее непривлекательности, ее враждебной Дай-юй и Бао-юю сущности.

Грустная, трагическая книга. Трагическая потому, что главные герои ее, недовольные существующим порядком вещей, связаны неразрывными нитями со всеми теми, против кого они идут. Здесь все обречены на поражение.

Это и показано с огромной силой автором, выступающим в роли единственного настоящего и последовательного обличителя. В Цао Сюэ-цине, сыне своего времени, живет и сочувствие уходящему. Тем более достойна восхищения та безжалостная решимость, с которой он осуждает исчезающий близкий ему класс.

«Сон в красном тереме» — замечательное реалистическое произведение. В нем запечатлено прошлое, и, как всякому великому созданию человеческой мысли, ему принадлежит будущее.

Л. Эйдлин

КНИГИ

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ К СВЕТУ

Михаил Садовяну. Место, где ничего не произошло... Повести и рассказы. Перевод с румынского. Составление и предисловие Ю. Кожевникова. Переводы под редакцией Д. Горбова. Москва, Гослитиздат, 1963 г.

После Москвы, холодной и, в сущности, голодной, после Москвы, окруженной траншеями, «ежами» и надолбами, необычное впечатление производил этот зеленый и тихий край. Стояли города, казалось не потревоженные бурями войны, города патриархальные, с нерушимым бытом, с церквами, полными молящихся, с обширными базарами, по-южному богатыми и шумными, с улицами, полными стариков, с монастырями... Когда мы вошли в большую церковь монастыря Агафтон и увидели, как в мерцающей полутьме двести молодых женщин самозабвенно молят своего унылого бога отпустить им совершенные или несовершенные грехи, было такое впечатление, будто мы перенеслись в век минувший.

— Да была ли здесь война? — спросил я своего спутника, местного учителя, который был нам и гидом, и переводчиком.

— Была, конечно,— ответил он.— Хотя далеко не такая, как в России, но...—человек запнулся.— Все здесь извечно происходит по-иному. Это об этом крае сказал Садовяну: «место, где ничего не произошло...»

Место, где ничего не произошло...— так сказал Садовяну. Признаться, эти слова писателя, который здесь родился и стал певцом Румынии, заставили меня по-иному взглянуть и на города, внешне очень благополучные, и на поля, как будто безмятежно-спокойные. Мне почудилось, что глубоко в недрах этой жизни гудит и рвется наружу огонь, едва ли не такой же устойчивый и грозный, какой время от времени распирает и корежит каменистую балканскую землю. Очевидно, в этом смысл крылатой фразы Садовяну: «Место.. где ничего не произошло».

Кстати, каждый раз, когда я пытался проникнуть в историю этого края, когда хотел познать быт местного крестьянина-хлебопашца или рыбака, когда старался понять не-

РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

обычный уклад жизни степных румынских городов, возникало имя Садовяну. Казалось, во все уголки народной жизни проник прозорливый взгляд Садовяну, обо всем писатель сказал свое неторопливое и мудрое слово. Как это всегда бывает, когда имя человека возникает вновь и вновь, сознание рисовало и облик писателя. Но проверить верность этого рисунка не было возможности — нас разделяла линия фронта.

Но такая возможность возникла раньше, чем мы могли тогда предположить,— в конце августа Советская Армия вошла в Бухарест. А месяцем позже я был на большом литературном вечере студентов университета, который происходил в новом здании юридического факультета на тогдашнем бульваре Елизаветы. Вестибюль здания, с просторными, во всю стену просветами, был полон солнца, по-сентябрьски ясного, точно напитанного горьковатым золотом осенней листвы. Где-то рядом гудит зал — с минуты на минуту его большая чаша будет полна. Вместе со всеми я смотрю на высокую дверь, ведущую в зал,— на вечере ожидается Садовяну. Потом зал затихает (одна минута абсолютной тишины) и неожиданно взрывается — где-то далеко блеснули яркобелые седины Садовяну.

В его внешности есть что-то от классического облика писателя — властителя дум, учителя жизни, каким он виделся нам, когда мы думали о корифеях девятнадцатого века. Большой, седовласый, мудро-торжественный, очень красивый в свои шестьдесят четыре года. В глазах — пристальное внимание, строгое, без улыбки. Черты лица — нос с тщательно вырезанными миндалинками ноздрей, линия рта, крепкий, безупречно очерченный подбородок — очень верны. Мягкая смуглость (это лето было знойным) приятно сочетается с сединами. Он проходит неподалеку, и я слышу его голос. У него густой баритон, чуть-чуть гудящий, кажется, каждое слово резонирует в большой груди. Когда говорит, руки почти неподвижны, в одной — солнечные очки, в другой — толстая бамбуковая палка, очень живописная,— он пришел сюда пешком. Да и в интонации преобладают ровные, чуть-чуть усталые тона, как у человека, который привык к тому, что его слушают,— все слова дойдут до собеседника, все будут услышаны.

Я поймал себя на мысли: его рассказы очень похожи на него. Невозмутимо-спокойно в них движение жизни, и поначалу ничто не выдает грозной силы, скрытой в сумеречных глубинах. Говоря образно, в каждом рассказе Садовяну есть своя буря, однако рассказ начинается при хорошей погоде, и на первый взгляд ничто не предвещает бури... Ну, хотя бы рассказ «Первый» из этой книги: «Место, где ничего не произошло...» Господин Костаке Балуш, пресытившись дарами Парижа, устремляется к родным берегам — начало самое обычное. Ночью, когда его коляска приближается к дому, разражается ливень. Между ним и домом — река, неожиданно прибывшая, ненастная. Костаке спешит добраться до парома, кстати, паром принадлежит его родным, а управляет им кто-то из крестьян отца... Однако крестьянин прогоняет молодого барина с парома — река продолжает стремительно прибывать, она грозит сорвать паром. (Над Балушем выросла бородатая фигура. «Это и есть паромщик,— подумал Балуш,— небось, и не подозревает, что я его хозяин».) Паромщик отсылает молодого барина в избушку на берегу. Балуш не без труда добирается туда — ливень нарастает неудержимо. Ему открывает дверь мать паромщика — молодой барин кажется ей странно похожим на сына. («Вдруг она в ужасе отступила назад, вытаращив глаза: «Господи Иисусе! Я-то думала, Ионикэ! Похож как две капли воды!») И вот финал рассказа: оказывается, у Балуша и того крестьянина-паромщика — один отец. Так вот он первый крестьянин, встретивший Балуша на пороге родительского дома!..

Как же могло произойти, что писатель, воспитанный на традициях и культуре дворянской Румынии, не порвавший с ней человеческих связей и на всю жизнь сохранивший верность ее интеллектуальным ценностям, вступил в единоборство с нею, единоборство смертельное?

Мне припоминается разговор с Садовяну, разговор, каким-то краем коснувшийся этой большой темы. Это было в сорок пятом. Президент АРЛЮСА академик Константин Пархон устроил обед. Обед происходил не в апартаментах Дома АРЛЮС на Каля Викторией, а в скромном особняке академика в Котрочень. Среди румынских гостей были коллеги академика, чьим трудом и участием был создан АРЛЮС. И среди них Михаил Садовяну. Еще за столом разговор коснулся тургеневских «Записок охотника», перевод которых заканчивал в ту пору Садовяну для издательства «Картя русэ». Кто-то высказал предположение, что, очевидно, Садовяну взялся за перевод «Записок» потому, что в книге русского писателя ему пришлась по душе «охотничья

тема». (Садовяну — страстный охотник.) Садовяну возразил: «Нет, не только и не столько поэтому». На этой реплике писателя разговор, происходивший за столом, пресекся, хотя, признаюсь, у меня было искушение попросить Садовяну сказать об этом пространнее.

Послеобеденный кофе был подан в кабинет Пархона, где в широком кресле обосновался и Садовяну. Писатель беседовал с хозяином дома — они вспоминали родные Яссы, и Садовяну очень интересно говорил о соборе Трех Святителей — чудесном создании румынской национальной архитектуры. Вскоре разговор коснулся литературных тем, и Пархон, к моей радости, задал Садовяну вопрос, с которым я хотел обратиться к писателю за столом. Да, вопрос так и был сформулирован: в самом деле, что привлекло внимание Садовяну к книге русского писателя?..

Садовяну улыбнулся: ему было приятно, что его собеседники сберегли в памяти этот разговор.

— В рассказах Тургенева есть своя большая тема, как и своя правда, очень большая...— сказал Садовяну.

— Какая? — был следующий вопрос.

Садовяну задумался: этот разговор, возникший так неожиданно, много значил и для него.

— Да какие же это рассказы? — вдруг заметил Садовяну.— Это же песни!.. Песни радости и песни... гнева! — Его глаза были хмуро-внимательны.— Если хотите, песни честного сердца, которым настоящий человек отличается от всех прочих...

А все остальное он произнес уже без того, чтобы его спрашивали — видно, он понимал, насколько все это важно для него, и уже не мог не сказать:

— Конечно, писатель должен быть на уровне своего времени и смотреть на мир глазами человека, умудренного наукой жизни. Для художника это свято так же, как и для ученого. Но очень важно быть еще честным человеком,— он помолчал, точно мысленно взвешивая каждое из произнесенных слов.— Совесть — это еще и честность, совесть мира — это еще и честный человек... очень честный.

Так Садовяну подвел меня к самой сути своей многолетней работы в искусстве, к тому, что для него, Садовяну, было сущностью его гражданского долга, его писательской совести. И в какой уже раз я окинул мысленным взором жизнь писателя, стараясь в ней найти нечто такое, что определило эти его слова: «Совесть мира — это еще и честный человек, очень честный».

Отец Садовяну — адвокат, выходец из состоятельной семьи. Мать — крестьянка, дочь плугаря из горной Молдовы.

Родные отца не скрывали своей неприязни к семье невестки. Это были не обычные раздоры между сватами. В том, как родные отца относились к родным матери, было отношение бар к холопам. Самые ранние впечатления Садовяну были связаны с этой драмой, расколовшей семью. Мальчик не сразу определил, на чьей стороне правда: и одни и другие старики казались ему одинаково близкими. Но мать не могла пережить происшедшего, занемогла и вскоре скончалась.

Это событие глубоко ранило сердце мальчика. Оно запомнилось ему на всю жизнь. Смерть матери, как ее восприняло сознание писателя, оставила горестный след в творчестве Садовяну — здесь началась его любовь к страждущим людям. Но здесь начиналась и его ненависть. Прежде всего ненависть к родным отца, по вине которых, в сущности, погибла мать. И с непреодолимой силой его потянуло в тот заповедный уголок Молдовы, откуда происходила мать, в простую крестьянскую семью ее родных, к деду — деревенскому кузнецу.

А дед стоил этой любви. Мальчика пленила его душевная чистота, мудрость, чувство собственного достоинства. Деда нельзя было назвать гордецом, но он умел не дать себя в обиду.

Разумеется, ни тогда, ни в будущем Садовяну не мог порвать с семьей отца — наверно, это было не просто. Но через всю жизнь писателя, рядом с ним, точно шел простой кузнец из Молдовы. Нет, нельзя сказать, что с тех пор писатель смотрел на жизнь его глазами, но в той борьбе, которая происходила в сознании писателя, нередко побеждали мысль и слово деда. Это он сообщил писателю любовь к страждущим, проторил в его душе тропу к жизни народа, внушил ему веру в победу правды. Победу правды? Как полагал Садовяну, самое большое преступление того мира перед человеком состоит в том, что он жестоко калечит душу человека, доброе начало в нем, стремится отнять у него веру в торжество правды. Именно этой мыслью проникнут рассказ писателя «Шестьсот лей» из все той же книги «Место, где ничего не произошло...».

Немало труда стоило крестьянам осушить землю. Однако добытая такими усилиями земля была у них отторгнута. Крестьяне решили нанять ходатая и собрали шестьсот лей. Нашелся добрый человек, который внял горю бедных людей и хотел помочь им бесплатно. Но, странное дело, предложение человека вызвало у крестьян смятение. Они «...вернулись в село, промеж себя потолковали-потолковали, да и не стали жалобу подавать». Поступок человека был настолько бескорыстен, что крестьяне отказались верить ему. «Невдомек им: как это вы брать шестьсот лей у них не хотите. Другие ничего не могли сделать, а брали...» Рассказ кончается тем, как посланец деревни просит ходатая принять шестьсот лей. «Обиняками, но очень настойчиво он дал мне понять, что на оплату моих хлопот у них, у четырнадцати человек, собрано шестьсот лей».

Рассказ написан в 1911 году, но писатель словно обращается и к своим современникам, и к потомкам: «Нет ничего страшнее, как отнять у человека веру в его доброе призвание, в его способность победить зло мира, веру в правду...»

Существует мнение: на смену прозе про-

шлого века, обремененной красками, должна прийти иная проза. Быть может, эта точка зрения и верна, но при одном условии: в произведении, созданном этими новыми средствами, образ человека не должен быть обеднен. Учителями Садовяну были великолепные мастера прозы прошлого века. Садовяну не без основания полагал: если изобразительные средства служат раскрытию душевных богатств, заложенных в человеке, писатель не должен отказываться от этих средств лишь на том основании, что они были известны его предшественникам. Может, поэтому предметом творческих симпатий румынского мастера были писатели, палитре которых свойственны чистые и сильные краски. Садовяну начал свою жизнь в искусстве в ту пору, когда проза потому и была прозой художественной, что не низвергалась более чем обильным потоком на чистые листы стенографистки, а рождалась под терпеливым пером художника: буква за буквой, слово за словом. В свое время одно румынское издательство подарило любителям книги интересное издание Садовяну: книга или, вернее, тетрадь с рассказом румынского классика точно воссоздавала авторскую рукопись. Да, читатель как бы стал обладателем рукописи Садовяну и обрел редкую возможность заглянуть в святая святых писателя. Известно, что рукопись обладает силой удивительной — ничто не способно так точно воссоздать движение авторской мысли, ничто так не передает радости и муки писателя над белым листом бумаги, как рукопись. Вот эта тетрадка лежит сейчас передо мной: нет, как ни щедр Садовяну на краски, это не расточительность — следы этой работы хранит рукопись, где каждое новое прикосновение кисти делает деталь более точной и верной.

В течение всей своей долгой жизни в искусстве Садовяну не переставал обращаться к творчеству Гоголя. Ему была близка колоритная проза Гоголя, его любовь к детали, объемной, физически ощутимой, его жадное восприятие богатого многоцветья и многозвучья земли, его способность делать образ истинно собирательным.

Осенью сорок пятого года я слушал лекцию Садовяну о Гоголе в бухарестском зале Даллес. Зал не мог вместить всех желающих, и большая толпа стояла перед зданием лекционного зала у репродукторов.

— Гоголь был одним из тех редких мастеров,— сказал Садовяну,— в произведениях которых сатирическое начало соседствовало с началом лирическим, не только не разрушая цельности картины, но счастливо способствуя ей...

Несмотря на то что счастливое это качество, подмеченное румынским мастером в творчестве русского, было свойственно и произведениям самого Садовяну, вряд ли было бы справедливо утверждать, что Садовяну был учеником Гоголя. Румынский художник, подобно многим другим интеллигентам своего круга и своего времени, был с детства приобщен к французской культуре, он читал французских писателей в подлинниках. Но Садовяну был слишком большим писателем, чтобы не понимать места русской прозы в общемировом литературном процессе, как, впрочем, и места русской культуры в формировании интеллектуальных интересов современного человека. Ему были чужды попытки столкнуть на румынской земле французскую культуру с русской. В сознании самого Садовяну Мопассан великолепно уживался с Тургеневым, а Флобер — с Гоголем. Поколения румынских интеллигентов испытывали благотворное влияние русской культуры. Садовяну это знал достаточно хорошо — его родные Яссы в течение веков были центром русско-румынского культурного общения.

Стоит ли говорить, что советские люди, которым довелось быть свидетелями становления братской Румынии в нелегкое послевоенное время, всегда гордились тем, что среди больших друзей СССР был живой классик Румынии. Мне припоминается первая поездка Садовяну в советскую страну весной сорок пятого года. Я встречал писателя на бухарестском аэродроме «Бэнясэ» и потом слушал его доклад в Доме АРЛЮС на Каля Викторией. Необычное собрание привело в тот вечер под своды Дома АРЛЮС ученых, писателей, музыкантов, художников — всех, кто составлял славу отечественной культуры. Это и понятно: собрание происходило в знаменательную для молодого румынского государства пору. В памяти еще явственно стоял февральский бесснежный день, грузовики с рабочими, стремящимися к Дворцовой площади, зловещая тишина, которой встретила площадь рабочих, пулеметные очереди, свинцовым градом ударившие по толпе, и пятна спекшейся крови на камне — боярская Румыния карала молодую демократию за ее верность свободе. Это было в феврале, а меньше чем через два месяца после этого Садовяну вернулся из советской страны.

— До событий 23 августа 1944 года,— сказал в этот день Садовяну,— наш народ жил в полной изоляции от Советского Союза. Теперь я отдаю себе отчет в том, с какой дьявольской жестокостью был организован бойкот познанию этого нового мира... Я испытал нечто вроде таинственного откровения, читая Конституцию Советского Союза...

Нет, это только казалось, что в этом крае ничего не происходило — огонь, который бушевал в недрах народной жизни, вырвался наружу. Он был благодатен, этот огонь, потому, что непобедима была вера человека в свое призвание изменить жизнь, вера писателя в торжество правды. «Место, где ничего не произошло...» — в сущности, книга о том, как человек идет через мрак и выходит к свету. Кстати, это пятьдесят шестая книга Садовяну, изданная у нас. Пятьдесят шестая!.. Советский человек верен дружбе, он хочет знать своих друзей.

САВВА ДАНГУЛОВ

КНИГИ
РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

НА СТРУНАХ ВРЕМЕНИ

Mihai Beniuc. Pe coardele timpului. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963.

Талант широкого диапазона, Бенюк не устает радовать и удивлять своих читателей все новыми и новыми произведениями — то пьесой, то сборником статей, то романом. Но, конечно, поэзия остается главной его стихией. Поэтическое восприятие мира органически присуще Бенюку — гражданину, борцу, мыслителю и поэту. Еще в 30-е годы поэт назвал себя «барабанщиком новых времен». И нужно сказать, что, выбирая тогда для своей поэзии этот инструмент, столь грубый и невыразительный для слуха рафинированных снобов, Бенюк был в полном согласии с одним из самых поэтичнейших поэтов, Генрихом Гейне, предпочитавшим всем другим инструментам барабан, тот барабан, который прекрасно мог объяснить, что такое свобода, равенство и вся новейшая история. Глашатаем всего нового и прекрасного остается Бенюк и до сих пор. Правда, за это время он перепробовал и другие инструменты, но от этого его поэтический оркестр приобрел только бóльшую полноту звучания, нисколько не изменив своей мажориой мелодии. Свидетельство этому — новый сборник его стихов «На струнах времени».

У струн нашего времени много различных тем, звучащих по-разному, и звукопись и живопись стихов Бенюка находятся в соответствии с этими темами. Поэтическо-музыкальный диапазон поэта необычайно широк — от свободного стиха до чеканного сонета. Поэт не играет поэтической формой, она не самоцель. Он берет именно ту форму, в которую нужно отлить поэтическую мысль, чтобы она вернее достигла человеческого сердца. Разные темы, мысли и даже настроения, звучащие на струнах нашего времени, которых касается Бенюк, объединяет пафос гражданственности. И в этом смысле Бенюк остается, как и прежде, «барабанщиком новых времен». Но если раньше поэту приходилось с трудом пробираться по горным тропам, опережая время (как он говорил о себе в стихотворении «Головою упираясь в небо», 1938), то теперь новое время нахлынуло на поэта и захватило его

Не мне принадлежат великие идеи —
Я им принадлежу.
Я, может быть, лишь капелька дождя,
Что охлаждает листья,
Пригоршня плодородной почвы
У их корней,
А может быть, я только птица,
Что вьет гнездо средь веток и поет.

Чему бы ни уподоблял себя поэт, право на песню дает ему его принадлежность к великим идеям эпохи — «любовь, мир, спокойная жизнь и право на хлеб трудящегося человека», то, что поэт навечно отдал «...свое имя и сердце тебе, трудовой народ, и тебе, страна, которая покрылась почками в феврале тридцать третьего года под знаменем Революции и расцвела в августе сорок четвертого под солнцем Свободы во время ленинского весеннего обновления мира». В этом стихотворении, предваряющем сборник, которое Бенюк так и назвал «Предисловие», поэт как бы раскрывает самого себя, определяет позицию, с какой он смотрит на мир. А мир в его стихах предстает многоликим и разнообразным. Стихотворения в сборнике Бенюка не разбиты на разделы, не объединены в циклы. Они — как бы записи в дневнике о пережитом и перечувствованном, это впечатления от мира и раздумья над жизнью. Они текут рекой, которая в своем течении захватывает все новые и новые частички действительности, в своем движении шлифует их и, наконец, обращает в стихи. Действительность поэта, которую он своими стихами делает осязаемой, зримой и волнующей,— это и образ Ленина («Картина с Лениным»); и Гривица — железнодорожные мастерские, символ классовой борьбы румынского пролетариата («Февраль месяц»); и старинная легенда, преображенная поэтом в современную балладу о том, как добывают железо из меча, принадлежавшего богатырю Джелу и закопанного в горах Трансильвании («Меч Джелу»). Здесь — размышления о любви и о человеческом возрасте, о красоте и об искусстве. Некоторые из них облекаются в форму коротких «медитаций», поэтических афоризмов. И между всеми этими разнообразными стихами есть глубокая внутренняя связь — поэт и время. Вот как бы в дневнике возникает запись:

Залюбоваться можно и поганым
Грибом и ядовитою змеей,
Сверканием штыков на поле бранном —
Я ж пред иной склоняюсь красотой.

А рядом с ней — другая:

Только формы разбиваются,
А мечта всегда живет —
На обломках мачт спасаются
Моряки средь бурных вод.

Мечта, одухотворяющая жизнь, мечта как неизменное стремление к совершенствованию всего сущего, как желание догнать завтрашний день, сделать его своими руками предстает в стихах Бенюка движущей силой человеческого развития. И поэт должен быть выразителем этой мечты, иначе он не будет поэтом.

Грядущее дается только с бою. Его нужно завоевать. Поэт улавливает ритм времени и передает его в стихах. Это ритм походного марша в будущее, где все человечество обретет мир, дружбу, свободный труд, всеобщее счастье. И недаром этот сборник завершается стихами, которые мобилизуют, зовут, приказывают:

На струнах, время, ритм свой отбивай.
Заря зажглась полоской отдаленной,
Вот день зальет весь мир из края
в край.
Мечты, солдаты бравые, в колонны!

Ю. КОЖЕВНИКОВ

КНИГА ЖИЗНИ

Zaharia Stancu. Pădurea nebună. Roman. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963.

Известный румынский писатель Захария Станку опубликовал за последние годы около трех тысяч страниц художественной прозы. Книги Станку появлялись, естественно, под разными названиями, иногда это были романы, например, «Босой» или «Игра со смертью», иногда эпопея, как незавершенный до сих пор шеститомный цикл «Корни горьки». Но в сущности, все написанное Захарией Станку в прозе *одна* книга. Перед нами своеобразная исповедь, в которой высокий лиризм и интимные переживания одаренного поэта, рассказывающего о своей нелегкой жизни, естественно соединены с широкой картиной нравов, быта и истории его страны на протяжении нескольких десятилетий. Книга эта — одно из самых примечательных и оригинальных явлений современной румынской литературы.

Хотя в короткой рецензии невозможно рассказать обстоятельно о трудных поисках и художественном своеобразии исповеди Захарии Станку, хочется все же подчеркнуть два момента, могущих дать некоторое представление о ценности и значении его труда. Романы или, точнее, различные части *единого* романа Захарии Станку о времени и о себе, несмотря на их сложную фабулу и запутанную композицию, свободное смещение времен, повторы, отклонения, отвлеченные рассуждения и неоднократное возвращение автора к одним и тем же людям и событиям, читаются все же с огромным интересом. Главная особенность его письма — искренность и страстность — заражает читателя, настраивает его на доверие с первой и до последней строки. И второе, о чем бы ни рассказывал Станку: о своем родном селе Омида или о «сливках» бухарестского общества тридцатых годов, о своей девяностолетней деревенской бабушке или о «барышне» Лупеску, любовнице короля Кароля, о нравах румынской буржуазной печати, о дикости румынского фашизма или о сложной, драматической борьбе румынских коммунистов,— содержание его книг всегда наполнено смыслом всеобщего исторического значения. Книги Станку — это энциклопедия жизни Румынии на протяжении полувека бурных исторических преобразований. Это рассказ о румынском народе и его судьбе.

Роман «Лес дремучий», который, собственно, и является предметом этой рецензии — последний из серии романов и повестей Захарии Станку. Он вышел в свет осенью прошлого года. На первый взгляд он кажется лишь развитием нескольких глав из второй книги «Корни горьки». В них рассказывалось о том, как Дарие, лирический герой всех книг Станку, приезжает в городок Рушийде-Веде уже подростком, много видевшим и испытавшим на своем коротком веку, и решает во что бы то ни стало пополнить свое образование — закончить несколько классов местной гимназии. В новом романе Станку сюжетная схема остается прежней. Однако книга шире и глубже по замыслу, чем опубликованные главы «Корней». Вернувшись к уже известному эпизоду из биографии своего героя, автор расширяет свой творческий замысел. Он ставит перед собой задачу дать широкую картину быта и нравов маленького румынского городка начала века, показать задворки буржуазной Румынии, атмосферу, породившую румынский фашизм, а также первые шаги организованного движения революционно настроенных рабочих. Однако главный герой книги по-прежнему alter ego писателя — впечатлительный и одаренный юноша, в котором пробуждается потребность поэтического осмысления мира. В румынской литературе было немало книг, правдиво рисующих затхлый мирок маленького города со всеми его уродствами и гримасами. Это одна из главных тем творчества Садовяну, Чезара Петреску, Братеску-Войнешть и многих других. Нельзя не вспомнить и Караджале с его точным, хотя и сатирически преувеличенным видением румынской провинции. Но, пожалуй, никто до Станку не создал образ поэта, живущего в этой атмосфере пошлости, корыстолюбия и бесперспективности, образ человека, для которого стремление вырваться из этой жизни в конце концов становится мощным стимулом творчества.

Городок Руший-де-Веде в книге Захарии Станку населен подлецами, мещанами, обывателями, мелкими воришками и крупными хищниками, готовящими себя для карьеры депутата или министра. Какая выразительная галерея типов, образов, характеров! Вот Стэникэ Паляку — острый, гротескный образ провинциального воротилы, сумевшего сделаться министром. А вот его секретарь Лэптурел, молодой повеса и подлец, прекрасное выражение всей аморальности и беспринципности, характерной для политической жизни буржуазной Румынии. А чего стоит профессор Митридат Велински — националист, руководитель «нового поколения» буржуазии, один из основателей того течения румынской политики, которое весьма быстро заимствовало идеологию и методы гитлеризма. Таких портретов в книге много, и все они написаны уверенной кистью художника, обладающего блестящим сатирическим дарованием.

Но ведь все это не ново в румынской литературе. Оригинальность Захарии Станку

состоит в том, что рядом с этими, в значительной степени традиционными, персонажами румынского провинциального городка он увидел и людей другого склада, характеры, покоряющие читателя своей искренностью, цельностью и стремлением отстоять свое человеческое достоинство, вопреки господствующему укладу жизни. Рядом с недорослем Филипаке Арэпашем, пьяницей и бездельником, пытающимся заручиться дипломом об окончании двух-трех классов гимназии, автор рисует его сестру Деспу — полудикое и странное существо, гибнущее из-за своей наивности, искренности и страстности. Слабая, бесхарактерная Зоя нашла свое «семейное счастье» с Панделе, который ежедневно ее избивает, и она не протестует, не сопротивляется. Но тут же мы знакомимся с деревенской девушкой Валентиной, служанкой публичного дома, которая даже в такой атмосфере сохраняет чистоту. Нет, не только пошлость, унижение, ложь и несправедливость процветают в городе, где когда-то рос дремучий лес. Тут же автор видит, раскрывает и поэтизирует внутреннее богатство и красоту подлинно человеческих чувств. И весь этот мир дан глазами Дарие, главного героя романа. Правда жизни дана через правду его поэтического видения. Дарие — его характер, его стремления, его чувства, его идеи, утверждаемые чуть ли не на каждой странице,— вот что определяет самые существенные черты нового романа Станку.

Кто такой Дарие? Прежде всего он мечтатель, живущий в мире своих образов. Отличаясь особенной, обнаженной впечатлительностью, легко уязвимый, он вместе с тем внутренне очень сильный человек. Совсем еще мальчик, он покидает свое родное село, скитается по стране, попадает в Бухарест, потом в Югославию, Италию, чтобы впоследствии снова вериться на родину, в родные места. Для Дарие скитания — главная потребность его природы, тайное и еще не совсем ясно понятое стремление возможно шире и глубже познать мир. Испытывая на каждом шагу боль, гнев, мучения и страстное желание что-то противопоставить всему тому ужасу, который он постоянно видит вокруг себя, юноша начинает сочинять стихи. Становление писателя — может быть, самая дорогая и близкая автору тема книги. Молодой Дарие на каждом шагу пытается выразить в образах свои чувства и эмоции. Романтическая любовь к татарке Уруме и трудная встреча с Валентиной, смерть торговца Тоне, его прощание с матерью и домочадцами, скитания по оврагам и просекам дремучего леса, остатки которого все еще окружают Руший-де-Веде,— все это становится для Дарие толчком для сочинения стихов. Тут подлинное «На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг». Пусть наивный и нередко противоречивый отклик, но в нем-то и содержится все своеобразие книги Станку, пафос «вызревания» души ее главного героя. Даже стихия протеста и бунта, которая не чужда Дарие, переплавляется в художественные образы, наивные, смутные, но искренние и чистые. В захолустном Руший-де-Веде происходят не только сентиментальные драмы и балаганные бои мелких и пошлых политиканов, дерущихся из-за правительственного пирога. Дарие присутствует на рабочем митинге, он видит, как горстка революционно настроенных рабочих пытается отстоять свои убеждения и принять участие в борьбе, которую уже в те годы румынский рабочий класс вел против своей буржуазии. Дарие всей душой на стороне рабочих, но его настроения протеста, вдохновленные демократическими идеями времени, все же поверхностны. Это скорее революционность чувства, и выражается она не в сознательных действиях, а в спорах с самим собой, в угрюмой тревоге, лихорадочных метаниях и колебаниях.

В романе «Лес дремучий» снова проявились как сильные, так и слабые стороны творчества Станку, те особенности его таланта, о которых румынская критика уже говорила по мере выхода в свет его предыдущих книг. Наиболее художественно силен и жизненно правдив в исповеди Станку образ главного героя — лирическое «я» писателя. Все, что связано непосредственно с переживаниями Дарие, его беспокойством и колебаниями, его воспоминаниями о детстве и родном селе, его мучительными поисками средств для самовыражения,— все это дышит правдой жизни и правдой искусства. Остальные люди, показанные в романе, это лишь спутники Дарие, дающие ему повод для всякого рода размышлений, переживаний и социальных или философских открытий. Но, к сожалению, автор не всегда верен логике созданного им же самим образа. Пытаясь осветить вчерашнее своим сегодняшним пониманием событий, автор ставит иногда своего героя в искусственные положения, приписывает ему такие идеи и действия, которые ему не свойственны. В «Лесе дремучем», как и в предыдущих романах, менее удались писателю страницы, посвященные борьбе прогрессивных и революционных сил того времени, когда формировался характер Дарие.

Захария Станку — одаренный поэт, его проза — это исповедь поэта. Во всех романах Станку есть великолепные картины природы, тонкие поэтические портреты, волнующие романтические истории. Интонация прозаика Станку поэтична; язык — точный и красочный, детали выразительны и лаконичны. Но иной раз в прозе Станку красота переходит в красивость, романтика — в слащавость, эмоциональная приподнятость — в декламацию, а суровое реалистическое изображение всех сторон действительности — в натурализм. В «Лесе дремучем» это прежде всего относится к страницам, в которых писатель рассказывает о любви Дарие к юной прекрасной татарке Уруме из добруджанского села Сорг. Об этих просчетах следует сказать, отдавая должное таланту и труду Захарии Станку, который несомненно является одним из самых интересных и сильных писателей современной Румынии.

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

НОВЫЙ ГЕРОЙ МАРИНА ПРЕДЫ

Marin Preda. Friguri. Bucureşti, Editura tineretului, 1963.

До сих пор центральное место в произведениях Марина Преды занимал герой, которому была свойственна созерцательность и который, прежде чем перейти к действию, должен был побороть в себе унаследованные от прошлого страхи и комплексы. В повести «Лихорадка», рисующей один из эпизодов героической многолетней борьбы народа Северного Вьетнама за свое освобождение, главную роль играет активный герой. Нанг — человек дела, и он не склонен к размышлениям: к этому не располагают ни обстоятельства, ни его характер. Рассказывая о событиях из жизни Нанга, автор с самого начала обращает наше внимание на эту черту: «У него не было ни времени для долгих размышлений, ни привычки к ним».

Марин Преда смело ставит своего героя в исключительно тяжкие условия. Выполняя задание, Нанг вынужден проводить целые дни по горло в трясине; только ночью он скрывается в крестьянских домах. Он совершает большие переходы, преодолевая усталость и голод. Главное в характере героя — и эту черту Марин Преда поэтически заостряет — упорство. Нангу поручено создать на оккупированной французами территории секретную базу для нападения на самый крупный в Индокитае аэродром. Выполнение этого задания связано с постоянной угрозой смерти. Одни товарищи героя убиты в бою, другие взяты в плен и подвергнуты пыткам. Но когда тщательно организованная операция проваливается, Нанг начинает все с начала, терпеливо соединяя одну за другой все порванные нити. Он пробирается несколько раз к ярко освещенному аэродрому, снова и снова осматривает все закоулки базы, бесчисленное количество раз переходит из вражеской зоны в расположение командования освободительной армии.

Упорство, настойчивость в борьбе — залог победы в самых трудных обстоятельствах и закон деятельности коммуниста,— такова идея, которую утверждает пример Нанга.

Кое-кто из критиков противопоставлял «Лихорадку» некоторым созданным на Западе произведениям на восточный сюжет. Особенно часто упоминался роман Мальро «Условия человеческого существования». Такое противопоставление не лишено оснований, ибо следует подчеркнуть, что в повести Марина Преды находят яркое выражение моральные и философские взгляды писателя — представителя социалистического реализма.

Трагические события, изображенные в романе «Условия человеческого существования», мрачны, как похоронное пение; в повести Марины Преды, если продолжить тот же образ, слышны отзвуки победного марша, светлого, как праздничные огни. Мировоззрение и творческие методы писателей определяют эти различия в общем звучании произведений.

Связь Нанга со своим народом, с его борьбой за социальное и национальное освобождение обусловлена всей его жизнью. Он родился в бедной крестьянской семье, гнувшей спину на помещичьих полях; у него было тяжелое детство. И эта связь с народом, поддержка народа помогают герою выйти живым из любой, самой отчаянной ситуации.

Румынская критика отмечает художественную силу повести Марина Преды, присущий ей внутренний накал, сочетающийся с нарочитой замедленностью рассказа.

Напряженность действия и сдержанная манера повествования хорошо гармонируют с поэтическим блеском некоторых пейзажей. Однако картины природы кратки и немногочисленны: здесь, как и в других своих произведениях, Марин Преда не злоупотребляет описаниями.

Повести «Лихорадка» принадлежит особое место в творчестве Марина Преды — писателя, прославившегося своими книгами о румынской деревне. Она прибавляет еще одну краску к палитре этого художника.

АЛЕКСАНДРУ ОПРЯ

Бухарест

ТРАГИЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Ion Lăncrănjan. Cordovanii. Roman. Bucureşti, Edltura pentru Literatură, 1963. Vol. I-III.

На обложке каждого из трех томов романа «Кордованы» изображены три суровых человеческих лица. Особенно запоминается то, что смотрит прямо на нас: иссеченное заботами, страданиями, болью, оно подобно лику земли, исхлестанной потоками.

Это лицо старого крестьянина Андроне Лотожана, а рядом — лица его сыновей, Лае и Симиона, последних представителей железного племени Кордованов. Два поколения пахарей, между которыми огненным рубежом пролегла социалистическая революция.

Каждое открытие в искусстве по-своему неожиданно. Радостной неожиданностью

вошел в румынскую литературу и роман Лэнкрэнжана «Кордованы». Можно назвать немало книг, талантливо запечатлевших социалистическое возрождение румынского села. Но, думается, в «Кордованах» впервые это трудное прощанье с вековыми устоями зазвучало во всем своем трагически-мажорном величии.

Несколько лет тому назад молодой писатель Ион Лэнкрэнжан приступил к созданию большого романа о судьбах румынского крестьянства на великом историческом рубеже. Сюжетом произведения стала история молодого крестьянина, который, вернувшись с фронта в 1945 году, начинает трудную борьбу за создание своего семейного очага, своего хозяйства. Тщетно пытается он достигнуть берегов благополучия и лишь много лет спустя приходит к выводу, что подлинно человеческое существование возможно только в мире социалистических отношений.

Эта знакомая коллизия оказалась по-новому волнующей, потому что за ее воплощение взялся щедро одаренный писатель. Потому что ему удалось написать роман, художественная ткань которого выдерживает предельное испытание «на разрыв».

Местом действия он выбрал район на Муреше-реке в Трансильвании, считавшийся цитаделью самой махровой реакции, опорой буржуазно-помещичьих «исторических» партий. Главный герой романа — младший из Логожанов, Лае, несговорчивый упрямец, настоящий потомок Кордованов, тех знаменитых гайдуков, чьим знаменем была борьба в одиночку и непокорность властям.

Упрямство и непокорность Лае Логожана помножены на пронесенную сквозь все кошмары войны мечту о земле, о мирном труде на своем собственном поле.

Трудно назвать другое произведение новой румынской литературы, в котором была бы столь глубоко раскрыта бессмысленность собственнических инстинктов. Кордованы борются за свое «хозяйство» — и уничтожают родной дом, растаскивая его по частям. Они мечтают об обильном урожае — и перепахивают друг у друга уже засеянные участки, предают огню поспевший урожай. Гордятся славой своего племени — и подстерегают друг друга по ночам, сжимая в руках оружие.

Автор романа показал, что не личная неприязнь причина распада гордого крестьянского племени Кордованов Тут действует неумолимая логика собственнических отношений старого мира. В этом мире возвращение сына с войны — величайшее несчастье, его искренняя любовь к бедной девушке — такое же несчастье. В этом мире отец не может поделить свою землю между сыновьями, ибо тогда обессмысливается его собственная жизнь. Ради земли он пытается убить сына, выжившего на войне. И сын отвечает ему такой же жестокостью.

Эта широкая крестьянская эпопея написана от первого лица, как воспоминания главного героя, вернее, как его исповедь. Подобное художественное решение безусловно ставит перед И. Лэнкрэнжаном ряд трудностей и вместе с тем оно целиком оправдано. Ибо кто же лучше прозревшего пахаря может раскрыть душу крестьянина, рассказать о его хождении по мукам?

Лае Логожан начинает свой трагический монолог в один из первых весенних дней. На Муреше ломается лед. Земля просыпается. Для Лае это двенадцатый час, час великого решения. Позади долгие годы поисков и бесконечных поражений. Отец погиб. Брат стал лютым врагом. Жена с сыном ушли из дома. Жалкими выглядят плоды его земли по сравнению с обильным урожаем на полях коллективного хозяйства. Он испил до дна горечь той «независимости» и «свободы», которую оберегал всеми силами, и понял, наконец, что был на неверной дороге. Заявление о приеме в коллективное хозяйство уже лежит на столе. И именно с высоты этого решения оглядывает Лае путь, пройденный им самим и его родным селом в последние годы.

Беспощадная в своей обнаженности исповедь прерывается местами небольшими главками-отступлениями, в которых речь идет о буднях крестьянина, о земле и судьбах ее хозяев, о круговороте сельских работ, о надеждах и отчаянии тружеников деревни. В них звучит то речитатив крестьянского плача, то свадебное величание, то горечь проклятия. Это своеобразное «песенное» сопровождение придает всему произведению характер подлинно народный.

Но в романе действует и настоящий хор. Ибо голоса крестьянской массы, которые писатель умеет передать с удивительным мастерством, звучат здесь подобно хору в античной трагедии. Этот хор появляется в самые напряженные моменты, многократно усиливая драматизм рассказа Лае Логожана, еще более подчеркивая общность судьбы героя и народа.

Но вот перевернута последняя страница романа.

Герой Лэнкрэнжана стоит у самого выхода из мрачных пещер собственности, словно не веря еще в подлинность открывающихся перед ним просторов. Но у читателя не остается сомнений: Лае нашел свой путь и никогда более не свернет с него.

Молодой художник обладает ценнейшим даром: он умеет делать зримым механизм социальных сдвигов. Кропотливо нанизывая сцены, ситуации, события, он с удивительной наглядностью раскрывает перед читателем скрытую сущность действия общественных законов. Вместе с тем И. Лэнкрэнжан показал себя великолепным мастером лепки характеров. И тут дело не столько в сочной словесной ткани романа, поэтически-крестьянской образности его стиля, сколько в способности художника раскрыть сущность характеров своих героев в социальных столкновениях, в процессе становления нового.

Заканчивая разговор об этой эпопее, нельзя не сказать о том, что в ней

излишне растянуты вторая и третья части. В изображении коммунистов писателю не всегда удается достигнуть того уровня художественной наглядности, который отличает произведение в целом. Впрочем, нельзя не отметить, что и в разработке этой сложнейшей темы И. Лэнкрэнжан сумел сказать свое слово. Прослеживая судьбы своих героев-коммунистов, он уловил некоторые новые для румынской литературы черты процесса духовной перековки вожаков села. Он показал, что успех сопутствует им лишь тогда, когда они не упускают из виду гуманистическую сущность борьбы, которую они ведут, когда в общественных преобразованиях, инициаторами которых они являются, они видят прежде всего плоды нравственного обновления людей, творцов новой жизни. Тем самым изображение слитости объективного социального процесса с субъективными устремлениями лучших сынов народа достигает в романе впечатляющей достоверности. И в этом — творческая победа И. Лэнкрэнжана.

М. ФРИДМАН

ДИТЯ СВОЕГО ВЕКА

Вероника Порумбаку. Мелодия света. Стихи. Перевод с румынского под общей редакцией и с предисловием Степана Щипачева. Составитель Ю. Кожевников. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963.

В круг полюбившихся нам книг зарубежных друзей-поэтов необходимо включить и сборник румынской поэтессы Вероники Порумбаку.

В ее книгу «Мелодия света» кроме избранных произведений из шести ранее вышедших сборников вошли и стихи самого последнего времени.

Автобиографии бывают иногда или чрезмерно многословными, перегруженными деталями, или неоправданно скупыми, мало говорящими о главном. В данном случае совсем маленькое (всего в одну страничку) «От автора» оказалось удивительно емким, дающим отчетливое представление о творческом и жизненном пути Вероники Порумбаку.

Особо примечателен один абзац. «Первые стихи были написаны мною в апреле 1944 года, во время бомбежки. Я писала их на листках из тетрадок, оставшихся от моих учеников (я была учительницей)»,— читаем мы.

Такое вхождение в литературу было не столь уж редким в военные годы. И все же переход от мирных школьных тетрадок к грозным письменам войны разителен. Он предопределил характер творчества румынской поэтессы, участницы и современницы исторических событий.

«Клинок держу в руке, а не перо я»,— говорит Порумбаку. Но наряду с боевой готовностью живет в ее стихах и женственность, любовь к природе, детям, к солнечному свету.

«За слово «мир» нас в тюрьмы запирали»,— пишет Порумбаку. А несколькими строками выше:

Весне мы верить не переставали.
И я к стволу прикладывала ухо
И слушала, как соки жизни бились.

(Перев. В. Тушновой)

Ощущению смертельной опасности сопутствует трепетное подслушивание хода весны, движения ее животворных соков.

Но еще больше, чем рождению весны, радуется Порумбаку пробуждению к новой жизни юного существа, до той поры порабощенного. Таково стихотворение об аджарской девушке Нерастан. Она сбросила угнетавшую ее чадру, ее «гордые черные глаза» смело глядят в будущее.

О сотнях Нерастан идет рассказ,
с их лицами, от солнца золотыми.
Я думаю, что часто сам Кавказ
снимает шапку белую пред ними.

(Перев. С. Морана)

Страстная заинтересованность в женских судьбах продиктовала Веронике Порумбаку эти строки.

Высоко ценит она и сокровища человеческой мысли — книги. Стихотворение «Убежище» возвращает нас к дням войны, к часам бомбежек. Люди уносят с собой в бомбоубежище все самое ценное. У одних это — «буханка хлеба, шаль или микроскоп». У других — «потрепанная норковая муфта» или нечто подобное. У Вероники Порумбаку такими «сокровищами» были школьные тетради

...Шуб не имея, я их не спасала,
А книг я не пыталась унести.
Но что смогла — в тетрадь из них
списала,
Чтобы хоть часть сокровища спасти.

(Перев. В. Тушновой)

Эти школьные тетради были дороги Порумбаку сами по себе. А незаполненные их страницы были отданы ее собственным стихам: вспомним автобиографию.

Все то тяжелое, что пережила румынская патриотка, борец за лучшее будущее Вероника Порумбаку, не заслонило от нее радости бытия.

«О Вероника, радость так прекрасна!» — восклицает она в одном из своих стихотворений, повторяя эти слова как рефрен в конце каждой строфы. Порумбаку тесно связана со своим временем, со всеми его проявлениями, с трудностями, которыми

порой оно чревато, со светлыми днями, стоящими уже у самого порога. Румынская поэтесса — подлинное дитя своей эпохи.

Я слышу — под фонарной синевою
Стучит в ворота времени дитя.—

читаем мы в стихотворении, носящем название «Дитя времени».

Чувство будущего всегда связано с теми, которые только начали жить, и с теми, кто еще должен родиться.

Я вдруг замру, когда ты дрогнешь тоже,
И стукнешь, и пойдешь впервые,
Как будто завели часы живые.
(Перев. Н. Горской)

Эти «живые» часы гармонично сочетаются с движением по стволу соков весны, которые Порумбаку ощущала даже в минуты смертельной опасности.

В стихотворении «Первое слово» маленький мальчик, вышедший из двери, протягивает ручонки к солнцу, крича: «Мячик! Мячик!» Маленький мальчик счастливо заимствовал у своей матери радостное ощущение жизни. Его «слово первое» было обращено «к сиянью жизни»...

Прогреты высоким огнем поэзии строки, посвященные «молчаливому советскому солдату», тому, кто пролагал дорогу светлому будущему. Заключительная строфа этого стихотворения звучит так:

Увидал и принял он землю мою
И стал ей защитой в бою,
И небо ему положило звезду
На каменную плиту.
(Перев. В. Тушновой)

Взлечу ли к звездам на крылах Пегаса?
Не знаю. Может быть, и не взлечу.
Гореть бы сердцу и в стихах
не гаснуть —
Я только этого хочу.
(Перев. Н. Горской)

Взлетит ли она к звездам? Если понимать это фигурально, то взлетит.

К звездам поэзии, к светлым вершинам жизни взлетают именно такие «дети своего времени», какой предстает перед нами Вероника Порумбаку.

«Потомки будут ли тебя читать?» — задает она себе вопрос.

«Потомки» — это растяжимое понятие. В него входят и те, кто придет через сотни лет. О них мы знаем мало, даже неясно представляем себе их внешний облик, их книги, их мечты. Но наши потомки, не столь далекие, думающие, чувствующие и мечтающие так, как это свойственно нам,— те будут читать Веронику Порумбаку. Можно не сомневаться в этом.

ВЕРА ИНБЕР

ТАК ЛИ ПРОСТО ОСТАВАТЬСЯ ПРОСТЫМ?

Ремус Лу́ка. Зимняя тишина. Перевод с румынского Ю. Кожевникова. Москва. Издательство иностранной литературы, 1963.

За десять глав романа Ремуса Лука «Зимняя тишина» герои книги не прожили и недели.

Внешний сюжет до предела прост: только что избранный секретарем сельской партячейки Тоадер Поп предлагает исключить из коллективного хозяйства кулаков. От этого известия забурлило тихое село Поноаре: кто и что скажет на собрании, кого решат исключить?.. Весь немалый роман—по сути дела, это несколько дней и ночей подготовки собрания и само оно с бурным, драматическим финалом. Конфликты, завязки, события? Да их совсем немного: пожалуй, одно главное—исключение кулаков. «...Когда я мечтал о первых своих героях и о первых книгах, которые я хотел написать и которых пока еще мало написал,— признается автор в предисловии к роману,— судьба Мелеховых тревожила меня больше как человеческая драма, а не как изумительно построенная интрига романа».

Итак, это не случайность, это обдуманный и выбранный принцип — человек в решающий, в узловой момент своей судьбы, человеческая драма, а не «изумительно построенная интрига». Если учесть при этом, что «Зимняя тишина» — первый роман Ремуса Лука (потом уже были написаны повесть и роман о рабочих и еще одна повесть — об интеллигенции), то можно только позавидовать той уверенности, с которой начинающий романист вступил на самую трудную, самую «малоэффектную» для себя дорогу. Ничего внешнего, ничего облегчающего, отвлекающего от существа сложнейших социальных и психологических проблем сегодняшней румынской деревни.

Отказ от «закрученной интриги», от всех атрибутов внешней занимательности характерен сейчас для романистов разных направлений. Откровенное пренебрежение ко всякого рода завлекательным «штучкам», к ремеслу сюжетосложения обернулось в крайних своих формах недоверием к сюжету вообще, родилось модное увлечение «бессюжетностью», «потоком жизни», когда на сотнях страниц или в тысячах метрах кинопленки «ничего не происходит». «Человек под микроскопом»,— провозгласили родоначальники французского «нового романа», «человек перед скрытой камерой»,— подхватили сторонники нынешней новейшей «киноправды».

Всякое стремление к правде — к правде открытой, прямой, «лишь была б она погуще, как бы ни была горька»,— дорого и увлекательно для художника. Ведь и самый талант, как давно заметил кто-то, это искусство писать правду. Однако где и кем доказано, что сюжет — помеха этому искусству? С точки зрения теоретической тут по

крайней мере недоразумение: путают сюжет с фабулой, с интригой и, отбросив интригу, пытаются обосновать «бессюжетность». Стоит еще раз вспомнить хрестоматийное, давно принятое за основу всей реалистической литературой, горьковское определение сюжета как истории развития характера, его взаимоотношений и связей с окружающим миром. История характера, а не цепь происшествий — и, стало быть, истинно бессюжетным будет произведение (если возможно таковое в природе искусства), лишенное не приключений и событий, а человеческих характеров!

Хаос фактов становится художественным образом, когда сумма наблюдений превращается в историю характера и художнику в равной мере подвластны и характер, и его движение во времени — история. Когда это так, то сюжетом, течением повествования становится сама история, и талант автора — в умении различить, проследить ее в самой обыденной, ненарушенной, простой картине жизни. Многого стоит эта простота.

К ней и стремится Ремус Лука в «Зимней тишине». Исторический перекресток, на котором встретились, сошлись пути его героев из тихой деревеньки Поноаре,— коллективизация села. Писатель точно и сразу, в первой же фразе, называет и время действия — декабрь 1953 года. С той же очерковой точностью и определенностью вводит нас автор и в обстоятельства своего повествования.

Коллективное хозяйство «Красный Октябрь» объединяло более двухсот крестьянских семейств. Земли хозяйства занимали тысячу пятьсот гектаров, в них входила и плодородная долина на левом берегу Муреша, о которой старики так часто упоминали в своих рассказах, и гористая часть, называемая Чертов трон. В хозяйстве было пятнадцать пар волов, двенадцать лошадей, около семисот овец, много свиней, кур, гусей и различного сельскохозяйственного инвентаря. В декабре 1953 года, когда происходили события, о которых ведется этот рассказ, исполнилось уже три года, как было организовано это коллективное хозяйство, но нельзя было сказать, что все в нем уже утряслось».

Скучно — слишком просто, обнаженно, слишком «документально» для романа? Можно прочесть и так, можно вспомнить при этом, что автор писал до этого по преимуществу очерки о деревне, и, стало быть, газетная очерковость его стиля не случайна. Но вспомним и другое: еще в предисловии Р. Лука предупредил нас, что чувствует себя в долгу перед классической традицией русского романа. А эта традиция вместила в себя многое, и, скажем, в «Тихом Доне», о котором вспоминает румынский романист, есть и такие, по-репортерски документальные описания исторических событий, боев, расстановки сил, в атмосфере которых складываются судьбы героев романа. И мы отлично понимаем и принимаем там это «заземление» — эту хронику времени.

Уверен, что не менее обдумана и рассчитана автором та неторопливая, тягучая дотошность, с которой обкатывают в мыслях и на языке каждое слово его герои. Не хочет он и не может, оберегая достоверность происходящего, подгонять неторопливую крестьянскую рассудительность. В том и особая сила, в том и глубина совершающихся перемен, что происходят они в вековечной «зимней тишине» деревенской натуры. «Где-то далеко-далеко запел петух и внезапно замолчал, будто его вспугнули; торопливо и нестройно ему отозвались хуторские петухи, словно хотели как можно скорее отделаться от своей обязанности и снова заснуть. В козьем сарайчике кто-то зашевелился и стал сонно пережевывать жвачку; наверно, это проснулся старый козел и задвигал челюстями, раздумывая о минувших временах. Порыв ветра на минуту взбудоражил лес, и потом все снова погрузилось в сон».

Зная привычки, психологию, уклад деревенской жизни, писатель не хуже представляет себе и политическую подоплеку тех событий, о которых пишет. Без указующего перста, без подсказки дает он почувствовать, как много значат в жизни всей Румынии те подспудные процессы, которые совершались раньше и совершаются теперь в маленьком неприметном селе Поноаре. Велика ли организация — шесть коммунистов, а как непохожи друг на друга эти шестеро! Вот один из них — Викентие Пынтя, который сначала, из жажды покомандовать, вступил в партию, а уж потом, к большому своему неудовольствию, понял: «У коммунистов только обязанностей много, а прав, как и у всех людей». Крестьянин и сын крестьянина, Викентие глубоко в себе таил жажду иметь много земли, и вот пришли новые порядки, делят хозяйскую усадьбу, но хитрой крестьянской смекалкой понял Викентие, что «теперь иметь землю значило потерять власть» — жажда власти оказалась сильнее жажды земли. Он и коллективное хозяйство, отдельное от других, придумал, чтобы сохранить за собой право распоряжаться и командовать по-своему. На эту приманку необузданной власти и ловят кулаки «стихийного анархиста» Викентие. Когда же выяснилось, что он сам себя перехитрил, когда исключили его из колхоза и из партии — «стал жить бирюком, даже когда встречал людей на дороге, то не здоровался».

И совсем иначе оказались на гребне перемен, в самом центре происходящих событий и дядюшка Филон, и пастух Хурдук, и голова сельской власти Ирина Испас, да и тот, вокруг которого шумит и волнуется это море страстей,— вновь избранный партийный секретарь Тоадер Поп. Как и все его односельчане, Тоадер мало говорит и больше думает, прикидывает, советуется сам с собой, со своей совестью — только однажды, на том собрании, где решалась не только судьба кулаков, но и дальнейшая судьба всего коллективного хозяйства, Тоадер разговорился, размечтался:

«— Скажу вам по совести, что счастье свое я так вижу: иметь дом с деревянным полом; придешь с работы, включишь радио,

послушаешь, что делается в мире. Чтобы книжки были, чтобы читать в них про разных людей, а София встречала бы хорошим обедом и была бы всегда хорошо одета. И не такое уж это невозможное дело».

С разных сторон и доподлинно знает своих героев Ремус Лука. Добрый десяток человеческих судеб и характеров развернул он в романе, мог бы, наверно, рассказать еще десяток — знания этих судеб, деревенского материала ему не занимать. И, стало быть, успех книги целиком зависел от того, как распорядится художник этим материалом: как «выстроит» его, как свяжет, как превратит отдельные биографии и факты в историю характеров. Для автора большого романа куда настоятельнее и тревожнее, чем для очеркиста или даже рассказчика, звучит с первого шага вопрос: зачем новый герой, еще одна сюжетная линия, мозаика деталей? Зачем данный диалог там, где могла быть одна описательная фраза: «они встретились и порешили на том-то»? Зачем описание разговора там, где важнее всего услышать, как они говорят? И на каждые из этих «зачем» уже не ответишь «так было» или «просто как в жизни случается» — потому что это «зачем», постоянное и единственное для каждой страницы, продиктовано уже новой действительностью и целесообразностью — действительностью и целесообразностью романа. К правде жизни теперь, после прикосновения художника, прибавилась и правда самого романа.

Случилось так, что автор «Зимней тишины» нередко оказывается в плену своего собственного материала. Он безусловно прав, когда вместе с героями-тугодумами возвращается по нескольку раз к одной и той же мысли — такова естественная для них манера мышления. Но при этом мысль видоизменяется, движется — она как бы подымается по спирали. На это движение, видимо, рассчитывает и автор, однако проследить, уловить смену оттенков ему удается не всегда — и тогда развитие сюжета, рост характеров замирает, топчется на месте, а напряжение романа ослабевает, гаснет. Чтобы сохранить, подогреть читательский интерес, романист ищет дополнительные «спасательные средства» — уже за рамками им самим избранной, непритязательной манеры. Так, скажем, искусственно начинается и тянется через весь роман мелодраматическая история взаимоотношений Тоадера и Флоари. В юности они любили друг друга, потом, когда Тоадер ушел в армию, красавицу Флоарю почти насильно взяли в богатую семью, однако родившийся у Флоари сын Корнел принадлежит не ее болезненному мужу-богатею, а все тому же Тоадеру. И теперь, когда собираются исключать из колхоза Флоарю и Корнела, не поймут ли это как запоздалую месть Тоадера? Этот вопрос, появившийся на первых страницах романа, постепенно переходит от героя к герою: уже обсудили и разобрались в нем друзья Тоадера, обдумала все на этот счет его жена София, об этом же долго советовалась и совещалась с ней Ирина — не в чем уже и сомневаться, и мучиться, а Тоадер все еще глядит исподлобья, ожидая подвоха и от случайной встречи, и от целого собрания односельчан. Характер героя, пружина сюжета как бы замерли на мертвой точке и никак не проделают тот путь, который уже проделали все герои романа и его читатели.

Замедленность, заторможенность в естественном движении сюжета потребовали от автора и особых, экстренных мер для развязки. Сошлись, схлестнулись на собрании все те, кто мучительно долго и трудно решал для себя вопрос о кулаках. Истина, справедливость времени пробили себе дорогу к самым заскорузлым умам и душам — зашатались те, кто не верил Тоадеру, повернулись в его сторону колебавшиеся. Еще немного — и простая правда его открытого, честного взгляда на новую жизнь победит, перевернет старую психологию мужика-собственника. Но автор словно не доверяет уже этой глубинной, подводной силе течения — решающий спор на собрании оборвался на полуслове: сначала кулаки подожгли овчарню, а вечером они же послали Корнела подстеречь с ножом родного отца. В схватке у рощи Корнел убит, а истекающего кровью Тоадера спасли друзья... Спор окончился преступлением, и тут уже, конечно, все решилось быстро, само собой — на двух страницах эпилога.

Но вернемся к предисловию автора: «Поскольку «Зимняя тишина» — мой первый роман, несомненно, он имеет недостатки, свойственные каждому дебюту. Однако возможно, что они не слишком расстроят читателя. Любого автора, чья книга, пусть даже самая лучшая, переводится на иностранный язык, тревожит вопрос: в какой мере жизнь, изображенная в ней, и искусство, с каким это сделано, новы и интересны для читателей другой страны?» Интерес, с которым прочтут роман Ремуса Лука советские читатели, наверно, меньше всего похож на интерес туриста к незнакомой стране — и потому, что страна знакома, и потому, что искусство этого романиста никак не рассчитано на любителей экзотики. Его интересует история — тот исторический перекресток коллективизации села, который известен нам по собственному опыту и гораздо меньше известен в национальной окраске сегодняшних событий и характеров румынской деревни. За этих сложных, хоть и неприметных с виду «людей на перекрестке» спасибо Ремусу Лука.

Роман Ремуса Лука появился в свет на родине писателя в 1956 году. С тех пор его медлительные герои проделали уже немалый путь, и писатель выпустил уже две новые повести и роман. Жизнь в румынской литературе меняется так же стремительно, как и жизнь румынской деревни (а может, и еще быстрее). И конечно же наибольший интерес у читателя вызывает еще не остывшее, свежее, сегодняшнее слово писателя. Будем надеяться, что мы скоро, очень скоро услышим на русском языке это новое слово и от автора «Зимней тишины» и от всех других, известных и еще неизвестных нам романистов Румынии.

В. СОКОЛОВ

ВЕСЕЛО О СЕРЬЕЗНОМ

Марчел Бреслашу. Толстяк выбирает профессию. Сказка. Пересказал с румынского Ю. Вронский. Москва, издательство «Детская литература»», 1964.

Хорошие книги для детей всегда учат маленького читателя добру. И учат весело, забавно, как бы исподволь: ребенок и не понимает, что его воспитывают, а вместе с тем сам делает правильные выводы из книжки.

Такова и новая, отличная, на мой взгляд, сказка Марчела Бреслашу «Толстяк выбирает профессию», остроумно пересказанная на русском языке Ю. Вронским.

Право, удивительный человек этот Толстяк — герой сказки. Он бы вроде такой, как и все обычные ребята. Ну кто из ребят не спит? А кто не любит полакомиться вкусным? Наконец, кто не мечтает о том, чтобы трудиться, как трудятся взрослые? И все же Толстяк не похож на большинство ребят, своих ровесников. Сказочный герой, он обладает всеми чертами реального мальчишки и одновременно гиперболичен. Ходит Толстяк по земле, присматривается ко всему, что делают люди, сам пытается что-то делать, но — увы! — ничего у него не получается. Решил садоводом стать, думал, «чепуха, природа все сама сделает», да не получилось. Оказывается, не так-то просто быть садоводом. Надо уметь трудиться! И строителем не стал Толстяк, и столяром, и истопником, и врачом, и учителем. Хотя очень ему хотелось! Хотелось, как говорится, не работая трудиться.

С веселой доброй улыбкой, с яркой иронией повествует автор о забавных злоключениях ленивого Толстяка.

Что ж,
Теперь ему, пожалуй,
В самый раз и отдохнуть —
Он нелегкий
И немалый
Совершил
Сегодня
Путь.
Он сегодня
К ужину
Ухитрился
Дюжину
Всяческих профессий
Перебрать
И взвесить...

Но Марчел Бреслашу не просто создал занимательную сказку. Читатель не только посмеется над героем этой сказки, но и узнает из нее о людях, которые умеют жить и работать по-настоящему. Интересно, поэтично говорит поэт и о труде садовода, и о труде строителя, и о труде портного, сапожника, повара, пастуха, врача, учителя...

Закономерна и хороша концовка сказки:

Сказка вся.
И неизвестно,
Где герой,
И что,
И как,
И нашел ли
В жизни
Место
Легкомысленный
Толстяк.
Дни летят,
Бегут недели,
И бредет
За годом год —
Время движется...
Но тот,
Кто безделья
Ищет в деле,
Дела так и не найдет!

Мы давно знаем и любим Марчела Бреслашу, маститого поэта, главного редактора румынского журнала всемирной литературы «XX век». В сказке «Толстяк выбирает профессию» наш старый знакомый предстал перед нами в новом качестве — отличного детского писателя. Это радостно и для нас, и для читателей, в том числе и маленьких советских читателей. Они, мне думается, с удовольствием возьмут в руки новую книжку Марчела Бреслашу.

СЕРГЕЙ БАРУЗДИН

ИССЛЕДОВАНИЕ О РОМАНЕ

Ion Ianoşi. Romanul monumental şi secolul XX. Bucureşti. Editura pentru Literatură, 1963.

В последние годы вопросы романа привлекают интерес румынской литературной общественности. Об этом свидетельствуют дискуссии, проведенные на страницах многих румынских журналов и газет («Лучафэрул», «Газета литерарэ», «Стяуа» и т. д.), споры вокруг прозы «аналитической» и «синтетической», а также появление некоторых работ, авторы которых стремятся осветить проблемы романа. Так, например, стоит назвать среди других монографию Сильвиана Иосифеску «Вокруг романа» и книгу Думитру Мику «Развитие румынского романа».

Монографический труд молодого литературоведа Иона Яноши «Монументальный роман и XX век», отмеченный недавно премией Союза писателей РНР, продолжает и во многом дополняет эти исследования.

Рассматривая в очень широком плане литературный процесс XX века, Ион Яноши

ставит весьма актуальные проблемы, связанные с ролью и перспективами развития романа. Интерес его к монументальным формам искусства определяется тем, что это искусство, по словам автора, является подчеркнуто социальным, гражданским, демократическим. Будучи враждебно мелкотемью, эгоцентрической ограниченности, это искусство обращается к массам и выполняет функции агитатора и пропагандиста среди масс. Напоминая о высказываниях классиков марксизма-ленинизма, автор пишет: «Искусство коммунизма подарит человечеству новые и все более возвышенные художественные сплавы, высшие формы ленинской «монументальной пропаганды», которые будут способствовать моральному и духовному облагораживанию свободной человеческой личности». Одновременно автор предостерегает своих читателей против отождествления монументального с парадным, ложновеличавым.

Обширная вступительная глава монографии Яноши («Монументальное в романе») привлекает внимание, с одной стороны, стремлением автора к строгому теоретическому обоснованию своей концепции, а с другой стороны — использованием обильного фактического материала из самых различных литератур, а также и из других областей искусства. И. Яноши раскрывает эстетические корни монументального искусства, рассматривая его как «одну из разновидностей возвышенного», в которой «внутренние масштабы находят соответствующее внешнее проявление». В подтверждение своей мысли автор ссылается на пример симфоний Шостаковича, на оперу Энеску «Эдип», на фильмы Эйзенштейна, на «эпический театр» Брехта, фрески Риверы, поэмы Маяковского и Пабло Неруды. С глубокой логической последовательностью рассматривает Яноши развитие от античной эпопеи до современной прозы, раскрывая истоки возникновения монументального романа, его соотношение с другими видами повествовательной литературы. Свежо и живо толкуя значение отдельных произведений — будь то «Годы странствий» Гете, или «Ярмарка тщеславия» Теккерея, или романы Бальзака,— Яноши подчеркивает, что стремление к эпичному, к развернутому изображению социальной действительности постоянно присутствует в истории реалистического романа. Появление монументального романа было, как показывает Яноши, закономерным явлением, заключающим путь долгих поисков в самых разнообразных литературах мира,— таков вывод, к которому приходит автор, полемически заостряя его против различных измышлений буржуазных литературоведов о так называемом «оскудении» или упадке романа.

На примере историко-литературного анализа ряда произведений Ион Яноши конкретно прослеживает различные стадии развития и формы романа-эпопеи. Несомненной заслугой автора является разнообразие привлекаемого к рассмотрению материала и выводы о месте и значении различных произведений в развитии всемирной литературы, в частности, в развитии романа.

Правда, само понятие монументальности трактуется им несколько абстрактно, без учета определенной исторической обстановки, отчего стирается грань между монументальным искусством нашего времени и предшествующих эпох (хотя бы античности или классицизма).

Первые главы посвящены трем представителям русской классической и советской литературы. Это Лев Толстой, Максим Горький и Михаил Шолохов. Уже само наименование глав говорит о том, какое место отводит автор этим писателям в истории монументального романа. «Бессмертный образец» — так названа глава о романе «Война и мир». Страницы, посвященные «Жизни Клима Самгина», озаглавлены «Движущаяся панорама десятилетий». В главе «Эпопея социалистической революции» подробно рассматривается роман «Тихий Дон». Глубокое изучение этих произведений, а также знакомство с важнейшими трудами советских литературоведов позволило Яноши выявить характерные особенности названных романов-эпопей. В этих очень интересных главах содержится много ценных наблюдений, касающихся мастерства Толстого, Горького, Шолохова, традиций, которые они восприняли и развили (в частности, говорится о развитии Толстым в романе «Война и мир» традиций Пушкина и Гоголя). Автор умеет живо воссоздать картину литературного процесса, интересны его сопоставления различных писателей, а также параллели с искусством — музыкой, живописью.

В отдельных главах И. Яноши останавливается на эпопеях Генриха Манна и Джона Голсуорси.

Книга завершается двумя главами, посвященными румынской литературе. Это «Кипение масс» (о романе Ливиу Ребряну «Мятеж») и «Книга румынского народа» (о монументальности творчества Садовяну). Следует, во-первых, отметить интересный замысел И. Яноши, рассматривающего эти произведения румынской литературы на широком литературном фоне. Включение романов Ребряну и Садовяну в процесс мирового развития литературы помогло автору убедительно раскрыть некоторые существенные их черты, а также выявить их место в истории современного романа. Заслуга автора, несомненно, и в том, что он дает возможность читателю понять и оценить то новое, что внесли произведения румынских писателей в становление романа-эпопеи XX века, исходя из опыта исторической жизни народа и традиций предшествующей румынской литературы.

И. Яноши подчеркивает, что хотя Ребряну и не владел научным мировоззрением, он сумел с глубиной, свойственной великим художникам, показать некоторые существенные черты румынского общества и «создал в румынской литературе одну из самых ярких обличительных картин буржуазно-помещичьего государственного аппарата». Яноши справедливо высоко оценивает те

страницы, в которых Ребряну со свойственной ему объективной, сугубо эпической манерой изображает коллектив, крестьянство, описывает народные массы, их движение, их динамику.

В отличие от Ребряну романы Садовяну многие считают лирическими, субъективными. Рассматривая некоторые наиболее значительные произведения Садовяну («Братья Ждерь», «Никоарэ Подкова», «Соколы» и другие), автор подчеркивает, что стремление к монументальному характерно для прозы Садовяну. Творчество Садовяну, по справедливому суждению Яноши, явилось синтезом вековой истории румынского народа со всеми его тревогами и чаяниями. Автор видит проявление монументальности у Садовяну в изображении человека, в описании природы, в утверждении героического начала. Ему удалось убедительно показать, что эпическое в творчестве Михаила Садовяну отнюдь не оттеснено лирическим, что эпическое занимает очень важное — если не первое — место в сочинениях румынского классика. Может быть, именно эта аргументация и составляет сильную сторону главы.

Иногда у читателя возникает желание поспорить с автором, в частности, по некоторым теоретическим вопросам. Тем не менее нельзя не оценить положительно эту книгу, исследующую одно из характерных явлений современной литературной жизни — становление и развитие романа-эпопеи в XX веке.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ

Бухарест

РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА

Eugen Barbu. Facerea lumii. Bucureşti, Editura pentru Literatura. 1964.

Имя Эуджена Барбу известно советскому читателю по переводам его повести «Ойе и его сыновья»*, рассказа «Низовая работа», а также романа «Северное шоссе».

Новая книга, названная «Сотворение мира», тематически примыкает к группе произведений Э. Барбу, посвященных революционной борьбе румынского рабочего класса в прошлом, его созидательному труду — в настоящем.

Особенно тесно роман «Сотворение мира» связан с рассказом «Низовая работа». Действие его развивается в той же типографии, принадлежавшей до национализации предпринимателю Базилеску; и некоторые герои романа нам знакомы: печатник Антоникэ, директор типографии Филипаке, секретарь партийной организации Пынтя Можно сказать, что опубликованный несколько лет назад рассказ «Низовая работа» послужил как бы заявкой на появившийся сейчас роман.

В «Сотворении мира» перед нами эпоха конца 40-х годов, когда молодая Румынская Народная Республика делала свои первые шаги, когда закладывались основы социалистического общества. Автор не стремится создать произведение со сложной фабулой и запутанной интригой; «Сотворение мира» — роман психологический, в котором атмосфера периода трудного, напряженного, но полного великих проектов и новых перспектив показана прежде всего через раскрытие внутреннего мира героев.

Эпоха формирует людей, но эпоха — это и оселок, на котором определяется их истинная сущность,— такова основа замысла книги. И проблематика, и действие «Сотворения мира» сконцентрированы вокруг четырех фигур — Филипаке, Эвы, Ангела и Маникатиде. В возникающих между ними коллизиях и отражается наше время — время рождения нового мира.

В романе две сюжетные линии. Первая — линия Филипаке и Ангела. И хотя их взаимоотношения показаны главным образом на фоне жизни типографии, в которой они оба работают, но в этой сюжетной линии заключены и более широкие обобщения, говорящие об огромных социальных сдвигах тех лет. Вторая линия — линия Эвы — ведет нас в другой лагерь, лагерь людей «старого мира». Таким образом, несмотря на то, что писатель не ставил своей основной целью создание широкого исторического полотна, характерные исторические и социальные черты эпохи отражены в книге с достаточной полнотой.

Для Филипаке — человека исключительной моральной чистоты, цельного, искреннего, предельно честного и порой даже несколько наивного, сегодня свершается то, к чему он стремился долгие годы, ради чего он скитался по тюрьмам, вел преисполненное опасностей существование подпольщика. Выдвинутый народом, Филипаке спокойно и твердо встречает неизбежно возникающие трудности в работе типографии, которой он руководит. Образ Филипаке — большая удача Э. Барбу; это живой человеческий характер, обладающий подлинной теплотой.

Филипаке противопоставлен руководитель профсоюзной организации типографии — Ангел. Это противопоставление намеренно подчеркнуто и заострено автором. Биографии Ангела и Филипаке начинаются одинаково — оба они росли в нищете, оба рано пошли «в люди», оба стали рабочими. Но эгоизм и внутренняя неустойчивость Ангела не позволили ему до конца отдать свою

* См. журнал «Иностранная литература» №№ 11, 12, 1959 г.

жизнь революционным идеалам. Эпоха проверила Ангела так же, как она проверила и Филипаке. Достигнув «власти», некоторого общественного положения, Ангел не стремится ни к чему, кроме удовлетворения своего честолюбия, своей неуемной тяги к «радостям жизни». Все это толкает его на связь с враждебными делу социализма людьми.

К сожалению, в образе Ангела проступают, особенно к концу книги, черты довольно шаблонного, даже мелодраматического злодея. Он беспрестанно строит козни против Филипаке, сколачивает против него целую клику, но эти козни и интриги зачастую кажутся лишь следствием «инфернальности» Ангела.

Центральный женский образ романа — дочь Филипаке, юная балерина Эва. Целиком уйдя в свою работу, отец и мать не уделяют Эве большого внимания; она растет, предоставленная, в сущности, самой себе, и постепенно становится чужой родителям. Связь между Эвой и Маникатиде оказывается для Эвы роковой. Неопытной, тянущейся к необычному Эве представляется романтичным этот изысканный, утонченный потомок якобы древнего рода. Фигура Маникатиде — человека авантюрной складки, дельца, хищника вылеплена превосходно — уверенно, точно, беспощадно и очень правдиво. Национализация приносит Маникатиде — богачу владельцу беговых конюшен полный крах. И в душе Эвы, наряду с любовью, просыпается жалость, следуя которой она помогает Маникатиде в его контрабандистских операциях, собирается вместе с ним тайно перейти границу, не покидает его даже тогда, когда он, окончательно опустившись, превращается в жалкого спившегося старика, живущего на средства Эвы и своей прежней жены, Клары. Эва не сентиментальна и не глупа, она любит Маникатиде, но вскоре узнает ему цену и ясно понимает истинное положение вещей. Автор обрывает путь Эвы на крутом, опасном повороте судьбы. Что будет с Эвой? Она осталась в стороне от столбовой дороги, которой шла передовая молодежь ее времени, она идет по извилистой темной тропинке, одинокая в мире, где у нее нет ни с кем контакта. И лишь не утраченные еще человечность, честность, прямота могут ее спасти.

В книге все время слышится авторский голос. Мы слышим его с самого начала, хотя первые главы представляют собой воспоминания Филипаке о решающем дне 11 июня 1948 года — дне национализации промышленности, и события здесь показаны сквозь призму восприятия Филипаке. Затем, по мере развертывания сюжета, голос автора звучит все громче и настоятельнее. Перед нами не бесстрастный летописец, а взволнованный участник событий, человек, заинтересованно и горячо относящийся к своим героям. Благодаря этой эмоциональной интонации автор получает возможность сближать далеко отстоящие друг от друга по времени эпизоды или переставлять их, более выпукло выделяя принципиально важные ситуации и характеристики.

Одной из сильных сторон новой книги Э. Барбу является ее необычайная живописность. Можно смело сказать, что пейзаж, и в первую очередь пейзаж Бухареста, становится также героем романа. Улицы и пригороды столицы, села и дороги, старинные монастыри и кладбища, встающие перед нами во все времена года, в самом различном освещении, вызывающие самые разнообразные настроения, выписаны с подлинной поэзией и красочностью. И не только пейзаж умеет писать Э. Барбу, но и человеческие фигуры, входящие составной частью в этот пейзаж,— в этом отношении особенно выразительна вечерняя толпа на главных улицах столицы в последней главе романа. Именно в подобных местах романа сильнее всего проявляются характерные черты художественного языка Э. Барбу, эластичность и гибкость его обладающей стремительным музыкальным ритмом фразы, и читать эти страницы — большое наслаждение.

Д. ШПОЛЯНСКАЯ

Памяти Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГА

Редакция журнала «Иностранная литература» потеряла одного из самых ценных своих работников, члена редакционной коллегии, ответственного секретаря Бориса Исааковича Розенцвейга.

Шестнадцатилетним юношей встретил Борис Исаакович Розенцвейг Октябрьскую социалистическую революцию. Окончив школу, а потом Киевский институт народного хозяйства, он впервые выступает в печати и становится профессиональным литератором. Сначала Б. И. Розенцвейг заведует иностранным отделом в газете «Киевский пролетарий». В течение десяти лет он — заведующий отделом культуры, а затем заместитель заведующего иностранным отделом газеты «Комсомольская правда». Потом «Красная звезда», журнал «Пограничник», «Литературная газета» и неустанная литературная работа в газетах и журналах — им написаны десятки статей, памфлетов, международных фельетонов. С 1955 года Б. И. Розенцвейг — в журнале «Иностранная литература», где он работал до того дня, когда неизлечимая болезнь сломила его.

Бориса Исааковича отличали широкий кругозор, глубокое и всестороннее знание мировой литературы, правильная ориентировка в литературных течениях, отличный вкус — качества, необходимые для того, чтобы из моря литературной продукции всех континентов и стран отобрать самое ценное, самое нужное людям. Зоркий глаз Бориса Исааковича не упускал ни одной заслуживающей внимания новинки, он читал во много раз больше того, что появлялось на страницах журнала,— читал, изучал, сопоставлял и лучшее рекомендовал журналу, его редакционной коллегии. Человек большой культуры, владевший несколькими иностранными языками и наделенный редким чувством слова, он был прекрасным редактором, и о работе с ним авторы и переводчики неизменно вспоминают с благодарностью. А в качестве ответственного секретаря он проявил и недюжинные организаторские способности, и неистощимую инициативу, и высокую требовательность. В редакции «Иностранной литературы» он был окружен заслуженным уважением, все знали его принципиальность и компетентность, все прислушивались к его мнению.

Скромный и бесконечно преданный делу, настоящий труженик, он так и останется в нашей памяти склоненным над рабочим столом над рукописями и книгами.

Горько сознавать, что на заседаниях редакционной коллегии мы больше не услышим верных и точных суждений Бориса Исааковича, не встретим его вдумчивого взгляда, не увидим его тонкой, умной усмешки.

Журнал наш скоро отметит свое десятилетие. Невыразимо печально, что среди нас не будет нашего старого, дорогого товарища. Пройдут года, но благородный и неустанный труд Бориса Исааковича по-прежнему будет служить нам примером.

Редакция журнала
«Иностранная литература»

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Произведения М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Мать» в течение последних нескольких лет издавались в Индии на языках тамили, пенджаби, каннада, хинди, гуджерати и ассами.

Франкфуртским издательством «Зуркамп» (ФРГ) выпущены «Сказки об Италии» М. Горького.

Итальянское издательство «Эдитори риунити» продолжает выпуск собрания сочинений М. Горького. Недавно вышел очередной пятый том, в который вошли произведения писателя, созданные им в 1900—1906 гг.

Роман К. Симонова «Живые и мертвые» вышел в издательстве Бальдини и Кастольди (Италия).

Белградское издательство «Народная книга» приступило к выпуску полного собрания сочинений С. Есенина в пяти томах.

В издательстве «Просвета» (Югославия) вышла повесть Н. Чуковского «Морской охотник».

Роман Д. Гранина «Иду на грозу» вышел в издательстве «Народна култура» (Болгария). Тем же издательством выпущен сборник избранных произведений И. Бабеля, в который вошли «Конармия», «Одесские рассказы» и пьесы писателя.

Софийское издательство «Профиздат» выпустило повесть В. Конецкого «Завтрашние заботы».

Болгарский журнал «Септември» поместил публиковавшийся в советской печати отрывок из романа С. Дангулова «Дипломаты». В том же номере журнала опубликованы главы из поэмы Е. Исаева «Суд памяти».

В Софии изданы книги С. Смирнова «Герои Брестской крепости» и А. Макаренко «Флаги на башнях».

Копенгагенское издательство «Гюльдендаль» выпустило «Донские рассказы» М. Шолохова.

Сборник стихов Г. Леонидзе под названием «Одинокое дерево» выпущен варшавским издательством ПИВ. Там же изданы стихи А. Ахматовой.

Отрывки из автобиографической повести «Вселенная — открытый океан» В. Николаевой-Терешковой опубликованы в журнале польских женщин «Пшияцюлка».

В Ливане изданы книги Н. Островского «Как закалялась сталь», К. Симонова «Товарищи по оружию» и К. Паустовского «Золотая роза».

Венгерская газета «Непсабадшаг» опубликовала рассказ В. Солоухина «Моченые яблоки» и поэму Р. Рождественского «Письмо в XXX век».

В издательстве «Эуропа» (Веигрия) вышел роман Ю. Бондарева «Тишина».

«Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова выпущен английским издательством Фредерика Мюллера.

Повесть Ю. Крымова «Танкер «Дербент» и книга сказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка» изданы в Объединенной Арабской Республике.

Роман В. Катаева «Белеет парус одинокий» выпущен в Японии.

Повесть М. Ауэзова «Выстрел на перевале» вышла в ГДР в издательстве «Культур унд фортшритт».

Тем же издательством выпущен сборник рассказов Ч. Айтматова под общим названием «Золотой след снопов».

Повесть Владимира Тендрякова «Суд» вышла в лейпцигском издательстве «Реклам».

Во Франции издательство «Галлимар» выпустило второй том автобиографической трилогии К. Паустовского «Повесть о жизни», которая публикуется под названием «Беспокойная молодость».

В издательстве «Словенски списовател» (Братислава) вышла повесть П. Нилина «Через кладбище».

Избранное из дневника А. Довженко выпустило пражское издательство «Чехословенски списовател». В издание включены фотографии и рисунки автора.

Издательством «Ашехоуг» (Норвегия) выпущена повесть В. Аксенова «Коллеги».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛЖИР

ЯРКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Двенадцать лет назад в стране была создана народная театральная труппа «Масрах-эль-Гарагуз», в репертуар которой входят исключительно пьесы национальных авторов.

Недавно «Масрах-эль-Гарагуз» показала спектакль «Перед постановкой», подготовленный основателем театра и его режиссером Хаки. Первая половина спектакля состоит из двух мимических одноактных пьес «Рыболовная сеть» и «Хижина», в которых рассказывается о современной жизни алжирских рыбаков и золотоискателей. Творческим поискам художника посвящена пьеса «Путешествие», которую показывают во второй половине.

Критика отмечает прекрасную игру актеров, а также высокое мастерство режиссера, которые общими усилиями создали яркий спектакль. По мнению театральных обозревателей, труппе «Масрах-эль-Гарагуз» свойствен «типично алжирский народный стиль».

Сцена из одноактной пьесы «Рыболовная сеть» в исполнении артистов труппы «Масрах-эль-Гарагуз».

(Газета «Юманите»)

ПЕРВЫЙ ЦВЕТНОЙ ФИЛЬМ

Созданный по указанию правительства республики молодежный киноцентр в Эль-Биаре выпустил недавно первый в стране цветной документальный фильм «Народ идет вперед». По сообщению корреспондента журнала «Жён Африк» («Молодая Африка»), в создании этого фильма принимали участие группы молодых киноработников, которые ездили по всей стране, запечатлевая на пленке картины жизни и труда своего народа.

Корреспондент пишет, что фильм «Народ идет вперед» — большая удача национальной кинематографии и что «теперь уже можно говорить о появлении школы алжирского кино».

АНГЛИЯ

ЛОУРЕНС ОЛИВЬЕ В РОЛИ ОТЕЛЛО

Вся английская печать единодушна в высокой оценке последней актерской работы Лоуренса Оливье—ис-

Лоуренс Оливье в роли Отелло.

(Еженедельник «Санди таймс»)

полнения им роли Отелло. В его интерпретации, по мнению театральных обозревателей, Отелло — не только смелый, чистый и доверчивый человек. Созданный Оливье образ благородного мавра в некотором отношении шире шекспировского. Своей игрой Оливье достигает того, что современный зритель видит в Отелло представителя великого африканского континента наших дней. В этом спектакле Яго—завистливый, злобный, фанатичный — чем-то напоминает оголтелых расистов из штата Миссисипи. В известном смысле драма Отелло в интерпретации Оливье приобретает оттенок расового конфликта.

Оливье, который, по словам обозревателей, буквально потряс Лондон своим мастерством, играет Отелло впервые. Обозреватель еженедельника «Санди таймс» подчеркивает, что Оливье не только вложил в роль Отелло труд и вдохновение; в его исполнении чувствуется глубокое преклонение перед этим шекспировским образом.

НОВЫЙ РОМАН УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА

Вышел в свет новый роман известного писателя Уильяма Голдинга «Шпиль». События его происходят в городке Барчестер в Англии, в мрачные годы средневековья. Главный герой романа — архиепископ Джослин, одержимый мыслью увенчать местный собор шпилем высотой в несколько сот метров. Джослин верит в свою «божественную миссию», начинает сооружать этот шпиль, хотя его предупреждают, что фундамент собора не выдержит такой нагрузки; в конце концов архиепископ погибает под обломками обрушившегося собора.

Рецензент журнала «Спектейтор» пишет в связи с выходом романа, что Голдинг — «большой знаток человеческой психологии и человеческих взаимоотношений». По его мнению, творческая манера писателя может быть названа «символическим пессимизмом». У героев Голдинга, попавших в трудное положение, проявляются отрицательные черты характера, и это дает автору возможность показать многие пороки общества, в котором он живет. К этому приему автор прибегает и в романе «Шпиль», отмечает рецензент.

Новый роман Голдинга вызвал многочисленные отклики печати. Большинство литературных обозревателей дает высокую оценку мастерству писателя, хотя не всем нравится тяготение автора к символике, а также чувство безысходности, пронизывающее повествование.

«ПОГАСШИЕ СВЕТИЛА»

По сообщению обозревателя газеты «Дейли уоркер» Джейка Сазерленда, в лондонском «Нэшнл тиэтр» поставлена «Пьеса» Самюэля Беккета, действие которой происходит на затемненной сцене, так сказать, «по ту сторону могилы». Для творчества Беккета это не новость, отмечает обозреватель. В «Счастливых днях», например, героиня совсем не аллегорически погружается в землю, пока на поверхности не остается одна голова. Престарелая чета в пьесе «Конец игры» живет в мусорном ящике. В романе Беккета «Как это есть» на 160 страницах — кстати сказать, без каких-либо знаков препинания — на читателя буквально изливается поток нечистот.

Все эти писательские приемы не случайны, пишет Сазерленд. В представлении Беккета жизнь настолько же бесплодна, насколько и абсурдна, она ничуть не лучше смерти. Нельзя отделаться от впечатления, что герои «ждут не столько спасения, сколько гибели».

Обозреватель приводит в связи с этим высказывание ирландского драматурга Шона О'Кейси о творчестве Беккета, Ионеско, Камю, Кафки. Писатель назвал всех их «большим созвездием погасших светил, которые только затемняют наше небо»...

БОЛГАРИЯ

СЛОВО ИМЕЮТ ПИСАТЕЛИ

В связи с исполняющимся в сентябре этого года двадцатилетием освобождения Болгарии от фашизма журнал «Септември» обратился к известным болгарским писателям с просьбой поделиться мыслями о состоянии болгарской литературы. В одном из последних номеров журнала были опубликованы первые ответы.

«С радостью можно отметить,— написал Георгий Караславов,— что за последние семь-восемь лет в нашу литературу, в полном смысле этого слова, хлынул поток свежих творческих сил. Они обогатили и обогащают литературу новой тематикой, новыми героями, наблюдениями, эмоциями, идеями, присущими поколению, рожденному, вскормленному и закаленному в вихре социалистического строительства». Георгий Караславов отметил возросший интерес читателя к современной художественной литературе, что в свою очередь, по его мнению, свидетельствует о совершеистовании мастерства болгарских авторов.

О значении тематики прошлого в современной литературе на страницах журнала рассказал Людмил Стоянов. «Обращение к прошлому и к аналогиям с ним неизбежно. Маркс и Ленин, говоря о развитии литературы, всегда обращались к прошлому и находили в нем примеры и сравиения. Настоящее рождается из прошлого, из революционных стремлений и борьбы иарода; в нашем прошлом заложены основы будущего...»

Писатель Камен Калчев высказал свое мнение о том, каким должен быть новый герой, человек социалистического общества: «Нашего современника характеризует стремление сделать жизнь всех людей более справедливой, красивой, свободной, мириой, счастливой, исполненной творческих порывов. Такие герои — главная тема нашего творчества, так как они соль земли, характер и образ нашей эпохи».

О ЮНОСТИ ЭНГЕЛЬСА

Книга молодого автора Стефана Продева «Фред, или Весиа» сразу же обратила на себя внимание критики: она повествует о юности Фридриха Энгельса.

По словам рецензента журнала «Септември», в книге Продева описаны жизнь и быт промышленного города Бармен, где родился Энгельс, показаны условия, в которых формировался характер великого соратиика Маркса. Любовно и бережно нарисован автором портрет Энгельса в юности. Продев показал его молодым, энергичным человеком, который в то время уже начал проявлять склонность к иаучному анализу явлений общественной жизни.

Высоко оценивая книгу молодого автора, рецензент журнала пишет: «Перед нами первая книга, написанная болгарским автором об этом большом человеке, книга самобытная... прекрасная и значительная книга».

В г. Стара-Загора состоялась выставка работ молодого болгарского графика Милчо Христова, пользующегося популярностью в стране. Тема большинства его произведений — жизнь трудовой Болгарии. На снимке: рисунок Христова «Отдых».

(Журнал «Изкуство»)

ВЕНГРИЯ

СОВРЕМЕННОСТЬ ПРЕОБЛАДАЕТ

Выпуск антологий короткого рассказа уже имеет в Венгрии свою историю. За последние годы они выходили несколько раз. Читателям хорошо знакомы их названия: «Открытие человека», «Пролог», «Пробуждение», «Эхо»; в них были напечатаны лучшие рассказы венгерских писателей.

Ныне список этих названий пополиился еще одним — «Панорама». У этой антологии есть и своя особенность: в нее включены произведения писателей, которые дебютировали в предыдущих сборниках, а теперь стали признанными мастерами короткой новеллы. Среди авторов антологии — Лайош Барат, Карой Сакони, Михай Варкони, Эндре Герейеш, Эндре Фейеш и многие другие. Впервые в жанре новеллы выступили широко известиые в Венгрии поэты Михай Ваци и Андраш Нергеш.

«Закономерио то,— пишет корреспондент газеты «Ма-

Новый фильм «Не в такие времена мы живем», поставленный по сценарию известного драматурга Иштвана Каллаи, был с интересом встречен венгерскими зрителями. Фильм высмеивает некоторые обывательские взгляды на дружеские отношения между людьми. На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

дяр немзет»,— что молодые писатели обращаются прежде всего к теме современности — она преобладает в этой книге... Антология пользуется огромным успехом у читателей, и сегодня ее уже трудно купить в книжных магазинах».

ГДР

ПОЗЫВНЫЕ СИГНАЛЫ БИТТЕРФЕЛЬДА

Пять лет назад, в 1959 году, в промышленном городе Биттерфельде состоялась первая конференция деятелей литературы и искусства совместно с трудящимися республики. Она открыла новые пути развития социалистической национальной культуры ГДР, вызвала к жизни новые таланты.

Недавно в Биттерфельде состоялась вторая творческая встреча писателей и художников, рабочих и крестьян республики. «Биттерфельдские конференции стали позывными сигналами бурного развития нашей социалистической культуры»,— так образно охарактеризовал значение биттерфельдских встреч первый секретарь ЦК СЕПГ, Председатель Государственного совета ГДР Вальтер Ульбрихт, который произнес на конференции большую речь о дальнейших практических задачах социалистической национальной культуры.

Выступившие на конференции известные писатели ГДР говорили о возросшей гребовательности к произведениям литературы и литературной критики, об ответственности творческих работников перед народом. Поэт Куба заявил, что одна из наиболее важных творческих проблем современной литературы ГДР — разрушение противоречий между старым и новым в сознании людей, строящих социализм.

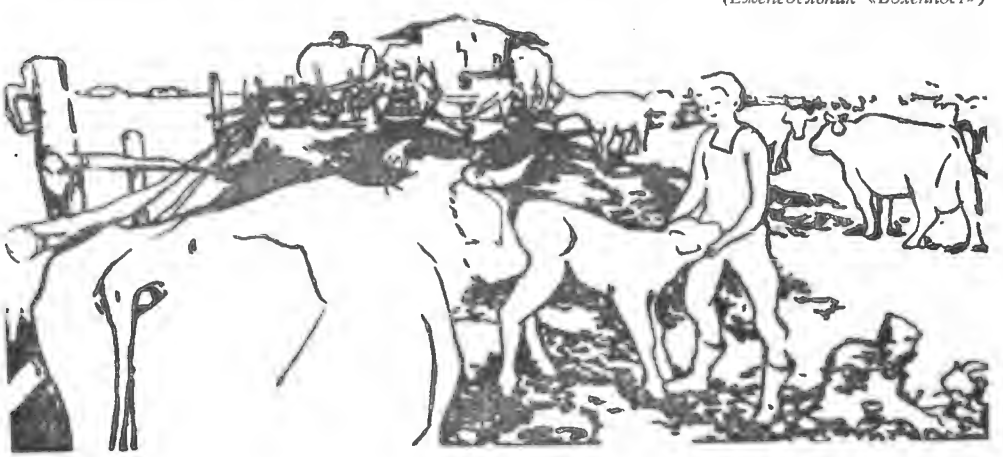
Бернгард Зеегер призвал писателей активно выступать в печати как по вопросам литературы и искусства, так и по другим важным проблемам жизни республики.

Криста Вольф, незадолго до конференции побывавшая в Западной Германии, обратила внимание участников конференции на тот факт, что западногерманские газеты и журналы, которые пытаются критиковать литературу ГДР, вынуждены теперь признавать ее большую художественную ценность.

Министр культуры ГДР Ганс Бенциен в своей речи заявил, что работа второй

Многие художники республики подготовили новые работы в честь исполняющегося в октябре нынешнего года 15-летия ГДР. Здесь мы воспроизводим рисунок художника Карла-Гейнца Эффенбергера из цикла «Молодежь в деревне».

(Еженедельник «Вохенпост»)



биттерфельдской конференции продемонстрировала тесную связь, существующую между писателями и трудящимися республики, их общее стремление содействовать дальнейшему развитию социалистической литературы, служащей мирным и гуманным целям.

«СЛЕД КАМНЕЙ»

Новый роман Эрика Нейча «След камней» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 4, 1964), публиковавшийся в молодежном журнале «Форум», вышел теперь отдельной книгой в издательстве «Миттельдейчер-ферлаг». Действие романа происходит в 1959—1961 гг. на одной из крупнейших строек республики.

Литературные обозреватели сходятся на том, что «След камней» — одно из значительных явлений в литературной жизни ГДР. Ганс Кох в еженедельнике «Зоннтаг» высказывает мнение, что реалистический образ главного героя романа, рабочего-строителя Ганнеса Баллы,— удача немецкой социалистической литературы. Он — представитель рабочего класса, который успешно строит новую жизнь в Германии. Выходец из крестьянской среды, Балла прошел противоречивый и трудный путь от простого рабочего до бригадира и героя труда.

Вторая сюжетная линия романа—история любви секретаря партийной организации Горрата и Катрин Клее, работающей на стройке инженером. Их отношения осложнены тем, что у Горрата уже есть семья.

Актуальные проблемы, которые ставит Нейч, жизнь и труд людей, показанные на страницах романа, привлекли к этому произведению всеобщее внимание. Дискуссия вокруг романа началась еще в то время, когда он публиковался в журнале «Форум». Обозреватели отмечают, что сила романа Нейча в «требовательном оптимизме», «в ощущении больших перспектив и широких горизонтов социалистической Германии».

ФРГ

«ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ОТВЕТА»

Так назвал свой новый роман о проблемах воспитания современной западногерманской молодежи писатель Томас Валентин. В 1961 году появился его первый роман «Ад для детей», а в 1962 году — второй, «Преследование». Новый роман — «Оставшиеся без ответа» — недавно вышел в Гамбурге в издании «Клаассен-ферлаг».

«Почему никто не пишет о том, что нас больше всего волнует? Почему в наше время писатели не берутся за современные темы?» — спрашивает герой романа восемнадцатилетний Иохен Рулл. В этих словах героя заключена основная идея романа. В Западной Германии до сих пор остаются без ответа многие вопросы, волнующие молодежь: о будущем Германии, о взаимоотношениях между обоими немецкими государствами, об их воссоединении, о том, кто заинтересован в перевооружении бундесвера атомным оружием. Просто Томас Валентин рассказывает о том, почему молодое поколение немцев Западной Германии не получает ответа на самые важные жизненные вопросы.

На страницах романа читатель встречает воспитателей современной западногерманской молодежи—бывших нацистов, рядящихся в тогу демократии. Показана в романе и другая, к сожалению, небольшая, часть воспитателей, которая стремится оградить молодое поколение от неофашистского влияния и дать ему верное представление о жизни. Один из таких воспитателей просит польские власти предоставить ему политическое убежище. Его примеру следует и герой, который попадает в ГДР, где находит, наконец, ответы на многие волнующие его вопросы.

Литературный обозреватель еженедельника «Зоннтаг» пишет, что «Томас Валентин своим романом «Оставшиеся без ответа» способствует взаимопониманию между молодыми немцами Востока и Запада».

ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ

Рисунок Альберта Гейнцингера «Отдыхающая марокканка».

(Приложение к газете «Националь-цейтунг»)

Герои произведений мюнхенского художника-графика Альберта Гейнцингера — люди труда: горняки, грузчики, прачки. Это люди с различным цветом кожи, живущие в странах разных континентов. Гейнцингера интересует их быт, нелегкий труд. Он видит свое творческое призвание в реалистическом изображении современной действительности.

В интервью корреспонденту газеты «Националь-цейтунг» художник сказал следующее о своем отношении к искусству: «Бегство от современности не является ответом на современность. Я глубоко убежден, что для нас, людей сегодняшнего дня, мир будущего—это мир социальных перемен...»

АНТИФАШИСТСКИЙ ФИЛЬМ ВОЛЬФГАНГА ШТАУДТЕ

Кинорежиссер Вольфганг Штаудте, автор известных антифашистских фильмов «Убийцы среди нас», «Ярмарка» и «Розы для господина прокурора», подвергается новым нападкам правых и реваншистов в связи с выходом на экраны его нового фильма «Экскурсия господ».

Фильм рассказывает о том, как группа западногерманских туристов в Югославии случайно попадает в затерявшуюся в горах деревушку. Навстречу туристам вы-

ходит группа женщин, одетых в траур.

«Давайте споем этим дамам приветственную немецкую песенку»,— предлагает один из туристов. Заслышав немецкую речь, с криками «Немцы! Это же немцы!» женщины бросаются врассыпную. Туристы изумленно смотрят друг на друга: «Что случилось?»

Как выяснилось, в этой деревне живут почти исключительно вдовы — во время второй мировой войны гитлеровские изверги учинили кровавую расправу над их мужьями...

Неудивительно, что еще до выхода фильма на экраны западногерманская пресса, в частности, реваншистский листок «Дейче националь унд зольдатенцейтунг», предприняла яростные атаки на Штаудте, называя его фильмы «антинемецкими».

ГРЕЦИЯ

ПАМЯТИ ДВУХСОТ ПАТРИОТОВ

«Я никогда не забывал о вас. За вас, за греческий народ я отдаю свою жизнь сегодня, 1 мая 1944 года. Целую вас в последний раз. А. Вагенас». Торопливые строчки, написанные на клочках бумаги, на папиросных коробках... Последние слова привета родным и близким...

Их было двести человек. Они были расстреляны гитлеровцами в тире Кесарьяни 1 мая 1944 года. Памяти славных борцов Сопротивления была посвящена выставка, открытая недавно в «Клубе книги» афинским издательством «Темелио». На витринах — предсмертные письма, документы, фотографии, полотна художников, книги—свидетельства героической эпохи, оставившей неизгладимый след в истории нации и в сердцах людей.

ДРВ

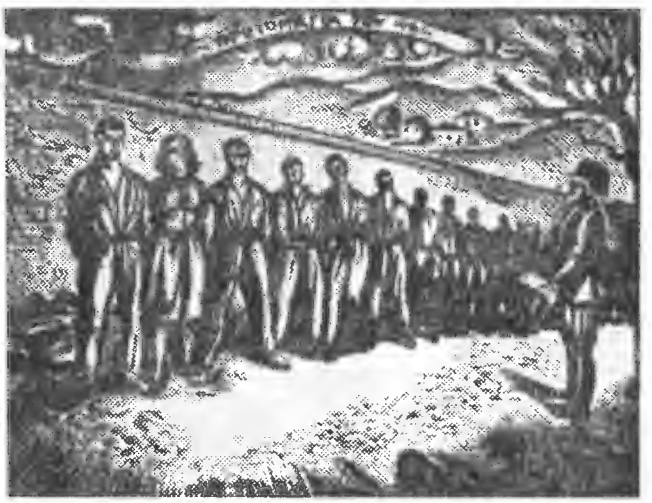
НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

Состоялся первый выпуск во вьетнамском Институте изобразительного искусства. Двадцати молодым художникам и скульпторам были вручены дипломы.

В Ханое была открыта творческая выставка окончивших институт. В числе авторов лучших произведений обозреватели газет называют имена Фом Конг Тханя, Ле Конг Тханя и Зянг Хыонга.

Гравюра художника Тассоса «Подвиг двухсот патриотов 1 мая 1944 года».

(Газета «Авги»)



ИНДИЯ

Балетная труппа Тривени в Дели в прошлом году осуществила постановку балета «Бабрубахан», в основу которого положен популярный мифологический сюжет. Недавно на столичной сцене был показан более полный вариант постановки. Критик индийской газеты «Стейтсмен» дал высокую оценку мастерству балетной труппы, отметив превосходное исполнение главных партий Прийогопалом (Бабрубахан) и Чару Мадхур (принцесса Читрангада). На снимке: исполнители главных ролей в одной из сцен балета.

(Газета «Стейтсмен»)

СОКРОВИЩА ДЕЛИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В столице Индии начала работать первая научная библиотека санскритской литературы, созданная старейшим институтом санскрита. В ее хранилищах более пяти тысяч томов по многим отраслям знаний, ценные манускрипты на папирусе, редкие книги по джайнской архитектуре.

Корреспондент газеты «Таймс оф Индиа», сообщает, что в ближайшее время в библиотеке ожидаются новые поступления — редкие издания на санскрите; их изъявили желание передать библиотеке индийские и зарубежные ученые.

ИТАЛИЯ

«ПОСТОЯНСТВО РАЗУМА» НА ЭКРАНЕ

Начались съемки фильма «Постоянство разума», который ставит режиссер Паскуале Феста Кампаниле по одноименному роману Васко Пратолини (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 5—6, 1964). В ролях Бруно и Лори — молодые актеры Сэми Фрей и Катрин Денёв, роль профсоюзного вожака, старого рабочего-коммуниста Миллоски исполняет известный итальянский артист театра и кино Энрико Мария Салерно.

В связи с экранизацией его романа Пратолини рассказал корреспонденту газеты «Унита»: «Сначала я возражал, так как мне казалось, что этот роман очень труден для экранизации из-за многообразия планов, в которых ведется повествование... Но я сдался после того, как прочитал сценарий,— он действительно очень удачен. Думаю, что Феста Кампаниле поставит по нему хороший фильм».

Актриса Катрин Денёв, снимающаяся в фильме «Постоянство разума».

(Газета «Унита»)

Режиссер фильма в свою очередь заявил: «Я уже давно надеялся получить возможность снять фильм, главным героем которого был бы современный итальянский рабочий. Как только я начал читать роман Пратолини, меня сразу же захватил его сюжет... Двадцатилетний Бруно — это собирательный портрет молодого поколения итальянцев. До сих пор итальянскую молодежь почти всегда изображали как погибшее, мятущееся, ведущее беспорядочную жизнь поколение... Васко Пратолини описал любовную историю, происходящую в рабочей среде, он сумел сделать это с эпическим размахом и большой теплотой по отношению к своим героям и к их родному городу — Флоренции, где происходит действие романа».

КНИГА О БЕЛИНСКОМ

В издании «Эдитори риунити» вышла большая монография Иньяцио Амброджо «Белинский и теория реализма». Литературное приложение к газете «Паэзе сера» поместило рецензию на эту работу литературоведа Армандо Плебе, который дал очень высокую оценку книге Амброджо. Плебе отметил, что автор не только дал глубокий анализ эстетических взглядов Белинского-критика, «впервые разработавшего в 40-е годы — в период полного расцвета романтизма — материалистическую теорию искусства реализма», но и нарисовал широкую картину литературной жизни, положения критики и эстетики в России первой половины прошлого века. В рецензии говорится, что Амброджо в своей работе передал боевой характер, который носила вся деятельность Белинского, выражавшего «наиболее радикальные, демократические и революционные чаяния крестьянских масс, мелкой буржуазии и разночинной интеллигенции, задавленных крепостническим строем и эксплуатируемых дворянской знатью». Наконец, по словам Плебе, Амброджо в своей монографии показал, что творчество Белинского-критика «являет собой документ, ярко свидетельствующий о кризисе эстетики романтизма, и ...представляет в общеевропейском масштабе одну из первых попыток разрешить и преодолеть в духе материализма глубокие антиномии этой эстетики».

ПАЗОЛИНИ ОПРАВДАН

«Иностранная литература» уже писала (см. сообщение в № 6, 1963) о беспрецедентном решении римского суда, приговорившего весной прошлого года известного прогрессивного писателя и кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини к четырем месяцам тюремного заключения за один из эпизодов фильма «Рогопаг». Пазолини без всяких оснований обвинялся в «оскорблении религии». В результате решительных протестов общественности суд недавно был вынужден пересмотреть дело. Пазолини полностью оправдан. Прогрессивная печать Италии, отмечая, что это произошло более чем через год после вынесения приговора, требует отмены реакционного закона о цензуре, принятого в 1962 году.

КАНАДА

О ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

В Торонто в честь 150-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко вышел в свет роман «Мир — моя деревня», рассказывающий о жизни великого сына украинского народа в 1829—1846 гг. Роман написан двумя канадскими авторами, хорошо знающими жизнь и творчество Шевченко,— Ганной Половы и Митчем Саго.

По словам корреспондента газеты «Кенэдиен трибюн», авторам романа удалось создать запоминающийся образ великого Кобзаря. «Мир — моя деревня», отмечает корреспондент, с интересом встречен в Канаде.

МАЛЬТА

ЦЕННЫЙ ТРУД МИФСУДА БОННИЧИ

Мальтийская литература до сих пор мало известна за пределами Мальты. Значительный интерес поэтому представляет сообщение печати об издании биографического словаря о крупнейших представителях литературы, искусства и науки, а также о видных политических деятелях этого острова как нашего времени, так и прошедших веков. В сообщении говорится, что «этот словарь представляет собой чрезвычайно полезный источник информации, который, однако, может остаться вне поля зрения ученых, живущих не на Мальте, из-за того, как он печатается». Далее поясняется, что первый выпуск этого словаря, на букву «А», вышел отдельным изданием в Валлетте, а остальная часть его печаталась отдельными сериями в мальтийском журнале «Ир-ревью».

В настоящее время автор словаря Мифсуд Бонничи— крупный мальтийский писатель и ученый, перу которого принадлежит несколько книг по музыке и истории Мальты,— заканчивает работу над ним. Всего в словаре будет свыше тысячи статей.

НИГЕРИЯ

ТРИЛОГИЯ ЧИНУА АЧЕБЕ

Как сообщает корреспондент журнала «Уэст Африка», недавно вышел в свет роман известного нигерийского писателя Чинуа Ачебе «Стрела господня», повествующий о жизни племени ибо на рубеже прошлого и нынешнего веков, когда белые колонизаторы установили в стране свое господство. Это третий том трилогии, в который вошли романы «Жизнь распадается» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 9, 1958) и «Становится как-то не по себе».

По словам корреспондента, все три романа связаны единым сюжетным замыслом. В центре нового романа—священник Эзеулу, прислуживающий колонизаторам, помогающий им с «божьей помощью» закабалять свой народ. Это приводит его к конфликту не только с соплеменниками, но и с собственным сыном.

Корреспондент журнала отмечает, что главное в вышедшем романе этого талантливого писателя — отражение борьбы между старым и новым в стране.

ОАР

НАГИБ МАХФУЗ О БУДУЩЕМ РОМАНА

Журнал «Аль-Кятиб» («Писатель») опубликовал статью известного писателя Нагиба Махфуза, в которой он высказывает свои мысли о будущем романа. Писатель полемизирует с теми, кто заявляет о «кризисе современного романа». Махфуз отмечает, что западные литераторы, например Роб-Грийе, неправы, когда утверждают, будто время романа прошло, так как «все возможные темы давно исчерпаны». «Дело не в новых темах, а в новом подходе художника ко все тем же старым темам,— возражает писатель.— Поэтому роману как жанру художественной литературы не угрожает никакая опасность. Напротив, он останется любимым жанром читателей, пока в душе человека живет любовь к литературе и потребность в ней».

Разговоры о кризисе романа в странах Запада Махфуз объясняет тем, что сама господствующая идеология в этих странах переживает кризис. За жалобами на отсутствие темы кроется другое, а именно: отсутствие ценностей, в которые бы верил художник на Западе.

Махфуз дает отпор некоторым египетским критикам, утверждавшим, будто в его последних произведениях «Дети нашего квартала» и «В пути» сказался кризис современного романа. Современный роман чрезвычайно гибок, и формы его могут быть многообразными, заявил писатель. Главное — это позиция, которую писатель занимает по отношению к жизни.

ПОЛЬША

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЬЕСЫ ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО

Пьеса Леона Кручковского «Первый день свободы» обошла сцены многих польских театров, была поставлена на радио и телевидении. В настоящее время известный кинорежиссер Александр Форд, автор знакомого советскому зрителю двухсерийного исторического фильма «Крестоносцы», вместе с писателем Богданом Чешко работает над экранизацией этой пьесы выдающегося польского драматурга.

Основной проблемой, вставшей перед авторами фильма, по словам корреспондента еженедельника «Экран», была правильная интерпретация идейного и человеческого конфликта между польским офицером Яном и немецкой девушкой Ингой, стремление ни в чем не исказить мысли автора. Легче всего было показать Ингу в виде преданной фюреру фанатички. Поэтому авторам пришлось усилить

Экранизация пьесы Леона Кручковского «Первый день свободы». В роли Инги — Беата Тышкевич, в роли Павла — Мечислав Стоор.

(Еженедельник «Экран»)

эмоциональную и психологическую сторону конфликта, чтобы придать ему большую убедительность.

«Как и в «Крестоносцах», проблемы, которые поднимает фильм «Первый день свободы», имеют непреходящее значение,— заявил в интервью корреспонденту еженедельника Александр Форд.— В фильме говорится не только о войне. Я вижу в нем проблему необходимости выбора человеком определенной позиции в жизни, а также проблему личной свободы и уважения человеческого достоинства. «Первый день свободы» ставит, кроме того, проблемы широко понимаемого гуманизма и веры в людей. Чешко и я взялись за эту тему исключительно из-за глубокого философского и гуманистического содержания пьесы Леона Кручковского. Нам представляется, что зритель с интересом посмотрит пьесу на экране, что именно кино должно донести до широкой аудитории эти проблемы и сделать их предметом публичного обсуждения».

ШЕСТЬ ВЕКОВ КРАКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Весной 1364 года король Казимеж Великий издал указ об учреждении Генеральной академии—первого на польских землях университета, который разместился в деревне Баволы близ Кракова (ныне это пригород Кракова, носящий название Казимеж). В королевском указе говорилось: «Мы, Казимеж, король Польши, господин и повелитель, горячо желая, чтобы дела полезные и всякие блага рода человеческого ширились, приняли решение в городе нашем, Кракове, учредить академию для обучения всем дозволенным наукам... Пусть же сверкают там наук бесценные жемчужины, пусть выходят оттуда мужи, зрелой мудростью своей известные, святой добродетелью украшенные и в разных умениях скорые; пусть же начнет бить освежающий полноводный источник, из которого будут черпать все, кто жажду свою к наукам утолить хочет».

В дальнейшем для расширения университета многое сделали король Ягелло и его супруга—внучка короля Казимежа Ядвига. В их честь университет и был назван Ягеллонским.

Краковский университет воспитал целую плеяду ученых, писателей, государственных деятелей Польши. Достаточно сказать, что его студентом был Николай Коперник.

Общественность народной Польши торжественно отметила знаменательный юбилей. На празднествах в Кракове присутствовали руководители партии и правительства, многочисленные зарубежные ученые. Первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей партии Владислав Гомулка вручил ректору университета Казимежу Лепшему Большой крест ордена Возрождения Польши, которым в связи с юбилеем награжден Ягеллонский университет. Состоялась также международная научная сессия, посвященная истории университета.

РУМЫНИЯ

Кадр из кинокомедии «Улыбка в разгаре лета». Роли молодых героев в фильме исполняют Флорина Луйкан и Себастьян Папаяни.

(Журнал «Чинема»)

«УЛЫБКА В РАЗГАРЕ ЛЕТА»

На экраны страны вышла новая кинокомедия «Улыбка в разгаре лета», сценарий которой написан молодым, но уже пользующимся широкой известностью прозаиком Думитру Раду Попеску, положившим в его основу две свои новеллы «Лес» и «Зонтик».

Герой фильма — молодой, задорный деревенский парень Фэницэ, с которым часто случаются различные забавные истории. В то же время Фэницэ не пустозвон и не лодырь: помимо юмора и жизнерадостности ему присущи трудолюбие и сила воли.

По отзывам румынской критики, творческому коллективу под руководством режиссера Джео Сайзеску удалось передать в этом веселом, увлекательном фильме все новое, существенное в жизни современного румынского села, красочный национальный колорит его быта.

БОРЬБА ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Писатель Лауренциу Фульга дебютировал в литературе несколько лет назад антивоенным романом «Героика», в котором рассказал историю отправки румынских частей на Восточный фронт накануне битвы на Волге.

Новый, недавно вышедший роман Фульги — «Звезда доброй надежды» — является как бы продолжением первого: в нем описывается бесславный конец этого, задуманного реакционными правителями Румынии, похода на Восток и пленение румынских войск Советской Армией.

По мнению рецензента еженедельника «Газета литерарэ» А. Мартина, основная проблема романа — раскрытие сложного процесса, который происходит в сознании пленных румын, процесса переосмысления всего случившегося с ними и с их родиной.

Роль румынских антифашистов и коммунистов, а также советских людей в перевоспитании обманутых реакционной пропагандой пленных солдат, по словам А. Мартина, показана в романе очень убедительно. Терпеливо и последовательно внушают солдатам мысль о том, что оставаться в стороне, быть пассивными в тот момент, когда родина, румынский народ ждут освобождения от фашизма,— преступление. И эта борьба за нового человека, отмечает рецензент, увенчалась успехом — многие из бывших пленных добровольно пошли сражаться против фашизма, выполняя свой гражданский долг.

Критика считает роман «Звезда доброй надежды» большой авторской удачей Фульги.

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРУ ЧУКУРЕНКУ

В Бухаресте состоялась выставка работ одного из крупнейших современных румынских художников Александру Чукуренку. На ней было представлено более ста полотен художника, которому недавно исполнилось 60 лет. Критик А. Баконски пишет в связи с выставкой в еженедельнике «Контемпоранул», что национальные мотивы творчества Чукуренку роднят его с произведениями великих народных художников, авторов знаменитых росписей архитектурных памятников Молдовы XV—XVI вв. Д. Григореску в журнале «Лучафэрул» отмечает, что Чукуренку продолжает традиции таких живописцев, как Лукьян, Паллади, Петрашку, и является для молодых художников Румынии одним из самых любимых мастеров.

США

«НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ПУЛИТЦЕРОВСКИЕ ПРЕМИИ»

Американская общественность встревожена: жюри по присуждению Пулитцеровских премий вынесло решение не присуждать премий за 1963 год. Решение касается произведений драматургии, художественной прозы и музыки. Газеты бьют тревогу. Обозреватель «Крисчен сайенс монитор» в статье, озаглавленной «Несостоявшиеся Пулитцеровские премии», отмечал, что за все время существования этого премиального фонда впервые оказалось невозможным найти достойных кандидатов по нескольким видам искусств. А постоянный критик газеты «Нью-Йорк таймс» Таубмэн писал, что «качество американской драматургии за последние годы не было на высоком уровне»: в числе восьми пьес, выдвинутых на соискание премии, только три были американские, и ни одна из них, в том числе последняя пьеса Артура Миллера «После грехопадения», не была признана достойной.

Что же касается произведений художественной прозы, опубликованных в прошлом году, то, по словам другого критика газеты, Прескотта, «хотя многие из них написаны умело и читаются с интересом, в их числе, однако, не было ни одного произведения бесспорно высоко художественного».

Музыкальный критик «Нью-Йорк таймс» Шонберг заявил напрямик, что жюри не сочло возможным присуждать премии за модные «серийные» сочинения последователей Веберна, стремящихся только к диссонансам, так как они «понятны слишком немногим»...

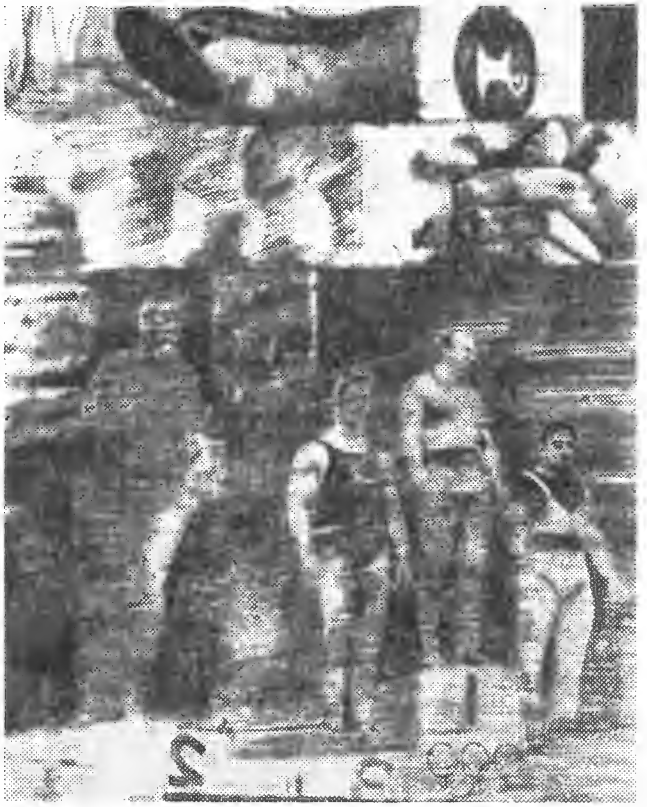
Американский публицист Джозеф Норт в статье, опубликованной в «Уоркер», в этой связи не без иронии пишет о тех критиках, которые всячески пропагандируют модернистское искусство: «Интересно, что сейчас думают сторонники искусства, абстрагирующегося от реальной жизни, когда ни один роман, ни одна пьеса, ни одно музыкальное произведение не получили Пулитцеровскую премию?.. Это обстоятельство дает основание для некоторых критических размышлений о состоянии нашей культуры...»

«МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ» ДАНТЕ

Над иллюстрированием «Божественной комедии» Данте трудилось немало художников разных стран и времен. Недавно испытать свои «силы» в этой области решил один из «столпов» американского модернизма Роберт Раушенберг. По словам критика лондонской газеты «Таймс» Эдварда Смита, художник истолковал бессмертное произведение великого гуманиста Данте «в духе собственной склонности к символике, скепсису и ядовитой иронии».

...Песнь XXXI «Ада». В иллюстрации к ней нет Вергилия; вместо него — три тяжелоатлета на пьедестале почета Олимпийских игр. И это даже не рисунок, а негатив фотоснимка. Хорошо различимы на воспроизводимой здесь иллюстрации цифры «1», «2», «3», расположенные в обратном порядке, знакомые пять переплетенных колец. Все остальное едва заметно в дымке или умышленно заштриховано.

Раушенберг не пользуется такими «устаревшими» средствами, как краски и кисти. Чемпион «предметности»,



Одна из иллюстраций Роберта Раушенберга к «Божественной комедии» Данте.

(Газета «Таймс»)

Раушенберг уже давно сменил их на... молоток и гвозди. С их помощью он в буквальном смысле слова сколачивает свои изделия. Железки, старые ржавые ведра, цепочки, колесики, чучела птиц, кровати, подушки, одеяла из разноцветных лоскутов и прочий утиль заменяют в этом «искусстве» беспредметность абстракционистов. Для серии «Божественная комедия» художник приберег и ряд других «новшеств». В их числе — знакомые с детства перводные картинки, вырезанные из старых журналов иллюстрации, фотомонтаж и наконец чисто «силовой прием» — какой-нибудь рисунок разрывают на клочки и приклеивают наугад...

Даже Смит, который склонен не видеть чего-либо особенного в попытке «породнить» модернизм с искусством Возрождения, признает, что «американец раздражающе герметичен» и что вообще «глупо надоедать людям подобными параллелями».

ФРАНЦИЯ

«БЛЕСТЯЩАЯ ЭКСГУМАЦИЯ»

В Париже в галерее Шарпантье состоялась выставка сюрреалистической живописи и скульптуры, организованная известным искусствоведом Патриком Вальдбергом. Как ни странно, но выставка эта вызвала яростные нападки... самих сюрреалистов! В нескольких газетах и еженедельниках появились заявления современных поборников этого течения в искусстве, поносящие инициаторов выставки. В одном из этих заявлений Вальдберг назван «шарлатаном, фальсификатором, лакеем и могильщиком».

«После сорока пяти лет манифестов, скандалов, листовок, анафем, письменных и устных деклараций, программ, воплощенных в живописи и скульптуре,— пишет корреспондент еженедельника «Экспресс» Жан-Франсуа Шабрен,— парижане получили наконец возможность увидеть выставку, подводящую итог искусству сюрреализма».

Именно это и вызвало гнев патриарха сюрреализма Андре Бретона и его соратников. «Сюрреализм жив! Никто не смеет подводить итоги сюрреализма!» — с такими заявлениями выступила группа Бретона на страницах французской печати. Ее особенно возмутило присутствие на выставке произведений авторов, избравших впоследствии другой путь в искусстве или нарушивших «устав» сюрреалистов и исключенных поэтому из числа «избранных». Любопытно, что в числе отлученных оказались такие столпы сюрреализма, как Сальвадор Дали и Макс Эрнст.

Как сообщает корреспондент, Вальдбергу удалось собрать в галерее Шарпантье редчайшие образцы сюрреалистического искусства. «Этот «могильщик»,— пишет Шабрен,— произвел множество эксгумаций из склепов частных коллекций, что дает возможность познакомиться с десятками полотен, известных до сих пор лишь по репродукциям... Могильщик? Может быть. Но какая блестящая эксгумация!»

«В 1964 году зритель спрашивает себя: «Как могло казаться скандальным или волновать появление на одном полотне зонтика и машины? — продолжает Шабрен.— То, что когда-то заставляло скрежетать зубами, сегодня вызывает лишь улыбку... Искусство сюрреализма исчерпало себя. Выставка в галерее Шарпантье состоялась как раз вовремя».

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ РОМЕНА РОЛЛАНА

Ассоциация друзей Ромена Роллана подготовила новый том корреспонденции писателя под названием «Фрейлейн Эльза». В него

вошли письма Роллана к молодой немецкой писательнице Эльзе Вольф, относящиеся к 1906—1916 гг. Эти письма — ценное дополнение к корреспонденции писателя, опубликованной ранее, особенно к тем томам переписки Роллана, в которые вошли его письма к Софье Бертолини-Геррьери-Гонзага.

В предисловии к тому «Фрейлейн Эльза» Рене Шваль подчеркивает, что наибольший интерес представляют письма Роллана, имеющие отношение к роману «Жан Кристоф» и воссоздающие мир чувств и мыслей писателя того времени, его эстетические и политические взгляды.

В письмах к Эльзе Вольф, сообщается в рецензии, опубликованной газетой «Юманите», Роллан горячо высказывается против декадентского искусства, ратует за искусство подлинно народное. В связи с забастовкой французских рабочих 1909 г. он пишет: «Что бы ни было, я всегда буду на стороне организованных и сознательных трудящихся... ибо там, где труд, там и жизнь».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

МОЛОДЫЕ СИЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

На прошедших международных кинофестивалях чехословацкое кино добилось значительных успехов. Премиями были отмечены в Канне — «Вот придет кот» В. Ясного, в Москве — «Смерть зовется Энгельхен» Я. Кадара и Э. Клоса, в Локарно — «Транспорт из рая» З. Брыниха.

Названные здесь режиссеры принадлежат к поколению творческих деятелей чехословацкого кино, получивших образование в социалистической Чехословакии. В числе наиболее талантливых называют также имена В. Хитиловой, Я. Ирешa, М. Формана а также Подскальского, Солана, Плихты и других молодых киноработников.

Кинокритика отмечает как в высшей степени отрадный факт то, что из 24 фильмов последнего полугодия 23 посвящено темам современности. Значительная часть фильмов молодых авторов рассказывает о жизни молодежи.

Молодые режиссеры часто привлекают для участия в фильмах непрофессиональных актеров, которые «играют сами себя». Операторы используют новейшие технические достижения — например, кинопленку самой высокой чувствительности, которая дает возможность производить съемки даже ночью, не прибегая к дополнительному освещению.

Молодые творческие деятели кино, по свидетельству кинокритики, «активно вторгаются в жизнь», поэтому их фильмы пользуются популярностью в стране и получают признание за рубежом.

ЭКВАДОР

ОСКОРБЛЕНИЕ ИСКУССТВА

Информационная служба США организовала в столице Эквадора художественную выставку под претенциозным названием «Тридцать лет искусства в Эквадоре». К участию в выставке не были допущены крупнейшие прогрессивные эквадорские художники. Тем не менее устроители стремились убедить посетителей, будто на выставке представлено все изобразительное искусство Эквадора.

Однако уловки американской дипломатии были незамедлительно разоблачены. 11 известных эквадорских художников опубликовали в печати заявление, в котором отмечалось, что проведение подобной выставки представляет собой вмешательство Соединенных Штатов в культурную жизнь страны, означает ущемление суверенитета Эквадора, является «оскорблением искусства и национального достоинства эквадорского народа».

Заявление подписали такие видные эквадорские художники, как Освальдо Гуайясамин, Диохенес Паредес, Гильермо Муриэль, Уго Сифуэнтес и другие.

ЮГОСЛАВИЯ

Галерея Ивана Мештровича в г. Сплит обогатилась еще одним творением этого большого мастера — барельефом «Музыканты». При жизни Мештрович успел воплотить свой замысел только в гипсе. Работа была недавно завершена скульптором Радославом Духовихом, который выполнил ее в камне.

(Газета «Политика»)

ФИЛЬМЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НУШИЧА И ЧОПИЧА

Загребская киностудия «Ядран-фильм» приступила к съемкам фильма «Кругосветное путешествие» по одноименной популярной комедии видного сербского драматурга Бранислава Нушича. Сценарий написали Сойя Йованович (она же и режиссер фильма), Бориславе Михайлович и Ненад Йовичич.

Одновременно студия начала съемки фильма «Случаи из жизни Николетины Бурсача» по известной книге Бранко Чопича (см. «Иностранную литературу» № 3, 1957). «Фильм «Случаи из жизни Николетины Бурсача»,— пишет корреспондеит газеты «Политика»,— покажет участие в народно-освободительной борьбе этого «пулеметчика с голубиным сердцем». Ставит фильм режиссер Бранко Бауэр.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

МИХАЙ БЕНЮК — MIHAI BENIUC (род. в 1907 г.) — румынский поэт, член румынской Академии наук, лауреат Государственной премии. Перу М. Бенюка принадлежат сборники стихов «Песни гибели» («Cîntece de pierzanie», 1938), «Новые песни» («Cîntece noi», 1940), «Стихотворения» («Poezii», 1943), «Потерянный город» («Oraşul pierdut», 1943), «Человек ожидает восхода солнца» («Un om aşteptă răsăritul», 1946), «Избранные стихи» («Versuri alese», 1949), «Партия меня научила» («Partidul m-a-nvăţat», 1954), «Во главе коммунисты» («In frunte comuniştii», 1954), «Яблоня у дороги» («Măr ul de lîngă drum», 1954), «Сердце старого Везувия» («Inimă bătrînului Văzuv», 1957), «Часом раньше» («Cu un ceas mai devreme», 1959), сборник рассказов «Личная ненависть» («Ură personală», 1955), роман «На острие ножа» («Pe muche de cuţit», 1959), сборник стихов «Краски осени» («Culorile toamnei», 1962) и другие произведения.

Публикуемые стихотворения взяты из сборника «На струнах времени» («Pe coardele timpului», 1963).

ДИТЕР НОЛЛЬ — DIETER NOLL (род. в 1927 г.) — немецкий писатель (ГДР), лауреат Национальной премии. Автор книг «Госпожа Перлон» и другие репортажи» («Die Dame Perlon und andere Reportagen», 1953), за которую он в 1955 г. получил премию Объединения свободных немецких профсоюзов, «Солнце над морями» («Sonne über den Seen», 1954), романа «Приключения Вернера Хольта» («Die Abenteuer des Werner Holt», 1960), удостоенного премии Генриха Манна за 1961 год, напечатанного в №№ 4—7 журнала «Иностраиная литература» за 1962 г.

Вторая книга романа «Приключения Вернера Хольта», которую мы публикуем с незначительными сокращениями, начиная с этого номера, вышла в 1963 году.

СЮСАКУ ЭНДО (род. в 1923 г.) — японский писатель, критик, эссеист. Его перу принадлежит ряд критических эссе, рассказы «Желтый человек» (1955) и «Белые люди» (1955), за который он получил премию Окутагава, присуждаемую писателю за первое удачное произведение, романы «Зеленый виноград» (1956), «Вулкан» (1960), «Семья» (1963).

Повесть «Море и яд», отмеченная двумя литературными премиями — газеты «Майнити» и издательства «Синтёся», вышла в 1958 г.

РЕНЕ ДЕПЕСТР — RÉNÉ DEPESTRE (род. в 1926 г.) — гаитянский поэт. Автор сборников стихов «Искры» («Etincelles», 1945), «Сноп крови» («Gerbe de sang», 1946), «Ростки света» («Végétations des alartes», 1950), «С открытого моря» («Traduit du grand large», 1952), «Черная руда» («Minérai noir», 1956).

Публикуемые стихи взяты из подготовленного поэтом к печати нового сборника «Чудо — жить на земле» («Merveille d'être au monde»).

ЖОРЖ СИМЕНОН — GEORGES SIMENON (род. в 1903 г.) — французский писатель, автор многочисленных романов, повестей, рассказов. На русский язык переведены его произведения «Желтый пес» («Le chien jaune», 1931), «Цена головы» («La tête d'un homme», 1931), «Негритянский квартал» («Quartier nègre», 1935), «Президент» («Le president», 1958), см. статью Л. Зониной в № 8 за 1961 г. журнала «Иностранная литература».

ВЯЙНЕ ЛИННА — VÄINÖ LINNA (род. в 1920 г.) — финский писатель, лауреат литературной премии Алексиса Киви. Автор романов «Цель» («Päämäärä», 1947), «Темная любовь» («Musta rakkaus», 1948), «Неизвестный солдат» («Tuntematon sotilas», 1954), трилогии «Здесь, под Полярной звездой» («Täällä Pohjantähden alla», 1959—1962).

В 1962 году в городе Тампере — на родине писателя — учрежден фонд Вяйне Линна, из которого выплачиваются премии писателям-прозаикам, живущим в Тампере или пишущим о Тампере.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ — FRANCISK MUNTEANU (род. в 1924 г.) — румынский писатель. Автор романа «Город на Муреше» («In oraşul de pe Mureş», 1955), вышедшего на русском языке, повести «Ленца» («Lenţa», 1958), романа «Художник» («Terra di Siena», 1962), опубликованного в №№ 10, 11 за 1962 год журнала «Иностранная литература».

Очерк перепечатывается из румынского еженедельника «Газета литерарэ» 1963 г.

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ — VERONICA PORUMBACU (род. в 1921 г.) — румынская поэтесса, лауреат Государственной премии.

Автор сборников стихов «Эти годы» («Antii aceştia», 1950), «Свидетельство» («Mărturii», 1951), «Мои друзья» («Prietenii mei», 1953), драматической поэмы «Дева вод» («Fata apelor», 1954), поэтических сборников «Мое поколение» («Generaţia mea», 1955), «Лирика» («Lirice», 1957), «Целое и часть» («Intreg şi parte», 1959), «Простые утра» («Dimineţile simple», 1961) и др.

Напечатанная в номере статья получена в рукописи.

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ — ARNOLD ZWEIG (род. в 1887 г.) — немецкий писатель (ГДР), общественный деятель, лауреат Национальной премии. Перу Арнольда Цвейга принадлежит большое количество романов, пьес, литературно-критических статей. В числе произведений, написанных в послевоенное время, романы «Топор из Вандсбека» («Das Beil von Wandsbek», 1947), «Время созрело» («Die Zeit ist reif», 1957), «Мечта дорога» («Der Traum ist teuer», 1963). Многие книги писателя изданы на русском языке: «Спор об унтере Грише» («Der Streit um den Sergeanten Grischa», 1927), «Воспитание под Верденом» («Erziehung vor Verdun», 1935), «Возведение на престол короля» («Einsetzung eines Königs», 1937), «Затишье» («Die Feuerpause», 1954) и др.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ (род. в 1888 г.) — болгарский писатель, поэт, публицист, член Всемирного Совета Мира, действительный член болгарской Академии наук, лауреат Димитровской премии. Перу Л. Стоянова принадлежит множество собраний стихов, повестей, романов, пьес и сборников статей. Произведения писателя неоднократно издавались на русском языке.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

СТЕФАН ГЕЙМ — STEFAN HEYM (род. в 1913 г.) — немецкий писатель (ГДР), лауреат премии Генриха Манна. Автор романов «Заложники» («Hostages», 1942), «Улыбка мира» («Of Smiling Peace», 1944), «Крестоносцы» («The Crusaders», 1948), «Глазами разума» («The Eyes of Reason», 1951), «Голдсборо» («Goldsborough», 1953), книги очерков «Путешествие в страну неограниченных возможностей» («Reise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten», 1954), романа «Бумаги Андреаса Ленца» («Die Papiere des Andreas Lenz», 1963).

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

АРТУР ЛУНДКВИСТ — ARTUR LUNDKVIST (род. в 1906 г.) — шведский писатель и общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, лауреат малой Нобелевской премии 1961 года.

За последние годы им созданы романы «Комедия в Хёгерског» («Komedi i Hägerskog», 1959), «Переживания Ориана» («Orians upplevelser», 1960), поэмы в прозе «Говорящее дерево» («Det talande trädet», 1960), «Рассказы для заблудившихся» («Berättelser för vilsekomna», 1961), сборник стихов «Мгновения и волны» («Ögonblick och vägor», 1962), сборник эссе, новелл и путевых очерков «Сны в непогоду» («Drömmar i ovädrens tid», 1963), очерки об иностранных писателях и их произведениях («Från utsiktstornet», 1963) и др.

Публикуемый очерк взят из книги «Бок о бок» («Sida vid sida», 1962).

АЛЕКСАНДР ОПРЯ—ALEXANDER OPREA (род. в 1931 г.) — румынский литературный критик.

Опубликованная рецензия получена в рукописи.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ—TATIANA NICOLESCU (род. в 1923 г.) — румынский критик. Многие работы Т. Николеску посвящены русской и советской литературе, в том числе вышедшая в 1963 году книга «Толстой и румынская литература» («Tolstoi şi literatura romînă»).

Публикуемая рецензия написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. Н. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 07550. Сдано в производство 29/V-64 г. Подписано к печати 30/VII-64 г.

Бумага $70\times108^{1}/_{16} = 9{,}0$ бум. л.; печ. л. 24,66 Зак. 1177

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394